

А. Войталовская



по следам
судьбы
много
поколения

А. Войталовская



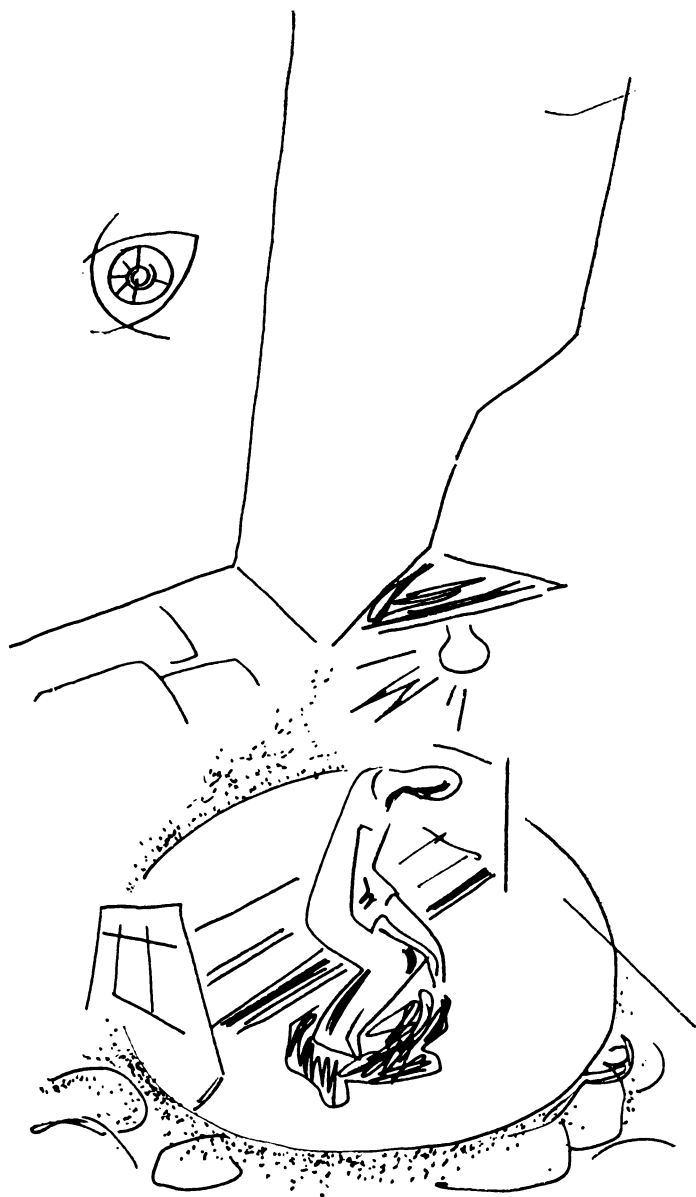
А. Войтовская:

В те годы не было войны с вражескими государствами, но миллионы людей своей страны были названы врагами, с которыми велась истребительная бесчеловечная война.

Голод уже отступил, а повсеместный ненасытный террор, как смерч, врывается в человеческие судьбы.

Террор не однозначное явление, не один из методов управления. Он выражает характер политической системы и потому определяет психологию и мышление всех, формирует общественные и личные отношения, подвергает переосмыслению нравственные и этические нормы, подчиняет в угоду себе воспитание подрастающих поколений, в жестоких испытаниях ломает любовь, дружбу, человеческие связи и доверие.

Неверно и наивно думать, что с одной стороны может существовать террор, а с другой — бескорыстное и ликующее социалистическое мировосприятие, что в каких-то районах,



А. Л. ВОЙТОЛОВСКАЯ

*По следам
судьбы
моего
поколения*

СЫКТЫВКАР
КОМИ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1991

Войтоловская А. Л.

В 65 По следам судьбы моего поколения.— Сыктывкар:
Коми книжное издательство, 1991.— 336 с.

ISBN 5-7555-0306-0

А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.

Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.

Книга рассчитана на массового читателя

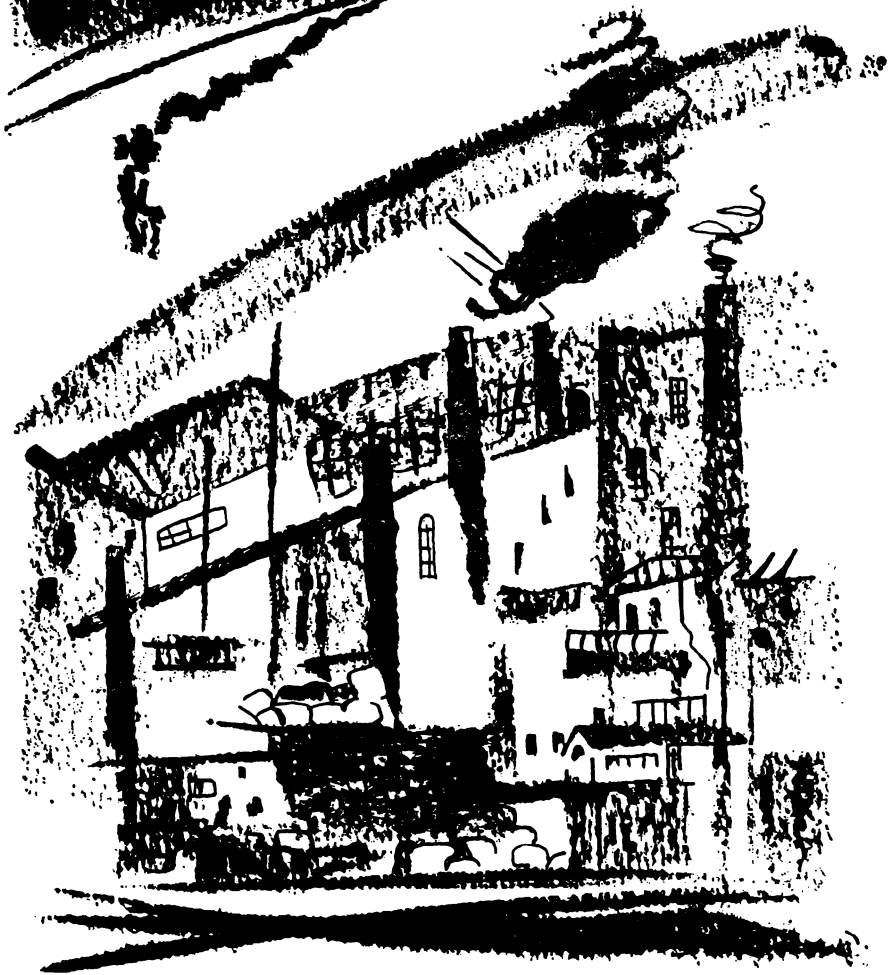
В 0503020000—001
М 128(03)—91 10—91 м

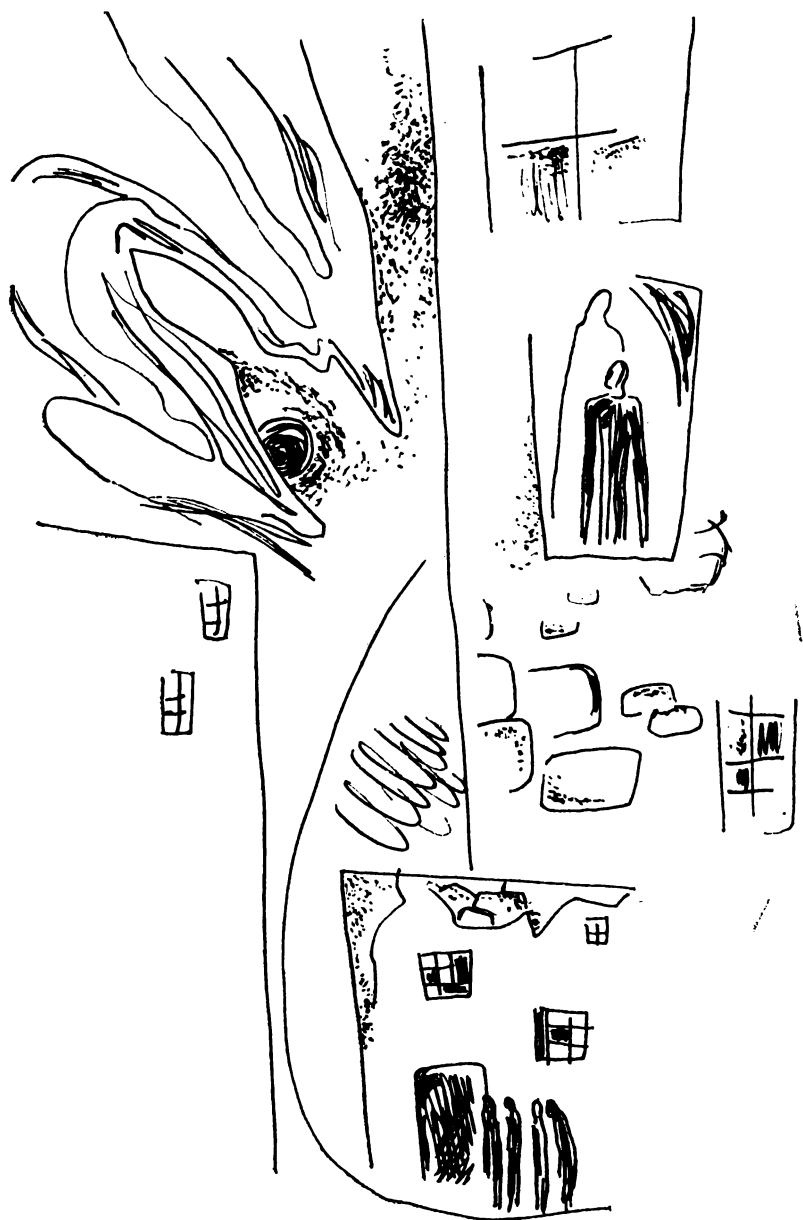
84 Р—7—4

ISBN 5-7555-0306-0

© Войтоловская А. Л., 1991

После убийства Кирова





Трагический перелом

*Засыпь хоть всей землею
Деяния темные, их тайный след
Поздней или раньше выступит на свет.*

ШЕКСПИР. Гамлет

*Люди будущего, вам нужно увидеть
вчерашний мир.*

ПОЛЬ ЭЛЮАР.

Год 1934. Мы живем в Ленинграде. Мне 32 года. Я историк Запада. Работаю в Ленинградской Высшей школе Профдвижения как преподаватель и учусь в аспирантуре ЛИФЛИ*.

Николай Игнатьевич Карпов, муж мой, профессор Военно-механического института и Сельскохозяйственного института в Детском Селе.

У нас двое детей, мальчик Леня семи лет и девочка Валюша трех лет.

Для меня все началось так: на рассвете темного декабрьского (одиннадцатого декабря) утра вскочила от дробного стука в нашу квартиру на Васильевском острове.

— Открой, открой же скорей! — слышу задыхающийся голос мужа старшей сестры.

— Что случилось?

— Николая Игнатьевича арестовали ночью и увезли. Только что звонила из Детского мама...

Сынишка болел скарлатиной, у нас был карантин. Коля забрал маленькую дочку в Детское Село и временно жил с ней там. Моя мама Анна Ильинична Войтоловская поехала им помогать...

Наше поколение на всю жизнь запомнило время после убийства Кирова, которое стало сигналом новых бедствий.

*ЛИФЛИ — Ленинградский институт философии, литературы, искусства. (Примеч. авт.)

Вначале само по себе событие — смерть Кирова — ударило и насторожило, в дальнейшем последствия его смерти оказались более потрясающими и смертоносными, нежели она сама. Страна завертелась вихрем.

Слепая стихия, слепой механизм перемалывал человеческие хребты?..

Не осмыслить, не понять...

Что сказать о том времени? Нелегко поколебать треножник перед алтарем Революции и сказать, что она дала крен, переложить рельсы привычного мышления, разобраться в событиях при отсутствии правды и гласности. Немыслимо рассуждать, немыслимо действовать... Действовать же надо немедленно, с первой минуты. Коля взят, дети больны. В Детском и Валя заболела скарлатиной. Трезво думать в таком лихорадочном состоянии невозможно. Все обесценивается, теряет значение, перемещается перед свершившейся катастрофой — арестом Коли и многих...

Перебираю в уме события с 1 декабря, то есть со дня убийства Кирова. Аресты и расстрелы бывших дворян и офицеров. Уже через 10 дней арест Коли, большевика, революционера. Во всем есть какой-то план... Все не случайно. Может быть, заранее подготовлено? Процесс начался давно, уходит в глубь годов. О заранее замысленном говорит и последовательность и нарочитая непоследовательность властей: будто ищут убийц то здесь, то там...

А пропасть, которая отделила меня с момента ареста Коли от прежней жизни, уже непроходима. На тех, кого арестовывают, ляжет могильная тень. Те, кто с ними связан, подвергнутся мгновенному отчуждению, остракизму. Кое-что я об этом знаю: Коля ведь был арестован и в 1928-м году. Чувствую кожей. Но тогда — не теперь!

Сейчас проснется Ленечка, он не должен застать меня врасплох...

Пренебрегши карантинном, на следующее утро добежала до университета и узнала, что в прошлую ночь арестованы многие преподаватели и профессора: историки, философы, экономисты, литературоведы — все коммунисты. Массовые аресты шли непрерывно с 1920-х и все 30-е годы, непосредственно нас они задели... и отпустили.

В деревне же именно в это время, с конца 1920-х годов, террор производил неслыханные опустошения, сметая с лица земли целые районы, станицы, пласты людей, разрушая десятки и сотни тысяч хозяйств, сгоняя множество семей с веками насиженных мест, рождая голод, покрывая землю реками слез... А город видел все это и убаюкивал себя мыс-

лями о преобразовании деревни и сельского хозяйства. Город продолжал работать и жить будто он не нес ответственности за происходящее, будто это касалось его только косвенно — материальными трудностями да гибелью многих из тех, кого посылали в деревню повторять период продразверсток и гражданской войны.

Прошла и серия процессов: шахтинцев, промпартии, меньшевистского центра... Лично во мне они вызывали и сомнения, и содрогания, и недоверие к истинности судебных разбирательств и виновности подсудимых... И опять-таки мы жили, как будто все это творилось вне и помимо нас. Что же это было? Привычка убеждать себя, что для революции жертвы необходимы? Или извечные упреки самим себе во вредности интеллигентских сомнений? Или невозможность что-либо изменить и желание оттолкнуть колебания? И вот террор постучался и в наши двери.

Никогда ранее, даже в период коллективизации, аресты и репрессии не принимали такого поточного, лавинного характера, таких масштабов и размахов, как начиная с 1 декабря 1934 года. Не берусь отыскать и в истории такого примера самоистребления. Период французской революции и ее террор несопоставим по масштабам. Все меркнет перед событиями, свидетелями которых мы были. Удары прежде всего наносились по партийным и околопартийным кругам, в сердце и мозг страны...

Кончилась, кончилась целая эпоха! Кончилось время дерзких революционных мечтаний и их осуществлений. Процесс созрел исподволь и получил воплощение в умышленном (сверху) убийстве Кирова.

Еще не успели похоронить Кирова, а тем более провести расследование по делу об убийстве, а уже в газетах на первой полосе появилось следующее сообщение:

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в действующие уголовно-процессуальные кодексы Союзных Республик:

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

Ввести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников Советской Власти:

1. Следствие по этим делам заканчивается в срок не более десяти дней.
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за один день до рассмотрения в суде.
3. Дела слушать без участия сторон.

4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать.

5. Приговор о высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесению приговора.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР А. Енукидзе.

Москва. Кремль. 1 декабря 1934 г.»

(Пройдет немного времени, как арестуют жену Калинина, а Енукидзе будет расстрелян).

Для придания подлинности и правдоподобия вражеского убийства С. М. Кирова весь ритуал похорон передавался со скрупулезными деталями. Интересно также отметить, что у гроба в Колонном зале Дома Союзов, как на смотре, перед взором Сталина стояли в почетном карауле многие назначенные им будущие жертвы: Енукидзе, Гамарник, Тухачевский, Егоров, Корк, Уншлихт, Аронштам, Бубнов, Ежов, Позерн, Смородин, Алексеев, Рудзутак, Чубарь, Петровский, Эйхе, Волцит, Соболев, Андреев, Ягода и многие другие. Все свершалось под флагом революционной бдительности.

Репрессии все ширились и ширились... до беспредельности.

С момента ареста моего мужа начались страдания всей нашей семьи, о которой скажу совсем немного, чтобы дать некоторое о ней представление.

Константин Паустовский в своих воспоминаниях говорит, что семья Булгаковых, интеллигентов-дворян, из которой вышел писатель Михаил Булгаков, являлась очагом культуры в дореволюционном Киеве. Мне представляется, что таким же центром притяжения интеллигенции в том же Киеве был и дом моих родителей, но иного, более революционного и демократического ее крыла. Вот как принял отец революцию, находясь в действующей армии. «Как перенести на бумагу то кипучее ликование, ту буйную радость, которой горят сейчас солдатские лица на фронте?— писал он в своих фронтовых записках (1914—1917 гг.).—... Бурлит и катится великий поток революции по всему фронту. Он захватил и увлекает в бурном стремлении миллионы солдатских сердец, все свежие, молодые силы народной армии. В этом потоке кипит и клокочет живая народная душа, которая громко, открыто и торжественно заявляет, что новый мир не только родился, что политическое развитие не только коснулось масс, но уже становится их глубокой потребностью. И невольно дивишься, слушая серых и будничных ораторов в

солдатских шинелях: где же эти простые сердца научились загораться такой любовью к свободе? Кто сообщил их словам такую гордую страстность? Не знаю, не знаю. В эти дни я скован какой-то чудесной загадкой, истинный смысл которой откроется лишь много десятилетий спустя. А сейчас, в настоящую минуту, я благословляю судьбу, судившую мне быть свидетелем этого священного зрелища...»*

Наш дом был средоточием интеллигенции разночинной, подготавливавшей революцию и ожидавшей ее: писатели, журналисты, литераторы, художники, музыканты. Среди них были и подпольщики и легальные социал-демократы.

Отец вел литературный отдел в газете «Киевская мысль», одной из самых либеральных газет при царизме, в которой печатались Луначарский, Свидерский, Троцкий, Короленко, а наряду с ними и социал-демократами меньшевики Гинзбург-Наумов, Балабанов, Лиров, Заславский и др. Редактировал газету прирожденный редактор Иона Рафаилович Кугель, умерший в Ленинграде в блокаду за редакторским столом. Нам, детям, он представлялся бородатым Дедом-Морозом. У них с Екатериной Тихоновной, как и у нас, тоже было четверо детей, и когда мы к ним приходили, Иона Рафаилович затевал с нами развеселую кутерьму.

Издателем газеты был умный прижимистый либерал, поляк Рудольф Лубковский, который хорошо улавливал дух времени, допускал в газете много вольностей и поставил газету на широкую ногу. Сын его Мечислав Лубковский, как мне помнится, был большим меценатом, женат на прекрасной и очаровательной певице Воронеж-Монтвид и потому тесно связан с театрами, с искусством.

Отец наш Лев Наумович Войтоловский критик-публицист, врач и писатель, был человеком высокой одаренности, вернее таланта и эмоционального накала, широко образованный и чрезвычайно трудоспособный. Много ездил по свету, много видел, жадно впитывал в себя окружающее, щедро и плодотворно отдавал свои знания. С ним всем было интересно, и жизнь расцветивалась в его присутствии. Ум острый и яркий, как и перо. Возможно, ему в некоторые моменты нехватало академической точности и скрупулезности, попросту не было на нее времени.

Папа был великолепный собеседник и рассказчик, но умел и слушать. Когда он бывал в ударе, эпиграммы и стихотворные каламбуры легко и метко слетали с его губ. Как врач он был на фронте на всех войнах своего времени: русско-японской, первой империалистической и гражданской. Во время империалистической войны — пораженец. Во время

*Войтоловский Л. «По следам войны». (Примеч. авт.)

революции — председатель армейских Советов (тринадцатая армия) и делегат от фронта на Втором съезде Советов. Но революционный террор его, порой, смущал и создавал поводы для колебаний. Только гражданская война помогла ему безоговорочно стать на сторону большевиков и пойти в Красную Армию.

Круг его интересов и занятий был чрезвычайно широк: медицина, социальная психология, философия, литература, искусство. Читал и писал он постоянно — сидя, стоя, лежа, во всякой обстановке, о чем свидетельствуют хотя бы его фронтовые записки, превратившиеся в большую уже упомянутую книгу «По следам войны» и путевые очерки — плод путешествий и разъездов. Записи велись в походной обстановке, на бивуаках, между боями, в госпитальных палатках, где попало. Так как у нас на квартире бывали обыски, мама весьма остроумно сохранила записные книжечки отца в сейфе банка. Ценностей у нас, само собой разумеется, никаких не имелось — семья жила на литературные гонорары и на мамины — за уроки по роялю, а в сейфе лежали фронтовые записки папы. Отец был человеком чутким и душевным, он помогал десяткам, сотням людей советом, литературной редактурой, чем мог. Люди всех профессий, а больше всего, конечно, писатели, поэты, литераторы, переводчики стекались к нему со всех сторон. Потоками шли к нему и рукописи. Работа в газете носила потогонный характер — литературные обзоры и критические подвалы два раза в месяц писались круглосуточно. Каждые два часа, в иные дни, прибегали из редакции мальчишки за рукописями отца и с гранками для правки. И все-таки постоянно кто-нибудь дожидался отца — рабочий, студент, поэт...

Дома он нередко бывал сосредоточен и даже несколько суров с нами, детьми. Дружба наша с отцом пришла только, когда мы подросли. Всегда погруженный в творческую работу отец как бы передоверил наше воспитание матери. Между ними был глубочайший контакт и согласованность, наверно, они о многом думали вместе, но мы этого тогда не замечали. Центром жизни в семье для нас была мама. В гостиной неизменно звучал рояль — мама давала уроки музыки. О нас говорили, что у Войтоловских плачут и смеются, рожают и пишут под музыку. Мама была очень хороша собой, обаятельна, энергична, инициативна, прекрасно и свободно играла и любила музицировать на людях, но главное, что в ней привлекало, — это любовь к жизни и умение объединить людей, зажечь их, вдохнуть душу живу. Так было и среди взрослых, и среди детей, а позднее и среди молодежи, которая больше всего любила собираться у нас дома.

Когда мы были еще детьми, в нашем доме собирались

друзья родителей. Запомнились резкие острые политические споры и взволнованные беседы на общественно-литературные темы, в существо которых мне еще трудно было вникнуть, так обрывочки, островки: забастовки вообще и в типографиях, горячие разговоры вокруг Думы, споры о декадентах, смерть Л. Н. Толстого и демонстрации молодежи в крупных городах. Смерть Толстого явилась первым общественным событием, которое меня потрясло; впервые в кино видела похороны Толстого и горько плакала вместе с мамой и другими, мне было уже около восьми лет. Ранее или в то же время помню встревоженные слова папы о самоубийствах среди молодежи. Он много и обличительно писал по этому поводу. Многие стихи Блока, Белого, Брюсова, Саши Черного, Эренбурга, Волошина, Бодлера, Рильке и других впервые не прочла, а услышала из уст тех, кто у нас бывал дома. Позднее, когда их читала, отдаленно уже знала. Одновременно едкие стихи-пародии на модернистов, некоторые на глазах писались и даже инсценировались.

Несколько раз бывали обыски. Один из них произошел на даче и почему-то ассоциируется у меня с пожаром — то ли при обыске что-то подожгли, то ли просто очень перепугалась. В то время мне было шесть лет. Я спала. Разбудили гиканье и крики. Нас подняли с постелей, одели и согнали в кучу. Дачу со свистом окружили полицейские и казаки. Они перерыли весь дом и сад, но тот, кого они искали, успел бежать. Кто у нас скрывался, не помню. Писатели и литераторы, жившие в Киеве, бывали у нас постоянно. Кроме того, мама принимала активное участие в создании так называемой «школы матерей», построенной на общественных началах и на самых передовых педагогических принципах. Эта начальная школа получила реальное воплощение, и все ее создательницы бывали у нас: мама отдавалась этому делу со всей душой, как и другие. Помню их по сей день: Беклемишева, Ваккар, Кранц, Эйшикина, Кистяковская, Янушевская, Дижур, Френкель, Бриллиант, Давидсон, Свенсен, Брюно и др. Все матери сами преподавали и оборудовали школу. Большинство детей, обучавшихся в ней, стали друзьями нашей юности.

Бывали у нас и приезжие общественные деятели, писатели, художники, музыканты. Луначарский был другом отца. Несколько дней гостил шлиссельбуржец Николай Морозов. Мы, дети и уже молодежь, благоговейно ходили перед ним на цыпочках, а он был весьма прост, рассеян и растроган. За тесным столом вел долгие беседы о пережитом и о больших планах работ, как будто жизнь была ему отпущена по меньшей мере на век.

Большим другом нашей семьи был остроумнейший и

внешне тяжеловесный Демьян Бедный. Он беспощадно поддевал метким словом всю молодежь, толпившуюся постоянно у нас, но мы его любили. Иногда он читал отцу и матери свои лирические стихи, так и не опубликованные до сего времени, хотя, помнится, папа говорил, что стихи его — подлинная поэзия. Я их не помню. Часто бывал Корней Чуковский, хотя он об этом по каким-то соображениям нигде не упоминает. Быть может, потому что папа его резко критиковал в годы реакции, а быть может, и по иным соображениям. Кто его знает...

Художник Штернберг писал портрет мамы и засиживался целыми вечерами. Подолгу гостил Станислав Вольский. Впервые от него слышала рассказы об Индии, йогах, теософических кругах и в то же время — пламенное увлечение Оливером Кромвелем и Мильтоном. От его рассказов кружилась голова... Останавливался во время концертных поездок крупнейший пианист, племянник матери Александр Боровский. Огромным наслаждением было слушать его с утра до вечера. Приезжала мамина двоюродная сестра, пианистка и профессор Петербургской консерватории Изабелла Венгерова, но, к сожалению, играла дома неохотно. Зато когда гостила певица Бутомо-Названова вместе с мужем, удивительно схожим с Герценом, пел весь дом. Певица проникновенно исполняла романсы Глинки и других русских композиторов под аккомпанемент мамы или даже мой, знала много народных песен и требовала, чтобы мы ей подпевали.

Перед отъездом в эмиграцию несколько дней жил у нас Иван Алексеевич Бунин с женой Верой Николаевной. Отец много писал о Бунине, последний очень ценил критический дар отца и то, что он о нем писал. Они были в дружеских отношениях. Бунин был в тяжелом настроении, весь сжатый, бледный, едкий, малоразговорчивый. Видимо, очень страдал от своего бесповоротного решения покинуть Россию и с какой-то болезненной ревностью смотрел на всех, кто в ней оставался. Я уже знала и любила писателя Бунина, и его облик дисгармонировал с моими представлениями. Отец был тоже сдержан, потому что не сочувствовал Бунину в его решении. Через весь дом прошла какая-то тень, которая омрачала встречу с писателем. Непринужденность нашей домашней обстановки как рукой сняло. Было грустное очарование, близкое к разочарованию. Ничто не клеилось, ни разговоры, ни литературные игры. Жена Бунина Вера Николаевна с тонким иконописным лицом держалась скромно и сдержанно, а на Бунина смотрела с молитвенным выражением. Ей было все понятно, нам всем — нет.

Очень хорошо помню дни, когда к нам заходил В. Г. Ко-

роленко. Приезжали Лидия Сейфуллина и Пантелеймон Романов, другие. Иногда заполнял дом писатель Мстиславский со всем своим выводком детишек. Звали их Ира, Мака, Паля, Гога, Леня, Гага. Поднимался шум и гам. К ним изредка присоединялся художник Прахов. Заходил всегда приподнятый, недостижимый и непостижимый Осип Мандельштам, но только к папе. Много разных людей...

Однако в доме никогда не было безалаберности, скорее постоянная подтянутость. Родители считали, что единственно правильный путь воспитания — ни минуты праздности. Читать нам разрешалось абсолютно все, без запретов. И мы читали классиков, русских и иностранных, критиков, революционеров-демократов, путешествия, толстые журналы: «Современный мир», «Вестник Европы», «Аполлон», «Весы», «Мир Искусства»...

У отца была своеобразная библиотека, в которой в кажущемся беспорядке толпились разнообразные сокровища культуры, книги, заложенные внутри разноцветными бумажными закладками.

Я говорю «в кажущемся беспорядке» потому, что стоило кому-нибудь переставить книгу, как папа приходил в ярость и грозил запретить нам подходить к его книгам. Никаких шагреневых переплетов или ровных шеренг полных собраний сочинений. Трудно было неопытному глазу понять, по какому принципу книги были расставлены. То была рабочая библиотека писателя-журналиста. Можно было часами листать заманчивые, сочно-яркие номера «Аполлона» или зеленые «Весы» с каким-то декадентским рисунком на обложке. Попадались книги, которые завлекали названиями, например, «Панидеал» Гольцапфеля. Прочла все, о чем — забыла. Или книга Гоббса о войне — на обложке черный флаг на горе трупов. Таинственный «Мусaget» или «Шиповник» с красной виньеткой. Куно Фишер и Плеханов, Флобер и Гейне, Бергсон и Фрейд. Все поэты, не говоря уж о русских классиках.

Чтение было самое беспорядочное, но книга для нас была жизнью, ее продолжением и началом. Это осталось навсегда, в какие бы водовороты нас ни бросало. В отрочестве и юности, особенно до революции, которая своим разворотом отодвинула на какой-то период чтение в сторону, книги были этапами жизни. Помню, в день, когда мне исполнилось 13 лет, такой же юный наш друг Леня Балабанов подарил мне «Реалисты» Писарева с надписью: «Прочти, пойми и убедись!», потому что жить не по Писареву и не по Рахметову казалось нашим мальчишкам — преступлением.

Учились мы со старшей сестрой Эллой в гимназии Жекулиной, которая давала аттестат зрелости и в которой ла-

тыню занимались пять часов в неделю, больше, чем русским языком, на который отводилось четыре часа. Полная нагрузка в работе и занятиях все же не служила препятствием для того, чтобы у нас по субботам и воскресеньям собиралось множество молодежи.

В Киеве накануне революции существовал так называемый КУК (киевский ученический кружок), вошедший в историю революционного движения. Он состоял из молодежи лет на пять старше нас. Дома по субботам собирался «Неокук», куда вошли и многие товарищи из «старого» КУКа: братья Довнар-Запольские, братья Казаковы, Миша Каган, Таня Дзивицьковская, Петро Антропов, Сережа Тутковский, Володя Штейн и другие. Ядром «Неокука» были наши сверстники, девушки и юноши лет 16—17: Леня Балабанов, Надя Эйшикина, Боба Кранц, Абраша Пекерский, братья Горелики, Саша Константиновский, Андрей Шавыкин, Катя Трощенко, Нюся Бескина, Сережа Палей, еще многие и многие.

Круг наш не был ограничен, каждую субботу приходили все новые и новые товарищи. Тогда речи о доверии и недоверии быть не могло. Подбирались люди, для которых будущее революции было всем. Но и непримиримой политической нетерпимости между нами пока не было.

Обычно каждую субботу у нас происходили собрания с докладами по политэкономии, истории социализма, тактике революции с информацией о ходе революции и борьбе партий. Шумные дебаты, жаркие дискуссии. Всем нам тогда казалось, что от того, как мы решим иной вопрос, зависит судьба не только русской, но и мировой революции. Масштабы наших ролей были для нас полностью сдвинуты.

Киев тогда был котлом страстей и чехардой властей. Часть товарищей уходила в подполье при подходе белых, как и отец, часть оставалась и приняла участие во всеобщей забастовке учащихся при деникинцах. Большинство же ушло в Красную Армию, в молодежные дружины, или в отряды самообороны. А до тех пор дебатировались всевозможные вопросы, которые щедро и беспощадно подбрасывала революция. Все надо было решать незамедлительно. Писали и читали стихи и поэмы, строили проекты создания городов-садов и коммун-общешитий или, взявшись за руки, шеренгами шагали по мостовым весеннего Киева под декламацию стихов Владимира Маяковского, только что проникших к нам не в печати, а в устной передаче товарищей, приехавших из Москвы.

Помню, как однажды папа, возмущенный нашим шумом, зашел и резко сказал: «Идет гражданская война, а вы дурачитесь». Дело в том, что после серьезной части наших

собраний, когда мы до хрипоты спорили о судьбах человечества, частенько переходили в большую комнату с роялем, где начиналось то, что называли «головотяпской частью». Один из наших друзей Леля Кагна, рабочий с завода Гретера (ныне завод «Большевик»), спокойно ответил папе: «Вы правы и не правы, Лев Наумович, скоро пробьет час для каждого из нас, и мы так же весело пойдем на смерть за свои убеждения и за революцию, как поем сейчас».

Он не ошибся. Через несколько недель, когда деникинцы подходили к городу, из-под Белой Церкви привезли трупы убитых в боях курчавого Лели Кагны и страстного оратора-большевика белокурого Славы Довнара, которого мы называли «Нарцисс». А за ними ушли из жизни друзья раннего детства — комсомолец Борис Кранц, естествоиспытатель, влюбленный в свою науку и лабораторию, расстрелянный деникинцами, когда они ворвались в Киев на семь дней, со второго по девятое октября 1919 г. В результате этой кровавой недели выросло молодежное кладбище на 20 тысяч могил. Погиб и Леня Балабанов, одареннейший романтик и один из организаторов киевского комсомола. На фронте против белополяков он заболел сыпняком и умер в неполные 19 лет. Погиб он под Винницей, где есть улица и клуб его имени. Перебирая после его смерти бумаги, дневниковые записи, находила и нехитрые стихи, характерные для тех лет:

Паровоз поперхнулся сугробом,
Жалобно к рельсам пригроз.
Надо быть грубым, чтобы
Не понять паровозную грусть...

Перелистываю страницы памяти, и длинной вереницей проходят предо мной самоотверженные, любимые и милые друзья юности. Остались единицы. Умерли естественной смертью несколько человек. Остальные погибли либо в гражданскую войну, либо в кровавый период нашей внутренней истории, либо в Отечественной войне. Не помню никого из них, о ком бы не думалось с чувством теплой и благодатной дружбы, уважения, острой горечи. Никто не изменил юношеским мечтам, все стали активными борцами и строителями, многие прославили отрасли, в которых работали.

О тех, кто погиб в гражданскую и Отечественную войны, сохраняется народная память, существуют воспоминания, легенды. О тех, кто погиб в 1937—1941 гг. и в 1949—1953 гг., мы ничего, ничего не знаем. Как погибли Сережа Палей, рабочий киевского «Арсенала», скромнейший Андрей Шавыкин, член Киевского горкома партии, лобастый, остроумнейший Саша Константиновский, уверявший продавцов в магазине, что только товарный фетишизм мешает им взять взамен про-

дуктов его пиджак. Причем говорилось об этом с такой серьезной миной, что продавщица решила вызвать милиционера. Как и когда исчез жгуче-рыжий красный профессор Коля Эльвов, про которого говорили, что будучи студентом университета Свердлова, он предлагал Сталину писать с ним книги по истории — вы, дескать, хорошо пишете, а у меня много хороших идей, вот и будут нужные книги. Не знаю, подлинный ли это факт, но так подтрунивали над ним товарищи. Через какие муки прошли литератор Алеша Селивановский, знаменитый трибун Киевского университета, Володя Довнар, первый его комиссар, Миша Орлов? А другие?

Почему я отошла от событий, с которых начала, зачем остановила внимание на моей семье и среде, в которой росла? Не по нескромности. Потому, что многие, именно такие семьи, были растерзаны, и из такой среды вербовались шеренги, колонны, эшелоны арестантов и мучеников в тот период, о котором я хочу рассказать...

В нашей семье постепенно один за другим было арестовано шесть человек. Три сестры и мужья трех сестер. Трое из них члены Коммунистической партии и трое беспартийных.

В 1937 и в 1939 гг. приходили и за отцом с орденом на арест, и только слепота и расстройство нервной системы спасли его от заключения; таким образом из десяти взрослых в семье подлежало изъятию 7 человек.

Отступления рвут нить... Итак, конец 1934 года. 22 декабря опубликовано сообщение, что Николаев является членом террористической организации и совершил убийство «по поручению ленинградского центра оппозиции». 30 декабря — новое сообщение о расстреле целой группы. Какое это имеет отношение к нам? Никакого! Но Коля сидит...

Вчера и сегодня для меня уже разошлись, как разведенный ночью мост. В первых числах января я исключена из аспирантуры, а как только закончился карантин, снята с работы в ЛВШПД*. Сверху я уже мечена особой меткой. Отношение окружающих в этот период скорее сочувственное. Страх за себя, подозрительность, двоящиеся и пр. придут позже. Для того, чтобы обкорнать сознание и совесть, требуется и время, и сокрушительные удары. Пока умами владеет недоумение. Вот ближайший пример: дети больны scarlatinной, навещает их доктор Цимбал. Он умел придумать даже в болезни интересное для ребят. Валюша капризничала. Доктор принес разлинованную бумагу и предложил Ленечке отмечать ее поведение крестиками и ноликами, что оказало на Валю магическое действие. Как-то он меня спросил: «Что с

* ЛВШПД — Ленинградская Высшая школа Профдвижения. (Примеч. авт.)

вами? Ведь дети поправляются, а вы неузнаваемы, привык видеть вас веселой, занятой, что у вас стряслось?» Из-за карантина не с кем было словом перемолвиться, и я рассказала постороннему человеку обо всем. Доктор был членом партии, заведовал детской больницей, но никакого отчуждения не почувствовала. Напротив, теперь он заходил ежедневно, лечил детей безвозмездно и не успокоился до тех пор, пока дети окончательно не выздоровели. Меня ни о чем более не спрашивал. Года через два такое было бы уже немыслимо. После выздоровления детей я его больше не видела. Слышала, что во время блокады он героически спасал детей, а сам погиб.

Через несколько недель после ареста Коли арестован и муж моей младшей сестры Али — преподаватель университета по истории России Константин Нотман, а вслед за этим Аля исключена из комсомола. С пионерских пеленок моя младшая сестренка фанатична и прямолинейно-правоверна. Ей стукнуло только что 22 года. У нее росли два малыша, с которыми она ходила на лекции, заткнув за пояс комсомольской формы рожок с молоком. На демонстрациях она плясала со своими малышами на руках. Теперь она тоже училась в аспирантуре, обогнав меня на 10 лет, и состояла в том же списке исключенных.

Черный список исключенных змеился длинной полосой у самого входа. Здесь мы с Алей и столкнулись. К списку не протиснуться, но нас, исключенных, безмолвно пропускали.

Трудно определить признак, по которому составлен был список. Среди них член партбюро Паня Хорькова, эстонский коммунист Эрнст Паклар, жены и сестры арестованных в декабре коммунистов, много комсомольцев, несколько беспартийных и те, кто в дальнейшем стали провокаторами и доносчиками. У большинства из этого списка судьба очень тяжелая, согласно списку они изымались из жизни, за исключением тех, кто повел себя «применительно к подлости». Эти и по сей день в почете.

Скажу несколько слов о Пане Хорьковой, человеке примечательном, мне близком, и погибшей очень скоро. С ней мы учились на разных отделениях, сблизилась, бывая вместе в филармонии. Ум и речь математически отточенные, строго логические. Занималась много и сосредоточенно. Одевалась она изящно, даже изысканно и, видимо, уделяла этому достаточно внимания. Я как-то заметила, что воспринимаю в таком пристрастии к одежде некое несоответствие с ее стилем жизни. Напротив, возразила Паня, все строго продумано, объясню почему. И она рассказала свою биографию. Во время гражданской войны работала политработником на фрон-

те. Там ей встретился еврейский юноша из маленького местечка, на редкость способный и страстно увлеченный революцией. Он заболел тифом, выжил. Затем приехал в Ленинград к Пане и стал ее мужем. Работала первые годы совместной их жизни Паня, а он учился, преклонялся перед ее авторитетом. Шагал с легкостью по учебе и жизни семимильными шагами. Теперь, говорила она, он законодательствует во вкусах дома, и я с наслаждением ему подчиняюсь. Да и как может быть иначе? Он — человек искусства, директор Мариинского театра, а я — ученый сухарь, логик, аналитик.

Вскоре после исключения из аспирантуры Паню арестовали, продержали четыре месяца в одиночке и выпустили. О том, что происходило в тюрьме, она не рассказала мне. Из партии исключили. На работу никуда не принимали. Муж, которого она выпестовала и с которым прожила пятнадцать лет, за время ее ареста сошелся с балериной и ушел из дому. Паня жила в квартире с сестрой. Была у нее собака. Когда меня выслали из Ленинграда, мы переписывались. Письма ее были больше чем горестные. Смятая, уязвленная, покинутая, насыщенная горем, как болотный мох влагой, опустошенная изоляцией и одиночеством, она приезжала ко мне в ссылку на несколько дней. Показалось, что она несколько повеселела, на что-то надеется. Прислала ласковое письмо, осталась нераскрытой, неп прочтенной. Через месяц Паня покончила с собой, продумав все обстоятельства своей смерти до мелочи. Собаку поздно вечером выпустила гулять. Дверь из своей комнаты заперла на ключ. Наметила под матрацем, прошитым железным кольцом, место для дула револьвера. Именной револьвер у нее хранился со времен гражданской войны. Обвела на простыне контуры своего тела. Стреляла в сердце через матрац, чтобы заглушить звук. И метко. Собаку впустили домой поздно. Ночью она завывала и подняла весь дом на ноги. Взломали дверь, Паня уже остыла. Никакой записки. Никаких объяснений. На похоронах Пани, которую не только уважали, но и любили товарищи-аспиранты, не было никого, кроме ее сестры с мужем и мужа моей старшей сестры Н. В. Дрелинга. Время менялось и люди вслед за ним. Не отставали...

На следствии среди прочих предъявленных мне обвинений есть и такое: подстрекательство Хорьковой к самоубийству с целью дискредитации советских органов. Что к этому добавишь? Паня Хорькова не могла осилить той трагической коллизии, перед которой очутилась не одна она, общественной, а значит и личной: кого защищать, против кого бороться? Ее не выпустили из тюрьмы, а выбросили в кровоточащий опрокинутый мир, некогда ею созданный. Ей казалось — все погибло. И она погибла.

О некоторых товарищах из списка исключенных рассказу в дальнейшем, о других или мало знаю, или больше никогда не слышала.

Итак, я исключена из аспирантуры. Многие в те годы учились и работали. Я вела в ЛВШПД несколько курсов: Историю развития общественных форм, позднее Историю Запада, Историю Коминтерна и Историю Профинтерна. Ныне это специализированный вуз, тогда же нечто между Рабфаком и Комвузом. Работалось там исключительно хорошо. Преподаватели — в основном начинающие научные работники и пропагандисты. Занимались студенты с неослабным интересом и упорством. История подтверждается их живым опытом, почерпнутым на заводах, в цехах. Учебников почти не было. Преподаватели готовились по архивным материалам, журналам, газетам, информационным бюллетеням Коминтерна и Профинтерна и, когда удавалось достать, по иностранной печати. Просиживая долгие вечера в библиотеке дискуссионного клуба на Мойке, 59 и в Публичке. Необходимо было знать и практику профработы, чтобы не попасть впросак — студенты буквально закидывали самыми неожиданными вопросами, их ведь тоже ждали с ответами. Не однажды часов занятий по расписанию не хватало, возражения и обсуждения продолжались в перерывах, на улицах, случалось, что и дома, и в дискуссионном клубе.

По окончании студенты в большинстве направлялись на руководящую работу, некоторые в аспирантуру и в Институт красной профессуры. Состав слушателей неровный: вполне зрелые и подготовленные люди и такие, которые свободно ориентировались на производстве, но были беспомощны в элементарных знаниях.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что большая половина преподавателей скошена террористической косой. С некоторыми студентами позднее тоже встречались на этапах и в лагере. В неприглядной барачной неразберихе оказалась как-то рядом на нарах со студенткой ЛВШПД первых выпусков Марией Николаевной Лукьяновой, наделенной практической сметкой, тонкой иронией, неунывающим характером и особой памятью на частушки. Она знала их бесчисленное множество, а может, кой-какие и сама сочиняла. Подтрунивая над собой, она рассказала, как экзаменовалась в Институт красной профессуры: «Признали меня талантом, любили тогда таланты из народа. Поезжай, говорят, Маша, учись, будь профессором! Отмахиваюсь руками и ногами. На «собачьей радости» выкормлена, с десяти лет на табачной фабрике, какой я профессор? — один смех. Лучше я вам покажу,

как я папиросы фасую, тут уж я не подкачаю. И слушать не желают: «Где ты, Мария, тред-юнионистского неверия в рабочий класс набралась?» Уговорили, еду, но досадую. Приехала. Все как один культурные, одна я — марксистский ноль без палочки. Первый экзамен философия. Вопрос: «Что такое субъект?» (или что-то в этом роде).

— Не торопитесь, подумайте...

— А что думать? Субъект — подозрительная личность, — отвечаю.

Экзаменующий не улыбается, серьезно смотрит, смутился.

— Что вы понимаете под объектом?

— Мой объект оказался «субъектом», вот и рощу девочку одна, без отца.

— Кем работаете?

— Председатель ленинградского Союза табачников.

Посмеялись мы с ним по-хорошему.

— Так не хотите на другое поприще?

— Нет, не хочу, с этим решением и ехала.

На этом моя профессура закончилась».

Как только сняли карантин, я пошла в ЛВШПД за расписанием. В раздевалке ни обычного оживления, ни приветственных возгласов. Молча жмут руку и отходят. Холодок настороженности и во мне, и в товарищах. Иду к директору Зверс. Ее уже нет, снята. Секретарь направляет к заведующему учебной частью И. Шерешевскому. Он быстро поднимается мне навстречу, тепло пожимает руку и, не мучая неизвестностью и неопределенностью, говорит: «У нас есть предписание отстранить вас от работы, на время... пока муж сидит». Потом притуплиются чувства, но первые удары разят ножом по сердцу, оскорбительны. Ты для всех ничто. Горчайшее ощущение несправедливости и непоправимости. «Поймите, — говорит Шерешевский, вполне дружески, — тяжело и мне..., но что делать?» Ему тоже, наверное, тяжело, но не так, как мне. Выдали справку. Вот она:

Справка

«Дана Войтоловской А. Л. в том, что она работала в ЛВШПД с 01.09.1930 г. по 12.02.1935 г. в качестве преподавателя Всеобщей Истории. За время работы в школе замечаний со стороны Дирекции и Кафедры по содержанию преподавания т. Войтоловской не было. Со стороны слушателей пользовалась авторитетом».

Подписи.

Привожу ее лишь для того, чтобы показать, что в самой справке заключался некий протест. Бессмыслица увольнения бросалась в глаза. Без притворства и без ярлыков, типичных

для дальнейшего. Приказано — против воли снимаем. Приказ и сочувствие приказу не равнозначны, приказ вызывает сомнения, непонимание.

Это надо пресечь, искоренить, добиться судорог, паралича, убийства общественной инициативы, полного механического подчинения приказам сверху. Смертельные яды доза за дозой вводятся в общественный организм. Не просто поверить в невероятное, убедить в продажности неподкупных, в отступничестве учителей, в достоверности фальшивок, в справедливости лжи, заставить уверовать в то, что аресты, насилия, кровь, смерть совершаются во спасение. Для этого нужны годы и чрезвычайные меры. И они пущены в ход по всем каналам. Наступление на общественное сознание продолжается, наращивая темпы, изобретая все новые средства, подавляя страхом, сея панику.

Распрощалась с ЛВШПД и с Шерешевским навсегда. Мои изгнания только начинались. Он же убит на фронте.

Здесь, в ЛВШПД, проработала несколько лет со всем энтузиазмом молодости, любви к делу и подъемом, который создает товарищеский творческий коллектив. На что надеяться в другом месте будучи уволенной с работы, исключенной из аспирантуры, с мужем — в тюрьме и двумя малышами? Зарботка нет. Жить не на что. Обратилась за содействием в профсоюз высшей школы. Через несколько дней меня вызвали для разбора вопроса об исключении из аспирантуры. От ЛИФЛИ явились представители от администрации и профкома. Их выступления выражали полную растерянность. Указаний шельмовать, видимо, пока не имелось. И тот, и другой выступали с похвалами в мой адрес: «училась хорошо, получала стипендию, вела большую общественную работу». Однако никто не задал вопроса о том, почему же исключена, это понималось само собой. Решение вынесли по истине соломонowo: «Исключение утвердить, приложить все усилия для устройства на работу». На лестнице догнал председатель профсоюза высшей школы Касаткин, который вел собрание. Ранее мы не были знакомы. Он был очень взволнован и с горячностью и искренностью заверял меня, что он приложит все силы и из-под земли достанет работу, не успокоится, пока не удостоверится, что я при деле. Чуткий и проникнутый сознанием ответственности за происходящее, Касаткин уже был посажен, когда я пришла к нему через неделю за ответом. Работы не было, а жить с детьми надо было.

В первой половине февраля получила разрешение на свидание с Колей. Свидание происходило в обстановке, ничем не отличающейся от свиданий в царских тюрьмах, хорошо известных по описаниям, особенно Л. Н. Толстого. В наших условиях оно казалось возмутительным. Я еще не знала, что

ожесточенный XX век несет и неслыханно жестокие условия совершенно независимо от формаций. «Шпалерка» — внутренняя тюрьма на улице Воинова. Полутемный, мрачный и грязный коридор. Сетки-решетки с двух сторон. Посредине надзиратели. Сначала впустили плотный ряд посетителей, затем привели заключенных, бледных и обросших. Конвоиры стали по обе стороны прохода. Поднялся невообразимый шум, крик, подобный лаю. Каждый невольно старается перекричать других. Под конец десятиминутного свидания все сливается в сплошной гул. Голова гудит, чувства притупляются, вернее — вовсе исчезают. В этих сумасшедших свиданиях есть, однако, одна положительная сторона: конвоиры следят лишь за тем, чтобы ничего не перебрасывали через решетки, слова до них не долетают, и можно передать на словах самое важное. Узнала, что Коля сидит в одиночке, без книг и газет. Обвиняется в подпольной оппозиционной деятельности, поскольку в прошлом принадлежал к оппозиции. Ни одно из предъявленных ему обвинений не подписал и сформулировал ответ так: «Все обвинения считаю клеветническими и с презрением их от себя отметаю». Следствие закончено. Ждет приговора. Следователь у него Райхман. Я не сказала Коле, что отовсюду снята. Помочь он не мог, а муки прибавилось бы. Говорила, что дети здоровы, что аресты продолжаются и ширятся. Что-то сковало меня изнутри и это было страшно тягостно. Я не хотела его расстраивать, и это мешало донести до него настоящее тепло. Страшилась всего личного, горчайшего. Коля был спокойнее и увереннее меня. Свидание единственное и последнее на годы...

Коля — натура романтическая и стоическая. Он беспрдельно был предан, привержен сперва идее революции, а потом и самой революции. Он не отделял себя от нее, слит с нею в мышлении и чувствах, но как-то это не мешало ему так же самозабвенно относиться к семье. В этом смысле никакая разлука меня не страшила. Была глубоко уверена, что его ничто не сломит. Все это нисколько не умаляло ни бед, ни горечи разлуки.

В той же группе приведенных на свидание узнала историка Цвибака, философа Григорова и других...

Несколько дней спустя через окошко в НКВД сообщили, что Коля приговорен к трем годам лагерей. У «большого дома» на Литейном в ожидании обещанного свидания простояли с семилетним сынишкой на морозе восемь часов. Каждые 40 — 50 минут нам отвечали: «Ждите, вызовут». И мы ждали. Леня устал, истомился, но терпеливо помалкивал, не жаловался, топал ногами, чтобы согреться, не выпускал из рук самодельного подарка отцу, а только перекладывал его из одной руки в другую. Это было 13 февраля, в день

рождения Коли. Леня обязательно хотел его увидеть и порадовать подарком. Он уже многое понимал.

А пока мы ждали... В 11 часов ночи наконец сказали, что Коля давно увезен на Московский вокзал для отправления в Карелию. Мы бросились на вокзал и, конечно, никого не нашли, так как многочасовое ожидание с ребенком у здания ГПУ было издевательским розыгрышем следователя Райхмана. За два дня до того Колю увезли со Шпалерки в нижегородскую пересылку для отправки в Ухто-Печорские лагеря. Следователь прекрасно был осведомлен, когда и куда везут этап, но морил нас на морозе, чтобы мы не могли встретиться. Невыносимо тяжело после такого дня возвращаться в опустевший, опальный дом, больно за Ленечку. Он возвращался разочарованный, грустный, озабоченный и в то же время следил за мной и ласково мне улыбался. Перед дверью в нашу квартиру он заговорщически мне сказал: «Мама, не скажем бабушке и Валюше и вообще никому, что папа уже уехал». Дети в такие моменты — спасение, источник выдержки и деятельности. Первую половину моего дня занимала безрезультатная беготня в поисках работы. В лучшем случае — отказы, в худшем — не желают разговаривать. Продолжала заниматься — ежедневно два часа английским, работала и над диссертацией, но так исполняют ритуал, лишенный внутреннего смысла. Значит впустую. Взялась за перевод с немецкого Вайта Валентина «Революция 1848 г. в Германии». Книга буржуазного прогрессивного историка написана ярко, образно, как художественное произведение. Работа шла туго, как все в тот период. Жизнь сотрясена, поглощена другим, мысли как в лихорадке, не знаешь, за что ухватиться.

Профессору А. И. Молоку, у которого работала в аспирантуре, редактировавшему перевод, мало улыбалась перспектива работать с исключенной аспиранткой. Перевод ему не нравился, критиковал с нескрываемым раздражением и явным желанием вызвать меня на отказ. Задела перемена в его тоне. Возвращалась от него злая и печальная. Остановил Евгений Викторович Тарле. Он вел у нас источниковедение, знал хорошо Карпова и, конечно, был осведомлен о моих злоключениях. Евгений Викторович в нашей небольшой аспирантской группе из четырех человек скорей посвящал нас в святая святых источниковедческой работы, своей и других, чем говорил об общем источниковедении. В том и заключалась прелесть занятий с ним: всегда неожиданное с характеристиками исторических деятелей и современных историков, всегда новое, своего рода источниковедческая мемуаристика. То расскажет о найденной им в архиве никому неведомой папке о Талейране, то о споре в стенах Сорбонны

с Оларом, столкновении с другими историками Франции, о встречах с Дю-Гаром, то нереальные, но заманчивые перспективы поездок с ним в заграничные архивы. Вне занятий он всегда торопился и разговаривал мало. Сейчас он и не думал торопиться, а полон был дружеского участия. «Собираетесь,— говорил он,— посвятить жизнь и деятельность науке Истории, а надеялись на спокойное бытие. Не бывать тому... Сама наша наука то бешено рвется вперед, ломает, рушит, то мчится вспять, то выкидывает трюки, какие и не предположить. Только в учебниках об исторических формациях она катит гладко по волнообразной схеме. Случившееся с вами еще не Ватерлоо. Давно ли я, «классовый враг на историческом фронте» (так я именовался) почитал за благо читать курс в Совпартшколе в Алма-Ате? Не сто лет прошло, а я у финских волн и в том же университете!»

— Вас высылали как историка Тарле Евгения Викторовича, а меня безмянно, безлично, в массе, в гуще, которой конца-края не видно...

— Ну-ну, вы действительно правы, мы не у изначальной, но и не у конечной точки течения. Тем важнее не растеряться, не придавать значения второстепенному. Вот рассказали о Молоке и огорчаетесь его отзывом. Он и трус, и лоялен до плохого, иметь дело с вами — обременительная роскошь, не всем по душе и по карману... Перевод продолжайте, книга увлекательная и полезная, ее издадут. Будут трудности — заходите ко мне, помогу и потолкуем.

Встреча с Тарле ободрила, даже порадовала. Крупнейший историк, представитель свободомыслящей русской либеральной интеллигенции Тарле всегда занимал в международных вопросах антигерманскую линию, поэтому его приближенность к нашему правительственному руководству во время Отечественной войны органична и естественна. Ему по праву принадлежала роль консультанта в ряде вопросов. Обидно другое: за его подписью появлялись статьи с оттенком дурного вкуса, сниженного стиля в угоду указующему персту... «Покорный общему закону...»

Кто-то из товарищей посоветовал обратиться по поводу работы к заведующему университетской библиотекой. Фамилия его была Карель. Ранее он руководил отделом профобразования в ленинградском отделе народного образования. Библиотека университета помещалась в полуподвальном помещении. Встретил меня рыжебородый и рыжеволосый человек солнечной улыбкой и ироническим возгласом: «Вижу, вижу, еще один отставник!» Он напоминал доброго тролля или гнома, хотя не был уж так мал ростом. «Обойдусь без

исповеди — знаю, всех разом потянуло на библиотеку. И далее все известно, в библиотеке никогда не работала, деться некуда, дай-ка пойду к «рыжебородому». С такой славой пропадешь ни за грош! Что умеете? Откуда явились? (Я назвала фамилию). А, знаю, знаю — три сестры-аспирантки. И всех исключили? Не всех? И на том спасибо! Языки хоть знаете? Ну и отлично! Чего еще мне желать? Да вы не стесняйтесь, все пройдет. Главное — не унывать! Зачислю на поденную и... на вас ставлю точку без запятой. Идемте». Он провел меня в глубь длинного коридора вдоль стеллажей и крикнул в пространство: «Эй, друже, принимай еще одного отставника!» Тот, к кому он взывал, оказался переводчиком Маркса и Энгельса Ананьев. Он переводил «Тайную дипломатию» и часть «Хронологических выписок». Одна из работ вот-вот должна была выйти в «Архиве Маркса и Энгельса». Ананьев дрожал: «Узнают, что уволен, задержат очередной том Архива, и я на мели. Что будешь делать без заработка? А у меня дочь месяц тому назад родилась!»

Так, минуя всякие формальности, проработала до высылки из Ленинграда в архиве-библиотеке. Заведующий часто захаживал к «детям подземелья», как он нас называл, и между нами установилось доверие без излишней откровенности. Таких бы людей побольше! С шуткой рисковал, ибо руководствовался убеждениями. Его «взяли», как я слышала, в 1937 году.

В жизни моей не было ни ритма, ни целеустремленности, ни планов, ни ответов. Одни вопросы. Удержаться, не расшибиться вконец, сохранить детей... Так как человеку свойственно приписывать свое состояние окружающим, мне казалось, что все утратили покой и колею. Ход событий этому содействовал. Стремилась забить день до отказа, чтобы вечером свалиться и заснуть. Ежедневно, как часы, продолжал являться для занятий английским языком аспирант из моей группы В. Ревуненков, уволенный по одному списку со мной. Мы оба занимались Германией, по смежным периодам. Руководил нашими темами профессор Горловский, директор исторического отделения. Ревуненкову было лет 26, напоист и четок в любом деле. Расчетлив, умен и приземлен. Занимался неукоснительно регулярно, много и методично. Доклады его базировались на источниках, выступал дельно, но без огонька, никогда не выходил за рамки темы, как то нередко бывает в свободных аспирантских спорах. Писал ровным, мелким готическим почерком, между строками никаких промежутков, точно он экономил на бумаге. Подтянутый, розовощекий, предупредительный, не по летам ровный. Способности хорошие и целенаправленные, но уж очень себя

высоко ценил и нередко охорашивающимся жестом откидывал со лба волосы, будто женщина. Отношения между нами были чисто деловые. Предложил приходить ко мне для занятий английским языком в любое удобное для меня время. Я согласилась. Читали Маколей, Тойнби и др. историков.

Как-то Ревуненков не был несколько дней без предупреждения. Затем пришел смущенный, «связанный» и, не ожидая вопросов, пустился в пространные объяснения: «Мать заболела, живет в Пскове. Я у нее единственный сын, не успел дать знать...» Почему-то замялся. Я не придавала никакого значения необычности тона. Слишком сложной была обстановка, слишком трудно думалось, чтобы обращать внимание на незначительные факты. До этого момента оба как-то избегали говорить на волнующие всех темы, а когда ко мне приходили родные или друзья, он тотчас прощался и уходил. Знала о нем мало, только то, что он женат и у него есть девочка. Тем более удивило, что Ревуненков через несколько дней принес заявление о восстановлении его в комсомоле с просьбой отредактировать его вместе. Провозились с заявлением несколько часов.

Однажды влетел с несвойственной ему взволнованностью и предложил: «Моя двоюродная сестра едет в качестве химика в Чибью — именно там в лагере отбывал срок Коля, — напишите письмо мужу, она передаст его из рук в руки, минуя цензуру. Ей, безусловно, можно вполне доверять». Мне и в голову не пришла мысль о провокации, но я категорически отказалась, не желая впутывать посторонних людей. Он был раздосадован и в обиде; мне же и тут не явились дурные мысли. Несколько раз предлагал спрятать у себя какие-либо книги, если в этом есть надобность. «Вы что же думаете, что у меня может быть обыск?» — спросила я. Он пожал плечами. Но и в этом не было ничего удивительного. Людей выдергивали с корнями и зеленью, как овощи из земли. Едва ли не каждый думал про себя: не мой ли черед?

Вскоре Ревуненкова восстановили в комсомоле, а затем и в аспирантуре. Он подчеркнуто благодарил меня в знак того, что я помогла в редактировании заявления. Вспомнила я об этом гораздо позже, когда роль его стала ясна. Тогда же он информировал меня о делах и занятиях в ЛИФЛИ, арестах и упорно продолжал читать со мной английских историков. А мне все было невдомек... Очевидно, нарастающие события порождали отрешенность от реальной действительности, или что-то во мне притупилось, или я не могла допустить, что донос и предательство становятся обычной проторенной дорожкой и средством спасения? А между тем они — провокация, донос, предательство — с наглейшей бес-

церемонностью и развязностью входили в повседневный обиход и всячески поощрялись, как новая добродетель.

Внешне жизнь шла своим чередом. В 1935 году ленинградское лето баловало классически-прекрасными белыми ночами. Блуждала по набережным вдоль Летнего сада, оград чугунных, Сенатской площади шагом, точь-в-точь совпадающим с ямбическим стихом Пушкина, с щемящей тоской, сулящей разлуку... Бродила одна, еще и еще, предчувствуя расставание... В кино демонстрировали картину «Веселые ребята», и улицы вместе с Любовью Орловой напевали: «Сердце! Тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить!», нарушая старинные строгие ленинградские традиции. Звучала и игривая песенка из «Петера»: «Хорошо, когда работа есть, хорошо, когда удач не счесть...». Не традиционно было и жаркое, сухое лето. Но тревога и страх становились традициями, брали людей в плен. Детей отвезла в Гатчину, к матери Коли.

В середине июня демобилизовался из Политотдела МТС* преподаватель ЛВШПД П. А. Еремеевский. Председателем МТС в Островском районе был Н. Я. Кузьмин, Еремеевский — редактор газеты. Он с воодушевлением рассказывал о годах в МТС, об организаторском таланте председателя Кузьмина (Николай Яковлевич Кузьмин расстрелян в 1937 году) и свое подъемное настроение распространял на окружающих. Он не понимал серьезности происходящего, убедил меня подать заявление А. А. Жданову о восстановлении в аспирантуре. Каково же было торжество, когда на 21 августа меня вызвали в обком партии и там т. Широков сообщил: «Товарищ Жданов наложил положительную резолюцию. В ближайшие дни будете восстановлены». Что это означало? Чистейший иезуитизм или лицемерное самодовольство? Пусть, дескать, знают, какой я хороший. Или левая не знала, что творит правая? Только дома застала повестку с вызовом в управление милиции на 23 августа, на площадь Урицкого: «*Явка с паспортом, обязательна*». Сомнений в смысле повестки не было. Никому не звонила, даже маме. К чему? Весь вечер играла на рояле любимые вещи, зная, что я с ними прощаюсь. Звуки усиливали и гнев, и грусть, и возмущение, и жалобу. Кончилась неясность. Все!

Утром, в доме на площади Урицкого паспорт положили на стол, а взамен выдали бумажку о выселении из Ленин-

* МТС — машинно-тракторная станция. При МТС тогда были Политотделы. (Примеч. авт.)

града в трехдневный срок с угрозами в случае нарушения срока выезда. В милиции встретила сестру Алю, ее также в трехдневный срок выселяли с двумя крошками. Отчаянная и парадоксальная Алька сложилась в два дня и уехала с детьми в Сибирь, вдогонку за этапом мужа Константина Нотмана, которого, как она узнала, отправили несколько дней тому назад в северные лагеря на пять лет. Она догнала этап мужа где-то под Томском, двигаясь за ним следом с детишками трех и полутора лет, пока не добилась суточного свидания. С тех пор ей пришлось одной воспитывать уже не двух сыновей, а трех. Вплоть до ее ареста в 1948 году. В тот злополучный 1948-й год вспомнили, что ее когда-то «не добрали» и, несмотря на то, что она уже была членом партии, а во время войны вела огромную работу с молодежью на военных предприятиях, Алю взяли и «наградили» десятью годами Тайшетских лагерей. Дети остались на произвол судьбы. Младшего взяла снова мама. Муж Али погиб в Колымских лагерях, как и где — узнать не удалось. Реабилитирован посмертно. Аля вернулась в 1955 году, живет в Новосибирске. Защитила диссертацию о Шелгунове. Работает в вузе. Ректор экономического народного Университета на общественных началах. Горит энтузиазмом и на этой работе. Однако «счастливая» концовка не только не снимает, а напротив, подчеркивает незаконно узаконенный трагизм ее жизни, жизни ее детей и поколения в целом. В книге «Лицом к лицу с Америкой» есть и ее письмо Н. С. Хрущеву.

Выселяют... Надо успеть привезти детей, ликвидировать две квартиры — на Васильевском острове и в Детском Селе, где Коля работал в Сельхозинституте, достать деньги и обдумать, куда ехать. А тут еще нелепая, но все же смущающая надежда на восстановление в аспирантуре. Поеду в Москву!.. Только там, в Москве, можно было понять, какой размах приняли уже репрессии. Толпы растерянных людей буквально штурмовали прокуратуру. С боем прорвалась к прокурору Катаняну с заявлением. Через час резолюция была готова: «отказать — семья троцкистов». Коротко и ясно! Доказательств не потребуешь. А раз уж «семья троцкистов», то им и на земле места скоро не будет, не то что в Ленинграде. Не много воды утекло после подписания этой резолюции, и сам прокурор Катанян с тем же клеймом «троцкиста» покати́л по тем же ухабам и мытарствам. И где-то наши дороги пересеклись. Мы, конечно, не узнали друг друга, но кто-то потом сказал, что провели Катаняна...

Куда ехать с детьми без гарантии на работу? Рискнула

пойти в Наркомпрос за назначением. Попала к Тимофееву. Расспрашивал, прикидывал, кусал усы, куда-то выходил, напевал «та-та-та-те, та-те-та-та»... Пожимал плечами — куда ее деть? Наконец, решил. «Ставлю одно условие — прекратите переписку с мужем, иначе назначения не получите». Видимо, самому Тимофееву такая мысль пришла в голову неожиданно и показалась ему компромиссно условной. Чтобы не улыбнуться, он сделал несколько раз губами круговое движение, показавшееся мне гримасой, и посмотрел на меня вопросительно. Я также условно ответила: «Хорошо, дети будут писать отцу». «Оп-пор-ту-ни-сти-ческое», сказал он раздельно, принимая решение, да видно настало время, когда без одного не проживешь». Он попросил подождать, звонил в Ленинград, посоветовал обратиться в Ленинграде к завоблоно Виноградову.

Я уехала. Возвратилась в Ленинград поздно вечером. Открыла дверь квартиры своим ключом. Зашла в первую комнату. На моей постели лежал и читал книгу работник НКВД. Его фуражка с малиновым околышком лежала рядом на столике. В комнате оставался еще рояль. Остальные вещи были выкинуты. Он не переменял позу и не встал.

— Что означает это безобразие? — спросила я.

— Никакого безобразия. Это значит, что вы в Ленинграде больше не прописаны и права на площадь не имеете, а я получил ордер на вашу квартиру.

В соседней детской комнате были навалены до потолка вещи, книги, посуда, белье, ноты, игрушки, обрывки рукописей. Все перерыто, выброшено из ящиков с нарочито подчеркнутым хамством, пренебрежением, желанием нанести оскорбление, показать свою власть и мое бессилие. В квартире учинен настоящий погром.

Высказала ему мнение о нем и его поведении и добавила:

— Я получила отсрочку на 10 дней, убирайтесь вон! Раньше, чем через 10 дней, квартиру не освобожу.

— А я не уйду — ответил он, продолжая лежать.

Что мне оставалось делать? Ночь. Я одна. Оставаться нельзя, да я и побаивалась его откровенного хамства. Пошла на Петроградскую к родителям и разбудила их в три часа ночи, без того удрученных и измученных. Шла по безлюдному ночному Ленинграду и все казалось не моим, отобранным, отчужденным, и сама я была отдалена от всего. И Васильевские линии, и Тучков мост, и любимый Каменноостровский — все запретно, между всем и мною раздвигаются шире и шире несводимые края моста.

... Удивительно, а может быть, и очень рационально устроена наша память! Сколько тяжелого сваливается на людей, нагромождение несчастий неустанно сопровождает

его целые долгие периоды, кажется, и не выплыть из трагических коллизий, а в памяти выпукло-скульптурно живет хорошее и светлое. Для воскрешения плохого требуется большее напряжение. Особенно расплывается, улетучивается скверная бытовая сторона, трудно вспоминать голод, побои, тяготы неустройства, грязь и вонь. Хорошее светится издали, горит яркими бликами, легко всплывает, к нему память тянется. Плохое извлекаешь по частям, с усилием. Очевидно, иначе мозг наш обволакивался бы всякой скверной, как паутиной, и человек лишался способности сопротивляться и действовать, не мог бы свободно думать. Но есть такие тяжелые моменты, которые хранятся во всех деталях. Когда память сердца, мысли — уже спят, всплывает острейшая память нервов, подсознательная, но точная до осязаемости. Так помню случайно терпко-горькую, теплую, прощальную ночь конца августа 1935 года.

Утром пошла в облоно. Многолюдно и суетливо. Приблизилось начало учебного года, текущие теперь мимо меня обычные дела. Завоблоно Виноградова не видно за головами и спинами. Дорога каждая минута. С Виноградовым ранее по работе не сталкивалась. Минуты волевого и нервного накала всегда имеют неуловимое воздействие на других. Как-то протиснулась к столу, сказала Виноградову, что в ближайшие полчаса мне необходимо с ним говорить без свидетелей. Он посмотрел удивленно, не рассердился, не отмахнулся, поднялся и спросил:

— Очень срочно?

— Нельзя ждать, понимаете, никак нельзя!

— Тогда пойдемте.

Он вывел меня в маленький коридорчик за кабинетом. За считанные минуты объяснила, кто я, где мой муж, где работала, что у меня осталось несколько дней до высылки и что без работы мне крышка. Виноградов не потребовал ни бумаг для подтверждения моих слов, ни справок, ни удостоверения личности. Он мне поверил.

— Есть место и. о. доцента по Новой Истории в Новгородском пединституте. Идите по своим делам, до вечера я занят. Приходите все оформить в 10 часов вечера. Успею позвонить в Новгород и выяснить насчет квартиры и прочих условий. Я о вас знаю.

Говорил ли с ним Касаткин до ареста или Тимофеев из Москвы — выяснять некогда, да и ни к чему. После его слов крылья выросли. Вечером Виноградов выдал направление на работу спокойно, бесстрашно, без колебаний. Проговорили более часа, но не величали друг друга, и имени его я не узнала. Был он молод, статен, хорош собой и смел, как и многие еще в то время.

... Когда летоисчисление периода террора начинают с 1937 года, а не значительно ранее, как то было в действительности, то только потому, что он был годом кульминации процесса и потому, что именно к этому году уже и получили законченное выражение коренные, а значит глубинные изменения в общественной атмосфере в целом, сдвиги в человеческой психике, в психологии общества. С другой стороны и власть, овладев системой дезинформации, фактически отменив все некогда завоеванные свободы, получила полнейшую свободу манипулировать общественным мнением и сознанием отдельных людей как ей заблагорассудится. В 1935 году все эти явления уже обозначались, но не имели завершения, и многие люди действовали по совести, как Виноградов. Он был арестован в том самом 1937 году...

Окрыленная мыслью о работе, делала все быстро и легко. Позвонила домой, обрадовала родных назначением на работу, позвонила товарищам, чтобы помогли в ликвидации квартир, упаковке и перевозке вещей из Детского и из ленинградской квартиры. Где-то доставала деньги, тару, ящики, человек ведь может горы свернуть, если ему после многих ударов улыбнется жизнь. Кое-что наспех продала, остальное перевезла на квартиру родителей, по-старинному большую, в которой мы все жили в юности. Рукописи, книги, ноты исчезли в блокаду. Это — самое ценное, особенно рукописи, среди них и принятые для печати. Вещи малоценные, их едва удавалось маме продать после моего ареста, чтобы поддержать детей. Единственное, что она сохранила — чудесный рояль Стейнвея, подарок Коли, на котором так любила играть мама, когда приходила к нам, и я. В письме ко мне в лагерь она писала: «Легко выйти из безденежья продав рояль. За него дает большие деньги Союз композиторов,— ведь таких роялей в Ленинграде всего несколько,— но я хочу сохранить его для вас и для детей. И потому берегу и беру уроки, всячески избегаю его продажи». Рояль чудом уцелел в блокаду, выдержав на себе провалившуюся стену при обвале дома. Все же его пришлось продать после нашего второго ареста, в 1949 году.

Справившись кое-как с хозяйственными делами, поехала за детьми в Гатчину, а затем в Новгород. В Гатчине последний раз видела мать Коли. Мария Федоровна неграмотная крестьянка, но с врожденным благородством натуры, выработанным поколениями труда. В ее руках все пело и играло. Высокая, сухопарая, но мягкая в движениях и в отношении к людям, с неисчерпаемой любовью к труду, к детям и внукам. Особое пристрастие и уважение она питала к Коле, он был для нее кормилец, советник и высшая сила. Когда сказала, что и нас с детьми выселяют, Мария

Федоровна прикусила губу, не говоря ни слова, с закушенной губой хлопотала, лазила в погреб, собирала нас в дорогу. Всю дорогу до вокзала безмолвно плакала, обнимала без причитаний. Утешения до нее не доходили. Она не дождалась своего Коленьку, умерла за месяц до его выхода из лагеря. Спасибо родным и близким друзьям — им я обязана многим. Но поздно, об этом уже не скажешь никому из них, кроме моей старшей сестры Эллы.

О маме, главной моей опоре, скажу дальше.

Со старшей сестрой Эллой мы настолько срослись духовно, судьбами, вырастанием, что почти неотделимы. Вместе с тем мы совсем разные и потому я могу говорить о ней объективно. Любовь этому не мешает. Она была старшей и я за ней подтягивалась, хотя я училась с полной отдачей и удовольствием, а она — избирательно. Жизнь она воспринимала горячо, увлеченно, я больше рефлексировала и сомневалась. Вообще, ее главной чертой является постоянная и страстная увлеченность — людьми, книгой, революцией, деятельностью. И полная поглощенность тем, чем она увлечена в данное время. Ее первым и неизменным увлечением была и остается литература, русская литература. Элла очень смелая в совести и чувствах, и вместе с тем ее могут устроить малозначащие обстоятельства. В душе ее заложен неугасимый светильник благородства, интереса к жизни и людям. К последним даже некоторая необузданная восторженность, которую она пронесла через все испытания. Волевая в поставленной цели, она может растопиться, как воск, до мягкости. Жизнь у нее большая и очень сложная и в общественном, и в личном плане, и здесь я не могу о ней говорить. Скажу только, что к маме и к ней в это время приходила я со всеми своими горестями и находила крепкую поддержку. С Новгорода мы расстались с ней на долгие годы.

Одним из первых помощников во всем был муж Эллы Николай Дрелинг, наш друг с детства и гимназических лет. Он арестован за месяц до меня, расстрелян накануне войны. О нем позже.

Конечно, я нуждалась в верных друзьях, которых несколько не страшило мое шаткое положение. И они были. Эрнст Паклар, способнейший аспирант, был исключен из аспирантуры в одном со мной списке. Ученик известного эстонского историка и крупного революционера Х. Пегельмана, одного из руководителей Эстляндской Трудовой Коммуны. С Пегельманом Эрнста связывало эстонское подполье и наука история. Широкий в плечах, костистый, высокий, Паклар отличался лиричностью, романтичностью и мечтательностью. Любил и знал поэзию. Как многие эстонцы был пропитан музыкой. Музыкальность сочилась в его крови и

выливалась в переливах и трелях свиста. Он свистел буквально как соловей. Никогда больше такого свиста не слыживала. Эрнст высвистывал множество романсов, арии с музыкальным сопровождением, народные песни, особенно эстонские. Мы из «Астории» были выселены с ним в один дом*. Он и его жена Сальме жили над нами. Бывало, зайдет, присядет к роялю и, едва подыгрывая себе по слуху, зальется соловьиным свистом. Он не признавал себя исключенным, расхаживал размашистым шагом по университетским коридорам, неистово спорил, доказывая нелепость происходящих арестов, открыто протестовал всюду, где мог, вступал в споры. Когда арестовали Пегельмана, он носил ему передачи. Когда арестовали меня, он писал протесты и ручался за мою политическую чистоту, писал мне открытки в тюрьму. Следователь Райхман показывал мне открытки и откровенно смеялся над тем, что в наше время еще существуют такие простакки.

— Да ведь у меня все улики против него налицо, не сомневайтесь, что я его посажу!— говорил Райхман. И посадил.

Думаю, Эрнст прозрел уже в тюрьме и окончательно — во всеобъемлющем ГУЛАГе. Следователем его оказался тот же Райхман, затем он прошел лагеря, ссылку... Знаю, что вышел на волю, уехал работать в Таллиннский университет и там, стоя на кафедре, умер во время лекции от инфаркта в 1957 г. Так рассказывали. После отъезда из Ленинграда я его не видела, до ареста получала письма.

Паня Еремеевский быстро трезвел и мрачнел после приезда из Островской МТС, которая теперь ему казалась островом или оазисом, на котором он не знал, что творится на материке.

— Не понимаю, что происходит?— говорил он.— Я простой парень из Сыктывкара. На третий съезд комсомола я был послан единственным делегатом из тех захудалых мест. На съезде познакомился с петроградскими комсомольцами. Какие это были замечательные ребята, мне казалось, что они семи пядей во лбу! Сдружился с ними, вытянули они меня в свой круг, в свою работу. Вскоре перевелся в Петроград. Отсюда комсомол и послал меня учиться в университет на факультет общественных наук, полный огня, задора, кипения и страстей. Я шагал в гору рука об руку с комсомольцами. Теперь ведущее звено комсомола либо арестовано, либо под подозрением. Они стали контрреволюционерами или у нас происходит контрреволюция? Чем я лучше их? Спасла меня мобилизация в МТС или случилось нечто

*До 1932 года «Астория» была «Первым домом Ленсовета», где жили партийные активисты. (Примеч. авт.)

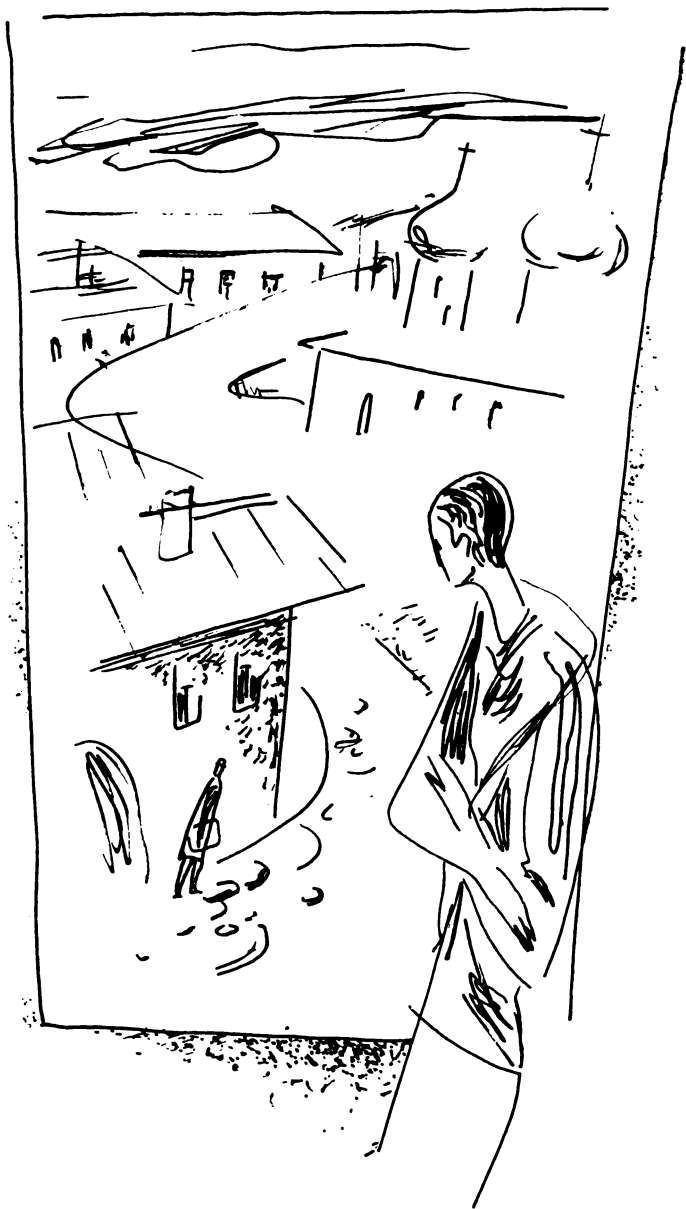
сверхвозможное? Когда все это случилось?

Но что делать, куда бежать? Да бежать мне и мерзко. А кругом идет не косовица трав, а косовица голов! Я же должен идти за назначением на кафедру истории партии. Назначен в Военно-медицинскую академию. Сам я, как выжженная трава, на душе полынная отравка, а недавно мнил себя в расцвете сил. Я улыбался, когда сетовали на сложности жизни, а сам зашел в тупик. Именно сейчас наступил решающий час, я же не готов к нему. Не знаю как быть, как поступать?

Жизнь решила за него. Он заведовал кафедрой истории партии в Академии, затем в институте имени Герцена, в чем-то себя переломил, в чем-то убедил, как-то добился честности с самим собой, иначе он не мог бы жить. Добился ли? Не сомневаюсь, что он вновь нашел себя и свое место только когда началась война. Еремеевский сразу же пошел добровольцем на фронт и погиб на Дороге жизни незадолго до снятия блокады Ленинграда. В воспоминаниях бывших студентов ФОНа*, изданных Ленинградским университетом, одна из участниц сборника Мария Июль пишет: «Ответственным организатором партколлектива был Л. Сыркин. В стипендиальной комиссии работал комсомолец П. Еремеевский, пользовавшийся большой любовью студентов за общительность, простоту и чуткость». Таким он и был, да еще много хорошего можно бы сказать о Еремеевском.

Как же получалось, что человек, потрясенный творимым злом, беззаконием и насилием, направленным против людей, которых он глубоко уважал и которым полностью доверял, не только не протестовал публично, но с амвона кафедры, безусловно, вынужден был оправдывать всю политику партии и правительства? Почему Еремеевский, как и миллионы других, не могли преодолеть тот психологический барьер, который превратил бы их в протестантов и искателей правды? Вместе с тем живое сомнение уже загорелось в нем и в других, но не превращало их ни в инакомыслящих, ни в отступников, ни в еретиков. Сомнения невозможно было убить, но они не высказывались, не предавались гласности, душились. Лицемерие находило в каждом благодатную почву, рождалась, росла и зрела политическая безнравственность, которая подтачивала и основные нравственные начала человека в целом. Так было не с худшими, а с лучшими. Вот почему я уверена, что для Пани Еремеевского фронт был не только долгом и обязанностью, но и выходом, самоочищением. Однако очень немногие шли на самозаклание. Большая часть приспособлялась.

*ФОН — факультет общественных наук. (Примеч. авт.)



Ссылка в Новгород

Новгородский педагогический институт, куда меня направили на работу, находился в трех километрах от города, в Антоньевской слободе, бывшем монастыре, с большой усадьбой на берегу Волхова. Старинные побеленные монастырские постройки с трехэтажным корпусом для учебных занятий и библиотек. Некогда в монастыре имелась своя прекрасная библиотека, перевезенная в новгородский кремль.

Аудитории второго и третьего этажей светлые, с высокими окнами, нижнего этажа — сводчатые, типично монастырские, с более слабым дневным освещением. Здесь, наверно, размещалась монастырская братия, а теперь — квартиры преподавателей. Студенты и преподаватели (кроме нескольких, приезжающих из Ленинграда) жили в Антоньевской слободе при институте, который имел большое подсобное хозяйство и великолепный сад. В стенах квартир сохранились монашеские лежанки. Столовая помещалась в бывшей трапезной. Сад, парк и лес крутыми склонами спускались к реке. Мы приехали осенью, когда новгородские лиственные леса особо хороши и многоцветны. Для детей нельзя было придумать ничего лучшего, а старинная патриархальная обстановка вселяла успокоительную сосредоточенность. Я получила квартиру, возможность заниматься и растить детей. Соседом по квартире оказался мой сокурсник по студенческим годам и аспирантуре Н. С. Масленников. Конечно, мы обрадовались друг другу. Детская комната и комната Николая Сергеевича соединялись раз и навсегда забитой дверью, но ребята умудрились расковырять скважину от ключа и забрасывали своего соседа по утрам горохом, частями от «конструктора», камушками, будили его; он беззлобно и великодушно вступал в игру.

Директор института Кимен, человек независимый и немногословный, направлен был в маленький институт, якобы с большой работы, за какие-то грехи. Не знаю, так ли это, но руководил он институтом умно, спокойно, умело, сочетая дела педагога и хозяйственника.

Завуч Буров, молодой волжанин, вел педагогику и был обуреваем идеей, чтобы занятия в институте велись в соответствии с принципами, которые он отстаивал в своем курсе. Поэтому он постоянно бывал на лекциях и на семинарах, подолгу беседовал с преподавателями, но не приказывал, а убеждал. Хотя выполнять его требования порой казалось и нецелесообразным, зато его искренность и воодушевление не подлежали сомнению. С такими людьми приятно иметь

дело. Да и весь коллектив был молодой, не избалованный, работающий. Диамат, правда, читал человек еще мало подготовленный. Фамилия Дитёв прямо соответствовала по-детски неискушенному складу его ума. Отвлеченное мышление никак ему не давалось, и он беспомощно сводил философские проблемы не к практике, а к житейским вопросам, что звучало и неуклюже, и вульгарно, и даже смешно. Читал он много, .ночами, но бессистемно — Гегеля, Канта, Бергсона, классиков марксизма. Иногда поздно вечером стучал в комнату и жаловался, что башка трещит до слез, и материал к лекции не одолел. Перед лекциями мучился, волновался. Студентам не позавидуешь, а человек не глупый, не лжец, не упрощенец.

Политэкономию вел Строков, знаток ценнейших новгородских древностей, директор музея, поглощенный раскопками, реставрационными работами, по своим интересам — историк. Ближе чем с другими сошлась с Германовичами, Басей Ирмовной и Александром Иларьевичем. У нее были удивительные глаза — казалось, она читает тебя в разговоре, как книгу, и понимает. Ей в этом помогала интуиция и образованность. Характер исстрадавшийся, издерганный, остро и болезненно реагирующий на все. У него — широкая душа и огромные планы на будущее, но и на нем лежала печать скрытых страданий. В их отношениях тоже нечто надломленное. Ни она, ни он не играли ни на одном инструменте, но в их доме существовал культ музыки, что меня тоже с ними сближало. Много-много лет спустя, работая в Ростовском-на-Дону педагогическом институте, увидела в матрикуле студента фамилию языковеда Германовича. Заинтересовалась и расспросила о них. Бася Ирмовна рано умерла. Александр Иларьевич доктор языковедческих наук, живет в Симферополе. Выпустил несколько книг по языкознанию. Известен в городе и по всему Крыму как блестящий лектор по истории музыки. Собрал уникальную фонотеку, организовал музыкальные среды у себя на дому для любителей. Неутомимый пропагандист музыки и собиратель музыкальных пластинок. Подробнее обо всем узнала, когда написала ему, и он приехал повидаться. Тогда же он рассказал, как после моего ареста они с Басей Ирмовной ездили к маме и детям в Ленинград, как проплакали втроем всю ночь и как стали маминими друзьями.

Курс древней истории раз в неделю приезжал читать из Ленинграда тучный, пожилой и добрейший профессор Фарфоровский. Когда-то он преподавал в Петербурге в Петершуле, затем в высшей школе. Предмет знал и любил, писал книги и пособия, печатался при советской власти. Он обязательно приходил ко мне в вечер приезда пить чай, возился

с детьми, привозил им фрукты и по-отечески поучал меня правилам жизни, следуя которым можно безаварийно проплыть по жизненным волнам. «Старайтесь — говорил он — никогда не быть первым номером, только вторым, а еще краше третьим, как я, например, и никто вас не тронет». Мне предоставлялось право внимать или не внимать его советам, но ему, бедняге, золотое правило нисколько не помогло — его арестовали, и умер он где-то очень далеко в лагере, хотя с первых дней Октября принял революцию и не прерывал педагогическую деятельность.

В Новгород я попала как ссыльная, но никто в институте не давал мне почувствовать мое особое положение. В этом заслуга администрации, однако и того, что естественные человеческие отношения еще не были сломлены и пришиблены ошеломительными волнами ужаса и страха. Процесс назрел, но психологический скачок не совершился пока...

О Коле знала мало, письма приходили редко, бодрые, успокоительные. Осознавала — заключение, лагерь, зимний пеший этап на 800 километров на севере, тяжесть работ вертлужника, бурильщика и все другое... Горевала, но я совсем тогда не имела представления о том, что такое лагерь. Ничего об этом Коля не писал, и все оставалось тайной. И вообще, это тайна для тех, кто там не был, сколько бы ни писать... Немало тяготило и обещание не писать мужу.

После долгих месяцев безработицы окунувшись в работу по специальности с головой, с удесyтеренной энергией и наслаждением. Не хотелось ни о чем думать и рассуждать, насколько это возможно. Педагогическая нагрузка у всех преподавателей была большая — каждый охватывал весь предмет, то есть лекционный курс, семинары, практические занятия и практику по своему курсу со студентами в школе. Но все было под рукой, хозяйство отнимало минимум времени, ездить приходилось только в школы. Занималась с ожесточением. Частенько в два-три часа ночи Николай Сергеевич, видя свет в моей комнате, тихонько постукивал в стену и говорил: «Пора кончать».

Недостающие книги неизменно и бесперебойно присылал Ревуненков, беря их на свое имя во всех библиотеках Ленинграда. Недопонимала своего положения и решила поехать с Лёней на ноябрьские праздники повидаться с родителями в Ленинград. Посоветовалась с директором, он сказал, что прямого указания о запрете выезда к нему не поступало. Послала телеграмму домой и открытку Ревуненкову о том, что книги можно принести на квартиру отца, а не высылать по почте. Поезд пришел рано утром 6 ноября. Обрадованные встречей, мы с сынишкой сидели у мамы за празд-

ничным столом. Посторонних никого не было. Часов в 11 пришел с книгами Ревуненков, положил их, распрощался и молниеносно улетучился.

Минут через 15—20 раздался звонок. Человек в штатском вызвал меня, отвернув лацкан пиджака показал значок сотрудника НКВД, потребовал, чтобы я немедленно оделась и ехала с ним. Внизу ждал «черный ворон» или, как тогда говорили, «черная Маруся». Человек второпях втолкнул меня в пустую машину, и мы поехали.

В «большом доме» на Литейном, где-то в узеньком закутке невысокий, суетливый, крикливый блондин, осыпая меня площадной бранью, неистовствовал: «За нарушение законов, за конспиративные сборища, за вербовку молодежи в контрреволюционную организацию вас мало посадить, таких надо изничтожать...» Он меня ни о чем не спрашивал, а я и рта не раскрыла. Так продолжалось с полчаса. Затем меня спустили в большой, темный подвал, покрытый красным асфальтом, и продержали там без еды и воды до позднего вечера. Никто не входил. Я продрогла, заостенела от напряжения, отупела. Кажется, мелькала мысль о предательстве Ревуненкова, никто, кроме него, не знал о приезде, но эта мысль была столь маленькой по сравнению с другим, что я о ней забыла. Часов в 10 вечера вывели на задний двор, посадили в легковую машину и повезли. Черт его знает, куда везли. Сопровождающий молчал, я тоже. Остановились: «Выходите!»

Машина стояла у дома родителей. Перевела дух... В подъезде сопровождающий задержал меня и сказал: «Никаких разговоров, ни слова, мы заехали за вашим сыном. У меня в кармане билеты в Новгород. Посажу вас на поезд. Уезжайте и забудьте дорогу в Ленинград. Там тоже ни звука. Идите!» Значит, отсрочка... Я обрела дар речи и взяла себя в руки. Лёня уже спал. На остальных лица не было. Сопровождающий торопил. Предупрежденная им, должна была молчать. Сотруднику НКВД, видимо, стало не по себе, он обернулся к маме: «Она возвращается в Новгород».

Отец уже несколько лет как ослеп. Он сидел в стороне, опершись на свою палку, и тихо позвал: «Подойди, Аддочка, ко мне». Я подошла, наклонилась. Он несколько раз провел рукой по моим волосам, погладил по лицу, хотя на всякое внешнее проявление чувств был всегда скуп. В его слепых открытых глазах стояли слезы. «Ты едешь в Новгород, — сказал он, — все будет хорошо, не печалься». То были последние слова, которые я слышала из его уст. Нам не суждено было больше никогда увидеться. Я была на далеком севере, а папа умер в блокаду, в больнице Ленинграда, ровно

через 6 лет после нашего тяжелого прощания, 7 ноября 1941 года*.

В душе проклинала себя за боль, причиненную самым близким и любимым. Оделись, попрощались и уехали...

Вернулась в Новгород утром. Села с Лёначкой на извозчика и поехала в Антоньевскую слободу после короткого, мучительного для всей семьи путешествия. Навстречу двигалась колонна демонстрантов института во главе с директором, который, увидев меня, понимающе покачал головой. Оказалось, что его чуть не сняли с работы из-за моей поездки. Знаю, что возмущенный выговором Кимен ответил: «Приставьте к ней своего человека, а мне милицеских функций не навязывайте, у меня своих обязанностей хватает». Не сомневаюсь, что ответ Кимена был взят на заметку.

Еще удар по семье, еще травма для ребенка, еще пощечина, но в плане разворота массового оскотинивания — сущий пустяк.

К счастью, могла продолжать работать. И работала, как одержимая. Студенты любили мои лекции и занятия, а я любила педагогическую деятельность и отдавала все, что знала и умела. Вдохновение — не побоюсь этого высокого слова — не покидало меня в те месяцы почти никогда. Оно являлось броней, защитой, поддержкой, как и дети. Никогда также не уставала.

На зимние каникулы приехала мама. Уже к вечеру она сидела в институтском зале у рояля, а вокруг нее толпились студенты и дети Антоньевской слободы. За несколько дней ей удалось организовать чудесную елку для ребят и самостоятельность студентов, которая до того времени не находила применения. Детишек, в основном дошкольников, оказалось около тридцати и несколько школьников. Деньги отпустили общественные организации института. Студенты ездили за игрушками в город, кроили и шили костюмы. В нашей квартире открылась фабрика игрушек и подарков. Выступали на елке студенты, преподаватели и дети. Пели хорошо, плясали, развлекались, как умели. Завуч Буров пришел к нам наутро с таким предложением: «Перевезем ваших родителей в Новгород! Мы оборудуем для них квартиру, обставим быт. Отец отдохнет от города, сможет писать, найдем для него машинистку. А мы с Анной Ильиничной и с нашим коллективом создадим в слободе культурный центр, займемся музыкальным просветительством, будем учить

*После освобождения в апреле 1941 года Войтоловской были даны на сборы и выезд в Вологду три дня. Отец в это время лежал в больнице и она не смогла его навестить. (Примеч. ред.)

понимать искусство, привьем эстетические вкусы». Всю ночь вынашивал планы.

Неважно, осуществимо или нет было такое предложение, важно то, что в то время еще было мыслимо, что сохранялись некие черточки независимости, вскоре и вовсе исчезнувшие.

...Две параллельные жизни шли как в обществе, так и во мне.

Год проходил под знаком индустриального подъема и стахановского движения. В «Правде» продолжали печататься «Тихий Дон» и «Американские впечатления» Ильфа и Петрова. Так сказать, театрально-праздничный фасад бытия. Но иная жизнь, подспудная, просачивалась на страницы той же «Правды» и требовала все больше места. Мембрана моего слуха давно подключилась ко второй волне. Обостренное чутье преследуемого служило уловителем. Ножом полоснул доклад Ежова — тогда малоизвестного — на декабрьском пленуме ЦК 1935 г. об итоге проверки партийных документов, о притуплении бдительности и о новых происках врагов. Потом доклад Жданова о заклятых врагах и шпионах, пробравшихся в партию, о недопустимости ротозейства и примиренчества к врагам и т. д. Надо припомнить, что вся эта терминология, которой ранее пользовались от случая к случаю, именно тогда набирала силу, входила в повседневный обиход и еще не примелькалась. В начале 1936 года бросилось в глаза специальное постановление партии и правительства о закрытии Комакадемии и ряд разгромных статей в адрес ее и аналогичных учреждений. Диапазон арестов безгранично ширился. Теперь они касались всех слоев и групп населения.

Одновременно с нарастанием панического страха за жизнь, за действие, за всякое слово и даже за мысли и настроения, за выражение лица, — сознание всех обволакивалось дурманом обожествления всеблагого и премудрого вождя, соединенное воедино с раболепием перед государством. Последнее было не внове, оно было глубочайшей традицией всей русской истории, медленно подтачиваемой революционными идеями, теориями и выступлениями в течение XIX и начале XX веков. Октябрь ниспроверг старое правительство, старый строй и старое государство и тут же провозгласил примат над всем государства нового. Для народа это было государство рабочих и крестьян. Для революционеров и интеллигентов — священная и долгожданная диктатура пролетариата. Постепенно все понятия смешались. Диктатура самого революционного класса — революционная партия — власть народа. Выросла же грандиозная пирамида: Государство — Партия — Вождь. У подножия — безмолвствующий

народ, состоящий из человечков-винтиков. И вновь приниженный народ незаметно для себя воскрешает старую традиционную схему обожествления власти. Вероучение — просвещеннее прежнего, но не менее догматическое. Власть — технически оснащенная, но не менее грозная и жестокая. Постепенное превращение творца истории — народа — в политически и морально аморфную массу, раболепствующую толпу и возвеличение вождя — героя — бога — две стороны одного процесса.

Вырастала и своеобразная иерархия вокруг новоявленного божества: священнослужители, книжники, фарисеи, проповедники, служители и прислужники, наконец, разветвленная сеть информаторов, осведомителей, доносчиков. Они проникали во все поры общества и как бы самозарождались повсюду. Не только оправдываемый, но и всемерно поощряемый, легализованный, покровительствуемый, возведенный в доблесть, превращенный в трамплин для восхождения донос становится повседневной практикой. Доносчики роились и множились на наших глазах. Каждый из нас был сырьем, пущенным в историческую переработку. И обществу в целом, и всем без исключения предстояли чрезвычайные испытания. В состоянии предчувствия неотвратимо надвигающейся на меня глыбы я продолжала активно работать. Не позволяла никаких внешних проявлений своих терзаний. Оставалась работоспособной, общительной и на работе, даже жизнерадостной. Внутри же была натянута, как тетива...

Как-то придя с лекции нашла на столе среди других писем и письмо Ревуненкова. Вскрыла его безразлично, но с первых же слов почувствовала гадливость, будто кто-то прикоснулся липкими, потными руками, как бывает в отрочестве, когда идешь теплым вечером, полна неясных дум и мечтаний, и вдруг окликнет или заденет уличный хулиган. Сразу вздрогнешь. Так и теперь — письмо омерзительное. В начале пошло, банально о каких-то чувствах ко мне, о тоске, что не вязалось никак с нашими отношениями, о том, что он делает для меня все, что в его силах и пр. В постскриптуме: «что бы вы ни слышали обо мне или ни узнали, помните, что подлятинки в моем поведении не было...»

Этакий подлец! При всей низости ему захотелось обелить себя в собственных и в моих глазах, оправдаться, прикинуться совестливым. Но и я-то близорукая простофиля! Только теперь сопоставила «поездку в Псков» с началом его деятельности «без подлятинки», предложения взять на сохранение из моей библиотеки изъятые книги (неплохая против меня улика), выдуманная поездка сестры в Чибью, мой арест 6 ноября, его рассказы о новых арестах, вопросы, которые он задавал, его старательные услуги в доставке книг — все

предстало в ином свете. Циник и слизняк! Он продавал и предавал и дальше годами за высокую мзду. И все это «без подлятинки!» Но о масштабах его провокационной «работы» и самопродажи я получила, казалось бы, совершенно неправдоподобное подтверждение из его собственных уст в 1956 году, когда он за «заслуги» уже стал доктором наук, завкафедрой и деканом истфака в Ленинградском университете. К его неожиданному саморазоблачению подойду по ходу событий. Я для него послужила пробным камнем, потому он и не щадил на меня своих сил и времени.

Отвращение от прочтения письма сменилось яростью. Ложь, что люди не знали, что творили, и пр. Каждый имел право выбора, особенно на воле. Имелось немало и ослепленных фанатиков борьбы с «еретичеством», но большинство иезуитствовало, торгуя душами и судьбами, тем более, что гром и треск псевдореволюционной пропаганды немедленно превращал их в «революционеров сталинской выучки». Они попирали первоосновы этики и морали, прикрываясь шпиономанией и процессами. Не бескорыстные побуждения двигали ими. Происходило глубокое падение общественных нравов на глазах, и этого нельзя было не замечать.

Разоблачать было уже немислимо... Глубокое, подавленное, затаенное молчание постепенно становилось уделом и проклятием всех...

Дважды приезжал в Новгород Николай Дрелинг, друг детства и муж старшей сестры. Когда говорила ему о возможных в наше время неприятностях в связи с поездками ко мне, он резко возражал: «Страшишься, как бы чего не вышло, ну, знаешь, Беликова из меня не выйдет». Отец его, социал-демократ и журналист, умер от холеры, когда Николай окончил гимназию, так что он рано стал кормильцем семьи и учился дальше между дел. Работал инструктором Центросоюза, исколесил весь Союз — Владивосток и Кавказ, Сибирь, Туркестан, Поволжье, Донбасс. В Москве числился жителем, а фактически приезжал туда только для отчетов и за новыми заданиями. Сквозь него была протянута организаторская жилка, стоило ему появиться в самом отдаленном уголке, как жизнь там закипала ключом. Он гордился тем, что у председателя Центросоюза к его приезду обычно в папках копилась груда телеграмм: «Срочно пришлите Дрелинга! Требуем Дрелинга! Настаиваем обязательно Дрелинге!..» Работал с азартом, увлечением, взмахом.

Движение стало второй его натурой. Состояние покоя переносил как тягость, несмотря на туберкулез, полученный в непрерывных поездках. В рассказах о путешествиях он бывал неистощим, сотни лиц и событий проходили перед слушателями, живая, разнообразная жизнь представляла в них.

Речь пересыпал остротами и невыдуманными анекдотами, почерпнутыми из жизни; невеселого и весьма трудного встречалось тоже немало. В дружеской компании он был любимцем и весельчаком. Выпив рюмку-две, принимался дирижировать хором непомерно длинными руками, затягивал свои излюбленные песни — «Волочаевские дни» или «Когда б имел золотые горы», танцевал, выделявая замысловатые па. Смешным это казалось, потому что Дрелинг обладал сверхвысоким ростом. Детишки останавливались, показывали пальцами и кричали: «Вот дядя Степа!» и «Дяденька, достань воробушка!» Была у него поэтому манера смотреть на людей сверху вниз, немного скосив голову набок. В действительности его можно было назвать скорей застенчивым, чем заносчивым. Человек неровный, часто взвинченный. От того, что ему казалось неправильным или несправедливым, приходил в бешенство, тогда он краснел пятнами, глаза начинали бегать, его трясла мелкая дрожь. Унять его было невозможно. Успокаивался лишь тогда, когда добивался того, что почитал верным, чего бы это ни стоило.

Женившись на старшей сестре Элле, он переехал в Ленинград и перешел на преподавательскую работу в институт торговли, не отрываясь окончательно от организационной работы, в которой чувствовал себя сильным и опытным. В партии он не состоял.

5 марта 1936 года Дрелинга арестовали. Объяснить что-либо о причинах его ареста невозможно. Вернее надо бы сказать, что причин для ареста не имелось, но в то время причины и не были нужны. Близкие ему люди понимали, что беспричинность ареста при непримиримости и бескомпромиссности его натуры может грозить ему гибелью. Так оно и случилось...

Мужья трех сестер Войтоловских уже находились в тюрьмах, на этапах, в лагерях. Очередь за мной. Загипнотизированная таким ощущением, я иногда цепенела и с ужасом смотрела на детей...

В день 65-й годовщины Парижской Коммуны меня пригласили сделать доклад на активе города. С охотой согласилась. Доклад понравился. По окончании заседания на трибуну поднялся военный, который пристально смотрел на меня во время доклада и с которым невольно несколько раз встречалась глазами. Он назвал свою фамилию, сообщил, что он начальник Новгородского НКВД и добавил тихо: «Вы моя поднадзорная». Затем снова во всеуслышание сказал, что считает честью со мной познакомиться, благодарил за доклад, жал руку. На душе стало скверно.

Арест

В ночь с первого на второе апреля 1936 года он же постучал в мою квартиру и, сопровождаемый двумя охранниками и секретарем парткома института Лебедевым, предъявил ордер на обыск и арест. Передавать свои переживания в те часы не берусь. В такие моменты потрясение слишком сильно, чтобы оставалось место для воспоминаний, фиксаций, анализа. О себе меньше всего думаешь, я должна была оставить детей. Дети спали в соседней комнате.

— А дети? — спросила я.

— Детей отвезем к вашим родителям, есть разрешение. Если не хотите, отвезем в детский дом, временно...

— Что значит временно?

— Ну, на время следствия, вы еще не осуждены...

Начался обыск. Он продолжался в моей комнате часа два-три, затем разрешили поднять детей, отобрать их вещи, собраться. Обыск продолжался и в детской. Делала все четко, обдуманно, лихорадочно быстро. Сердца не было, замерло, может быть, не билось... Трудно было поднять Валюшу, она раскапризничалась, испугалась света, чужих людей, беспорядка. Показала ей нарядное платье, сказала, что едем к бабушке.

— В розовом платье? И Ленечка едет? Тогда я быстренько.

Успокоилась и начала одеваться. Леник одевался молча, сосредоточенно и с нескрываемой враждебностью смотрел на копошащихся, роющихся в бумагах, книгах и вещах мужчин. Я возилась у чемоданов и не заметила, как он подошел к одному из охранников. Обернулась на его голос-крик: «Почему вы у нас роетесь, как жандармы у Ленина? Почему вы бросаете книги на пол?» Ленечка стоял красный, нижняя губа дрожала. Но он не плакал. Он был крайне взволнован, расстроен, страдал. Я стала его успокаивать, но он рассердился на меня. «Уйди — сказал он, — как ты не понимаешь?»

— Разве мы жандармы? — Начальник вынул кулек конфет, посадил Валюшу на колени и начал угощать. Леня вырвал конфеты из Валиных рук, швырнул на пол.

— Если не жандармы — уходите, мы вас не звали...

Попросила всех выйти из детской, надо было успокоить мальчика. Он бросился ко мне: «Мама, я не хочу к бабушке, не разрешай им отвозить нас к бабушке. Мы будем с тобой. Никогда никуда я от тебя не уйду...» Меня и его поймут миллионы таких же несчастных матерей и детей... Не помню, как удалось его успокоить, вернее, не успокоить, а смирить бунт. Меня торопили. В НКВД всегда торопят со всем, кро-

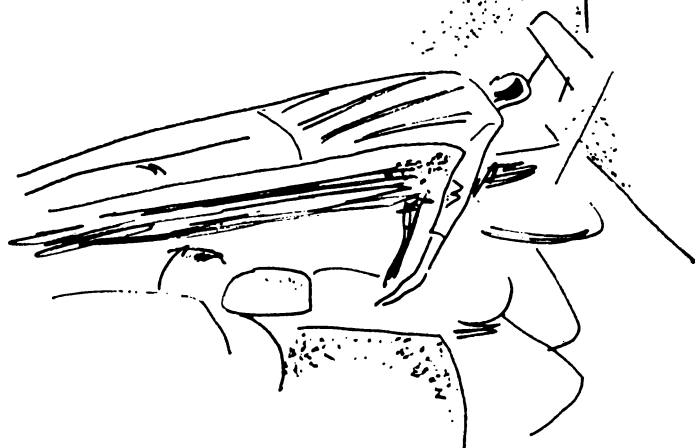
ме сроков. Им надо было закончить «операцию» до пробуждения студентов. Стали собираться. В течение минут надо было сложить все, что оставалось. Все у нас пропало потом, так как маме было не до вещей, и их разокрали.

...Свершилось! Непоправимо! Вся воля направлена на то, чтобы детям было поспокойнее, пока они со мной, чтобы они не замечали моего состояния... Запомнилась фигура Лебедева — черные длинные волосы потными прямыми прядями лежали по обе стороны мертвенно-бледных щек. Когда мы выходили, он прижался к белой стене коридора. При выходе стоял Николай Сергеевич, растерянно нам улыбался и кивал головой, протягивая руки... Через одиннадцать лет, в 1947 году, приехав на несколько дней в Ленинград, встрети-лась с Николаем Сергеевичем. Вот его слова: «Много не воды, а крови и слез утекло со времени нашей разлуки. Я прошел через всю Отечественную войну, из глубоко штатского человека превратился в военного, перенес опасное ранение, чего-чего не пришлось пережить и передумать, но я не забыл ни потрясающей ночи апреля 1936 года, ни номера машины, на которой увезли вас с детьми, ни пары детских ботинок у ваших дверей, ни ваших лиц... И никогда не забуду».

Ехали в отдельном купе. Дети заснули. Начальник и я сидели молча. У дверей стояли два конвоира, ибо везли «государственных преступников». Утром меня с детьми завели в железнодорожное НКВД, оттуда начальник передал по телефону: «Арестованные прибыли (дети и я), высылайте машину». Нас заткнули в «черный ворон», и мы поехали. Крепко держу детские ручки. Остановились на мгновение у дома родителей, не дали проститься с детьми. Валюша неистово кричит: «Мамочка! Дай ручку, я боюсь!»

Детей стаскивают по ступенькам подвесной лесенки, человек схватил чемодан с детскими вещами, дверь захлопнулась, меня везут дальше, а голос Валюши звенит, звенит в ушах... Как встретит бедная моя мама детей, и что они ей скажут? Не помню, как я вытерпела, но сейчас, когда пишу, я содрагаюсь. Ленья и Валя помнят, как они поднялись на четвертый этаж, как человек с чемоданом дернул за всякий звонок, как бабушка открыла дверь, как она пронзительно крикнула: «Дети!», и как они с ревом бросились к ней... Я этого не видела, не слышала, но страдала за них безмерно. Поэтому все остальное, что было со мной, было мне еще долго ни к чему... В памяти провалы. Происходящее — вне меня.

Дверца «ворона» открылась в воротах тюрьмы. Как бы случайно проскользнула физиономия человека, который вел слежку за мной в Ленинграде. Ошибиться не могла. Давно,



перед первым арестом мужа, лицо это настолько приелось мне, что я перестала на него обращать внимание. В 1928 году тип этот встречал меня у парадной «Астории», где мы тогда жили, передавал на разных углах другим филерам, не раз дежурил под окнами школы, где я работала, или у ворот дома, куда я входила. Потом их обязанности в отношении меня кончились, и я могла свободно ходить по городу. В 1935 году снова узнавала своего старого соглядатая, как это ни странно, на улицах, в трамвае, около университета. Теперь он быстро прошмыгнул мимо меня и кому-то кивнул головой. Последняя «знакомая» фигура перед тюрьмой. Первые, почти для всех самые страшные в тюрьме, сутки, когда все делается для того, чтобы человека, личность, индивидуума превратить в оболваненного преступника-арестанта: раздвигание, оголение, осмотры, стояние в течение часов в узенькой замкнутой клетке, бессмысленно повторяющиеся вопросы, отношение как к пронумерованной вещи, под неустанным глазком — все это застало меня в шоковом состоянии после расставания с детьми, исключенной, под черепашьим панцирем. Ужас матери и отца, обездоленность детей заслонили тюрьму.

Потом, наконец, повели. Вели долго. В движении очнулась... Лестницы и пролеты, затянутые сетками. Поднимались, спускались. Очутились в коридоре с толстой дорожкой во всю ширину. Шаги и звуки глохнут. Гробовая тишина. Внезапно после остолбенения охватила противная внутренняя дрожь, неумная, кажется, что сорвался поршень и дробно дрожит в каждом нерве, сосуде, в сердце и голове. Внешне это незаметно, иду как будто спокойно. Одиочная камера № 20 на Шпалерке — внутренняя тюрьма НКВД. Ночь или уже предутренние сумерки. Значит в тюрьме прошли сутки, но где именно — не помню. Свет падает из-под железного «козырька» сквозь небольшое оконце в толстой железной решетке, расположенное много выше человеческого роста. Направо от двери привинченные к стене столик и сиденье. За ними привинченная железная кровать. Налево от окна уборная и умывальник. Стены выкрашены темной серо-зеленой масляной краской — словно в них осадок застоявшегося времени. Местами стены исцарапаны пока неразличимыми подписями. Пол черный, асфальтовый или каменный с углублением посередине, вытопанный шагами. Под потолком яркая электрическая лампочка, бьющая светом на койку и на всю камеру. Двери необычайные, подавляющие массивностью и грузностью. Они железные, двойные, с широкой, в две ладони металлической обшивкой посередине, наподобие дверей сейфов, только толще, выше и шире. Ключ поворачивается дважды с звенящим стоном. В середине двери наглу-

хо запертая железным засовом с наружной стороны врезанная железная форточка. Железная машина отделяет от мира живых.

В первые часы и дни ты так убит, так ошеломлен огромной силой несправедливости, так беззащитен, что какой бы ты ни обладал силой воли, — не можешь не предаваться отчаянию, не способен смотреть вперед. Особенно в одиночке. На это и рассчитывает следствие. Отчаяние настолько владеет тобой, что ты немедленно физически изнемогаешь, полностью обессиливаешь. Прилечь не разрешают, хотя ты промотался уже двое суток без сна (ночь ареста и ночь в тюрьме). В двери непрестанно крутится «глазок», беспрдельно навязчивый в первое время, подчеркивая, что ты не принадлежишь себе нигде, что ты на виду, обнажен. В тюрьме ты обречен на бездействие. Внутри все кровоточит. Тисками зажаты протест, страдание, тоска, бессилие. Думать нельзя. Думы болят, как раны. Все в тебе кричит, рвется, воет, а кругом — безмолвие, неподвижная тишина. Нарочитая, убийственная тишина... И все же психика человека не подвластна ни одному расчету. Где-то таятся неисчерпаемые запасы. Не сразу, постепенно рядом с отчаянием зарождаются надежды, наряду с лихорадочной работой мозга и памяти одолевает спасительное забвение — прострация, сон без сновидений, способность мобилизоваться, противостоять и бороться... Но это после, а пока...

Очутившись в одиночке, я была на грани депрессии, однако не так беспомощна, как другие, ибо всем ходом своей жизни, размышлений была ко многому подготовлена, не была ослеплена и очень много передумала за последний год.

Но как мучительно давалось следствие! Трудна и сложна психология следствия и самого подследственного. Трудно ее передать ничего не придумывая и не утаивая. Трагизм пережитого уходит вместе с пережитым. Пусть воскрешают его романисты. Не раз бывало, что одна, совсем незначительная мысль или один довод, в поединке со следователем упрется в тебя, и ты не можешь ее откинуть, затем фантастически разрастается, принимает неправдоподобные размеры, распирает голову и становится единственной реальностью, хотя противящимся сознанием знаешь, что она выдумана следователем и не имеет под собой основы. Каких усилий стоит привести себя в норму, видеть вещи в истинном свете, освободиться от навязанных измышлений следователя, которому все дозволено и который в корне пренебрегает истиной, ему до нее нет никакого дела. Подследственная одиночка в наших условиях, несмотря на то, что она не имеет «параши» и освещается электричеством, истощает нервную систему заключенных на всю жизнь...

Первый день в камере № 20 близится к концу. Казалось, я оглохла. Наступила ночь. Яркий свет жжет глаза. Мелькает «глазок». Сна нет. От себя никуда не уйти. Лежа — те же вопросы, то же чувство беспричинной и бессмысленной, но неотвратимой обреченности. Откуда оно? Оно давит, и перед ним все отступает. Ни одной мысли о политических прегрешениях. Именно арест без всяких причин и означает заранее предуготованную обреченность. Дальше мысль пока не идет. Тупик. Еще более тяжело пробуждение после недолгого забытья. На воле пробуждение — счастливейшие мгновения — освеженный сном вскакиваешь, как на пружинах, в голове теснятся мысли, додуманные подсознательно во сне, мгновенно подчиняешь своему ритму день, хочется все успеть, действия ускоряются и чувствуешь себя хозяином времени и жизни. В тюрьме не помню пробуждения, при котором не приходилось бы выкарабкиваться из мрака ценою неестественных усилий.

Никто не вызывает день, два, три, неделю... На прогулки не выводят. Книг не дают. Уборная в камере. Если бы не пайка хлеба и мензурка сахара рано утром и не безмолвная подача пищи через форточку «безголовой» рукой, то создастся полное впечатление, что ты забыт. Значительно позднее начинаешь понимать, что выключение тебя из бытия в первые недели не случайно, что это часть целой системы угнетения психики заключенного, как и одиночка и пр. Нагнетание напряженности перед первыми допросами. Сидишь на привинченном холодном железном стуле или ходишь от окна к двери, как маятник. Прилечь до отбоя запрещается. Постепенно сквозь решетку и козырек начинаешь различать рыжие куски стен здания и рядами расположенные во все стороны те же частые козырьки над окнами и низы решеток. Их бесконечно много. Логически понимаешь, что за твоими стенами тоже люди, но они — чисто логическая категория. На какой-то день приглядываешься к стенам камеры, впиваешься в нацарапанные надписи — следы живых людей. *«Сижу здесь десять месяцев и три дня», «Прощайте, Люба и Женя, ваш отец», «Отсюда не выходят», «Сегодня год, как я в одиночке, эта четвертая»...* Непременная для каждой тюрьмы, тогда мне еще не известная: *«Кто не был, тот будет, кто был, тот не забудет»...* Будто кто-то нарочно подбирал корявые буквы, чтобы переполнить чашу безысходности. Даю себе слово не смотреть на стены. С неимоверным усилием заставляешь себя не думать, а механически вспоминать что угодно — исторические даты и события, тексты, стихи, музыку. Потом это входит в привычку, навязчивую привычку. Есть не могу, только чай...

И снова ночь... Открывается окошко.

— Войтоловская! Отвечайте имя, отчество! К следовательно! Быстро, скорей, скорей! Выходите!

Два конвоира. Снова спросонок внутренняя дрожь. Спускаемся по лестнице. Внимание обострено. Бесконечный широкий подвальный коридор, по которому снуют большущие крысы. Встречаются через некоторое расстояние серые углубления-ниши в стенах. Идешь, идешь... вдруг окрик конвоира: «Стой!» Загоняют лицом в нишу, а за спиной гулкие шаги: кого-то провели. «Идите!» Снова переходы, спуски, подъемы... Вот ведут уже по лестнице, устланной ковровой дорожкой. Светло. Чисто. Даже нарядно. Поднимаемся на шестой или седьмой этаж. «Стой!» Первый конвоир пропускает вперед. Кабинет следователя — высокая комната с большим окном. Окно задрапировано плотными светлыми шторами. На письменном столе лампа под зеленым абажуром.

Следователю лет 27—28. Сажусь напротив. Конвоир выходит. Мы разглядываем друг друга. Он бесцеремонно, с кривой улыбочкой. Глаза цепкие. С первой минуты он не спокоен и находится в состоянии как бы нарочитого азарта, скорее всего наигранного. Позднее не раз приходило в голову, что следствие — нервная игра, в которой у следователя все карты крапленые. У подследственного ставка — жизнь, для следователя — профессиональное занятие и карьера. Пока что я в этой неравной игре не имею никакого опыта. Для следователя я тоже лицо неизвестное, он еще не выяснил, какое место я могу занять в цепи его замыслов и что я собой представляю. Только в этом смысле вызываю в нем некоторый интерес. Желания же разобраться в нас по существу нет с самого начала, с первой секунды разговора. Но когда ты идешь впервые на следствие, у тебя совсем еще не сложились те представления и мысли, к которым ты придешь позднее и в муках. Ты весь во власти ощущений и чувств. Подследственный, особенно вначале, невольно тянется к следователю, ибо ему кажется, что тот может установить истину, что через него он добьется правды, что он является связью с миром, с семьей, о которой заключенный ничего не знает. Кроме того, вызов к следователю — переход от пассивности и изматывающего безделья к действию, к возможности как-то поступать... После заполнения короткой анкеты Райхман напористо приступал:

— А теперь рассказывайте о вашей контрреволюционной деятельности. Нам известно все, все до конца... Члены вашей гнусной подпольной шайки признаются. Ваша роль нам известна, не виляйте, не юлите. Мы знаем каждого из тех, кто был связующим звеном между вами и подпольным центром, какие вам давались поручения, когда и как вы их выполняли. Все нити в наших руках. Ваши отпирательства

усугубят вашу вину, ваши преступления... Не прикидывайтесь оскорбленной невинностью...

С каждым часом Райхман накалялся, орал до хрипоты, размахивал руками, потрясал кулаками. Он пытался прощупать меня со всех сторон, найти слабые, уязвимые места. Все мои доводы, возражения, несогласия игнорируются полностью. Напротив, сопротивление его раздражает. Раздражение переходит в иступление, даже в искусственно подогреваемое истерическое состояние — крики, хлопанье графитом об пол или в стену через голову последственного, вопли, угрозы. Взынченность и возмущение до пафоса призваны сломить сопротивление подследственного, его волю и способность рассуждать трезво — деморализовать арестованного.

Если это не дает эффекта, на который рассчитывается, тактика меняется: Райхман переходит на устало-снисходительный, сочувственный тон, он соболезнает тому, что я попала в сети контрреволюционного подполья, он поможет мне выпутаться и прочие незамысловатые выверты. Вместе с тем Райхман не глуп, ловок, ориентирован в академических кругах, через его руки прошли уже многие — он ведет дела научных работников, прекрасно знает, кого с кем и по каким линиям можно связать и столкнуть и таким образом создает впечатление осведомленности. Замечаю, что образованности ему не хватает, он делает промахи, однако психологию подследственного он хорошо улавливает. С ним не легко и не просто иметь дело. Тем более, что для него не существуют ни непосредственные душевные движения, ни колебания. Он заинтересован в одном, число специфически: кое-что извлечь из показаний и во что бы то ни стало осудить! Возбужденность и взбудораженность его неискренни, наиграны и внешни. Он рассудочен, циничен, честолюбив, тщеславен, расчетлив. Конечно, его характер и личность вырисовываются не сразу, не с первого допроса.

Ночь идет... Райхман роется в ящиках, в бумагах, вынимает какую-то папку, ищет якобы что-то, выхватывает несколько страниц, сует мне их под нос, но не дает прочесть и с присвистом выкрикивает: «Ваш муж сам, сам дал показания, что он член подпольных контрреволюционных центров, смотрите, читайте...» Но подписи мужа я не вижу и отчетливо помню каждое слово Коли на последнем свидании. Не верю ни одному слову Райхмана. Он продолжает: «Мы вашу свору предателей и изменников давно раскусили, в наших руках неопровержимые доказательства, вы в их списках. Сейчас же, сию минуту десяток лиц предстанут перед вами, обличат вас, и вам некуда будет деться, вы будете корчиться от их признаний, от стыда и проклинать себя за свое запирательство». Чего он только не говорил и какими

помоями не обливал. Я отталкивала его наскоки, не успевая ничего продумать под градом обвинений, криков, раздражающих душу. Глубокой ночью Райхман вызвал конвоира и отправил меня «подумать» в полутемную комнату с большим экраном и без всякой мебели, кроме одной табуретки. Позднее, в общей камере услышала, что такая комната называется «кино» или «думалка» и отправка туда со следствия — обычный прием, но первый раз она действует зловеще на разгоряченное воображение; допрос — потрясение, человек измочален, страшишься сам себя, чтобы не обронить лишнего слова. На психику действуют тени на экране, окрики часового, невозможность вздремнуть, неутомимый «глазок» и пугающие вопли и визг из всех соседних помещений и кабинетов или неизвестно откуда. Просидела там часов семь-восемь. Догадываюсь, что прошло много времени, потому что попадаю к следователю в светлый день. Единственная же здравая мысль, которая пришла мне в голову за все это время, была мысль о том, что конкретно мне пока не предъявлено ни одного обвинения.

Тот же кабинет. Райхман выпавшийся, сытый, побритый, но тон прежний, возмутительно наглый, бесцеремонный. Райхман вынимает наверно давно сварганенный протокол допроса, по которому я оказываюсь и связной «центров», о существовании которых я не имела ни малейшего понятия, и участницей подпольного заговора, и организатором контрреволюционных групп: «Подписывайте, подписывайте, пока не поздно, пока раскаяние может еще сыграть роль в вашей участи, все проверено, доказано. Я весь остаток ночи сверял показания против вас. Вы изобличены, а осмеливаетесь артачиться. Вас завербовали, а вы не заметили? Ложь! Обман! Подлость!... Позднее и я буду бессилен вытащить вас из болота, в котором вы тонете...»

Этот протокол больше нигде не фигурировал, то была психическая атака в расчете на надлом.

После этой сцены, которую я не в силах была воспринимать как фарс, а только трагически, Райхман вдруг обмяк:

— Ну, идите отдыхать, устал я с вами, замучен.

И это было фальшью, ибо он-то знал, что отдохнуть не даст. В камеру вернулась к вечеру. До отбоя прилечь нельзя. Не успела задремать, как подняли возгласом: «Войтовская, к следователю!».

На вторую ночь допроса Райхман предъявил список «сообщников» по контрреволюционному подполью. Список длинный, в нем и товарищи мужа, с иными едва знакома, других хорошо знала, мои друзья и сотрудники по работе и аспирантуре. Список составлялся, очевидно, по многим

делам и отдельным показаниям. В нем были и фамилии людей, мне вовсе не известных. Следователи, как правило, знают лишь то, что может быть известно по отделам кадров, по сведениям агентов-провокаторов и любителей, вроде Ревуненковых, по показаниям подследственных. Платным филерам сообщать почти нечего — где, когда и сколько там пробыл — чисто внешние данные. Но из показаний подследственных или случайно неосторожно произнесенного слова следователи ткнут паутину связей, отношений, комбинаций. Тут многое зависит от их наблюдательности, находчивости, сообразительности, умения подобрать факты, подтасовать их в варианте кажущегося правдоподобия и затем интерпретировать их в полном несоответствии с действительностью и подлинной правдой.

Первый следственный налет на меня длился больше недели. За это время я почти не спала и находилась то в кабинете у Райхмана, то в «думалке». Мне не давали ни осмотреться, ни что называется «очухаться». Райхман быстро спас меня от многих иллюзий и тем самым невольно вооружил для следствия. На втором допросе я уже стала крайне осторожна и осмотрительна. Искренность, а тем паче откровенность, надо выжечь из себя каленым железом, чего бы это ни стоило. Одно знакомство со мной — уже состав преступления, поскольку я попала в арестантскую обойму. Поклялась скорей прокусить язык, чем называть имена и фамилии. Все продумывалось мной лихорадочно, мучительно, в ходе самого следствия. Не с готовыми заключениями вошла я в стены тюрьмы. То, что на воле могло только мерещиться, стало явью, моей жизнью, которая перемалывала и мое сознание. Не говоря уже о том, что любой следователь находился в более выгодном положении, нежели подследственный. Особенность, необычность, трудность нашего положения заключалась в том, что мы находились под следствием советским. Обвинения исходили от партии и правительства, которым мы себя не только не противопоставляли, но в той или иной мере все фетишизировали. Кроме того, обвинения носили штампованный, но чудовищный характер, а само отрицание этих обвинений, недоверие к ним в отношении себя и других — уже являлось преступлением.

Момент моего ареста совпал с периодом подготовки основных судебных процессов, периодом разнуздывания страстей, застрашивания, обезволивания масс, выработки стандартных норм поведения, идущих вразрез со всеми нравственными принципами, с периодом, когда срезали голову идеологии и головы идеологов. Еще до 1937 года арестовывались философы и историки, экономисты и литераторы,

оголялись или закрывались Институты красной профессуры, Комкадемии, Институт Свердлова, Институт Артема, гуманитарные отделения Академии наук и т. д. Разбивали, истребляли систематически и планомерно идейный костяк революции.

В то время же канонизировалась идея единства — во что бы то ни стало. Воскрешалась теория героев и толпы в форме героизации-обожествления «вождя». «Толпе» же показывали изуродованные маски «врагов народа», которые напяливали на обесчещенные невинные головы. И толпа улюлюкала... Следователи совмещали в себе и прокуроров, но и сами они были лишь дубинками в чьих-то руках. Им не только было дано право на обвинение, но вменялось в обязанность осуждение заключенного. Ход и логика событий требовали этого. Личную ответственность они понесли бы в единственном, совершенно невозможном случае, — в случае оправдания подследственного. Критически осмыслить свою деятельность было бы для них безумием и гибелью, хотя они лучше, чем кто-либо понимали, с кем имели дело. Можно предположить, что отдельные единицы из них могли покончить с собой, придя в отчаяние от своей скуратовской роли и деятельности, но в целом они были сословием, кастой карателей и душителей. Их школили и поощряли, им покровительствовали и наделяли неограниченными полномочиями, на них возлагали надежды и брали за это жертвами и кровью. Им диктовали: «Бей» — они били. «Жаль, кусай, издевайся» — они исполняли. Чем выше вздымалась волна террора, тем изошренней они действовали. НКВД и его аппарат становились главной силой власти, приводным ремнем политики.

В тюрьме все выглядит выпуклей, все коллизии предстают очевидней, наглядней, ярче, острее. Именно поэтому прозрение происходит быстрее, а не потому, что ты унижен и оскорблен. Не только тюрьма, но и события на воле видятся сквозь призму прозрачно-оголенных общественных явлений. Каждый арест и осуждение невинного порождали возможность осуждений сотен и тысяч. Каждый успех доносчика и провокатора — плодил новых и отравлял воздух лицемерием, подлостью и ложью.

Всю первую неделю допросов мой следователь Райхман не только бесновался, шипя обвинениями в неслыханных преступлениях, он еще старался ошеломить и загипнотизировать меня сообщениями о сети шпионских и диверсионных групп, тайной агентуре фашизма и пр. Не могу сказать, чтобы он не давил на меня. С другой стороны, все во мне протестовало против того, что мне навязывалось. Он тесал простым, грубым топором. Но топор был хорошо наточен. На его

режущей стороне были такие аргументы, как измена народу и социализму, предательство, причастность к головному отряду контрреволюции. Можно ли такое забыть или простить?! Коле я верила безоговорочно и была уверена, что он ничего не подписывал. Он — фанатик революции и именно потому состоял в оппозиции. Личное считал второстепенным, хотя речи об этом не велось. Знала и других сидящих, да и мой арест свидетельствовал о том, кого берут. Тут не могло быть никакой двойственности или компромисса, либо надо было признать все, что предъявлял следователь и тебе, и другим, а для этого стать сумасшедшим, либо начисто не верить ничему из его слов, ничему, что творят и говорят свыше, то есть не только подвергнуть сомнению, но и отвергнуть, отрицать, осудить... Не удивительно, что голова пылала, как в горячке, что мысли и доводы жгли и терзали, как удивительный укус, как полынная горечь, как отравленная стрела... Нельзя было не видеть, что все пункты 58-й статьи Уголовного кодекса пришивались белыми нитками к именам и спискам, заранее подготовленным в соответствующих инстанциях. Что же преследовалось? Преследовалось даже не инакомыслие, а потенциальная возможность свободомыслия, самостоятельности своеобразия индивидуального мышления и действия. Своевременное прозрение заключенного, его воля и устойчивость не решают его судьбу и приговор, но в известной мере определяют ход следствия. (Я могу говорить лишь о том периоде, когда избиения, пытки и все виды физического насилия еще не стали практикой следствия.)

Но возвращусь к ходу самого следствия, к тем отдельным моментам, которые показывают его характер. После нескольких дней перерыва опять ночи в подследственном кабинете.

— Григорова знаете?

— Знала, но давно не встречалась с ним.

— Белоцерковскую знаете?

— Почти не знала.

— Александру Львовну Бронштейн знаете?

— Жила в «Астории» до 1931 года, всех жильцов видела у кипятильника, с тех пор не видела. По списку жильцов можно составить крупную контрреволюционную группировку.

— Лжете! — Удар кулаком по столу. — Лжете, подличаете, когда надо пасть на колени. Все вы мерзавцы, иуды, ублюдки, сволочи, продажные твари... — площадная непристойная брань... — Ни стыда, ни совести! Ведь вы числитесь в историках, должны понимать, с какой бандой убийц вы связались, в какой фашистской блевотине купаетесь... Смеете называться историком! Дерьмо, а не историк... А ведь вам

новгородские идиоты дали такую характеристику, как будто они вас по меньшей мере выдвигают на конгресс историков, а не в тюрьму... Они ответят за свою стряпню! Я их в порошок сотру! Не видят, что у них под носом творится, покровительствуют подонкам, троцкистскому отребью. (Директор Новгородского института Кимен вскоре был посажен.) — Никого не знали, ни с кем не встречались, а у кипятильника раскланивались, то есть чаи распивали и гнусные делишки обдeldывали. Так вот: Григорова и Белоцерковскую мало знаете, а детки их в вашем подпольном Красном Кресте состоят на учете!

— Не знаю никакого подпольного Красного Креста.

— Молчать!!! А кто помогал детям?

— Детям их я материально не имела возможности помочь, так как была безработной, но, узнав, что у них арестованы отец и мать, после снятия карантина пошла к ним, ведь без родителей и без помощи остались две девочки одиннадцати и четырнадцати лет и мальчик семи лет, ходивший с моим сыном в одну группу детского сада по «Астории». У детей была два раза.

Райхман записывает ответ так: «Да, я действительно являлась организатором подпольного контрреволюционного Красного Креста. В этом Красном Кресте состояла и Татьяна Горнштейн».

— Я такой чепухи не подпишу.

— Подпишите! — Следователь вынимает из ящика бумажки, читает показания: «Я был завербован Войтоловской А. Л. в контрреволюционную троцкистскую подпольную группу в январе 1935 г. На контрреволюционных сборищах, которые происходили на ее квартире, присутствовали следующие члены подпольных контрреволюционных групп: ее мать Анна Ильинична Войтоловская, сестра Элла Львовна Войтоловская, муж сестры Николай Викентьевич Дрелинг, Еремеевский Пантелеймон Александрович, Паклар Эрнст, Антонова Валентина Петровна (сокурсница по аспирантуре), Хорькова Прасковья Ивановна... (То есть все, кого Ревуненков когда-либо у меня видел.) Войтоловская пыталась через меня завязать подпольную связь с лагерем. Войтоловская никогда не опускала писем в ящик около своего дома, так как в них содержалась контрреволюционная информация. Войтоловская возмущалась теми, кто чистосердечно, по долгу чести, сообщал в НКВД сведения о своем окружении. Войтоловская сохраняла в своей библиотеке запрещенные издания с целью их нелегального распространения...»

Не буду перечислять всю ту подлую дребедень, которой были испещрены 16 страниц показаний Ревуненкова-Смер-

дякова или Ревуненкова-Петра Верховенского. К чему? Они того не стоят. Остановлюсь только на том, что использовал Райхман в ту же ночь на допросе. «12 июля 1935 г., когда мы с Войтоловской проходили мимо университета, к ней подошла Горнштейн Т. П. и предложила ей деньги для подпольного Красного Креста, что является прямым доказательством того, что Горнштейн также завербована Войтоловской в контрреволюционное подполье». Тогда только вспомнила, что Т. Горнштейн как-то на улице со свойственной ей крикливостью действительно предлагала одолжить мне деньги, поскольку я нигде не работаю, а у меня двое детей, и что при этом присутствовал Ревуненков. Ничего плохого в ее предложении не было, но я категорически отказалась, так как Горнштейн мне человек не близкий. Поблагодарила и сказала, что в деньгах не нуждаюсь.

Так пишутся доносы и фабрикуются дела! Время для подлецов было благодатное. Заповедь «не клевети на ближнего своего» и по сей день в пренебрежении. Где-то Горький рассказывал, что Шалапин, не зная, что Азеф и Татарников провокаторы, играл с ними в городки. Само собой подразумевалось, что, зная Шалапин, кто они, он бы с презрением от них отвернулся. Попробуйте иным профессорам пальцем указать на «ревуненковых», они пугливо отскочат от вас, как от чумы, и больше с вами не поздороваются. Таково наследие тех лет.

Потребовала, чтобы письмо Ревуненкова ко мне, где он уверял, что «подлятинки в его поведении не было» пришили к моему делу как доказательство его двурушничества. Прочел ли письмо Райхман, не знаю, но мне удалось выбить козырь из рук следователя. Впрочем, Ревуненков давал показания не на одну меня и не одному следователю.

Вопросы задавались нарочито непоследовательно, чтобы сбить, касались множества лиц то близких, то едва знакомых.

— Какие поручения давали вам контрреволюционеры Горловский и Зайдель (профессора университета и ЛИФЛИ), когда вы ездили в Москву под видом хлопот по поводу выселения?

— Конечно, никаких. Горловский руководил моей темой по диссертации, иных разговоров не было. Зайделя лично не знала.

— Где вас обучали методам, которыми действуют убийцы из-за угла?—громит Райхман.—Так нате показания Зайделя.—Следователь как бы в страшном волнении ищет бумаги, вытаскивает какую-то папку, лихорадочно листает страницы, читает... Ни мне, ни Зайделю и во сне не могли присниться те бредовые вещи, о которых он упоминал за-

ывающим голосом, чередуя то мою фамилию, то Зайделя. Но все было настолько невероятным и Райхман настолько путался, что подделка была почти очевидной.

— Дайте очную ставку,— говорю я.

— Будет, будет и очная ставка...

И так ночь за ночью. Произвол не как отвлеченное понятие, совершающийся где-то, над кем-то, а вот тут, на глазах, над тобой. Томление, усталость, бессилие, злость, пустота в голове, но желание выстоять не слабеет, а крепнет.

Со стороны следователя ложь и обвинения во всех грехах не по неведению или заблуждению, а ложь и клевета, сознательно и заранее обдуманная, как и маниакально-накаленная атмосфера допросов, выворачивание фактов наизнанку, как извращенные методы и приемы ведения следствия. Такое следствие никак не назовешь ни правосудием, ни судопроизводством,— чистейшее оголенное циничное беззаконие.

Я страдала, но и думала: аресты не случайны, не ошибки, апеллировать некуда, взывать не к кому, все это глубокие и далеко идущие исторические явления.

Как-то в другой раз Райхман берет телефонную трубку, набирает номер, веселым домашним голосом спрашивает: «Лизанька, Машура спит? Перегнись через сетку и поцелуй ее в щечку». Он не смотрит на меня, но разговор ведется для меня, бьет на материнские чувства. Аляповато, бесцельно. Я одеревенела. Молчать, как можно больше молчать — в этом моя задача. И ни о чем не просить.

— На какие средства вы существовали с детьми без работы?

— Какое это имеет значение?

— Не вы меня спрашиваете, а я вас, не рассуждать, а отвечать!

— На случайные заработки. (Может быть, он и знает о работе в библиотеке, но я не хочу о ней упоминать, ведь кто-то дал мне эту работу.)

— Врете! Зарабатывали гроши, а Карпову отправили три посылки, каждая из которых превышает ваш заработок. Отвечайте, сколько денег и через кого вы получали из контрреволюционного подполья?— Крик, стук, ругань...— Так на какие средства жили?

Иной раз вместо того, чтобы сомкнуть губы и молчать, сорвется что-нибудь с языка, чтобы отвязался, а пустяк окажется зацепкой для следователя.

— Одалживала деньги, но я уже все отдала, приступив к работе в Новгороде.

— Значит, соврали! Прекрасно, так и следовало ожидать! У кого одалживали?

— У родных.

— У кого из родных? У Дрелинга одалживали?

Молниеносно пронесется в голове: он уже сидит, следовательно, известно, что мы близкие родственники, а другие на воле, значит скажу — да.

— Одалживала.

— Значит, у вас с ним были подпольные денежные дела. Значит, получали через него. Отлично, запишем.

— Позвольте, при чем тут подполье? Мы знаем друг друга с двух лет.

— Я с вами не в бирюльки играю! Вместо того, чтобы откровенно признаться и разворошить еще одно осиное гнездо контрреволюции, вы осмеливаетесь говорить о мешанских добродетелях ваших друзей. А ваша сестра, его жена, знала, что он вам одалживал деньги?

Теперь стоишь перед другой дилеммой: сказать, что знала, значит, и ее включить в «группировку», сказать, что не знала — еще нелепее.

— Не знаю.

— Ага, она не знала! Подтверждение того, что у вас были тайные подпольные делишки с Дрелингом...

Все, о чем рассказываю, не дурной анекдот, а правда. Именно из таких подделок складывались малые и большие «дела» и «контрреволюционная деятельность» сидящих. Между тем, что говоришь следователю, и тем, что он записывает своей рукой, существует чудовищное несоответствие, подчеркиваю — чудовищное — и потому вся энергия, воля, все силы уходят на споры по поводу каждого записанного им слова или фразы. Такие неравные споры длятся иногда сутками. Аргумент следователя неизменен — «на языке контрреволюции звучит так, а я как представитель революционной власти понимаю ваши слова совсем иначе». Человеческий язык не существует...

Райхман делает незначительные уступочки, которые ничем не лучше ни первого, ни десятого варианта, чаще он и слушать не желает. Причем, если ты не подписываешь протокола, твоя подпись так или иначе оказывается под протоколом без твоего участия.

Следователь уходит есть, пить, спать, развлекаться, получать инструкции, согласовывать, сопоставлять, мучить других, а подследственный сидит в «думалке» или в камере до следующего вызова ночью. Следствие упрощено до примитива: ни доказательств, ни документов, ни свидетелей (последние призываются лишь в тех случаях, когда в них нуждается обвинение), ни защитников. Над нами велось

следствие, как над людьми негласно объявленными вне закона. Утверждалась лишь в одном: что бы ни произошло, всегда и везде существуют безотносительные моральные принципы, которым следует подчиняться неукоснительно.

Начиная с конца апреля по ночам меня будили дикие крики, площадной мат, лающие голоса, стоны, плач, причем всегда плач мужской. После полной тишины в одиночном корпусе не могла дать этому объяснение — то казалось, что это бред, то мистификация для наведения страха. Но звуки были реальностью, очевидно, тюрьма переполнена, и следствие уже ведется в кабинетах где-то близко. Перестала спать и в те ночи, когда оставалась в камере. Просыпалась с ноющей тошнотой, переходящей в рвоту, стоило мне приподнять голову.

Вскоре меня начали выводить на прогулку — через день на пять минут. Выводили гулять, как мне кажется, через камеру. Обратила внимание на прелестную молодую женщину, шедшую через человека от меня (значит, из 16-й камеры — номера камер идут так: 20, 18, 16 и т. д.) — чистое, гордое лицо, очень бледное, со спокойной улыбкой, две большие темные косы, переброшенные на грудь, взгляд ясный, мягкий. Спускаясь по лестнице, поймала ее взгляд, я была новенькой на прогулке. Гуляли, как обычно, по кругу, не останавливаясь, заложив руки назад. Меня шатало, а незнакомая молодая женщина с видным удовольствием искоса глядела на солнце, что различала по повороту ее головы. В общей камере позднее узнала от заключенной Кулагиной, которая с ней некоторое время находилась в «двойнике», что женщину звали Зоя Б-ва, она журналистка, закончила Институт красной профессуры, бывала за границей и сидит с января 1935 г. почти все время в одиночке, на редкость спокойная и волевая. На меня же, к моему стыду, одиночка действовала прескверно. С детства не переносила замкнутых помещений, в тоннелях делалось дурно, в толпе терялась, в одиночке — замкнутости через край, и я задыхалась. Говорить об этом было бесполезно, да и унизительно. Самочувствие ухудшилось. По утрам появились рвоты желчью с кровью и головокружение. К врачу обращаться не хотела.

26 апреля в тюрьме вспыхнула обструкция. Тюрьма всегда горючий материал. Тюрьма периода 1930-х годов представляла собой человеческий сплав, предельно накаливаемый мучительными вопросами, невыносимыми противоречиями, парадоксальностью и несовместимостью с тем, кто сидел. Люди, творившие революцию, и их ближайшее окружение обвинялись в злодеяниях против революции именем народа. Этого нельзя было ни понять, ни принять. У всех нервы не

выдерживали. Поздно вечером, часа через два после отбоя, раздался резкий, как выстрел, женский вопль: «Где мой муж? Где мой муж?». Затем звон разбитого стекла. Отчаянные стоны, рыдания неслись отовсюду и в минуту, как пожар, охватили весь тюремный двор, все этажи. Казалось, из всех отверстий неслись неистовые стенания, проклятия, жалобы; о решетки ударялись железные кружки, и сыпались с треском стекла. Чтобы не поддаться безумию, не влиться в стадный животный поток и прервать дьявольское трепетание нервов, вскочила коленями на койку, врыла голову в подушку, натянула на нее сверху одеяло, заткнула уши и стояла на четвереньках может быть час, а может быть и три часа, не могла отдать себе отчета во времени. Во всяком случае, меня долго никто не тревожил, несмотря на полнейшее нарушение тюремных правил. Повидимому, всю службу стянули в буйствующие камеры. Очнулась, когда кто-то качнул меня. Упала к стене. Мужской голос: «Лягте, как положено, что вы делаете?». Он вышел. Дверь закрылась. Крутом абсолютно тихо. Наступила полная и страшная после криков тишина. Она давила неизвестностью. Будто кругом ни души. Вытянулась на койке и ждала поворота «глазка», как проявления жизни. Незаметно провалилась в сон...

— Войтоловская!

— Адда Львовна,— быстро поднялась на койке, чтобы собраться к следователю.

— Нет, нам нужна Анна Ильинична.

Форточка захлопнулась. Анна Ильинична Войтоловская — моя мать. Завертелось в голове: мама сидит где-то рядом, в одиночке, слепой отец один с детьми или дети в детдомах, а папа в больнице...

В камерах одиночной ленинградской внутренней тюрьмы есть звонки для вызова дежурного, наподобие звонков в старых гостиницах. Если ручка звонка уже вытянута, сигнал не повторяется, пока его не выключат снаружи. Я дернула. Никого. Начала колотить кулаками, а затем и ногами в дверь. Тот же результат. Стучала с перерывами до утра. Никто меня не остановил. «Глазок» замер. Только много позже поняла, что все было задумано и подстроено следователем Райхманом. В ту же ночь ни одна успокоительная или разумная мысль в мою голову не приходила. Для меня было ясно одно: мама арестована. Еле дождалась утра. Вызвала, когда принесли хлеб, дежурного по отделению, написала заявление следователю о вызове к нему. Не вызвал. Следующий день — первое мая, день неприсутственный...

Долетает гул самолетов. Через козырек и решетку па-

дают затемненные блики солнца. Отдаленно слышны оркестры, обрывки песен. В душе ад. Узнать ничего нельзя. Ничем себя не отвлечь. Время становится иной категорией, оно необъятно, бесконечно, угнетает, запертое в узком пространстве.

От окна к двери, от двери к окну тысячи раз. Наконец, измотанная сажусь к столу, упираюсь взглядом в стену и внезапно обнаруживаю тонкие едва различимые, ранее не виденные мною царапины слов и надпись. С трудом ее разбираю: «Верь заре, не верь кручине». Не верю своим глазам, такой отрадой, неожиданным благом, нечаянной радостью показались бесхитростные слова. Религиозный человек усмотрел бы в них чудо, потому что они прочлись в самую необходимую минуту безвыходности и настигающего тебя безволия. Подавлено не только сознание, но и подсознательное восприятие и ощущение мира. Что ты можешь сделать? Драться за свою правду? Но ты сбит с толку, пусть временно, утерял ключ к самому важному замку. Когда разобрала две коротенькие строки, они, чудилось, смотрели не со стены, а шли изнутри, появились из-под моих пальцев. Потом что-то медленно просыпалось, воскресало. Иной раз достаточно малюсенького толчка или крохотной опоры, чтобы оттолкнуться и начать карабкаться наверх, к просвету, чтобы начали действовать некие частицы высокого духа преодоления. Наверно, в этом смысл древнего изречения — «все свое ношу с собой»... Был тут кто-то, кто оставил надпись, желая ободрить, он писал не только для себя... Захотелось и от себя оставить что-то обнадеживающее. С тех пор не раз вчитывалась в эти строки и пользовалась всяким случаем, чтобы выцарапать на стене такие же простые слова тем, кто будет здесь после меня. Царапала их ногтем и ложкой, впиваясь в «глазок», и кружкой, и огрызком гребешка, который мне оставили, и случайно неотпоротой пуговицей. Почти дописала до перевода в общую камеру. Кто-то прочел...

Дни тянулись, а меня никто не вызывал. Предположение об аресте матери ужасало до омертвления. В майские праздники на прогулку не выводили. 4-го вывели. Едва передвигалась. На лестничном витке женщина из 18-й камеры споткнулась, за этот короткий миг длиннокобая незнакомка из 16-й камеры сжала мою руку и шепнула:

— И здесь живем!

— Разговоры! Всех оставлю без прогулки,— крикнул конвоир.

... Только 9 мая Райхман вызвал меня и, продолжая комедию, встретил следующими словами:

— Захотели, наконец, искренне рассказать о контрреволюционном подполье, я вас слушаю.

Он имел в виду мое заявление от 30 апреля с просьбой о вызове. Тут уж я взорвалась, ему пришлось слушать:

— За что вы посадили мою мать? Кто дал вам право издеваться надо мною и над всеми? Куда дели детей? Дайте немедленно свидание с матерью, если она не арестована. Кто дал вам право устраивать пытки? Что у вас за методы вылавливания врагов — закинуть огромный невод, вытащить несметное количество рыбы, авось среди окуней, плотвы, пескарей и прочей мирной рыбешки найдется та самая акула или гидра, которая совершила преступление? Ищите акулу по ее приметам, на то вы и следственные органы! Дайте мне другого следователя. Я не скажу ни слова, пока не увижу мать.

Я буквально бушевала. Сначала и он взъерился:

— Брызжете бешеной пеной, как всякая белая сволочь, учить нас вздумали, кусаете советскую власть, она вам не по нутру, вы совершаете убийства, а когда вас ловят на месте преступления...

Для следователей запретов не существует, им все дозволено. Так продолжалось долго. Вдруг Райхман понял, что переборщил. Стало тихо.

— Да ваша мать жива и здорова и дети тоже, и вам разрешена передача, и я вам, против правил, разрешу книги и газеты.

— Тогда позвоните домой по телефону, я должна слышать голос матери!

Он набирает наш номер 2-20-56, и я говорю с мамой. Обе говорим спокойно и весело минут пять. Только тогда поняла, что «арест» мамы — следовательский трюк, как и книги, как и разговор по телефону.

Становлюсь злее, упрямее, трезвее и ровнее. В этот день следователь так и не смог вести допрос и отправил меня не в «думалку», как обычно, а спать. И сон пришел. Чтобы противоборствовать, необходимо знать, кому и чему ты противостоишь. Уйти от вопросов некуда. Дать ответ невозможно. Звучат в голове строки Александра Блока:

На непроглядный ужас жизни
Открой, открой скорей глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне —
Дай гневу правому созреть.

Ложность и неразрешимость узлов та же, что и на воле, но здесь от них не оторваться, не отрешиться. Они припирают тебя к стенке. Тюрьма и воля — сообщающиеся сосу-

ды. Как ни стараются отгородить тюрьму, поставить каменные ограды, железные ворота и засовы, козырьки и решетки, окружить таинственностью, изоляцией и ужасом, все эти препоны реальны для отдельных граждан, но для общества в целом «тюрьма» и «воля» остаются сообщающимися сосудами. Между ними нет непроходимости. Чем наступательнее террор, тем менее свободы и независимости на воле, тем переполненнее тюрьмы. Чем более жесток режим тюрем, извращенней методы следствий, бедственней и бесправней положение заключенных в местах заключения, тем легче давить на «волю», тем страшнее жизнь везде. Это может не сознаваться, не фиксироваться в словах, но подсознательно ощущается всеми. В глубинной сущности своей «воля» и «тюрьма» — одно целое. И заключенный прежде всего думает над тем, что же происходит на воле, если стало возможным заключить его в тюрьму...

Но тюрьма имеет и свои специфические законы. Физически мне становилось хуже и хуже. Получила передачу, но есть уже не могла. Рвоты усилились. Замечала на допросах, что голос мой совершенно изменился, огрубел, рычал, как из бочки, и я не могла с ним совладать, не могла подчинить голосовые связки. И все за короткий период времени.

— Вам разрешены книги. Что хотите читать? — услышала в форточку мужской голос. Не встала и не разглядела лица.

— Мне безразлично, — ответила я.

— Кто вы по специальности?

— Историк Запада.

— Хорошо, подберу сам.

Его доброжелательный гражданский тон озадачил. Книги он подобрал не случайные, с тайным умыслом, быть может, с сочувствием, а может быть, и это входило в планы следствия... Библиотекарь принес «Дело Маурициуса» Вассермана, роман о следствии. В тот момент, когда следователь доводит невинного подсудимого, учителя Маурициуса, до осознания своей вины, следователь кончает жизнь самоубийством. Книга была на немецком языке, как и «Успех» Фейхтвангера. И на русском — «Роды» Ромена Роллана. Вначале набросилась на книги, через неделю уже остыла, а на десятый день книги отобрали. Получила и пачку газет. Они не возвращали к жизни, а казались напечатанными на другой планете.

Май и половину июня продолжала сидеть в одиночке. Следователь между тем утратил ко мне всякий интерес. Уже после первого допроса раз и навсегда решила утверждать, что Коля ни о чем, касающемся дел партии и оппозиции, со мной не говорил как с беспартийной. И в этом отноше-

нии я не отступала ни разу. Возможно потому, что я не подвергалась подлинным физическим пыткам, не знаю... В конце концов Райхман стал поддаваться на удочку моей полной неосведомленности и бесполезности для его следствий. Я вошла в роль. Ему так и не удавалось перейти за границы узкого круга моих родных, а его попытки вести со мной серьезные разговоры на политические темы терпели фиаско. Во всяком случае, большинство его софизмов, неожиданных наскоков и трюков перестали меня ставить в тупик, хотя следствие довело меня до тяжелой анемии мозга, по заключению тюремных врачей.

После инсценировки ареста мамы и допроса 9-го мая я уже была не та, что вначале, независимо от физического состояния. Доверия к следователю никакого, зато приобрела способность хладнокровно рассуждать и думать о том, какую ему подбросить кость, чтобы он грыз не меня, а ее. Вспоминала киевских друзей отрочества и юности, среди которых были меньшевики и анархисты, поездку к Коле в Тобольск в 1929 г. и пр. Райхман писал, затем рвал, замечая, что это теперь не криминал. Протоколы разбухали, раздражение Райхмана нарастало, как и моя болезнь.

Несколько раз водили к высоким начальникам — фамилии мне не известны, — всякий раз допросы о людях самых разных. То об Эльцине, Радеке, А. Л. Бронштейн, М. Ивнове, О. Давыдове, Яковлеве, Наумове. То о Томском, Горловском, Малышеве, Пригожине, Райском, Ширвиндте, Шеине и о других профессорах, аспирантах, преподавателях ЛВШПД, знакомых. Отвечала односложно: «Не помню, знала как отличного лектора, знала по работе, разговаривала о текущих делах...»

Крики перестали действовать, как и угрозы, а в тот период, когда я сидела, женщин подвергали нравственным пыткам и суровым приговорам. Позже стало иначе, о чем свидетельствовали прибывшие в лагерь после нас. Случалось, сталкивали с товарищами в нижнем коридоре или у входа в кабинет начальника-следователя. Однажды товарищ резко вздрогнул, увидев меня, с тех пор всегда шла опустив глаза, чтобы не обнаружить знакомства. Один из начальников как о факте совершенно достоверном говорил, что я принадлежала к контрреволюционной террористической группе Меламеда, «дело» которого, как я потом узнала, было выделено в особое судопроизводство, а он сам расстрелян. Кому добрейший Меламед — коммунист с 1917 года, работник профдвижения и преподаватель ЛВШПД — не сделал в жизни хорошего, не помог? Он был умен, отзывчив и тонок душой, некрасив, лопоух и на редкость симпатичен. Свое мнение о нем изложила допрашивающему. Его ответ:

«Таким образом, вы сами подтвердили принадлежность к его контрреволюционной террористической группе». В таком духе допрос и продолжался.

Как-то в кабинете у Райхмана впервые в жизни потеряла сознание. Когда очнулась, чей-то голос произнес: «У нее анемия мозга, мы за ней наблюдаем, возьмем в больницу». Открыла глаза — врач в белом халате. Почувствовала боль в руке — очевидно, мне сделал укол, когда я была без сознания. В больницу не хотела ложиться ни за что, так как для мамы это было бы дополнительным волнением. Протестовала против больницы. Врач ушел. Вскоре отправили в камеру. Через некоторое время вызвали «с вещами» и поставили в так называемый «собачник» — узкий ящик без света, но с открытым «глазком», где можно только стоять на вытяжку. Простояла до утра, несмотря на то, что пережитый глубокий обморок и на отвратительную слабость. Несколько раз соскальзывала на пол, подгибая ноги и не обращая внимания на окрики часового. Утром повели, вернее поволокли в душ, ибо идти не могла, все вертелось перед глазами.

В душе оказалась не одна, что навело на мысль о переводе куда-то, так как для одиночных камер существует и душ-одиночка. Мыться не могла, просто разделась и села. Недалеко от меня сидела на скамейке высокая голая женщина с распущенными по-русалочьи длинными волосами, покрывавшими ее всю почти до пят, и, опустив голову на руки, неутешно плакала. Так мы и сидели с ней, не принимаясь за мытье и не заговаривая. Конвоир неоднократно и довольно терпеливо смотрел в глазок, наконец ворвался в баню с угрозой: «Ежели вы не умеете сами мыться, пришлю банщика». Моя соседка по неволе открыла лицо, посмотрела на меня: «Что с вами? У вас страшное лицо, вернее, глаза». Объяснила ей, что заболела. «А я привезена с воли» — ответила она. Продолжая всхлипывать, женщина помогла мне помыться. В каждом ее движении чувствовалась энергия, здоровье и привычка к труду. Крепкая, стройная, широколицая с чуть по-калмыцки посаженными глазами, деловая и довольно солидная, она всхлипывала по-детски. Тюрьма не располагает к доверию, но мы потянулись друг к другу и остались друзьями по сей день, хотя жизнь не раз нас разводила и разлучала на десятилетия. Назвала фамилию: Устругова. Сразу вспомнила список расстрелянных дворян.

— В вас нет ничего от дворянства.

— Устругова по мужу, а я — работница, большевичка.

Успела ей шепнуть: «Ни одного лишнего слова». Мое одиночество было разрушено, и Дора Устругова стала мне

сразу мила. Я же была для нее первым встречным в тюрьме человеком. Мы попали в разные камеры. В общей камере, куда меня привели, человек 25—30. Здесь койки не привинчены, напоминают нынешние раскладушки. Двери не сплошные, а как в зверинце — заменены толстой железной решеткой. Коридор тоже не глухой, а с окнами. Стало легче дышать. В коридоре не надзиратели в военной форме, а надзирательницы в обычной гражданской одежде. Слышен звонок тюремного телефона: «На прогулку», «Есть привести» и пр. Прогулки ежедневные, по 15 минут. Книг, газет нет, но вновь арестованные являются живыми информаторами, так что полного отрыва, отличающего одиночку, нет.

В общей камере мне разрешили первое время днем лежать. Лежала молча, приглядывалась и прислушивалась. В камере в основном — квалифицированные работницы, парработники, люди умственного труда, большей частью — партийки. Аналогичные обвинения, аналогичные допросы, те же вызовы по ночам, часто несколько суток подряд; ужасающие обвинения, страдания, слезы, тоска о детях. Постепенно в общей камере начала оживать физически, подниматься, выходить на прогулки.

В 1936 году круг арестованных раздвигался — развернутым фронтом шла подготовка к большому публичному процессу бывших партийных руководителей. Совсем не тот диапазон и масштаб, как во времена процесса шахтинского или процесса меньшевиков. Надо было подготовить общественное мнение, произвести глубочайшую его вспашку для освоения такого страшного посева. Психологическая неподготовленность могла грозить провалом. Во всех концах земли русской «обнаруживались», а в действительности мифически, искусственно создавались подпольные троцкистско-зиновьевские организации, террористически-шпионские группы и группочки. Как тут было не растеряться? Да еще в стране, где люди постепенно привыкли к авторитарному мышлению и где культивировалось единогласие как принцип.

Довольно значительную группу среди посаженных составляли люди, привыкшие мыслить по определенной схеме — без причины советская власть не сажает. Посадили — так им и надо. Нет дыма без огня. Презумпции невиновности до тех пор, пока обвинение не доказано, у нас не существовало: арестован, значит виновен, значит враг, значит преступник, значит очерчен круг общественного отщепенства к нему и всем его близким. Но вот вчерашний неколебимый товарищ посажен. Все несправедливое, недоуменное, непонятное начинается с себя. Все, кроме неё (или него), враги народа и советской власти, в отношении же неё (или него) совершена необъяснимая ошибка. Лес рубят — щепки ле-

тят. Ошибка будет исправлена, стоит лишь выложить всю душу следователю, вспомнить и назвать всех более или менее «связанных», «подозрительных», «замешанных», виденных там-то с тем-то. Такие сосредоточенно целый день «вспоминали», держались особняком, не делились передачами. Следователи выжимали из них все, что хотели и даже то, чего не хотели. Они-то, собственно говоря, и подсказывали следователям имена и звенья в их направляемой сверху, но ведущейся на ощупь, работе. Некоторые из них после первых дней сидки, допросов, знакомства с сидящими,—ведь на воле, действительно, немыслимо представить себе, кто заполняет советскую тюрьму,—начинают рассуждать, и через внутренние глубокие драмы, борьбу, многое пересматривали, сохраняли принципиальность. Иные же так и остались скоропортящимся человеческим материалом.

Распад происходил на глазах. Люди эти постепенно раздваивались, теряли к себе уважение, быстро никли. В местах заключения сохраняли лишь внешнюю партийную фразеологию, заботились главным образом о физическом самосохранении любыми путями и, в конце концов, так или иначе опускались. Были среди них и такие, которые не заботились и о физическом состоянии, настолько они были сбиты потерей идеологической и психологической опоры; они как маньяки или умалишенные писали одно заявление за другим, сосредоточив на этом всю жизнь. Заявления, конечно, на имя всесильного и справедливейшего Сталина, который немедленно разберется во всем, всенепременно восстановит справедливость и призовет их снова на пост, а до остальных и дела нет. Образование было тут ни при чем, скорее играло роль заострение мышления. Между прочим, можно назвать среди них и профессора Ральцевича (руководителя ленинградского отделения Комакадемии), философа по специальности. Его уж нет в живых и, может быть, не стоило бы говорить в таком тоне о человеке, столько пострадавшем, оставившем на воле шесть детей и не причинившем товарищам никакого особого зла. Но как он был растерян, дезориентирован, буквально помешан на кропаний заявлениях. До чего жалок, как позволял издеваться над собой начальникам лагерей, как беспомощен, как беззащитно противопоставлял себя чистого, правоверного всем нечистым — в работе и в быту. Знала его по первому году лагеря. Слышала, что позднее он несколько изменился, но то, что мне довелось наблюдать — поистине ужасно по сдаче человеческих позиций. Тюрьма, лагерь, как фронт — мгновенный определитель — там видишь человека голым, без орденов и прикрас. Происходит промывка — песок отсеивается, сохраняются крупницы золота. К счастью, слабодуш-

ные люди не составляли большинства. Тюремно-лагерный переплет выпрямлял, рождал желание отстоять личность, внутреннюю свободу, сохранить достоинство, возможность дальнейшей работы. Безусловно, тюрьма, лагерь — противостественный и злодейский способ воспитания характера, но поскольку именно так сложилась жизнь немалой части целого поколения, приходится смотреть в глаза реальности.

Щедрая на горе, судьба дарила и встречи с людьми замечательными, с живым умом, одаренными и одухотворенными. Они не считали себя разбитыми, целиком сохраняли богатство духа, памяти, жизнерадостности, не теряли перспектив на будущее, радовали шуткой, острым словом, товариществом. Однако легко это не давалось никому. Такие умели отвлекаться от бытовых тягот и неурядиц, даже голода, быть смелыми, когда это необходимо, в словах и поступках. Далеко не всегда они являлись силачами, иногда даже физически хилыми, но стоили десятков силачей по стойкости и выносливости...

Через несколько дней после перевода в общую камеру привели туда молодую беременную женщину. Мы оказались с ней рядом. Койки стояли вплотную одна к другой. Днем она упорно молчала, а ночью шепотом, задыхаясь от возмущения и оскорблений, переполненная, как она говорила, «бешенством души», рассказывала о себе, семье, муже, допросах. Муж ее — один из руководителей ленинградского комсомола — обвинялся в непосредственной связи с Николаевым, в подготовке убийства Кирова.

Арест мужа, ее собственный арест вызывали в ней гнев и протест. «Те, кто может так ошибаться, — говорила она, — не годятся в судьи, их самих надо судить! Не покорюсь! Пусть расстреливают вместе с мужем! Спрашивают, как я помогала в подготовке террористических актов, была ли на квартире Зиновьева? Будто это одно и то же! Да, бывала на приемах и на квартире! Но для чего страдать невинным, если и совершены преступления? У меня закрадывается мысль, что они-то и убили... — Она озирается. — Можете донести на меня, мне не страшно. Не боюсь ни их, ни вас! Кто я? Я — Кулагина, потомственная работница. Я — советская женщина, которая решила иметь ребенка лишь на шестом году замужества! А почему на шестом? Отец и мать с детских лет работают на нынешней фабрике Халтурина. Мать прославленная ткачиха. Отец знаменитый на фабрике наладчик станков. Я начала работать на этой фабрике девчонкой, едва грамотной. Оттуда — на рабфак, затем в Техноложку. Сейчас я — инженер-технолог на этой же

фабрике. Теперь-то, решили мы с мужем, ребенок не помеха ни учебе, ни работе. Оказывается, помешал! Знаете чему? Моему расстрелу! Следователь-мерзавец прямо сказал: «Говорите всю правду, при всех условиях закон сохранит вам жизнь ради ребенка». Слово-то какое — «закон»! Закон... из его уст! Через три месяца должен родиться ребенок! Для чего? Я не хочу его. У расстрелянного отца и обезумевшей арестантки-матери будет ребенок! Не нужен такой ребенок! За что? Не могу смириться! И никто не заступится?! Я выросла на фабрике, здесь приняли в комсомол, в партию. А защиты нет...»

Исповедовалась она не одну ночь, извелась, похудела, оставались глаза и живот, которым Кулагина тяготилась.

Когда рядом так мучается человек, в его соседке рождаются силы и слова для утешения. Так мир создан. Успокоить нельзя. Все мы старались переключать ее мысли на ребенка, на радость материнства, сами лишенные материнства. Инстинкт материнства брал у Клавы свое. Явилось желание сохранить ребенка во что бы то ни стало. Жизнь ее, как ей казалось, уже ненужная, навеки искалеченная, потянулась к маленькому существу.

Судьба ее такова: Кулагина получила восемь лет лагерей на девятом месяце беременности. Ее направили не в больницу, а на этап в дальние лагеря. Через некоторое время, в конце августа, мы встретились с ней в архангельской пересылке. Не буду сейчас говорить о той человеческой гуще, в которую мы там попали, чтобы не прерывать рассказ о Кулагиной. Когда нас в середине сентября сажали на небольшой пароход «Ямал», чтобы везти через Белое и Баренцево моря, все — женщины и мужчины — кричали: «Начальника тюрьмы! Врача к Кулагиной! Не берите Кулагину!» Кулагина была на сносях. Нас никто не слушал. Окружили плотным кордоном конвоиров и собак и начали швырять через борт. Наш этап попал в сильнейший шторм. Трое суток пришлось отстаиваться у Колгуева острова из-за свирепой морской бури. Все женщины, сокрушенные морской болезнью, валялись на полу, в воде и блевотине. Кулагина среди нас. После шторма мужчинам разрешили вынести нас наверх, где мы отлеживались до Нарьян-Мара. Там Кулагину отправили наконец в больницу. В ту же ночь она умерла в родах. Ребенок жил три дня. Во имя чего принесена жертва? Результат произвола, подлости и организованной бесчеловечности. Кто знает и помнит о прекрасной молодой жизни? Кто ответил за смерть Кулагиной, ее мужа и ребенка?

Вот еще одна молоденькая женщина нашей камеры — Наташа Дингельштедт, студентка третьего курса геологи-

ческого института. Я немного знала брата ее мужа Федора Дингельштедта, за которого посадили Наташу, поэтому Наташа прониклась ко мне полным доверием. Федор Дингельштедт закончил Институт красной профессуры, до ареста был ректором Лесотехнической академии. Он был дружен с Карповым и заходил к нам в «Асторию».

Наташа моложе мужа, очень хороша собой: глаза и краски мадонны. Она шахматистка, участница конкурсов, но даже трудно себе представить, насколько она политически неразвита и бестолкова. Следовательно легко об этом догадался, что не помешало дать ей пять лет. Однако он и смеялся над ней. Когда она не могла ответить на какой-нибудь простейший вопрос, он советовал ей спросить в камере, и Наташа спрашивала: «Кто написал статью «Головокружение от успехов?» Или у меня по секрету: «Скажите, с кем лучше себя связать — с Зиновьевым или с Каменевым. Кто из них хуже?»

За ней на воле, очевидно, шла слежка, так как однажды Наташа возвратилась от следователя со словами: «Он абсолютно все обо мне знает, он сам слышал, как я в оперном театре сказала, что и я, и любая здоровая, добросовестная девушка в своем деле может работать не хуже Мамлакат, а из нее героиню сделали. (Мы с однокурсницами, действительно, болтали о Мамлакат.) Все пропало, я сию минуту расписалась в том, что по заданию троцкистской организации, куда меня завербовал Федя (брат мужа), порочила стахановское движение».

Могла ли эта неустойчивая, неискушенная жизнью, красивая чистосердечная девочка выдержать натиск лагерных испытаний, не имея крепких убеждений? Заранее можно было сказать, что она надломится, как тонкий ледок.

Секретарь партбюро ленинградского Металлического завода Зинаида Немцова и в камере чувствовала себя крупным организатором и командиром. Каждой нелегко осознать, что вот это и есть твоя жизнь, втиснутая в следственную камеру, ведь в основном брали активный творческий костяк женщин, привыкших к жизни стремительной и интенсивной. Для стоявшей у руководства ультраправовой Немцовой удар был тем более неожидан. Вчера еще она решала — кому быть, а кому не быть, а сегодня кто-то решил сбросить ее со счетов. Каждым жестом, словом Немцова подтверждала и декларировала свою партийную ортодоксальность и безупречность. Ей нельзя отказать ни в выдержке, ни в искренности особого рода. В том и сказывалось своеобразие нашей сидки. Но качества эти совмещались с ограниченностью, менторским догматизмом и нескромным ячеством. Даже в одежде было заметно самолю-

бование — белье у нее было то тем временам первоклассное. Она ходила в камере в пестром шелковом халате с рукавами японского кимоно, распустив по плечам волнистые вьющиеся волосы, а перед выходом к следователю тщательно отглаживала дорогой черный английский костюм. Стоило кому-нибудь собраться на вызов к следователю, как Зина поднимала с подушки свою маленькую головку с зелеными глазами змейки, и из ее тонких упрямых губ неслся шепот: «Будь откровенной не наполовину, а до конца, руководствуйся партийной совестью, ты должна быть полезной партии». Рассуждения ее не лишены были сухой прагматической логики, признавали справедливость арестов, репрессий, но логика эта имела брешь, вследствие чего была легко уязвима: справедливость арестов признавалась для всех, кроме самой Немцовой.

В начале 1964 года в «Известиях» была напечатана восторженная статья о ней под названием «Вечерняя заря» или нечто подобное. Никто из знавших ее по лагерю под статьей бы не подписался. В условиях лагеря на смену искренности пришло голое доктринерство, взамен «партийной совести» — приспособленчество. Немцова в лагере стала правой рукой «воспитателя» — есть такая должность на любой лагерной «командировке» (командировками назывались лагпункты). И должность сама по себе мерзкая, и человек на этой должности в Кочмесе был грязненький и мерзейший. Однако Немцова с ним нашла общий язык. Функции ее сводились к информации о лагерных настроениях. Желание оправдать во что бы то ни стало все, что происходило, неизбежно привело ее в III-й отдел* и направило против заключенных. Приходилось сталкиваться с ней на этой почве.

Из всех сокамерниц помню лишь одну-единственную Марию Булгакову, которая твердила, что ее взяли не случайно, ибо она противница советского режима и ненавидит все, с ним связанное. Недели через две она объявила, что ее отпускают на волю. Вскоре Булгакова, действительно, из камеры исчезла. Больше ее никто не видел. Надо полагать, что то была весьма топорная «наседка», не оправдавшая своего назначения.

Спустя некоторое время после перевода в общую камеру меня снова вызвали к следователю. На этот раз допрос происходил в том же здании, что и внутренняя тюрьма — переход из камеры был недолог. Обстановка рангом значительно ниже. Видимо, я перечислена в иную категорию. Ка-

* III-й отдел — секретная служба лагерей. (Примеч. авт.)

бинет с железной решеткой на окне с наваленными в углах кипами папок и бумаг — напоминал архивный склад какой-нибудь захудалой провинциальной управы. Следовательно тоже попроще, одет в штатский костюм. Однако, думается, что именно отсюда, из этих замызганных, желтых, наводящих тоску кабинетов раздавались душераздирающие вопли и стоны, от которых я содрогалась по ночам в одиночке.

Когда осмотрелась, в памяти возникли слова Гоголя, знакомые нам с детства: «в одном департаменте служил один чиновник...» Но подлинная фамилия моего Башмачкина была Волков и, как я узнала потом, он стряпал мерзкие «дела», подсказанные обстоятельствами, приказаний и распаленной плотоядной фантазией.

— Ну-с, теперь рассказывайте о вашей террористической деятельности,— начал он.— В подготовке какого террористического акта вы участвовали по заданию контрреволюционного троцкистско-зиновьевского центра?— Он, очевидно, получил задание от Райхмана или от начальника отдела, вызывавшего меня, добавить мне пункт 8-й — террор, а срок продлить до 8 лет.

Снова те же перепевы о связях, подполье, сборищах, снова словесные столкновения с десятками фамилий, подложное приписывание встреч, указаний, действий... Не скажу, что меня допросы не волновали, но уже не коржили и не подавляли. Вызывал Волков три-четыре раза. Наконец, я сказала:

— Поздно теперь, вам надо было начать с террора в первую ночь. Возможно, тогда призрак террора произвел бы на меня впечатление, сейчас — уже не больно, а смешно. Время вами упущено, ничего не выйдет.

Психологический поединок со следователем Волковым я выиграла сравнительно легко, тогда как Райхман заставлял меня мучительно страдать. Так закончился последний допрос. По решению ОСО (особого совещания) при НКВД я получила 5 лет заключения за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» или сокращенно — «кртд».

В то время, в 1936 году, совершенно не задумывались над формулировками обвинения. Достаточно было общей формулы — «кртд», под которой можно было подразумевать что угодно или даже ничего — расшифровки не требовалось. ОСО она вполне удовлетворяла. На нас ставили определенное политическое тавро, как в крупных сельских хозяйствах называют всех коров, родившихся в один год — на одну определенную букву. (Клейма на одежде тогда не носили ни в тюрьмах, ни в лагерях. Они появились позднее, после войны, когда был учтен «опыт» фашистских лагерей и созданы строго режимные и каторжные лагеря.)

После приговора имела свидание с матерью и детьми. Всю жизнь жгучее щемящее чувство жалости и любви наполнят меня при воспоминании о нем. И чувство отчаяния, испытанное мною тогда перед предстоящей разлукой, охватывает меня и заслоняет все. Им я была так нужна, а уходила от них без цели, без смысла, неоправданно. Вижу маму: углубившиеся глазницы, всегда сиявшие прежде глаза, наполнены печалью, худоба, появившаяся сутулость, сдержанные жесты, слышу ее теплый срывающийся голос... Миллионы матерей тоскуют, отправляя детей на фронт, но им хотя бы дано право гордости за них и общественное сочувствие. Наши матери обязаны были прятать свое горе от всех. Лёничка сразу повзрослел за полгода, что мы не виделись, все понимал, прилип ко мне, не выпускал моей руки и потихоньку от бабушки и Валюши спрашивал: «Ты уедешь насовсем, как папа, ты уедешь из Ленинграда, ты уедешь без нас?» Как могла я их защитить, успокоить, обнадежить? Валюшу подстригли по-новому — челочкой, она пугливо озиралась, жалась к бабушке, которая стала для нее более надежной опорой, чем я. Только когда я посадила ее на колени, она отвлеклась от всего и весело болтала о том, как она хорошо научилась скакать через скакалку по всему садику у Стерегающего — «быстрее Вити и даже быстрее Лёни...» Удивило как снисходительно улыбнулся Лёня ее словам, сознавая по-взрослому их неуместность. Трудно было обласкать Валюшу; когда Лёня стоял рядом, как большой, страшась хоть как-нибудь проявить чувство, чтобы оно не выплеснулось наружу. Трудно было говорить с мамой одно, с детьми другое, но благословляла маму за то, что она решилась прийти с детьми и добилась свидания для всех. Это было почти невозможно и сопряжено с большими хлопотами.

Десять минут, только десять... Что о них расскажешь? Зарубка для чувств на годы, на жизнь.

Конвоировала меня женщина. Она сказала: «Время вышло, все равно кончать надо, прощайтесь». Дети вздрогнули. Мы попрощались. Они уходили. Теперь видела мамину спину, которую она старалась выпрямить, видела Лёничкины закапавшие слезы и резкий поворот его маленького туловища, видела кивающую мне головку Валюши, поднятую ее ручку. А шаги их, по-разному отдававшиеся резким гулом в бесконечно длинном мрачном коридоре, рвали уши, голову, сердце. Тяжко было маме, невыносимо тяжело. Постепенно изъяты были три ее дочери (я, а позднее и две мои сестры) и наши мужья. Отец к этому времени ослеп. У мамы на руках находился слепой муж и наши дети, старшему из которых исполнилось только восемь лет. Мать работала с папой,

продолжая его незаконченные труды, и ухаживала за ним. Одновременно она занималась своей профессией и на эти средства воспитывала детей. Все это произошло не сразу. С каждым новым арестом к ней переходили новые детишки: с разными характерами, желаниями, болезнями — всего пять мальчиков и одна девочка. Жили с ней три мальчика и девочка, но заботилась она о всех. Не говоря о тех моральных муках, которые пали на нее, — ведь она всех нас знала до кончиков ногтей, беспредельно верила каждому из нас.

Ее давил гнет материальных забот. А приходилось ей из скудных средств выкраивать и носить нам передачи, простаивая в очередях, волноваться, когда их не принимали, провожать нас на этапы, если удавалось — в полную неизвестность. Пережить крах одной жизни и семьи за другой, писать нам ободряющие письма (а иногда и послать что-нибудь самое необходимое), возвращаться бодрой домой к отцу и детям. В 1936 г. ей было уже 57 лет. Надо было создать семью для детей и суметь сделать их жизнь не только сытной, но и радостной. И она смогла! Наше молодое поколение и сейчас вспоминает, какие елки устраивала бабушка. На них присутствовали наряду с другими детьми и ее внуки. И дома, и в клубах, сколько было веселья, музыки, какие изобретались костюмы! И все, в основном, ее руками с помощью детишек. Дети выросли, надо было дать им образование. Можно учиться у нее тому, как она умела развить в детях интерес к самому основному, главному и ко всему, чем они занимались и что делали. У нее был удивительный педагогический дар — увлечь занятиями, приоткрыть заманчивую дверцу в будущее всякого дела, за которое они принимались, раскрыть способности, склонности каждого ребенка. Несмотря на свою занятость, несметное количество обязанностей, которые на ней лежали, на тяжесть ее жизни, мама умела проникнуть в самую сокровенную суть жизни каждого из ее питомцев, потому что это ее саму увлекало, потому что она всей душой отдавалась их воспитанию. Увы, все ее письма о детях ко мне в лагерь безжалостно сожжены. По ним я разгадывал их характеры, движения души, слабости, направление роста. Маму на все хватало, все находило живой отклик в ее разносторонней натуре. Она следовала своим убеждениям, что без искусства нет полноценной жизни, учила музыке, рисованию, где не могла помочь сама, направляла в Дом пионеров, не страшась отпускать детей через весь город. Воспитала в них надежность, ответственность.

Все наши дети не сломились, не надорвались, все получили образование, все плодотворно работают, для каждого

из них образ бабушки — самое светлое в жизни. Во время второй волны арестов — в 1948—1949 гг. — она снова взвалила тяжкую ношу и несла ее до конца. К счастью, дети уже повзрослели, маленьким у бабушки оставался только сын Али — Сережа.

Мама умерла ровно за год до возвращения первого из нас. Четверо из шести вернулись уже после смерти, двое погибли. Моя мать обладала талантом жить, находить главное, неприкосновенное для всех бед и создавать атмосферу высокой духовности и любви вокруг себя. Но сколько же выстрадала она за последние 20 лет своей жизни! При анатомическом вскрытии врачи обнаружили семь инфарктов, которые она перенесла на ногах, продолжая работать и помогать нам и детям. Да святится имя твоё...

Из тюремных ворот мама вывела двух сирот. Таких осиротевших детей, лишенных и отца, и матери, оказалось вдруг на нашей земле в мирное время великое множество — десятки и сотни тысяч, а может быть, и миллионы... И во всей стране, пережившей великую революцию, не нашлось ни одного бесстрашного человека, ни одного свободного мужественного голоса, который бы посмел повторить вопрос Льва Толстого: «За что?» Ни одного голоса протеста! Почему? А если бы голос раздался, дошел бы до людей? Услышали бы его?

Следствие закончено. Я осуждена и разлучена со всеми любимыми. Из прежней жизни изъята и изгнана... Следствие, которое я прошла, безусловно, было не самым трудным и страшным по сравнению с другими, о которых узнавала все более и более впоследствии. На то был ряд причин: я была арестована в начале 1936 года, когда следственный аппарат вырабатывал и выверял механизм, который в дальнейшем действовал с неумолимой жестокостью и прямолинейностью. Ни в революции, ни в партии я не играла никакой роли. Тем не менее, следствие было трагическим выражением времени и содержало основные элементы хода вещей, заключающиеся в осуждении заведомо безвинных людей с определенной политической целью — уничтожения возможного свободомыслия и потенциального протеста против насилия. К таким людям я, безусловно, принадлежала. Поэтому в моем следствии, как и во всех других этого периода, были пущены в ход подлог, шантаж, уловки, вымогательство ложных показаний, изготовление порочащих лживых свидетельств, сочиняемых самими следователями и их сподручными, фальсификации всяких видов. Не существовало никаких

праворегуляторов, напротив — хамская грубость, произвол, беззаконие и безнаказанность следователей.

Правда и право повержены и затоптаны в грязь. Я не пережила избиений и пыток, погружения в каловые ванны, карцеров и многого другого, о чем узнала и о чем можно догадываться, но физические меры воздействия неизбежно прошла. Чего стоят бессонные следственные ночи неделями подряд, «думалки», стояния часами, когда ты совершенно обессилен и валишься с ног? Какова сила психического и механического воздействия на заключенного? И ты сам, и все кругом преступники и враги — и те, с кем ты близок и кого любил, и те, кого ты знал по юности и с кем мечтал, и те, у кого учился и кого по заслугам уважал... Человек попадает в мертвое кольцо, выпутаться из которого стоит неимоверного упорства и напряжения всех нравственных и физических сил. А следователи твердят: «на контрреволюционном сборище, в контрреволюционном подполье, среди агентов контрреволюционных разведок, шпионов и т. д., с которыми вы действовали заодно, ваши контрреволюционные единомышленники...». Переварить такое немыслимо, все это выворачивает тебя наизнанку, душит и преследует дни и ночи, во сне и наяву, рождает глубочайшее возмущение и протест, а порой доводит до умопомрачения. Не случайно, но, будучи здоровым человеком, я за короткое время заболела анемией мозга. Следователь из кожи лезет вон, чтобы сделать тебя соучастником в его мерзких целях — обвинении все новых и новых невинных жертв. А для этого ему прежде всего необходимо сделать подследственным участником собственного осуждения, собственных мучений и испытаний и, тем самым, лишить его воли, достоинства, чести и свободы выбора, в конечном итоге — индивидуальности и совести — обезличить. Весь твой дух, все нравственные силы, накопленные за жизнь, расходуются в огромных дозах, чтобы не подчиниться навязываемой тебе злой воле.

Нам почти ничего не известно, сколько людей и как боролись против этого, каким испытаниям их подвергали за противостояние. Ясно, что сохранили личность и, если не полную, то частичную духовную независимость только те, кто боролся против соучастия в гибели как своей, так и чужой. Уверена, что многие, не только оставшиеся в живых, но и умерщвленные, вели ожесточенную борьбу на следствиях. Все совсем не так просто, как то изображали официальные версии. На каждом деле стоит: **«Хранить вечно»**. Сохранились ли все дела в неприкосновенности? Будущее откроет тайны. Поколение революции потерпело поражение и ушло в вечность, но история не терпит пустых мест. Она беспощадно вскроет сейфы следственных кабинетов и за-

стенков, обнажит и обнародует методы насилия и лжи: физические, моральные, химические, механические,— пущенные в ход, чтобы задушить и опозорить революционные поколения и повернуть историю вспять. О себе лично могу сказать, что после следствия я оказалась не только потрясенной, много пережившей и обессиленной физически, но и возмужавшей в смысле горького познания многих явлений нашей жизни и действительности, ранее никак не доходивших до моего понимания.

Этап

На следующий день после свидания с мамой и детьми меня перевели в женскую пересыльную тюрьму, что рядом с «Крестами» (знаменитой мужской тюрьмой). Здесь в узкой камере нас четверо: Артемия Воронцова, Дора Устругова, Бася Воронова и я. Воронова непрерывно и неукротимо плакала. Слезы у нее не иссякали. Такой слезоточивости не доводилось никогда более наблюдать, особый род заболевания наверно. Уговоры, шутки, злость не действовали на нее. Воронцова, сама экономист и жена видного ленинградского экономиста Б. Кофмана, аналитик по складу ума, напротив, не позволяла себе никаких проявлений эмоций, иронизировала, бодрилась, хотя предрекала последующее ухудшение общественной обстановки и не питала иллюзий насчет освобождения. Обе они были направлены на Колыму.

Режим в пересылке несравнимо легче, чем во внутренней тюрьме. Работали в прядильном цехе, выходили на свободную прогулку в тюремном дворе, от которого, правда, сохранилось безразличное воспоминание, ибо именно там ознакомились впервые со всеми фиоритурами мата уголовниц. Они изощряются со вкусом на свеженьких, впрочем обычный ход их мыслей сопровождается матом потому, что они не умеют говорить по-иному. С Уструговой — истерика: ревет, требует начальника и уверяет, что с коммунистами так не смеют обращаться. Это вызывает у уголовниц взрыв восторга. Они обступили ее, издевательски гоготали и обливали Дору словесными помоями. Произведенный эффект их развлекал. Стража оставалась равнодушной к этому спектаклю и даже посмеивалась.

В субботу после работы вывели в коридор, где показы-

вали фильм «Мы из Кронштадта». Директор картины И. Вайсфельд, муж московской сестры Лины. Значит, они на свободе...

На этап отобрали девять женщин. Везли на вокзал в открытой трехтонке, окруженных стражей с винтовками и примкнутыми к ним штыками. Ленинград был великолепен, каким он бывает в солнечные прозрачные дни конца августа. Набережные, Литейный проспект, улицы, знакомые до мельчайших деталей. Полное равнодушие прохожих. Изредка любопытствующий поворот головы. И все. На нас не обращали внимания. Поскорей в сторону... Обычность такой картины? Страх? Да, и то, и другое — и приобвыкли, и боялись. Никому и в голову не пришло протестовать или закричать во весь голос: *«Остановитесь! Что вы делаете? Куда везете молодых матерей? Творится неправое дело!»* Ничего подобного не случилось. Мчались быстро. Мелькали кварталы, магазины, равнодушные люди... Вот уж тупик вокзала. Часовые возле столыпинских вагонов. Из каждого окна, забранного толстой решеткой, приплюснутые к стеклам лица небритых бородатых мужчин, иные машут нам руками и шапками. Кто они? Не столь важно, что представляет собой каждый из этих мужчин, но все они — жертвы произвола, самовластия, насилия, разгульного террора, поругания революции и позора общественной безгласности. Эшелон стоит несколько часов в тупике. Женщин-этапниц впахнули в одно отделение. Мы не разговариваем, не знакомимся. Каждая из нас загнана в тупик страданием, связанностью по рукам и ногам, расставанием. Без колодок — колодницы. Без вины виноватые.

Вдруг около нас началось оживление, какое-то движение. К столыпинским вагонам хлынули люди. Порыв и натиск были так сильны, что стража не успела их отогнать. Толпа сгрудилась и прилипла к вагонам. Не успела понять ничего, но тут же услышала крик Доры: «Олег!» (Так звали ее мужа.) Он был очень высок, и голова его выделялась из толпы. Через секунду увидела маму, Лёнечку и Эллу. Не знаю, уж как удалось родным узнать о нашей отправке, но их оказалось много. Стража отгоняла родных, они отступали и вновь приближались. Не суетились и не плакали. Совсем не так, как на обычном вокзале при отходе поезда. Лица провожавших были строгие и по-особому значительные. У окошка, совсем близко стоял мой сынок. Тут он поразил меня еще больше, чем на свидании в тюрьме, — он был исполнен напористой отваги. Конвоир крикнул ему: «Уходи, мальчик, прочь, здесь стоять не разрешается!». Лёня напрягся, сжал кулаки, выпятил подбородок и четко ответил: «Никуда не уйду, тут моя мама, понимаешь, моя мама!» И



конвоир отстал от него. Больше его не трогали, он один простоял у окна до отхода поезда. Всех остальных отогнали за насыпь, и мы лишь издали могли их видеть. Говорить не удалось. Лёничка смотрел на меня, как большие смотрят на маленьких, столько нежности и заботы было в нем. Как будто все принимал как должное, но вдруг заплакал и сказал: «Опусти решетку, опусти, я должен тебе что-то сказать...» Темнело. Поезд тронулся. Видела, как его маленькая фигурка бежала к насыпи...

Эшелон сформировался из 137 мужчин и девяти женщин. Все осуждены по статье «кртд». Наш ленинградский этап несколько раз вливался в общий поток, но нас отфильтровывали, и мы снова оказались в том же составе до весны 1937 года. Весна 1937 года кромсала все, наш этап в том числе... Бесчисленные этапы второй половины 1930-х годов были однотипны по необычности своих составов, вошедшие с тех пор в обычай. И потому страшны были они не столько режимом,— всякий режим можно снести, если он не смертельный,— сколько тем, кого вылавливали из жизни, пугали своим людским составом. Все без исключения советский актив, большинство члены партии, возраст в среднем 33 года, возраст расцвета. По сказанию, Христос возшел на Голгофу тридцати трех лет от роду. Женщин в столыпинском «купе» всего девять, это не плохо, мужчин набито человек по 20 и более. Душно. Два раза в сутки вода, два раза — оправка. Сухой паек — хлеб, селедка. Везут в неволю, только это известно, а куда — не знает никто. Везут, минуя пересылки, до Архангельска. И все — «враги народа»! Что это за несказанно странный, мифический «народ», у которого народились полчища врагов? А сам термин «враг народа» в данной ситуации некая внесоциальная, чисто политическая, необъяснимая категория. Понятие, взятое из архивов прошлого, спекулятивно-извращенное и получившее в руках правительственных карательных органов силу кровавого оружия против любого почему-либо неугодного.

Стучат колеса столыпинских вагонов. Стучатся мысли в головы приниженных homo sapiens, которым все представляется трагической фантазмагорией. Стучится беда во все уголки жизни... Везут нас без промедления, потому что надвигается осень и надо торопиться закинуть нас в далекую глухомань «по месту назначения». Куда и зачем — не суть важно. Мы собой не управляем, «щепки какого-то леса». «охвостье» или «отребье охвостья», изгой... Но кто же мы в действительности?

Предо мной 9 женщин-ленинградок, случайно погружен-

ных в одну клетку. Михалина Котиш старше всех. Работница завода «Красный треугольник» с детства, затем мастер, председатель цехкома. Член партии с 1918 года. Сейчас ей 42 года. Лицо у Михалины мужеподобное, в рывтинах от оспы, взгляд серых глаз пристальный, иногда насмешливый. Руки натруженные, умелые. Походка решительная. Голос прокуренный. Немного словна и в политических разговорах участия никогда не принимает. Вздохнет и отойдет. Всех подбадривает и не переносит жалоб и человеческой слабости, стыдится ее, а замечая в ком-нибудь, отворачивается с искренним презрением. Всем поведением подчеркивает, что ничего особенного не произошло, как будто она и здесь связана воинственной партийностью, которая у нее не переходит в воинственную обывательщину, как у ряда других, а органически впиталась в нее. Ест с аппетитом все, что дают, пытается дружелюбно заговаривать и шутить с охраной, но без подхалимства: у меня одна служба, у них другая, только и всего. О следствии молчит. Никакой критики. Семьи нет. Внешне совершенно спокойна. Иногда сядет, сжавшись от тесноты, на краю скамейки, перекинет ногу на ногу, положит на них переплетенные пальцами кисти рук и сидит так часами, задумавшись. Внутренне оживляется, только когда говорит о заводских делах. Дальнейшая судьба ее такова: на лагпункте, куда нас забросили, в бригаду мужчин-уголовников, штрафников-рецидивистов, которых увозили глубоко в лес на лесозаготовки, понадобилась стряпуха. Михалина Котиш сама напросилась уехать с ними, подальше от всех нас. Всем было понятно, на что она себя обрекает. Она не терпела участия, была мне далека, как и я ей, но все же вызывало чувство глубоко-глубоко запрятанное в ней отчаяние. За последние недели она вся посерела.

— Михалина,— спросила я,— зачем ты едешь? Останься.

— Ни за что не останусь! Не все ли равно, где пропадать? С вами раны бередить нет никакой охоты. Попусту! А там я мужикам еще как пригожусь! Чем они вас хуже?

Так и уехала она с уголовниками в тайгу, и ее как бы смыло человеческим отливом. О ней больше никто не слышал. Уехала мужественная, замкнутая, всем далекая, как ездила некогда по партийным или производственным заданиям.

Зинаида Чертенко — сухопарая, рыжеватая, с подстриженными волосами, которые она расчесывает пятерней, работник учебной части Института политпросветработы имени Крупской. Конечно, партийка. Арестована после ареста директора института Ядвиги Нетупской, которую знает по ее большой работе весь Ленинград. В быту Чертенко неприхотлива, на этапе и позднее в бараке не назойлива, но узко-

лоба и прямолинейна до крайности. Мозг ее засушен и спит, как будто она наложила запрет на всякую мысль и живет зачерствевшими сухарями старых, давно выработанных представлений. В дальнейшем Чертенко, трудно сказать из каких побуждений,— может быть из корыстных, а может быть и из-за своей косности,— весь нерастраченный пыл просветительной деятельности переключила на лагерную военную охрану, так называемой ВОХР (вооруженная охрана), прямых исполнителей-проводников лагерного режима и лагерных издевательств. Ее все сторонились, естественно. Вначале ходила читать вохровцам книжки, потом варить обед и питаться с ними, в конце концов оставалась там на ночь. При ее появлении в бараке воцарялось молчание. Видимо, Чертенко уже на следствии была деморализована открытыми «покаяниями», самоуничтожением и разоблачениями, отсюда и полное смещение моральных понятий. На воле она оставила ребенка.

Дора Устругова выросла в деревне близ Ленинграда. Одиннадцати лет она уже работала в типографии градоначальства в знаменитом доме на Гороховой улице, д. № 2. Взял ее туда ее дядька, для чего пришлось Доре в метрике прибавить 4 года. Девочка была рослой и способной. Когда мы встретились, она уже ничем не напоминала крестьянку. В партию вступила в 1919 году, до того работала в рабочей революционной милиции и горела революцией. Кажется, не было ни одной партийной мобилизации, в которой Дора не принимала участия — и продразверстка, и парттысяча, и двадцатипятидесятники, и МТС... Училась, стала культработником. На культработе встретилась с артистом-речевиком Олегом Уструговым из старой аристократической и артистической семьи. Отец его был старшим архитектором Петербурга, а мать артисткой, сказительницей народного эпоса. Дора вышла замуж за Олега и переехала в дворянский дом, где за обедом говорили по-французски. Вошла туда как чужак, но, обладая душевным тактом, сблизилась с новой семьей и многое у них переняла. Олег ездил с Дорой, куда бы ее ни посылали. В МТС Красноярского края они работали вдвоем. После убийства Кирова, как известно, была немедленно расстреляна большая группа ни в чем неповинных дворян, в том числе брат и сестра Олега Устругова, который избежал этой участи, потому что был в это время в Красноярской МТС. Дору исключили из партии за связь с дворянством, хотя она была рабоче-крестьянской косточкой. Не успели ее восстановить, как вновь исключили уже в Ленинграде с новой формулировкой: голосовала в 1925 году за зиновьевскую резолюцию. Одним словом, был бы человек, а статья найдется. Год Дора жила в поисках работы, а затем

последовал арест. Олег оставался на свободе, помогал Доре как мог.

В 1937 году Олега арестовали. Он погиб, но где и как — Дора не разузнала и до сего дня, несмотря на то, что не только запрашивала, но и ездила по неверному следу в Игарку. Канул человек, а в какой земле безымянный прах — неведомо... Не крючкотворствуя с совестью, не мудрствуя лукаво, Дора возмущалась возмутительным, негодовала про себя и вслух, когда ей это подсказывал внутренний голос, работала не покладая рук, не сдавалась, оставалась сама собой. *В то же время она не пересматривала тех исходных позиций, которые сложились в годы революции.* На ее дружбу можно было положиться в самых сложных обстоятельствах — не подведет, не выдаст, не поколеблется. Сквозь тарахтение поезда, нарушая горчайшее течение мыслей, назойливо звучит крикливая речь Юдифь Усвятцевой, синкопируемая нервным смехом. До чего же она словоохотлива! Усвятцева — инженер-геолог, закончившая Горный, член партии. По замашкам же она скорей студентка-активистка — в учебе, на воскресниках и в самодеятельности. Она не так глупа, чтобы не осознавать крах всего своего уклада мыслей в жизни, но именно поэтому Усвятцева без конца разглагольствует о том, как «троцкисты и зиновьевцы убили нашего Кирова», смакуя обывательские сплетни и выказывая необычайную осведомленность о «показаниях подсудимых». Пуше смерти боится замараться о троцкизм и троцкистов. В ее тенденциозной болтовне так и сквозит потенциальная подлость. «Надоела твоя трескотня, Юдифь, помолчала бы, видишь, люди устали», — досадливо отмахивается от нее Михалина. Юдифь залезает на верхнюю полку, откуда слышны ее всхлипывания... В быту она надоедлива — «в каждой бочке — гвоздь» и, вместе с тем, подельчива. Присутствие ее в вагоне тяготит, раздражает.

Только насмешница-история умудрилась посадить в столыпинский вагон двух сестер Бардиных, претенциозную Марию и простоватую, сдобную Анечку. Старшая была управляющей делами, у нее повадки личной секретарши высокопоставленного лица. Дама кокетничающая и злая. У нее низкое контральто для цыганских романсов и старинных песен. Говорит, что поет. Она подвержена странным истерическим припадкам: падает на койку, лежит недвижимо без сознания часами. Пульс при этом бьется ровно и без ускорения. Мария утверждала, что припадки сердечного характера. Врачи ни на этапе, ни год жизни в лесу не было. Женщина эта была беспринципной и неразборчивой в средствах. Безликая Аня добрее сестры, но такая же приспособленка, как и Ма-

рия. У них имелись особые присоски к любой власти. Все остальное им было безразлично.

Певица Зоя Иванова закончила консерваторию и была женой великолепного парня, рабочего-металлиста, секретаря партийной организации Невского судостроительного завода (ныне завода Ленина). Он был другом Коли и заходил к нам в «Асторию». Михаил располагал к себе открытостью, размахом, шуткой, веселостью. За оппозиционные взгляды он тоже сидел в конце 20-х годов в Тобольском политизоляторе, и мы вместе с Зоей ездили на свидание. Тогда Зоя была энергичной, изобретательной студенткой, боготворившей Мишу, и ловко обводила вокруг пальца такого опытного начальника политизолятора, каким был Бизюков. Теперь же Миша казался Зое источником всех ее бед: ареста, разлуки с маленьким сыном, гибели пения. Общественной его деятельностью она всегда мало интересовалась, она блажью ей казалась. Непонятное свалилось на ее голову, Зоя растерялась и плыла без руля и без ветрил. Так она себя и повела в лагере.

Михаил Иванов был направлен на Колыму и безвестно погиб там. Не могу представить, чтобы этот красивый силач погиб от голода и изнеможения, скорее всего он расстрелян на Серпантинке или еще где-нибудь в тех краях. Впрочем, часто именно таких молодых мужчин калечил голод.

Восьмой из товарок была Фрида Равич, сестра крупной партийной работницы Ольги Равич, заворготделом Ленсовета. Последняя — огневая, активная, красивая, смелая. Фрида — полная противоположность ей: сверхскромная, тихая, робкая, безалаберная, неловкая и некрасивая. Большей частью подавленная и унылая. После ареста Ольги арестовали семь человек семьи, в том числе и Фриду. Она работница швейной промышленности с большим производственным и партийным стажем. Из семьи никого на воле не осталось, ни о ком она не знала и так и не узнала. Фрида в своем молчании, быть может, понимала многое глубже и лучше других, вела себя с достоинством и вызывала во мне уважение. Запугана, но это не та трусость, следствием которой так часто бывают неблагоприятные поступки. Внешне пассивная, несобранная, но не бесхребетная. В бараке же этих ее качеств совсем не ценили, и всегда она чувствовала себя неприкаянной и одинокой. Губы ее постоянно складывались с какой-то горькой ужимкой. Как-то беседуя со мной в полумраке жалкого барака, Фрида рассказывала: «Был у меня очень добрый дядя, фармацевт и талмудист. Он умер в 21-м году, последний представитель старшего поколения в нашем роду. Часто я забегала к нему помочь по хозяйству, прибраться и пр. Он постоянно возвращался к теме нашего отхода от ев-

рейства и спрашивал: «Почему вы не ходите в синагогу и не читаете Библию? Не верите в бога — это ваше дело, не ходите в синагогу, но Библию вы можете читать? Она учит думать о жизни, разве плохо научиться думать?» Часто теперь вспоминаю дядю и жалею, что не читала Библию, чтобы учиться думать. Это бы теперь мне не помешало...»

Среди созданий не у всех были дети, но, как правило, почти все женщины-лагерницы — матери, покинувшие детей.

Мы еще не одеты в лагерную форму — брюки, телогрейки, бушлаты, ушанки, бутсы всех образцов, однако на всех уже лежит печать общей нивелировки, происходящей незаметно для каждого. Но люди остаются людьми, интерес к ним даже повышается: и лишены многого, и общая участь заставляет вглядываться в них, как в свое собственное общественное отражение, все мы в чем-то одной масти.

Женская камера-купе последняя, и мы невольно через решетку видим мужчин, когда их дважды в сутки прогоняют мимо нас. Среди обросших выделяются совсем юные лица: розовощекий даже после тюрьмы и всегда смущенный Ваня Долиндо и голубоглазый, смотрящий угрюмо из-под насупленных бровей, Володя Гречухин. (Имена их узнала позже.) Едут и двое моих студентов из ЛВШПД, и наш преподаватель экономической географии Зак. Едем так несколько суток. Нас то отцепляют, то прицепляют, то стоим по несколько часов на запасных путях. Не успеваем разглядеть друг друга, как выталкиваемся в гущу людского месива, в Архангельскую пересылку, где скопилось тысячи полторы этапников, подлежащих спешной растасовке в связи с надвигающейся зимой. Северные реки не долго судоходны, а нам еще предстоит плыть по северным морям. Впрочем, никто не знает места своего назначения. В НКВД все окружено таинственностью. В ленинградской пересылке при медицинском осмотре мы с Дорой четко различили на наших анкетах надпись: «на Новую Землю», одна мысль о которой наводила замораживающую жуть. Однако никого из этапников туда не послали, возможно, было поздно, а возможно, чересчур дорого и бесполезно. Слухи же ходили самые разные.

Скажу не об отдельных лицах, а об общем облике людей, запечатленном по первым встречам и дальнейшим столкновениям. Здесь, лицом к лицу, в концентрированном виде, предстало поколение революции, прошедшее двадцатилетнюю школу бурнейшей и противоречивейшей нашей действительности. Каждое поколение многолюдно, бесконечно многообразно. Особенно богаты яркими характерами и индивидуальностями поколения, рожденные революциями. Так было в английской, французской, немецкой, русской, позднее испанской революциях. Это не случайно — народ, устремляясь

вперед, накапливает и подготавливает своих глашатаев, творцов, командиров; вместе с революцией закладывает в них заряд огромной ранее не использованной мощности, чаяний, веры и свершений. В каждом поколении есть своя доминанта. Жизненная доминанта большинства людей поколения революции — преобладание общественных интересов, мыслей, надежд и чувств над личными. Преобладание органичное, искреннее, не высказываемое декларативно, но не подлежащее переделке.

Когда я окунулась в среду пересылки, слышала речи людей, лишь мимоходом касающиеся пережитых страданий, едва затрагивающих собственные головокружительные ниспровержения и поглощенные в основе тем, что переживало наше общество. Я это сразу почувствовала сквозь пелену подавленности. Идейная насыщенность была корнем жизнедеятельности, чем бы ни занимался человек на воле. Таким был и Карпов. Здесь, в неволе, это давало почувствовать больше, чем на свободе. Бесспорно, состав был неоднородный, но зерно его, стержень открывался таким. Принудительная идеология была обязательна для всех, но она еще окончательно не сложилась. Ведь и «Краткий курс» вышел только в 1938 году. И брали пока тех, кто не поддавался или грозил не поддаться беспрекословно статутам и параграфам «генеральной». А без чинов, званий и обязанностей по занимаемой должности легче было вернуться к первоисточкам своим. И это несло облегчение и облегченность, своеобразное раскрепощение.

Люди этого поколения в отрочестве давали клятвы, быть может, менее романтические, чем Герцен и Огарев, но не менее беззаветные. Позднее им некогда было сосредоточить внимание на себе — они переделывали мир. Целое поколение самозабвенно сражалось за революцию, ибо без победы жить для них не стоило. Они люто ненавидели оппортунизм и оппортунистов, потому что свято верили, что факел истины только в их руках. Они все делали до конца и со страстью. У каждого и у всех были собственные, не навязанные, а выстраданные суждения, мнения, мировоззрение и веские аргументы. Наверно, никто более, чем они, не был искушен в доказательствах относительности, классовости нравственных категорий и, вместе с тем, в решающие моменты они действовали сообразуясь прежде всего с велением совести. Из их среды выходили сотни и тысячи боевых, талантливых и умелых организаторов фронта, тыла, стройки, новой жизни. Они заполняли аудитории военных курсов и военных академий, они были студентами рабфаков, комуниверситетов, профессорами коммунистических и промышленных академий. Удивителен размах, с которым благодаря им обогатились ряды

наших философов и историков, дипломатов и экономистов, писателей и поэтов. Когда их посылали руководить строительством, они поднимали народные пласты и одухотворяли труд. Когда они шли в институты красной профессуры, то были уверены, что без их образования и знаний не обойдется международная революция. Их можно было послать куда угодно во имя революции. Они были цельными, их убеждения — безоговорочными, порой до узости. Но жизнь и мир для них были беспредельно широки. Их невозможно было заставить делать то, во что они не верили. Их нельзя было превратить в стадо, не сломав предварительно им хребет. Из них формировались «тысячи» по мобилизации и интербригады испанской революции. Они чуждались пафоса внешнего, наигранного и охлаждали свой накал иронией, веселой шуткой. Остроумие и сатирическая перепалка на рапирах слова являлись лишь сопровождением основной, существеннейшей, темы их жизни.

Теперь они защищались иронией от обвинений в предательстве. Стоило перевернуть страницу биографии большинства заключенных — и ты видел бойцов, которые ломали радикально, строили масштабно, думали оригинально, жили ради будущего. Они не верили в свою гражданскую смерть, несмотря на то, что в пору расцвета и зрелости их выбрасывали из жизни, ими созданной, как отработанный с невероятной быстротой пар истории. Они были полны сил, не хотели сдаваться и умирать. И это поколение надо было уничтожить, сломать, разбить вдребезги, чтобы властвовать безраздельно. В то же время в каждом из этапников уже таилась частица поражения, осколок гибели или смерти, как то бывает в разбитом войске, независимо от того, будет ли тот или иной солдат убит или останется в живых. И лучшие были совершенно дезориентированы, потому ослаблены... От чьего имени исходят обвинения и наказания? Где кроется преступление? Почему и с каких пор интересы государства и общества перестали совпадать с интересами его творцов? В угоду какому молоху приносятся жертвы? Во имя какого абстрактного «блага» людей превращают в щепу и сплавляют в пучину? Во имя блага ли? Кем предreshена справедливость свершаемого? Где истоки, причины поворота, точнее переворота? С какой целью в период фашизации Европы изолируются надежнейшие отряды борцов против фашизма? Не действует ли сила цепной реакции международного характера?

Всем без исключения приходилось ломать привычную логику мышления и вкоренившихся представлений, заходить в тупик... Процесс медленный, всегда болезненный. Психология человека не прямолинейна, тогда же придавили тяжкие

противоречия, хватали за горло. И гении сжигаются противоречиями, не только простые смертные. Гете создал Вертера, но и Фауста, потому что он сам был и тем, и другим. Толстой проникал и в полеты Наташи Ростовской, и в падения Феди Протасова. Моцарт писал звенящую, как ручеек, музыку Дон-Жуана и потрясающий смертельным холодом Реквием. Нас же жизнь проколола острой пикой кричащих противоречий краха, непонимания, банкротства. Многие сопротивлялись собственной слабости, противостояли. Далеко не все были примирительно-покорны. Многие считали себя ответственными за себя и за других и в заключении.

Много лет спустя, читая «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, я восторгалась мужественным талантом, который сумел в одном лагерном дне, как на ладони, показать всю беспросветность, безысходность и нелепость жизни лагерника, показать так, что она стала доступна пониманию миллионов тех, кто там не был. Но книга рождала и внутренний протест, ибо я знала других — сильных, смелых, не покоренных и не убогавшихся к ночи, когда они ложились спать, рассчитавшись с хозяином каторжным днем бытия, как Иван Денисович. И все же эта небольшая по размерам книга явилась художественным откровением и началом новой полосы в советской литературе. Увы, кратковременной... Верно — тосковали, мучились, но ждали известий с воли, и не только из дому. Жадно набрасывались на каждую печатную страницу, будь то обрывок газеты или страничка из книги. Мобилизовали свои внутренние ресурсы и делились ими, как и каждой крохой, выуживали из писем новое, которым дарила воля, берегли лучшие стороны товарищества и дружбы. А ложась спать, проверяли себя на верность неписанной присяге противостояния и нравственной неподчиненности своему жалкому существованию. И тем держались.

Таким было ядро репрессированных во второй половине 1930-х годов. Постепенно террор и аресты захватывали все более широкие круги периферическими волнами — родных, жен, знакомых, неожиданно попавших по доносам, и пр. люд, оказавшийся в дальнейшем подчиненным слепой логике террора. Арестованная масса превращалась в самый сложный людской конгломерат.

Архангельский пересыльный пункт представлял собой большой плац с высоким сплошным дощатым забором, с четырьмя вышками по углам и огромным помостом вместо тамбура, на который надо было взбираться по крутым деревянным ступеням. Барак состоял из сплошных нар по обе его стороны, где вповалку размещались мужчины и женщины.

Кроме казармы-барака на 500 — 600 человек, ввиду необычайного скопления народа, по бокам плаца ютились летние бараки, наспех сколоченные из жердей и горбылей, а также палатки. Через два дня мы с Дорой перешли в один из таких мужских бараков-самоделок человек на двадцать, где отгородили свой угол простынями (у нас было постельное белье из дому). После барака-гиганта тут казалось полегче.

Люди, люди, люди... Все невольно считают себя знакомыми, как в поезде, если завтра нас разведут по разным лагпунктам или, как в экспедиции, если попадем в одну точку необжитой тайги или тундры. Кто знает? Некоторые по фамилии вспоминают моего отца-литератора, другие знают Карпова, были и те, кого знала на воле, но последние обстоятельство не сближало, а скорей отдаляло, так как рубеж между волей и нынешним состоянием был непроходим. С преподавателем Заком, сотрудником ЛВШПД, узнали друг друга ближе потом, на Сивой Маске, где он в труднейших условиях сохранил неизменную интеллигентность, скромность, такт, выдержку, собранность. Доцента ЛИФЛИ Сергея Малахова видела в институте издавека, казался он несколько заносчивым, чопорным и с изрядной долей самомнения, теперь же разглядела в нем совсем иного человека — и хуже, и лучше — ему недоставало мужества, бывал он и подавлен, и политически растерян, не раз становился на позицию защиты официальной точки зрения, вилял, юлил, но, отрешившись от всего этого, писал волнующие грустные стихи в унисон нашим настроениям, а порой развлекал нас литературными каламбурами, анекдотами и знаниями поэзии; бывал прост и человечен.

В небольшом бараке, куда мы случайно попали, запомнился Ваграм Безазьян, недавно вышедший из Суздальского политизолятора, где он провел 5 лет. Переезд, этап воспринимались им как своеобразная «воля». С жадностью и любопытством всматривался Ваграм из окна вагона и с палубы пароходов в утраченную на пять лет землю, природу, просторы морей и рек, вглядывался в лица, упивался общением с людьми. После однообразия стен и книжных страниц какая-то жизнь! И потому то, что для других было лишением свободы, ему казалось относительной свободой. Он впитывал новое, как сухая губка воду, что было удивительно и трогательно. Ваграм черпал наслаждение в беседах — ему необходимо было выговориться, поведать о себе, и он рассказывал откровенно и чистосердечно. Ваграм красив, строен, но очень бледен после сидки; выразительны глаза, руки, жестикуляция. Такие лица встречаются на старинных армянских картинах. Ваграм вырос в армянской деревне, в 15 лет ушел

в город, на завод, а с 19 — поступил в школу революции. Больше нигде не учился, партия всего поглотила. В изолятор попал за принадлежность к оппозиции. В 1928 году сидел в Тобольске вместе с Колей. Только там, в изоляции, говорил он, получил образование. В Суздале попал в камеру-двойник с Солнцевым, одним из видных экономистов первого выпуска Института красной профессуры. О нем Ваграм говорил с благоговением и преклонением. «С ним в камере, — говорил восторженный ученик, — я просидел четыре года. Он маг был, волшебник, колдун, чудотворец над знаниями, над всей жизнью. Он раздвинул для меня стены камеры, превратил их в университет, в семью, вселил веру. Я не смел отклоняться от занятий, имея такого учителя. Учил он меня по-своему и начал не с политэкономии, а с эпоса армянского народа, с его истории. Солнцев считал, что напитавшись соками моей земли, я быстрее приобщусь к мировой культуре. Он обучал тому, что мне было знакомо и близко с детства, а пришли мы к Марксу и Ленину.

Солнцев болел туберкулезом. После пяти лет изолятора ему разрешили выехать в Крым для лечения, где он вскоре умер. Обстоятельства его смерти не выяснены. Теперь я совершенно один на земле. Родителей уже нет в живых. Была жена. Она ушла от меня на второй год моей сидки и забрала дочь. Жена не сообщает о ней ни звука. Во многих армянских семьях до сего времени сохраняются старинные, порой, варварские традиции, они сильнее любых чувств. Я перестал для нее существовать как муж и как отец. Она ушла в другую семью, и никакие мольбы ее не поколеблют. Дочь — моя неизлечимая рана. Новой семьи я не создам. Надежда на свободу слилась для меня с надеждой на отцовство. Я лелеял память о каждом пальчике моей дочурки, о ее тельце, головке. Можете назвать меня сентиментальным, но таковы мои самые глубокие чувства. Вся тюремная тоска ушла в нее, хотел ее сделать такой, каким я не смог стать. Но я там не нужен никому. Дочь моя, по всей вероятности, никогда не услышит моего имени».

Морской и речной пароходы, на которых мы плыли по Белому и Баренцову морям, а затем по Печоре, были зафрахтованы НКВД для заключенных и стражи, мы имели свободное хождение на них до высадки на сушу. Пассажиров на пароходах не было. Во время плавания по водам Ваграм охотно читал строфу за строфой на армянском и на русском языке стихи, легенды, предания. Память прекрасная. Он помнил много. Любил петь. Все, кто знал его, всегда вспоминают волнующее, задушевное его пение. Голос звучал сильно и трепетно, в нем переливалось неизрасходованное жизнедействие, которого Ваграм был лишен в тюрьме. Клас-

сической музыки он почти не знал, но пел все, что когда-либо слышал. Любимейшей его песней «Гармыр варды» он наделил всех нас. В его исполнении тюремный песенный фольклор не только трогал, что обычно, но и звучал художественно, что уже гораздо необычнее. Пел он по первой просьбе. Его высадили в Абези, нас повезли дальше. За зиму Ваграм приезжал несколько раз на Сивую Маску, где нас скинули с парохода, как возчик. Заиндевевший и обросший снежной бородой на морозе, он все же был весел от вновь обретенной силы и работы, а потом... Об этом доскажу позже.

...Вдали от всех бродит понурившись высокий еврейский парень, чем-то неуловимо во всем отличный от других. Взгляд сосредоточенно-удивленный. Носит очки в большой роговой оправе, гетры не нашего образца, как и брюки в клетку и облегающий пиджак. Говорит с заметным иностранным акцентом, часто не находит нужных слов, и тогда он ищуще шевелит пальцами. Он мало разговаривал, но позднее, за год совместного пребывания в лесной глухой стороне довольно хорошо его узнала. Имя его Макс Горфинкель. Мальчишкой жил в Каменец-Подольске. Увез его в Америку после очередного еврейского погрома дядька, кожевник по профессии и большевик. В эмиграции он стал членом коммунистической партии США. Родители Макса остались в России. Макс вырос, работал на заводе и копил деньги для возвращения на родину, в советскую страну. Он скопил 2000 долларов и решил покинуть страну, в которой на демонстрации 1 мая толпа улюлюкала и бросала в рабочих-демонстрантов гнилые огурцы. Это его страшно возмутило. Наконец, получил визу, билет, приоделся, сел на теплоход и распрощался с Америкой не без печали, но с радужными надеждами. Приведу рассказ Макса.

«С замиранием сердца, но без боязни смотрел на приближающийся Ленинград. Чужой, но зато в какой стране! Советский Союз — земля обетованная для таких, как я! Сняли меня прямо с трапа, со сходней. Я с радостью отдал свою визу, готов был заключить в объятия арестовавшего меня молодого человека, ибо мне и в голову не пришло, что я потерял свободу. Я не понял сурового его взгляда, привел его в конце концов в смущение. Когда посадили в черную машину, решил, что такова необычная форма прохождения карантина в Советском Союзе. Задержавший рассмеялся и говорит: «Ничего, не робей, за пять лет и вылечим, и научим». Тогда начало до меня доходить, к чему меня готовят. А ведь не верил в Америке ничему такому. Десятки людей предостерегали, примеры приводили, а я считал все сплетнями буржуазных писак. В Гамбурге во время остановки встретил знакомую женщину, которая заклинала меня вер-

нуться обратно пока не поздно, ссылаясь на судьбы тех, кто бежал в Россию от фашизма, но я ее безоговорочно осудил. Я ведь не поклонник американского счастья для рабочих, потому-то я и здесь.

Сейчас у меня многие иллюзии разбиты, получил восемь лет по статье 58, пункт 6, за шпионаж в пользу США, и при том — без суда. Это вам не огурцы в демонстрантов! На следствии просидел 11 месяцев! За такой срок можно бы было собрать сведения обо мне, но никто не потрудился это сделать. Предположим, что поскольку в Америке много ненавистников Советского Союза, американцы вызывают у вашей власти подозрения, удивительно другое — следователь неоднократно подчеркивал, что еврей-эмигрант в Америке должен быть обязательно предпринимателем и шпионом. Выходит, что сделаться капиталистом рабочему ничего не стоит и что в интересах рабочего класса шпионить в пользу США против страны социализма. Он же по документам знает, что я рабочий! Мозги у него вывернуты, что ли? Там обо всем думал по-иному. Допустим, в отношении меня совершена несправедливая ошибка. Самое поразительное не это, поражает, что в тюрьме и на этапах встречал и встречаю в основном людей честных, прекрасных и преданных коммунизму или социализму — это как угодно, фанатически преданных. Почему они-то в тюрьмах и лагерях? Уму непостижимо... В США преследуются негры, это верно, морально и материально их ущемляют, не везде, но ущемляют, бьют по самолюбию, они — парии среди граждан. Но чтобы негров сгоняли в специальные негритянские концентрационные лагеря на бесплатную работу, как здесь коммунистов, такого, насколько мне известно, не бывало. Скорее вас можно сравнивать с временами резерваций для индейцев. Эти времена давно прошли».

У Макса очень печальная, добрая улыбка, он недоумевает, но, я бы сказала, по-философски относится к своим заключениям: «Если в США много лжи о Советском Союзе, то и у вас нелепо-плакатное представление о тамошней жизни».

В дороге Макс спрашивал, правда ли, что рабочему обеспечена работа по его квалификации там, куда мы едем, как то утверждал следователь. На этот вопрос никто ему ответа дать не может. У нас мучительно неловкое чувство от встречи с ним в таких условиях, так как Макс вызывает полное доверие. Он сдружился с товарищами, спокойно работал на заготовке и вывозке крепежника для воркутинских шахт, к женщинам относился заботливо, мягко, старался помочь, был аккуратен, чистоплотен в трудных для этого условиях. В бараке его любили. Однако грустен бывал неизменно. Всех так или иначе связывала общая жизнь на

воле, понятное прошлое, он же был из другого мира, возврата к которому не было. Та новая жизнь, ради которой Макс разорвал с прошлой, оказалась лагерем, а мы были ему близки только по беде. Как сложилась дальше его жизнь (через полгода Макса увезли), приняла ли она форму скитаний по чужой земле или она не имела вовсе продолжения,— не знаю. Макс — один из ленинградского этапа, в котором следовали и делегат польской секции Коминтерна Попов-Ленский, и четыре японца, и несколько китайцев, и другие иностранцы. Но с ними мы чувствовали себя более отчужденно, чем с Максом.

На территории архангельской пересылки ни кустика, трава вытоптана. Дни стоят еще солнечные, а утренники морозные. Забор высокий, в два этажа. Даже с громоздкого помоста не зачерпнуть глазом ни малюсенького кусочка горизонта. Прячут нас от внешнего мира. Но в заборе есть щели, крохотные щелки. К ним крадучись подбираются те, кому отказано в свидании, хотя они приехали издалека, чтобы попрощаться перед разлукой.

— Вася! Василий! Вася! — слышен женский шепот. Фамилии назвать не решаются. Сколько здесь Василиев? Не менее двух десятков. По цепочке передаем имя.

— Верно, моя! — отзывается низкий бас. — Это звучный голос Василия Евгеньевича Соломина. Он смуглый, как цыган, черты лица скульптурно подчеркнуты — глаза чуть навывкате, выпуклый лоб, выпяченные губы, торчащие скулы. На темном лице синь белков, блеск глаз. Он чисто выбрит, крепко стоит на ногах, не потерял хозяйской уверенности в себе и после следствия. Такому бравому мужчине претит тайком пробираться к щели забора. Соломин идет армейским ровным шагом, подняв кверху руку. С вышки крик: «Стой!» Часовой берет винтовку на изготовку. Все смотрят в его сторону... Он отходит. В течение всего дня слышен голос-призыв его жены. Может быть, они смогли сказать по два-три слова, а может и нет. Как магнит притягивает ее голос, но еще более сильное чувство гордости удерживает его. Соломин начал свой срок совсем не с теми чувствами, с какими он его закончил. Думается, расскажи ему кто-либо о его конце, Василий Евгеньевич рассмеялся бы своим немного наигранным смехом ха-ха-ха! Столь же неожиданным и непонятным для всех был последний отрезок его жизни. О прошлом Соломина знала не много. Со мной, не знаю уж почему, он всегда говорил в шутливо-резонерском тоне до нашей последней случайной встречи, когда разговор получился горький и серьезный.

До ареста он состоял в партии. В юности рабочий, затем окончил лесотехническую академию и стал специалистом-

эксплуатационником. Последние годы работал администратором по эксплуатации северных лесов. Поэтому, попав в северные широты, да еще в тайгу, он чувствовал себя как рыба в воде. На первом же лагпункте, где нас внезапно выбросили в буквальном смысле слова под елки, он стал прорабом, ибо на нашу стихийно возникшую «командировку» возложили обязанности по заготовке крепежника для шахт, а наш офицер-начальник ничего в этом не смыслил. Он ухватился за Соломина, как за спасительную соломинку. Последний извлек все выгоды из своего положения — выстроил землянку для себя и десятника: спокойно похаживал таким барином, но никогда не подличал и оставался товарищем. В любом деле была у него хватка: умел найти нужные участки леса в тайге (наш крепежник славился на Воркуте), умел смастерить силки на зверя и на птицу, как никто другой, договориться с начальником в интересах рабочих, на этапах проташить иголку, карандаш и даже лезвие, захватски спеть «Чубчик кучерявый» под гитару, которую он частенько брал у начальника Должикова. Пел он только «цыганщину», но знал в ней толк. В косоворотке с красным кушаком, в сапогах, с гитарой он и правда походил на цыгана.

Это к югу несутся свободные птицы,
Это наша с тобой улетела любовь...
Прощай же, мальчик мой, прощай,
По мне ты больше не скучай,
В любви не надо ждать огней заката,
Пусть наше чувство нами ж будет смято,
Но на прощанье руку дай...

Соломин замирал, эффектно актерствовал, поблескивал глазами. Вообще-то он не гнушался позерства, такова была его своеобразная манера-игра. Гитара настраивала на мечтательный лад, и он, как обычно, на полущутке-полусерьезе рассказывал при всем честном народе о своих любовных похождениях и приключениях в духе барона Мюнхаузена.

— Да вы знаете ли, каким успехом я у женщин пользовался? Что смеетесь? Аль не хорош Васька Соломин? Ну и черт с вами, баста, расходишь по землянкам-берлогам, не вам Соломина слушать!

— Василий Евгеньевич, — умоляли его, — ей-богу, не смеяться, рыдать будем, только Расскажи самый сногшибательный случай.

— А я как раз сногшибательный и наметил — вот иду я, а женщины передо мной одна за другой так и падают, так и падают... ха-ха-ха! (Все покатывались со смеху вслед за ним.)

Говорили, что в мужских землянках он рассказывал соленные сказы, при женщинах циничным никогда не был. Так, насмешничал в своем духе. Он очень уважительно относился к Доре, подолгу беседовал с ней, исповедовался ей в своей тоске по жене и сыну, спрашивал ее советов, а отвернувшись, мог шепнуть приятелю: «Лучше две по двадцать, чем одна под сорок». Мог прослезиться, рассказывая, как сиделка в больнице выходила его и как он потом женился на ней. Все, о чем он говорил публично, было на грани правды и выдумки. Откровенностью не отличался. Слышала, что в течение пяти лет своего срока он почти все время работал прорабом на разных лесозаготовках и в затонах, относительно благополучно отбыл срок и уехал.

Мне тоже «посчастливилось» сесть ранее многих и закончить срок 2-го апреля 1941 года, в промежутки, когда *уже* не продлевали механически срок и *еще* не оставляли в лагерях «до особого распоряжения» в связи с войной. Выскользнула из лагерных сетей как одиночные рыбы из морских. Гонимая опасением задержки, решила идти зимой пешком, не дожидаясь навигации, до Усть-Усы (около трехсот километров), где нас оформляли на выпуск. Дальше проделала путь на самолете «из царства необходимости в царство свободы». Тут я и столкнулась с Соломиным. Он бросился ко мне, как к родному человеку, а я поразилась той перемене, которая с ним произошла.

— Василий Евгеньевич, почему вы здесь? Как живете?

— Как в сказке, чем дальше — тем страшней. — Он похудел. — Оставайтесь, — говорил, — не узежайте! Вы погибнете! Я уже оттуда. Паскудная для нас свобода, нет для таких, как мы, ни воли, ни работы, ни дома. Нас вычеркнули из списков, забыли, а кто не забыл, тот проклял. Нечего нам там делать! Без нас справятся. Мы — цыгане на своей земле...

— Что стряслось с вами?

— Не со мной одним, со всеми! Меня же вдобавок ко всему жена бросила. Ведь как ей верил! Э-эх! — Он махнул рукой, выругался. — Все они на воле... Бежал оттуда, как зачумленный, как оглашенный. Три месяца искал самой паршивенькой работенки, где только не был и... не нашел. Вот! Приехал сюда на поклон, просить взять по вольному найму. Где Дора? Ага, «на воле», значит тоже мыкает горе...

Стояла в очереди на самолет-кукурузник, на котором собиралась лететь за тысячи километров, а Соломин горячо увещевал и заклинал не возвращаться «туда». Я уехала, он остался.

Вот что узнала о нем от друзей. Приняли его в лагере

на работу по вольному найму в один из ОЛПов, то есть Особых лагерных пунктов по названию Щельяюр, небольшой затон. Работал там в лесу, на постройке флота. Начальник затона, тоже из бывших заключенных, очистил лагпункт от уголовников и поднял вместе с другими отчаянными головами, в том числе и Соломиным, восстание, попросту бунт, заранее обреченный на разгром. Они разоружили стражу, перерезали провода и захватили лагпункт. Изолированные от мира они ждали своей участи. Всех расстреляли, а несколько организаторов анархического, безнадёжного протеста ради протеста, среди них Соломин, заперлись в центре лагпункта и покончили с собой. Соломин искал смерти и погиб, используя силу и волю на то, что ему было органически враждебно и чуждо, погиб не от пули, а от отчаяния. Можно лишь предполагать, какие глубокие метаморфозы произошли в его сознании. Человек, видевший его за несколько дней до восстания, говорил, что Соломин неузнаваемо изменился, кожа на шее и руках ссохлась, сморщилась, глаза злые, взгляд загнанного волка, голос охрип.

Так ли все было, достоверны ли события — поручиться не могу. Пишу о людях через 30 лет, складывая их судьбы из отдельных кусочков. Тогда же улавливались первые впечатления, и восприятия тоже были отрывочные, не компактные. Мы были, все вместе и каждый в отдельности, в трагически ложном положении. В таком же трагически ложном положении на воле оставались наши дети, матери и отцы, жены и мужья, сестры и братья, близкие и друзья. Мы были одиноки и разобщены. Люди этапов 1930-х годов не соединены общей борьбой против карающего их строя, не объединены никакой идейной организацией, смотрят, особенно вначале, друг на друга с недоверием, с опаской и оглядкой. По своему личному опыту знаю, что люди в целом ряде вопросов уже ошупью разбирались, но делать выводы не решались. Процесс, который прошел в августе 1936 г., чудовищные показания обвиняемых (кое-что до нас доходило в обрывках газет) позволяли некоторым всех собак вешать на троцкистов-«ортодоксов», хотя и «некоторые» прекрасно понимали, что так называемые «ортодоксы» к убийствам и террористическим актам отношения не имели. Но так проще и удобней. Большинство состояло из «подозрительных», хотя понятие это не имело классовой основы времен террора Великой французской революции. Печальнее, что невольно вспоминаются «Бесы» Достоевского... «Не знаю, верно ли, но утверждали, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание».

Бедствие нашего времени заключалось как раз в том, что «громадные, противоестественные и противогосударственные общества... чуть не потрясшие здание», отыскивались не только в Петербурге, по всему Союзу. Отыскивались и стекались на этапы. Существовали мы сумбурно в людском потоке и обособленно — в себе. В каждом из нас клубились разные течения жизни и сознания. В одном из них мы были пассивны, автоматически влекомы по неведомым маршрутам, и сознание безвольно подчинялось тюремно-этапным порядкам. В другом — внутренняя борьба с тоской и терзаниями, с нерадостными мыслями о настоящем и грядущем, с омутами и водоворотами, сбивающими с ног... От него-то и хотелось сбежать... Об этом стремлении уйти от себя замечательно сказал Л. Толстой в путевых записках по Швейцарии: «Отчего самое ужасное наказание, которое выдумали люди, есть вечное заточение? Заточение, в котором человек лишается всего, что может его заставить забыть себя, и остается он с вечной памятью о себе». Живое течение жизни в нас требовало спасительного переключения, отвлечения и бегства от себя. Куда бежать от бессилия, бездействия? ...К людям.

Как-то подошли ко мне в Архангельской пересылке девушка и юноша:

— Вы Войтоловская? — спрашивают. — Нам очень много рассказывала о вашей всей семье, о матери и отце, о четырех сестрах Любовь Николаевна Радченко. Вы ее хорошо знаете? Как приятно! А я ее племянник Виктор. Она говорила, что ваш дом в первые годы революции бурлил и кипел, как лава, от молодежных голосов, споров и дел. В родителей ваших просто влюблена, в обоих сразу. Она часами может о них говорить.

— Откуда же вы? Где Любовь Николаевна?

— Мы студенты Московского университета. Любовь Николаевна выслана из Москвы, но работает. Перед отъездом нам не дали свидания и мы не поедem отсюда, пока не разрешат свидания с родными. Будем противиться отправке.

Любовь Николаевна Радченко — известная революционерка, подпольщица, подготовлявшая вместе со своим мужем Степаном Радченко I-й съезд партии в 1898 году. Муж ее — один из немногих членов I-го съезда Степан Иванович умер в 1910 или в 1911 г., брат его Иван Иванович погиб в период репрессий в 1937—1938 гг. Любовь Николаевна многие годы работала связной, по заданию В. И. Ленина не раз выезжала за границу. Затем она разошлась с большевиками на долгий период; после революции вновь работала с ними. В 1963 году ее революционной деятельности был посвящен подвал в «Правде», из которого узнала о ней гораздо больше, чем мне было известно, так как революционеры старой закалки от-

личались исключительной скромностью. К нам, к моим родителям, она нередко приезжала из-за границы, жила по несколько дней, всегда полная впечатлений, озабоченная работой, революцией, деятельная, убежденная. Спорила резко, противникам своих взглядов давала решительный отпор низким голосом. Была бескомпромиссна, а с молодежью добра и весела. Потом исчезала. Внешность у нее была несколько мужелодобной, а дочь ее Наташа, напротив, запомнилась прелестной и женственной.

Виктор Радченко, о встрече с которым рассказала выше, широколицый молодой русский парень с белозубой улыбкой, с запасом энергии лет на сто, а жить ему оставалось год-полтора. Жена его Бети была очень хороша собой, хотя ее несколько портила бледность и иронически опущенные уголки губ. Высокая, как и он, Бети менее располагала к себе, чем Виктор. Она была умна, скептически, капризна и безапелляционна; ее хорошо узнала позже, через два года. С Виктором больше не встретились — он расстрелян на Воркуте. Через несколько дней после нашей встречи была свидетельницей того, как сопротивляющихся отправке на этап Бетю, Виктора, племянника Енукидзе и еще нескольких человек, требовавших свидания с родными перед отъездом на север, конвоиры выносили за ноги и за руки из бараков и, раскачав, перебрасывали через борт грузовой машины. Енукидзе был очень высокого роста и когда его забросили в угол пятитонки, то его длинные ноги торчали за бортом, а черные вьющиеся волосы свисали с другого бока. Когда бы это раньше товарищи смотрели на такое безобразие как соглядатаи?! А мы смотрели — безмолвно, издали... Что, трусы? Нет, больше — в этом сказывалось наше трагически ложное положение.

Мы пробыли в Архангельске довольно долго. Стало холодно и дождливо. Нависло серое-серое небо. Бараки едва освещались, в пристройках света совсем не было, а вечера удлинялись. В первых числах сентября нас набили до отказа на небольшой морской пароход «Ямал». Весь ленинградский этап следовал вместе, а также множество людей со всех концов Союза. Шла погрузка. Грузили не вещи, не скот, а людей. Людей, которые до ареста жили с сознанием ответственности за порученное дело, за всю жизнь в целом, за судьбы мира. Грузили, как баранов, по счету, неизвестно почему и для чего.

Снова и снова вращение тех же мыслей — ведь до всего надо было дойти. Предположим, что толчок для вакханалии умаления и истребления людей дало убийство Кирова. Уже и тогда говорилось о том, что Киров не был любим Сталиным. Почему убит именно Киров? Почему столько жертв

вокруг предполагаемых, но никем и нигде не осуществленных других убийств? Почему революционеров превращали в убийц и контрреволюционеров? Как в калейдоскопе, перед мысленным взором проносились фигуры близких и дальних знакомых мне людей, обвиненных в контрреволюции, взвешивала их на невидимых психологических или ценностных весах и убеждалась в бессмыслице, абсурдности возводимой на них клеветы. То, в чем раньше сомневалась, становилось несомненным — убийство совершено сверху, как поджог рейхстага, как сотни убийств, совершавшихся в истории сверху для последующих избиений и дискредитации противников. А сколько раз в истории убивались невинные с позорной кличкой изменников родины, с этим клеймом казнен даже такой мечтатель, как Томас Моор...

Какой непоправимый нравственный ущерб принесли исторические периоды, отличавшиеся насилием в форме массового террора и репрессий. Тюрьма — обратная сторона воли и одновременно ее фокус. Вовсе не обязательно, чтобы на смену революции приходила контрреволюция с установлением господства свергнутого класса. История знает периоды, даже целые эпохи реакции — рабовладельческой, феодальной, буржуазной. Строй может быть не только дряхлеющим, но и восходящим и, в то же время, переживать полосы реакции со всеми вытекающими из нее последствиями. Разве принудительная коллективизация не выбросила в города и в среду рабочего класса поток выходцев из крестьян, не влила в его психологию легко просачивающийся яд мелкобуржуазности, собственничества, эгоизма, нежелания думать за всех, стяжательства, накопительства?! И ничего нет невозможного в том, что выразителями собственнических влияний заражены вовсе не посаженные, а те, кто их сажает. Репрессируется потенция мыслить, рассуждать, возражать, потенция неповиновения, неподчинения пресловутому единству. Мышей и крыс можно травить и они будутдохнуть, а человек продолжает мыслить, наверно, еще и во время агонии.

На этапах происходит постоянная перетасовка людского состава. Чуть-чуть обживешься, свыкнешься с обстановкой — «собирайся с вещей!», и люди уходят навсегда; с новыми сталкиваешься, сближаешься, чтобы вновь разлучиться. Все всегда унижительно и оскорбительно в этапах: предупреждения о стрельбе, «вороны», собаки, грубость, все атрибуты этапной субстанции — от столыпинских вагонов и теплушек до вонь, голода и бесправия. Мы «зеки», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стоило это себе представить, как остальное следовало само собой. Невозможно постоянно беречь нервы, но и оупляющая сила привычки глубоко возмущает, все живое в тебе требует: «Не терпи, не

позволяй отступать от правил ни на йоту, не привыкай, не уставай ненавидеть насилие и несправедливость, чинимые над тобой и другими!»

Много позднее, после XX съезда партии, не раз приходилось слышать нелепые упреки в адрес старшего поколения: дескать, оно создало культ, воспитало молодежь в духе культа, а затем сбросило глиняного кумира и тем надломило и обезверило своих детей. Так не лучше бы было все оставить по-старому? Тут все ложь, смещение в понятии «поколение», подтасовка событий и времени. Насилие как принцип и система, страх ими рожденный, истребление лучшей части поколения, методы его истребления — породили среди молодежи болезненные явления надлома, сомнений, равнодушия, себялюбия и неверия. Но она же — молодежь — дает и ростки протеста...

Плывем. Плывем под конвоем, но свободно расхаживаем по «Ямалу», как только из вида скрывается Архангельск. В те годы чудовищно быстро росли лагеря, лагерные подразделения, лагпункты для политических заключенных, в частности, для женщин-политических. Режим в них еще окончательно не сложился и было много несуразного. Так, например, в нашем этапе ехали с матерями несколько детей. Их не на кого было оставить и некуда поместить, когда забирали отца и мать или когда приходили за кормящей матерью.

Стояла на палубе, у барьера. День клонился к вечеру. Качки не было, но волны поднимались все выше и пенились на гребнях. Худенькая девочка лет четырех с большими голубыми глазами и вьющимися волосиками с восхищением смотрела на воду и говорила матери: «Мама, посмотри сколько сметанки и какая белая, вкусная, всюду, ее очень, очень много, собери мне сметанку». Отец Галочки Шапиро — так звали девочку — был политработником в дивизии Чапаева, мать тоже член партии, теперь Галочка ехала с родителями в дальние лагеря. Рядом инженер с Балтийского судостроительного завода смотрел на уходящие архангельские верфи и говорил: «Оставили бы меня здесь! Глазом видно, сколько тут неурядиц и сколько дел, руки чешутся переделывать, я бы и бесплатно остался поработать, а гонят...»

Мы плыли по Белому морю. Я не в первый раз плавала по Белому морю. Знала его по путешествию на Соловецкие острова в юности. Запомнилось оно мне мгlistо-белым, но в солнечных бликах. У берегов Анзеры море полно морских звезд и всяческой рыбы. Тогда впервые познавала прелесть и колдовство белых ночей и незаходящего солнца. Видела

кувыркание тюленей и их уса́тые морды. В книгах у меня долго закладками служили морские засушенные звезды и листья всевозможных растений с островов. Воспоминания были светлые.

Сейчас море было сизо-серое. Надвинулся туман. Он шел навстречу, с северо-востока, мокрый, холодный, злой. Вскоре пошел мокрый снег. Ветер свирепел, рвал все на своем пути. Началась качка. Женщины и дети лежали на койках и на полу в каюте матери и ребенка. Было крайне тесно. Ночью вода захлестывала в иллюминаторы, заливала пол, так как качка все усиливалась. Всех укачало. Лежала на полу. Волосы прилипали к щекам, потом с затылка их стало подмывать водой. Было противно, и вместе с тем чувствовала облегчение оттого, что все мысли исчезли, выскочили, оставили в покое. Одна Михалина Котиш, как заправский боцман, как морской волк, приходила с палубы засунув руки в карманы своего мужского пальто, рассказывала, что матросов ветер с ног валит, а она им помогает и ей хоть бы что. Они ее за это в кубрике кормят. Чтобы все со стола не летело, мешковину смачивают и под миски подстилают. «В жизни не плавала,— говорила Михалина,— да вот пришлось, и чувствую себя как в цехе, наконец-то на работе, и аппетит вернулся, думала, ввек уж есть не захочется, не тут-то было! Матросы даже удивляются, смеются, приглашают в повара к ним на судно».

На вторые сутки шторм усилился. Мы и наши пожитки плавали в воде. Подняться не было сил. Михалина сказала, что мы уже в Баренцовом море, в его юго-восточной части. Из-за страшного шторма трое суток мы отстаивались у Колгуева острова. Здесь с давних времен промышляли зверя морского и приезжали с богатой добычей. Но у этих же берегов бесчисленное количество шхун, зажатых мощными белыми полями льдов, в плену у стихии терпели аварии. Мы застали безлюдье на суше и на море. Не только безлюдье, но и отсутствие всякой жизни. Птиц не видно. На берегу тихо. Лишь ветер с севера нагоняет высокие гребни седых волн и ударяет их о каменные берега. Пустынно.

За время стоянки «Ямала» мужчины-заклученные перенесли нас куда-то наверх, и дольше суток я находилась в состоянии полубытья. Наше судно было, конечно, детище конца XIX или начала XX века, в нем имелось машинное отделение и все, что полагается, но швыряло его как шлюпку Баренца в XVI веке, во всяком случае мне так казалось. Слышали от команды, что «Ямал» некогда затонул и ходит после подъема со дна и ремонта первую навигацию. Ремонт не выдержал испытания, судно в течение всей навигации терпит мелкие аварии и поломки, а после нашего рейса пойдет

на потопление. Во всяком случае, недоверие к стойкости нашего суденышка существовало и у команды.

Очнулась я от холода. Кругом спали и шевелились мужчины. Вышла на палубу и в свете серого утра рассмотрела наше пристанище — остров. Мы находились за Полярным кругом. Пароход не качало. Каменистая земля покрыта инеем, сквозь который проглядывал пожухлый мох и торчащие прутья какого-то низкорослого кустарника. Тундра. Без разрешения проскочила в душ и блаженствовала несколько минут под струями теплой воды, смывая блевотину, сон и хандру. Постучали, забили кулаками. Кое-как оделась и выскочила под брань конвоира. Зато очистилась. Откуда-то просочились слухи, что нас везут на Воркуту. Шумно. Все потянулись за пайкой и к кипятильнику. Мужчины требовали, чтобы их побрили. Малахов читал нараспев стихи, кто-то рассказывал об арктических экспедициях, о Карском море и Югорском Шаре, длинный военный с черной бородкой и черными глазами, подобрав полы длинной шинели, раскачивался, подражая руками и телом ритмам качки. На воле среди нас, наверно, никто не был нытиком... Военный подошел ко мне и оказался совсем не таким веселым, как в пляске, — глаза усталые и серьезные.

— Давно собираюсь передать вам привет от Дрелинга, он называл фамилию жены и говорил, что вы тоже в тюрьме. Но надо было к вам присмотреться, стоит ли говорить откровенно. Фамилия моя Донде, зовут Борис. Сидел в двойнике с Дрелингом. Он назначался на этап с нами, но заболел ангиной. Жалею, что он не в нашем этапе, может быть, вы его немного успокоили бы. На следствии он ужасно нервничал, скандалил со следователем, грубил ему. Ну и следователь не спускал ему, конечно. Я боялся за него и продолжаю опасаться. Он еще натворит бед на свою голову. Ни с чем не желает мириться — ни с арестом, ни с нашим положением. Грозил следователю, что они вскоре поменяются ролями. Воюет ни с чем не сообразуясь. Приходил со следствия в иступлении. Погибнуть может легко в наши времена, а следователь его мучил всеми доступными способами.

С Борисом мы стали друзьями в заключении и много лет спустя на воле. Его уже нет в живых. Донде был умен и чуток и не зря боялся за жизнь Дрелинга. Последнего таки подвели под нож за неумность натуры и поиски правды.

Через Печорское море и Печорскую губу нас везли в порт Нарьян-Мар. В то время промысловая жизнь в нем замерла, — город возродился, окреп, разросся и осовременился значительно позже, — запомнилась лишь большая, широкая, пустынная улица, по обе стороны выстланная досками. Между ними непролазная грязь. В конце улицы два двухэтаж-

ных деревянных дома, почерневших от времени. Общей бани нет, а этап слишком велик, чтобы вымыть нас в баньках-клетушках местного населения. Стояли мы здесь всего несколько часов, так как разместиться было негде. Там оставили навсегда Кулагину. Когда в 1939 году мне по особым обстоятельствам пришлось вновь побывать в Нарьян-Маре, могилы ее так и не нашла. К этапу присоединили еще несколько женщин и погнали всех на пароход. Охрана совершенно распоясалась. Главная власть — начальник конвоя — делай, что хочешь. Брань, окрики, ненависть: «Душегубы, троцкисты проклятые, нет на вас петель, слишком много развелось, а ну, стройсь!» И далее на все буквы... Мы пытались огрызаться. Совершенно бесполезно. Кого-нибудь огреют прикладом, кого-то ткнут в спину, пнут сапогом, выматерят. Гораздо менее унижительно молчать. Молодые парни в военной форме вовсе не были плохими или звероподобными от рождения. Они спешно проходили специальную переподготовку в отношении нас: враги народа, убийцы Кирова, изменники родины. От них требовали ненависти и презрения.

Давно ли на воле, когда я подверглась первым репрессиям, почти все сочувствовали, помогали, зная меня по работе и жизни. Так было, надо полагать, не со мной одной, а со всеми вначале. Что думали на воле после моего осуждения, трудно сказать. Кому из оставшихся нужна невинность каждого из нас? Напротив, желательно подтверждение нашей вины, иначе и спать, и работать невозможно, как и выполнить наказ бдительности и взаимного шпионажа, к чему призывали каждого. Тут-то и начинался скользкий путь умолчаний, полуправды, неправды, откровенной лжи и клеветы. Безусловно, далеко не все шли таким путем, но это было нелегко и требовало гражданского мужества и риска своей головой. Кроме того, действительно, не умещалась в голове ошибочность осуждения в таких массовых масштабах. Стоило усомниться — и всё бытие становилось бы неоправданным.

Конвоиры, не зная нас, были уверены в нашей преступности. В их представлениях мы-то и были причиной всех трудностей, неполадок, короче говоря — всех бед. Не могли же эти молодые неискушенные люди предположить, что они изо дня в день годами транспортируют сотни и тысячи без вины виноватых. А между тем власть над нами их постепенно и неизбежно развращала.

...Другой, уже речной пароход. Плывем по Печоре. Много видела северных рек — Северную Двину, Туру, Тобол, Иртыш, Обь, Енисей, множество мелких рек и речушек. Каждая по-своему прекрасна. Красоты же Печоры я в то плавание не могла ощутить. Она подавляла, особенно в север-

ной ее части, однообразием и унылостью. Ее берега казались мне тисками: серая мутная вода, песок, песок, тундра, тундра, полное безлюдье, редкие поселения, к которым мы и не приставали. Останавливались только на безлюдьи, среди безмолвных пространств для того, чтобы погрузить дрова. Печора казалась безотрадной по чувствам, с какими мы ехали по ней. В молодости вообще, как мне кажется, человек воспринимает природу более субъективно, он как бы не дорос до понимания природы как таковой, независимо от себя. Хочется участвовать в ее жизни, чтобы солнце жгло, вода охлаждала и плескалась под руками, собирать, рвать, слушать и петь, двигаться... Нет умения созерцать, удивляться красоте вне нашего активного действия. Созрев, любим природу по-новому. В 1939 году я вновь, но уже летом, туда и обратно проехала по этой величественной реке с ее широкими чистыми плесами, бескрайними просторами и лесами, отражением неба и берегов в прозрачных ее водах. Какая гладь, какая затейливая игра рыб, какая красота! Тогда же все воспринималось как безнадежная печаль.

Много лет спустя, уже по выходе из вторичного заключения, лето проводила в Литве, в Каунасе, увидела две картины Чюрлёниса: цикл Печаль. Из всего его творчества — самые грустные картины. Эти полотна Чюрлёниса — символ печали. На первом из них — на закате, по берегу тусклых вод, несомые ветром движутся полчища черных знамен. Бледный край солнца спускается в мутный поток. На втором полотне цикла — солнце зашло. На берегу руины, развалины. Лишь на переднем плане углом торчит одно черное знамя. Неожиданно в сознании с полнейшей явственностью возникли печальные берега осенней Печоры и этапный путь на север.

...По мере продвижения на юго-восток берега оживали, что вселяло какие-то надежды. Проглядывало солнце. Потянулись леса, с которых слетали последние по-осеннему пестрые листья. Легче стало на сердце.

Размещались заключенные в 3-м и 4-м классах и в трюме, но все выходили на палубу, общение было свободным. 1-й и 2-й классы пустовали.

Ваграм пел вполголоса тюремные песни:

На железный засов заперты ворота,
Где преступный мир срок отбывает.
За высокой кирпичной тюремной стеной
Дом стоит и прохожих пугает.
В этом доме большом, некрасивом на вид
Много душ заключенных страдает,
Они мечутся и не спят по ночам,
Злую долю свою проклинают...

— Вслушайтесь в эти песни — говорил он, — они бесхитростны, даже примитивны, но в них столько чувств и настроения!

Молодой геолог уверял, что видел в Геолкоме своими глазами докладную записку, утвержденную в Совнаркоме, о проведении железнодорожной трассы на Воркуту и что у нас там будет «роскошная жизнь».

— Подумайте, — горячо доказывал он, — среди нас есть специалисты всех профессий, нас везут туда как специалистов, чтобы мы в максимально короткие сроки провели железную дорогу, построили города, шахты, заводы, школы, театры, университет...

Агроном примеривался к заполярному совхозу. Никто не представлял себе будущего, но всем хотелось, чтобы оно было как-то осмыслено.

Пароход идет медленно. Снова повернули на север. Деревья все оголились. Краски исчезли. Кое-где на островах попадаются стаи птиц, готовящихся к далекому перелету на юг. Они суетятся, перестраиваются, переговариваются. Когда-то мы повернем в другую сторону?

Внизу духота. Устаешь в людской гуще. На палубе легче дышится, легче говорится. В несчастье люди более индивидуальны, выпуклее проявляется личность. Может быть, так кажется потому, что на воле для людей почти не остается времени. Выходим с Дорой на палубу, останавливаемся поближе к теплой трубе. К ним присоединяются несколько товарищей из ленинградского этапа.

Оказывается, среди большевиков немало идолопоклонников и религиозников. Куда смотрел Емельян Ярославский? — чуть картавя говорит Борис Донде.

— Как это надо понимать? — спрашивает Саша Гиршберг.

— В самом прямом смысле слов. Иду я своей дорогой с крамольными мыслями в голове, только о том и думаю, чтобы их не просыпать и чтобы начальник конвоя их не подобрал. Значит, надо незаметно мимо его каюты прошмыгнуть. Гляжу, там очередь скопилась. В чем дело? Не бьют ли отбой, не вызывают ли домой? «Нет, — отвечают, — пока не слышно». «Тогда зачем же вы стоите?» «За бумагой». «Да зачем же вам бумага?» Оказывается, все происходящее зависит от того, что наше «Верховое Существо» плохо обо всем осведомлено. Стоит ему поклониться да хорошенько ему помолиться, всю беду как рукой снимет. Одна загвоздка — молитвы принимаются исключительно в письменном виде. Вот и ходят к начальнику, просят карандаш и бумагу и строчат. Кому? Ему!

— Писать наверх глупо, бессмысленно, — мрачно вставляет худой и неимоверно высокий товарищ по фамилии Не-

помнящий. Он инженер-металлург, член партии, сын бывшего протодьякона и крестьянки. Говорит по вкоренившейся с детства привычке фразами из церковных текстов или близко к тому.— Кому писать? Разве не по плоду узнается древо? Не может древо доброе творить плод злой, как и плод злой не сотворит древо доброе. Это понять надо и замолчать надолго.

Непомнящий был исключительно терпелив, никогда о себе с начальством не говорил, ни о чем не просил, а к концу года так иссох и отошал, что начальник Должиков вынужден был своей волей удвоить ему пайку соответственно росту. К тому времени у Непомнящего уже развилась злейшая пеллагра. На Сивой Маске, расположенной высоко над рекой, где мы прожили зиму, таскать воду ведрами было истинной пыткой. Выручил всех Непомнящий. Он предложил соорудить ворот для подъема воды на гору. В напарники взял тоже инженера, но коротышку, который ростом доходил ему до пояса. «Ничего,— аргументировал свой выбор Непомнящий,— во мне два его роста, а в нем две мои головы». Вдвоем они выбрали площадку на выступе, установили на ней вручную в вечной мерзлоте внушительный столб, вдвоем копались в проруби, вдвоем же, бессменно, заменяя собой лошадей, в любую погоду, в жестокую стужу и в лютую пургу, до тошноты и головокружений — с утра до ночи плелись по кругу, вытаскивали обледевшие ведра с необходимой водой и обеспечивали ею всю командировку.

Вернемся к прерванной беседе и собеседникам.

— А бумагу дают разве? Сочинить бы что-нибудь, карандаш разучишься в руках держать,— вставляет свое слово молодой журналист Игорь Малеев.

— Дают, но при одном условии — возвратить в том же размере после написания для точности и цензуры. При выдаче регистрируют формат и количество листов (не больше двух).

— Пойду сейчас же за бумагой для письма,— оживает Дора.

— Для письма? Да кто вы такая — зека или политработник? Если зека, то подождете. Не успели уехать и уже писать! Бред!

— Всех разочаровал,— бурчит Игорь.

— Подумаешь, какой «очарованный странник»! — парирует Борис и возвращается к начатому разговору.— Вот, вы, историки, со школьных парт долбите о роли личности в истории — ускоряет, замедляет исторический процесс. Плеханова заставляли конспектировать, Маркса. Стройно, геометрически правильно, безошибочно верно, а на деле путаетесь. Изучать любите французскую, великую, буржуазную рево-

люцию, а вот на нашей Октябрьской, социалистической, пролетарской революции закономерности устанавливать не желаете, концы с концами не сводите. Ни на один вопрос ответить не умеете...

— Позволь, позволь, что за прокурорский стиль?!— примирительно замечает Саша и громко смеется.— Знаете ли, други, кем этот обличитель на воле был? Прокурором. Всамделишный перед вами прокурор. Страшится, что вы его растерзаете и потому первым в драку лезет.

— Не буду защищаться,— отвечает Борис,— за меня товарищ Вышинский работает.

— Уже сработал!

— Еще далеко не закончил,— несутся замечания...

— Послушайте, какая у меня «удача»!— Саша уводит разговор от чересчур острых тем.— Человек я, как видите, весьма скромный, ничем особенно не примечательный (к сожалению, там, где не нужно, заметили). Жил, работал экономистом, состоял в партии. Трудился по мере сил. Оставил на произвол судьбы жену и двух малых ребят. Одним словом, как положено. Сестра — не то, что я,— иного полета: летала много выше и села много раньше. Не виделись мы, чтоб не соврать, лет 9—10. Следовательно меня к ней обязательно приклеить хотел,— никак не удавалось, но от Нарьян-Мара очутились в одном этапе. А теперь уже этого в протокол не запишешь! Дважды удачник.

Кто они, эти брат и сестра?

Александр Михайлович Гиршберг постоянно курит трубку, так что концы его широких пальцев, незаостренных кверху и заканчивающихся крепкими овальными ногтями, даже пожелтели. Глаза выпуклые черные и продолговатые, как сливы. Выражение глаз мягкое. Он будто и не приглядывается пристально ни к людям, ни к обстановке, в действительности, он очень наблюдателен, в чем могла убедиться десятилетия спустя, когда мы вспоминали прошлое. Но наблюдает Саша ненавязчиво, как бы скрытой камерой, и чрезвычайно доброжелательно. Вообще же он человек абсолютно надежный, понимающий. Расскажешь, он трезво, честно взвесит и никогда не увильнет от прямого ответа. Ценнейшее свойство, особенно в тех условиях! В дальнейшем не раз хотелось узнать мнение Гиршберга и посоветоваться именно с ним. Все пять лагерных лет Саша провел на тяжелых общих работах — лесоповале, лесосплаве, грузчиком, возчиком, на руднике, в шахтах. Голодал, болел, но был вынослив телом и духом. Возмущался нашим общим положением, однако на личные тяготы не жаловался. На волю выйти в конце срока ему не удалось. Освободиться он должен был как раз накануне

войны. Кто связан по лагерю с Воркутой, тот знает, что значит вырваться оттуда.

Казалось, Воркута позади. Александр Михайлович доезжает до станции Печора, получает паспорт, покупает билет и ждет отъезда. Вечером поезд должен отправляться и тогда — прощай лагерь! Наступит час свободы! Какая бы она ни была, но ты уже не зек. Скорей бы, скорей! Утром вызывают в УРЧ*: сдайте паспорт, вкралась ошибка. Взамен паспорта — вызов на Воркуту, который через год заменяется новым сроком лагеря впредь *«до особого распоряжения»*, а затем работой по вольному найму до 1956 года. Ровно 20 лет Заполярья! В УРЧе Саша узнает, что началась война. Семья была выслана после его ареста в Лугу, тут он теряет с ней всякую связь. Когда блокада перестала висеть над Ленинградом, Саша пытается найти след семьи, но тщетно.

Обо всем этом рассказывает Саша Николаю Игнатьевичу и мне уже в Ленинграде, в 1959 году. Рассказывает, забыв обычную сдержанность, темпераментно, с болью.

Семью он потерял, ни с кем из родных не связан, узнать не у кого. Тогда он покупает 500 открыток и посылает все до одной во все концы Советского Союза. Ответа нет. Еще через год приходит письмо от неизвестной женщины, которая сообщает, что семья его в начале войны выслана в Салехард. Теперь запросы идут туда. Оттуда указывают точку их пребывания — отдаленный рыбозасольный пункт. А время идет. Гиршберг шлет телеграммы. Письма идут в обход, через всю Россию. Наконец, дошло и письмо. Саша узнает, что семья бедствует, голодает, болеет тяжелой цингой. Они умоляют взять их к себе. Но как это сделать? Поездку обычным длиннейшим путем — вверх по Оби, по железным дорогам и снова по морям и рекам — в таком состоянии они вряд ли перенесут, да и средства нужны не малые. А где их взять? Саша решает вызывать семью через Уральский хребет. С непередаваемыми трудностями, правдами и неправдами, ему удается достать лошадь и проводника для поездки за семьей. Тянутся недели и месяцы... Приехали на Воркуту они в таком состоянии, что годны были лишь в больницу. Физические раны молодости поддаются излечению. Мальчики поправились, окрепли, но мать умерла, подарив Саше еще двух детей — мальчика и девочку, последнюю с очень плохим зрением. С тех пор Александра Михайловича стали называть «пама», так как он в одном лице совмещал отца и мать.

Поднимать одному четырех детей после возвращения на голом месте с нашим прошлым, не просто. Начал с того, что он сам построил дом под Ленинградом до получения квар-

* УРЧ — учетно-распределительная часть. (Примеч. авт.)

тиры. И так во всем — своими руками без трескотни, без шума. Что держит таких людей при всяких обстоятельствах? Прежде всего — запас гражданственности, вынесенный из революционной юности. Они не станут обывателями, мещанами, не разучатся воспринимать мир с его широкой, общественной стороны. Чем заполнен ангар их юности? Непререкаемой верой в то, что общество изменяется в лучшую сторону, переходит на высшую ступень развития, активностью, романтикой и смелостью, оптимизмом и жертвенностью, неутомимостью и бескорыстием; пренебрежением к внешним благам, неистребимой страстью к познанию, юмором. Для догматического исповедания и бараньей покорности эти люди были непригодны.

На палубу поднималась сестра Саши, женщина, к которой я приглаждалась уже в Нарьян-Маре, где ее присоединили к нашему этапу. Было в ее облике нечто заинтересовывающее, вызывавшее любопытство. Она и притягивала к себе и находилась как бы в круге недосягаемости, неприкасаемости. Теперь это впечатление давно изгладилось, но я помню его. Мы познакомились. Через мгновение она уже стала центром внимания присутствующих. Лицо волевое, глаза пронизательные под несколько тяжеловатыми веками. Умение владеть собой и разговором. Звонкий непринужденный смех, при котором она откидывала назад голову с пышными стриженными волосами.

У этой женщины очень интересная биография, осколок нашего времени. Она воздерживается от пересказа своей жизни по многим причинам, тем более не смогла бы сделать это я, но сказать хотя бы несколько слов о ней считаю себя вправе. Блестящей рассказчицей узнала ее лишь на воле. В лагере Мария Михайловна Иоффе была очень сдержанна и даже молчалива. В тюрьмах и ссылках она просидела в общей сложности 28 лет, не раз бывала под следствием и под пытками, одним из ее следователей был сам Кашкетин, известный воркутинский палач. За это время были и годы, которые она пролежала в гипсе, да чего только не было! Единственный сын расстрелян в неполных восемнадцать лет...

Еще в ранней юности жизнь ее завертелась вихрем. Родилась в Ленинграде, начала учиться в Психоневрологическом институте, одном из самых демократических учебных заведений, где директором был Бехтерев. Здесь накануне революции было немало буйных голов и горячих дискуссий. Сразу стала большевичкой. В период Октября работала в отделе печати Смольного, жила среди творцов революции, вышла замуж за человека уже умудренного жизнью, на полтора

десять лет старше ее. То был большевистский дипломат Иоффе, занимавшийся этой деятельностью с первых послеоктябрьских лет, позднее посол в ряде стран на Востоке и на Западе — Япония и Австрия, Китай и Германия. Новые страны и нравы, возвращение в Союз, перемены и контрасты. Иоффе бывала на приемах и принимала у себя. Масса впечатлений, широчайшее поле для наблюдений и обучения. У Марии Михайловны природный дар отбора впечатлений и их своеобразной переработки. В рассказах всегда выделит эпизод или мысль; которая, как в фокусе, отразит событие в целом, явление, человека. Суждения часто спорны, но никогда не трафаретны. У нее есть умение: познанное, увиденное превратить в собственное достояние. Это свойство богатых натур. Ее тянуло в журналистику, любила редакционную работу, а тут разъезды, подчинение всей жизни дипломатической работе Иоффе. Вздунтовалась, доказывала мужу, что ее работа важнее невольной пассивных разъездов, не поехала в Англию, начала работать в ленинградском отделении Детгиза с С. Я. Маршаком и другими детскими писателями. С некоторыми сохранила дружбу навсегда. В журналистику толкал М. М. ее темперамент политического борца и полемиста. Казалось, предстоит жизнь необъятных возможностей...

Точных обстоятельств конца жизни А. А. Иоффе не знаю. Последние годы он тяжело болел и, кажется, застрелился. Похоронен, однако, с почестями, как крупный советский деятель. (Умер он в 1927 году.)

Вскоре М. М. была выслана в Казахстан, туда ей привезли восьмилетнего сына, затем их перевели в Тобольск, потом арест на десятилетия. В личной жизни самое страшное — гибель сына.

После первой короткой встречи расстались с М. М. в вечер зловеще-красного заката, запомнившийся навсегда, поразивший необычностью. Пароход не мог пробиться сквозь шугу, нас высадили в Абези. Часть оставили там, среди них М. М., а ленинградский этап построили и пешим ходом погнали в Сивую Маску, по направлению к Воркуте. Лагерные передвижения свели нас случайно в Кочмесе. Там она узнала о гибели сына и близкого ей человека и была почти недоступна в страшном молчаливом горе. Ее личное дело попало в колоду непрерывно тасуемых карт — то ее гнали наверх на Воркуту, то вниз, то в Москву. И всюду следствия и все им сопутствующее в 1937—1939 гг. Запрятав далеко пережитое, М. М. не утратила чувства и пульса жизни.

Среди мужчин нашего этапа были, как я уже говорила, совсем юнцы. Один из них Ваня Долиндо сиротливо ходил по палубе. Встретиться с ним взглядом и прочтешь в глазах застывший вопрос. Он был очень хорошо сложен и красив

лицом. Как-то через год во время комиссовки, на которой мне пришлось присутствовать в качестве секретаря, начальник санчасти доктор Тепси при осмотре Долиндо полушутя сказал начальнику лагпункта Должикову: «Не сгубите его случайно, много ли таких Аполлонов по земле шагает, он еще должен целое поколение маленьких Аполлонов создать». Но именно с Долиндо, силачом и смельчаком, случилось несчастье на лесоповале. Слабые и неловкие женщины постоянно работали на лесоповалах, валили, складывали и сплавляли многометровый лес и как-то справлялись, а Ваню точно злой рок преследовал. Он был слесарь-металлист и большей частью работал в слесарных мастерских, но иногда посылался на разные работы — туда, где нужны были сила и ловкость, и конечно, в лес. Первый раз в лесу ему оторвало ухо при повале дерева. В самом конце срока он снова случайно попал на лесоразработки, где был убит наповал. Лес был ему, очевидно, противопоказан, как, впрочем, и лагерь. Он не мог с ним свыкнуться ни на минуту. Вот что рассказывал он о себе тогда на пароходе. «На заводе шло партийное собрание. Я совсем молодой кандидат в члены партии, с 1935 года. Сразу после убийства Кирова подал заявление о приеме. Думал, раз такое дело, рабочий класс должен кольцом сомкнуться вокруг партии. Без колебаний меня приняли. Прошло каких-нибудь четыре месяца и вот на собрании обсуждают вопрос об исключении из партии как пособников врагов народа тех товарищей, которых я отлично знал, которые рекомендовали меня в партию. Поднял руку, спрашиваю — можно мне как молодому кандидату задать вопрос:

— Можно, пожалуйста.

— Можно ли, — говорю, — огласить факты или документы, подтверждающие их вину?

— А что, тебе решения парткома недостаточно?

— Партком их знает издали, а я вблизи. Я с ними три года в цехе изо дня в день с утра до вечера работаю. Они меня только что в партию рекомендовали. Когда же они успели свихнуться? Я вам верю, только расскажите, что случилось и когда. Я должен это знать!

Председатель мне говорит:

— Получишь ответ, не сомневайся, а пока, «молодой кандидат», покинь заседание, выйди вон!

У меня ноги к полу приросли, сдвинуться не могу, кровь в голове стучит. Полная тишина. Все замерли. И я стою как истукан. Председатель заорал не своим голосом:

— Убирайся, троцкистский ублюдок, змееныш. Ясно, те, кто рекомендовали, тебя в свою шайку втянули. Кровь у тебя на лапах! Что, стыдно стало?! Или стыда у таких, как ты, нет?

— Да что я сделал?— завопил и я, а сам себя не помню. Такая бешеная злоба душила, выхожу и ноги дрожат. Слышал один стариковский голос:

— Потихе кричи на мальчишку, его родимчик схватит, не в пивной, на партсобрании.

Остальные — ни гу-гу, пропускали меня из ряда, опустив голову и сторонясь. А в спину голос председателя:

— Кто там недоволен. Встань!

Что дальше было — не знаю, больше никого из заводских не увидел. Шел по заводскому двору, по улицам — ничего не замечал, а в голове засело одно слово «отверженный». В ту же ночь меня и взяли. С тех пор рядом такие же отверженные. За всю жизнь столько не пришлось думать, как в тюрьме. Туда, на волю, теперь не хочу. Здесь легче, чем там. Не страшусь говорить с вами и с другими, а «там»... Существует, оказывается, целая система правил поведения, при которой недопустимо высказать свое мнение, задать вопрос или заступиться за человека пусть он хоть сто раз прав. Если это не так, тогда объясните, почему никто не протестует? Почему все молчат? Почему страшно думать о воле? Кто же прав: я, в сущности усомнившийся по неведению, или те, кто молчат? Тошно от всего, а для матери я теперь — тяжкий крест. Вырос без отца, она член партии. Будет драться за меня, или как другие? На вокзале ее не было, а ко многим пришли».

Когда работали целый год на одной командировке, было у меня, как у более старшей, чувство ответственности за этого искреннего и милого юношу, хотелось его предостеречь от чего-то, уберечь, будто предчувствие владело мною. Так и вышло. Не вернулся!

Пароход еще плыл, еле тянулся, и плыли за нами надвигающаяся зима и нависающая ночь, ибо нас везли в Заполярье. Небольшая пристань поселка Усть-Уса на правом берегу Печоры при впадении в нее реки Усы показалась оазисом в пустыне. Было время, когда суда уже пришли на отстой, но судовая жизнь еще не замерла на зиму. Все команды работали, на палубах и на снастях сияли разноцветные огни. На черном фоне неба суда казались иллюминированными. Почудилось даже, что потеплело, хотя то было лишь пустым воображением.

От Усть-Усы на северо-восток шли все время в тумане и в сгущающемся холоде. Плыли без остановок. Река застывала на глазах. Вода сгущалась. Шуга встречалась все чаще и постепенно превращала реку в сплошное месиво. Команда парохода ругалась с конвоем, ибо ей грозила опасность за-

зимовать на голом берегу без продовольствия и без жилья. Днем 7 октября части этапников приказали собираться с вещами. Поднялась суета. Ленинградский этап предназначался на Воркуту, и имелся приказ доставить нас туда во что бы то ни стало, хотя было совершенно ясно, что нас туда не довезут. Однако и разгружать было запрещено. По сути нам было безразлично, где высаживаться, как безразлично любому стаду, где произойдет его забой, но расставаться не хотелось. 7 октября — день моего рождения. Кому-то сказала об этом, тот — другому. Выпотрошили чей-то рюкзак и опустили туда шуточные «подарки» с шуточными надписями вроде записочки, прикрепленной английской булавкой, с надписью «Запретный плод сладок». Зимой булавка не раз меня выручала. Игорь Малеев опустил в рюкзак малюсенький кусочек шоколадки, на обложке которой значилось мелким бирюзовым почерком:

Не печальтесь, Адда,
Пудры и помады
Вам пока не надо.
Ой дид-лад, дид-ладо,
Так ли много надо?
Запах шоколада,
Плюс все круги ада,
Да плестись средь стада,
Раз такая страда!
Не печальтесь, Адда!

И все такая грустная чепуха. И прощание с соэтапниками. Обстановка была зловещая. Высадили наших товарищей в Абези, на границе Полярного круга. Абезь стояла на левом берегу реки. Вечерело. Закат был огненный — оранжево-красный. Поселок расплылся за багрово-красным занавесом. Река пылала. Лес слева фантастически горел. Фигуры людей, спускавшихся по трапу, вспыхивали вишневыми пятнами и мгновенно теряли очертания. Багряную кровь заката резали окрики конвоиров:

— Стро-о-о-ойсь по пять! Вправо шаг, влево шаг считается побегом... Не задержив-ай, не растекайся! Скор-р-а! Быстра-а-а!

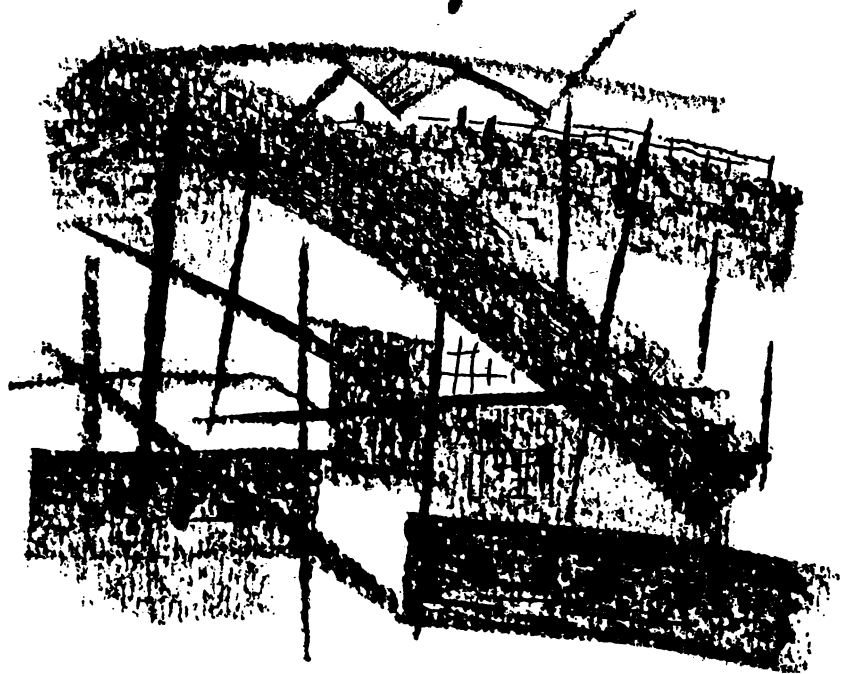
Пароход дымился пурпурно-алым паром и туманом. Внезапно пунцовый круг солнца закатился, потухло пожарище заката, навалилась фиолетово-сизая мгла, а за нею темень. Рванул холодный резкий ветер, и мы двинулись дальше на север, со скрежетом ломая густое месиво темного стекла. Пароход еле полз. Через сутки пароход после нескольких толчков стал. До Воркуты нас не доволокли. Мы не спали. На палубе нельзя было показаться из-за ветра. Едва забрез-

жило, нам велели собираться и выкинули в грязь под мокрый снег со всеми пожитками и грузом. Обычно пешие этапы идут налегке, а вещи тащат лошади (машины появились гораздо позже), но на пароходе лошадей не было, а селение осталось далеко позади. Хлеб кончился. До Воркуты с грузом не доедем. Тащили мы на себе свои вещи и мешки с гречневой крупой, предназначенной для лагерного начальства Воркуты. Кто-то слышал, что на пароходе велись переговоры с каким-то лагпунктом по дороге на Воркуту, но местный начальник наотрез отказался принять этап, так как у него нет ни помещений, ни продовольствия. К тому же название лагпункта упоминалось какое-то неправдоподобно несуразное и таинственное — «Сивая Маска», так что мы уверились в том, что это «липа». Но поскольку мы к человеческому роду уже почти не принадлежали, а перечислены были в особую категорию «зека» и измерялись в количественных гуртовых оценках, все оказалось правдой. Ночью в кромешной темноте и топкой грязи мы слышали команду: «Стой!». Не видно ни зги, ни огонька, ни просвета. Пронизывающий холод от внезапной остановки, ведь до нее ты сто раз облился потом под тяжестью груза, выволакивая усталые ноги из грязи. К чему тут опротивевшая вьедливая команда конвоя? Куда можно бежать ночью из неведомого заполярного края в пору его зимнего замирания в глухих лесах и в обстановке ошестинившейся против нас враждебности? Автоматически действующая формула, подчеркивающая фиктивность нашего человеческого существования. *«Вправо шаг, влево шаг — считается побегом»...*

У каждого тлела надежда на неизбежные перемены, правда, у каждого на то имелись совершенно различные доводы и соображения. Обстоятельства превратили осужденных в отщепенцев и общественных изгоев. Мы казались чумной заразой, хотя никто из нас чумой не болел. Кроме того, в случае побега мы обрекали на закание всех родных, в то время действовала семейно-родовая порука. Дезориентированному местному населению за поимку беглеца сулили высокую награду, а за сокрытие — суровую кару. И, наконец, каждый из нас был кровно сплетен с советской властью и не желал проводить непроходимую черту между нею и собой. 200 молодых здоровых мужчин плюс 9 женщин вели несколько конвоиров и две-три собаки овчарки. И все же они были властны над нами, а мы беспрекословно подчинялись им.

Аарефс

Вай





Сивая Маска

Мы карабкались в гору вслед за ведущим конвоем, срываясь, спотыкаясь в темноте. Вдруг приоткрылась дверка темной низкой хибарки, оттуда выскочило несколько косматых мужчин в нижнем белье, и слух полоснули дикие звериные возгласы: «У-у-у! Бабы!», сопровождаемые гнусными ругательствами. Вскоре вылез из землянки с «летучей мышью» в руках кто-то из лагпункта, как потом оказалось, помощник начальника Красный, который тоже не замедлил пустить в ход излюбленный похабный лексикон. Такова была встреча.

— Где мы? Куда нас привезли?

— Это Сивая Маска!

И теперь не знаю происхождения по меньшей мере странного названия, но оно существует и сейчас и даже значится на карте. На проведенной во время и после войны железной дороге существует и станция под тем же названием. А в календаре кажется за 1964 год, наткнулась на такую заметку: *«Самый далекий» «Станция с несколько таинственным названием Сивая Маска (Коми АССР, Интинский район). В ясный морозный день справа от железнодорожного пути отчетливо видна гряда Уральских гор. Сюда прибывают автомашины с бидонами свежего молока. Поезд умчит бидоны в шахтерскую Воркуту. Свежее молоко — продукция местного совхоза «Горняк». Он расположен почти у самой 67-й параллели»*. Тогда же, когда мы волею судьбы были выброшены застывшей рекой на берег, Сивая Маска была малюсенькой штрафной «командировкой» для самых отпетых рецидивистов и убийц. Она обслуживала перегонный зимний транспорт — конный и собачий. До нашего приезда здесь жил начальник, его заместитель, завхоз, несколько вохровцев и десять человек бандитов-рецидивистов. Всем десяти расстрел был заменен максимальным по тому времени сроком в 10 лет. Ни одной женщины в составе населения Сивой Маски не было. Позднее узнали, что о Сивой Маске ходили самые жуткие легенды, одна страшнее другой. Но и то, что мы застали, было достаточно мрачно и совершенно не приспособлено для человеческого житья.

Зимой 1937 года, как мне потом говорил Карпов, он узнал, что я нахожусь на Сивой Маске и начал расспрашивать о ней геологов. Они напугали его, а геолог Сафронов категорически заявил: «Вы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы извлечь жену оттуда, а просыпаясь утром, задать себе вопрос — что я сделал вчера и что сделаю для этого сегодня? Я знаю тамошние условия, выжить там нельзя».

Сивая Маска была последним лагпунктом по пути на Воркуту. Расположена она в зоне вечной мерзлоты. Неширокая полоса леса у реки переходит в тундру. Жилья почти не было. Вот ее «жилищный фонд»: загаженный дряхлый и маленький барак из жердей, где жили 10 человек заключенных, домишко под канцелярию и две землянки для «начсостава», плохонькая кухонька-прачечная, банька по-черну и склад-навес. А привели около двухсот мужчин — по дороге к Ленинградам присоединили еще 60 человек — и 9 женщин. Когда мы утром пошли по воду к реке, то обратили внимание на то, что снизу не догадаешься о наличии наверху какого-нибудь человеческого существования или пребывания. Пятачок земли, зажатый между тайгой и рекой. Запасов продовольствия не подвезли, а у нас несколько мешков крупы, на которых лежит запрет. К тому же и начальник в отъезде — поехал на лошади отбиваться от нашего этапа.

Первые дни был сущий ад. Заместитель начальника Красный, тип из мира уголовных, вообще ни за что не отвечал и лишен был начисто организаторских способностей. Женщины втиснулись в помещение на пять метров, называемое канцелярией, и разместились на столе и под столом, но у нас хоть крыша над головой, а мужчины просто в грязи — наломали веток и валились на них. Инструментов на десять человек, но уголовники их из рук не выпускали, так что и землянки рыть нечем. Мужчины нашего этапа спали первое время около нашего жилища, так как мы боялись вторжения озверевших бандюг, а ВОХРу на это было наплевать. Муки для этапников не нашлось, и мы самовольно распорол мешок с крупой и варили жидкую похлебку по очереди, так как посуды тоже не оказалось.

Через несколько дней приехал начальник Должиков. Повадки у него были офицерские. Он и был врангелевским офицером, перешедшим на службу в Красную Армию. Крепкий, сильный, деловой. Лет пятидесяти. Лицо изрыто оспой. Голос грудной, зычный. В сапогах, гимнастерке и папахе, какие носили в первую мировую войну. По приезду он нас как бы игнорировал, даже не счел нужным поздороваться и с ходу набросился на конвой: «С большой головы на здоровую, — орал Должиков во всю глотку. — Куда мне такую ораву? Чем

кормить? Что с ними делать? Зарежу ваших собак чертовых и накормлю всех, как Христос, так что ли? Воспользовались тем, что у меня рации нет, что со мной связи нет, что я лишен возможности из-за этого все начальство выматерить? Я с моими орлами не пропаду, а с этими куда деваться? Мало того, что на десять человек продуктов не завезли, даже хлеба нет, так еще повесили 200 гавриков на шею, да девок подсунули! Проклятье на начальников и на вас дураков! Вместе срок получать будем, не отыграетесь на мне одном! В Абези всех не сгрузили, а ведь там деревня рядом, хоть в избах можно временно поселить, а здесь что? Что здесь есть? Кому они нужны тут? Валяйте все в грязь и спите вперемешку с конвоем,— обратился начальник к собирающимся вокруг него заключенным.— И так уж все, как свиньи, перемазаны! А женщин к уголовникам на нары! У меня их десять,— а вас сколько?— повернулся он в сторону группки женщин.— Ага, одной не хватает, тогда драка будет — нельзя!» Затем, переменяя тон, Должиков отдал распоряжение мужчинам по группам греться в единственном помещении, а основному населению Сивой Маски собираться с вещами. Те подняли хай: «Никуда не пойдем, тут наша земля, а на врагов народа сами управу найдем!»

Так с превеликою пользой для «освоения севера» началось наше лагерное бытие.

Как только мы появились, уголовники забунтовали и громогласно заявили, что передушат всех или забьют топорами, если нам отпустят хоть по 100 граммов хлеба. Без начальника они распоясались, так как Красный потакал им во всем. Должиков был далеко не глуп и, как мне кажется, с иронией отнесся к положению, при котором, ему, белому офицеру, предоставили право управлять двумястами коммунистами. Он разбирался в том, кто мы такие, лучше, чем ВОХР, понимал, каков характер нашей вины. Избавиться от нас он уже не мог, оставить вместе с уголовниками — означало нарваться на эксцессы или допустить поножовщину, особенно при наличии женщин, и Должиков рассудил, что необходимо очистить лагпункт от десяти, чтобы дать возможность как-то существовать остальным, да и единственное жилье таким образом поступало в распоряжение этапа. Он решил отправить своих «орлов» на заготовку черенков для инструментов, отдав им весь запас муки (кроме небольшой толики для начальства), подальше, в глубь тайги. Они взяли инструмент, лошадь, сани. С ними ушли два вохровца и как повариха наша Михалина Котиш, общественница в самом лучшем смысле слова. Сейчас она на все махнула рукой и в своем молчаливом протесте, говорили, сошлась с одним из уголовников. Раз уж она решила уйти с ними,

ей ничего не оставалось другого. Легко презрительно отнестись к ее решению: сдалась, дескать. Но кто проник в глубину ее разочарования после столь праведно-партийной жизни, ее запятого, невысказанного возмущения? Она потеряла к себе всякий интерес. Исчезла с горизонта. Своего рода самоубийство. Должиков же не вернул десятку уголовных на Сивую, а переправил их в дальнейшем на Воркуту.

Мужчины получили возможность по очереди греться во вшивом, клопаном бараке и, стоя впитык друг к другу, спать. Через несколько дней немного потеплело, и буксир притащил баржу с инструментами, кое-каким пиломатериалом, посудой, мылом, гвоздями и пр., но продовольствия и обмундирования не привез. Баржу надо было разгрузить за двое суток. Работали аврально — день и ночь. Без хлеба. Хлеб появился только через полтора месяца, с началом зимнего транспорта. И то благодаря только пиратским действиям Должикова, о чем скажу позже.

Как-то несколько мужчин от имени всех прочих, ибо поголовно все отошали, обессилели и валились как мухи осенью, пошли объясняться к Должику. Он ответил грубовато, но резонно: «Что вы от меня хотите? Я что ли подготовил для вас лагерь, Сивую Маску и обеспеченную жизнь? Это вы для меня все подготовили, а попали в ту самую яму, которую копали для такого волка, как я. Что вы на это скажете? Бросите работу — хуже будет. Ляжете — не встанете, а так, за делом, большинство дотянет, уж поверьте моему опыту».

Начали строить землянки для мужчин, на пятьдесят человек каждая. Зимой, в условиях вечной мерзлоты, без хлеба, к тому же в самой неподходящей одежде — кто в чем: в летних брюках и пиджачках, в бухарском халате, в единственном пальто, в ботинках и без рукавиц — дело нелегкое, а подчас и невыносимое. Но все, конечно, достроили — и палатки, и вагонки. Организовали доставку воды, расширили кухню, баню. А есть было почти нечего и работать не в чем. Командировка незапланированная, смет на нее нет. Люди в самом прямом смысле падали. Появилась цинга, голодные поносы, а за ними пеллагра со всеми ее ужасными симптомами. Ни питания, ни медицинской помощи, ни лекарств. В нашем этапе не оказалось ни одного врача. Мало кто сохранял хладнокровие или спокойствие. Настроение в тот период у всех было подавленное, быстро переходящее в состояние нервного возбуждения. А продвижение транспорта — и конного, и на собаках (главным образом курьерская почта) — уже началось.

Мы видели, как ежедневно вниз, по реке, мимо Сивой

Маски тянулись обоз за обозом на Воркуту. Потом они стали и возвращаться с грузами, предназначенными на ту или иную командировку, но опять мимо нас. Несмотря на то, что проезд на Воркуту и обратно страшно удорожал доставку грузов, все же для многих видов различного снабжения существовала система доставки вверх, в центр, а затем только спуска вниз. То же происходило и с почтой, мало того, что она без железной дороги тянулась до нас неделями, ее еще провозили мимо лагпунктов на Воркуту для проверки, а затем шло распределение по командировкам. Первая посылка, посланная мне мамой, проехала на лошадях мимо меня шесть раз, пока не превратилась в труху. Мы ведь командировка незаконная, планом не предусмотренная. Тогда Должиков, чтобы как-то одеть, обуть и накормить заключенных, за жизнь которых он так или иначе отвечал, отчаявшись в доброй воле начальства Воркуты и потеряв надежду на то, что медлительная бюрократическая лагерная машина, наконец, зачислит нас в списки живого поголовья, отваживается на такой шаг: он берет с собой двух вооруженных вохровцев, спускается ночью на реку, отходит немного от Сивой Маски, чтобы заключенные не могли наблюдать за действиями, останавливает силой оружия и властью начальника обозы и заворачивает их на Сивую Маску. Лишь тогда он будит одну-две бригады, быстро разгружает добро, частично или наполовину, и пускает обозы дальше по назначению. Именно таким образом в начале санного пути мы были кое-как накормлены и одеты после длительной осенней голодухи.

Когда Должиков через год был расстрелян, и имя его значилось в одном из первых зачитываемых в бараках списках, то в сопровождающих списки слухах о нем, всякий раз добавляли, что важнейшим обвинением против него было «ограбление» обозов под Сивой Маской. Не знаю, так ли это, ведь в преобладающем числе случаев для расстрела никакой формулировки не нужно было, кроме всеобъемлющей формулы «враг народа».

Как только мужчины ушли в недостроенные землянки, женщин переселили в тот самый барак, из которого в клубах горячего пара, как из бани, выскакивали урки при нашем вступлении, а затем клокотал и захлебывался, болел и голодал мужской состав нашего этапа. Такой грязи, какую мы там застали, нельзя ни описать, ни вообразить. Полная темень. Два маленьких окошечка заткнуты трухлявым мохом. Освещается барак огнем из топки печки. Застоявшаяся вонь от табака и нечистых тел. Заплеванный и загаженный земляной пол. Железная печурка. Двухъярусные нары, черные как деготь, вместо шпаклевки густо набитые насекомыми, особенно клопами. Со вшами мы справились быстро, с клопами

ничего не могли поделывать. Никакая чистка этому помещению уже помочь не могла, его надо было срочно сжечь как рассадник заразы. Мы прожили в нем всю зиму. Средств против насекомых не имелось, кроме кипятка, а он не помогал. Стоило присесть или прилечь на нары, как снизу жгли, а сверху дождем, градом сыпались клопы. Зимой мы дважды вымораживали барак, но результаты были минимальные. Ни мела, ни извести тоже не нашлось. Девять женщин скребли и мыли, конопатили и драили без большой пользы. Перестелить нары не удалось за неимением досок и гвоздей. Переменить жерди не было сил, да ведь и спать на голых сырых жердях не сахар. Матрацев не имелось, как и сена.

Значительно позже, когда привезли продукты, мы набивали мешки или рогожу стружками. То была привилегия женщин. Уборных, конечно, не было — лес рядом, к чему еще уборные? А зимой и лес не нужен: замерзало и ладно, а сколько — обойди. Что за нежность! Для женщин товарищи в двухстах-трехстах метрах от лагпункта сделали шалаш из елок, «хитрый домик», и, борясь за элементарные примитивные нормы быта, мы, женщины, бегали в любой мороз, даже в 40-50 градусов днем и ночью в наш шалаш. Мужчины же на это смотрели иначе, и вскоре их землянки обросли отвратительной желтой наледью и бордюром из экскрементов. Ни врача, ни фельдшера, ни санитаря, ни медпункта. Я по совместительству с общими работами стала выполнять функции медработника, сколько умела. В юности работала медсестрой и инструктором в санчасти 12-й Красной армии, знала латынь, вот и все. Так или иначе медработник был необходим, без этого нельзя было открыть и значит выстроить медпункт хотя бы на одну койку и получить медикаменты и лекарства из санчасти Воркуты.

Больных было очень много. Вернее, почти все. Завшивленность огромная, баня, кухня и прачечная не то что в антисанитарном состоянии, а совершенно не соответствовали ни названию, ни назначению. Основной причиной болезней являлся голод. Полтора месяца после изнурительного этапа и тюрем питались жидкой крупяной кашей без жира, гнилой замерзшей брюквой, изредка такой же картошкой и кусочком трески; бывали дни, когда кроме горячей воды и кусочка соленой трески, мы ничего не получали. В течение зимы в основном прибавился хлеб, ячневая крупа, треска, немного постного масла и по 150 граммов сахара на брата в месяц. Мяса почти не было, но, правда, ловили куропаток, первое время их было множество. Многие были на краю, но... выжили почти все. Это можно объяснить тем, что мы жили в лесу, мужчины постоянно работали на наружных работах и были молоды. Однако было бы непростительно

легкомысленно и неверно умолчать о том, какой разрушительный след оставляет такая голодовка и в каком тяжком состоянии находились некоторые товарищи. Может быть, нам довелось получить дозу голода несколько более обычной, но голод в лагерях явление постоянное, входящее составной частью в систему лагерного режима, особенно для политических заключенных, хотя они несут на себе всю основную тяжесть лагерных работ. Режим уголовников несколько иной. В лагерях урки — голубая кровь, белая кость. Они — опора лагерного начальства, «друзья народа». Мы — враги народа, и этим все сказано. Занимают основные «блатные» должности, за исключением тех случаев, когда необходимы грамотность или образование. Они — возчики на транспорте. Считают правилом воровство всех видов, и начальство на это смотрит сквозь пальцы. Позволяют себе не работать или работать с прохладцей, им разрешен свободный выход за зону по любому поводу. Они получают объедки с барского стола администрации за всевозможные виды холуйства. «Блат, мат и туфта» символы их лагерного поведения.

К политическим они относятся по меньшей мере свысока, как привилегированная каста к плебсу. «Тракцисты-мантульщики! (что означает — работяги) — бросают они с презрением и ненавистью, — работайте, работайте, на гроб не заработаете!». Опора они, конечно, противоестественная, опора в кавычках, ибо постоянно отлынивают от работ, скандалят, нарушают режим, заполняют изоляторы. Воры ведают каптерками, проститутки рожают детей, зачастую сифилитиков, рецидивисты превращаются в парикмахеров и орудуют бритвой, брея физиономии начальства, и т. д. Я говорю о целой категории людей и их правовом положении, а не об отдельных людях. Человека же можно встретить повсюду, как и глубокое моральное падение, временное или постоянное, среди политических.

Наряду с потерей себя, опустошенностью, к которым некоторых приводит арест, огромную роль в падении играет голод, чаще — среди мужчин. От этого никак нельзя отмахнуться. Если об этом умалчивают, значит человек получает систематическую помощь из дому, либо ходит в «придурках», или он лжет, а может быть, просто забыл то грызущее чувство, которое сначала высасывает внутренности, а затем подбигается к сознанию и овладевает им. Чувство голода, если оно не разрушило организм, забывается очень быстро, как забывает женщина родовые муки, как перестает кричать ребенок, как только мать накормит его грудью. Голод забылся как только исчез, а вот глаза мужчин, одновременно пустые и тоскующие, вялая, расслабленная походка, опущенные, понурые фигуры, втянутые животы, оживление при

выдаче пищи, жадные дрожащие руки,— все это, что должно было нас принизить и уязвить — незабываемо. В женских бараках постоянно заводились разговоры о еде, о всевозможных блюдах. Тема смаковалась до тошноты, не снималась с повестки, переползая с нар на нары, как перебегает невидимое пламя в степи, подгоняемое ветром. Люди интеллектуальные старались избегать и изгонять эти темы, но в бараках на сто человек они оставались дежурными всегда. Женщины болели относительно меньше, но весна косила всех подряд.

Полуголодное существование — момент политического насилия и, в то же время, экономическая нелепость, так как многие стройки в рядах районов страны — на Колыме и в Норильске, в Караганде и Воркуте — держались на рабочей силе заключенных, которая варварски расхищалась. Голод нужен был как наказание и для того, чтобы задушить протест против чудовищной и жестокой бессмыслицы происходящего на наших глазах. Многие готовы были разбиться в лепешку на работе для перевыполнения нормы. Встречала людей, которые быстро сдавали и которых спасти могли только хлеб, минимум сытости и ничто другое.

Вот один из примеров силы голода в неприкрашенном виде. Живем уже в Кочмесе (беру этот случай не потому, что не могу их привести из жизни Сивой Маски, а потому, что Кочмес, так сказать «плановая командировка», снабжающаяся по обычным лагерным нормам). Кочмес на местном диалекте означает «земной рай». Корчем лес. Работаем в строительной женской бригаде. С нами работают и мужчины. Обратил на себя внимание человек, идущий пьяной походкой и обросший седой щетиной, как зверь. Он постоянно еле плетется в хвосте. По утрам неизменно 300 грамм хлеба, пайка штрафника. Значит, нормы не выполняет и может лежать с таким же успехом на нарах (звали его. Филипп Андреевич, фамилия забылась, теперь уж его нет в живых). Затем он перестал выходить на развод, не появлялся и в столовке. Расспрашиваю у мужчин о нем. «А, доходягя, почти мертвец, туда ему и дорога. Гнали его в медпункт — не идет. От него барак вшивеет, надоед беспомощностью и грязью». И отмахиваются. Несколько раз мысль возвращалась к нему и исчезала. В мужские бараки ходить воспрещено, да и появляется особая привычка отречения от неприглядных восприятий, дурного сорта нравственный иммунитет, но в то же время и спасительный. Так прошло несколько дней. Женскую бригаду перекидывают по разнарядке на чистку и побелку мужских бараков. То ли вши заели, то ли ждут комиссию. Часть мужчин выехала по реке на лесосплав, часть перевели в другое помещение, барак освободили. Мужчин в Кочмесе

мало, их ценят больше, чем женщин. Грязь, конечно, но барак не из самых худших.

Мы начали разбирать вагонки, снимать и выбрасывать доски. Договорились с нарядчиком, чтобы разрешил вскипятить котел, в котором распариваем финскую стружку, для ошпаривания досок вагонок. Остались столбы. Пусто. Видим, сидит под нарами обезьяноподобный человек. Скорчился. Оброс. Просто страшный. Глаза голодные, алчные, не голубые, а белесые. Вылинявшая гимнастерка, летние брюки, из них торчат иссохшие грязные конечности. Молчит. Я узнала его. Бригада женщин-строителей выгоняла на сверхтяжелых работах по килограмму хлеба в день и считалась своего рода аристократами, таким образом, мы имели возможность подкормить умирающего от голода. Попробовали поднять — противится: «Я весь вшивый, не трогайте, есть, есть, дайте, никто обеда не принесет, а я...». Завыл утробно, но тоненько, и растянулся на полу. Пошли в стационар. Взять не могут, полно и в коридорах. Перетасили в другой барак, начали подкармливать, обтирали, помыли. Позвали парикмахершу, знаменитую Галю, конечно, урку. Она же певица и балерина. Прилетела, сделала реверанс, обещала превратить в «красавчика», потом плюнула на гаерство и по-женски заботливо и умело привела больного в человеческий вид. Он стонал, плакал, лепетал: «Чудо...» Не скоро, очень не скоро стал приходить в себя.

Кто же он? Сибиряк. Некогда левый эсер. В 1918 году, после убийства Мирбаха в Москве, был ненадолго арестован советской властью. Вскоре стал большевиком, крупным работником. Взят в Новосибирске. До ареста в 1937 г. был директором Новосибирского банка и членом обкома. По образованию экономист и юрист, но это еще ничего не говорит, — он оказался блестящим знатоком Маркса и Ленина, Энгельса и Меринга, Плеханова и Люксембург, народнической литературы, поэзии. Мы открыли в нем кладезь премудрости. Наша строительная четверка с ним сдружилась. Когда он совсем пришел в себя и по привычке к нам, он представлял нам немало удовольствия то чтением на память целиком «Песни о Гайвате», то рассказов Чехова. Как-то Фрида Фаянс достала томик Тургенева со стихами в прозе и дала его почитать Филиппу Андреевичу. Книги были редкостью, а наш подшефный уверял, что с воли это первая книга в его руках. Через несколько дней, когда мы рыли котлован, а он отгружал и отвозил землю, в перерыве, желая отблагодарить нас, читал на память стихи в прозе Тургенева. Личное хранил в тайнике, и оставалось загадкой, почему такой человек так катастрофически сдал. Вопрос этот занимал меня, и я решила наконец задать его.

— Сам не знаю, как дошел до жизни такой, до полнейшего безразличия к себе. Видимо, сделан не из того теста, которое лепит твердокаменных. Я даже не презираю себя. Возможно, ошеломляющим ударом был арест жены. Одна из женщин осеннего этапа рассказала, что сидела с ней в Мариинских лагерях без права переписки. Все человеческое начало во мне гибнуть и отмирать. Шел навстречу голоду без сопротивления, до некоторой степени, добровольно. Но умирать от голода крайне трудно, такого искуса я не выдержал. Кажется, могу возродиться лишь после встречи с женой.

Но незаметно для себя он уже возрождался. Зимой его увезли на Еджыд Кырту. И человек, и жизнь его терялись для нас с этапами. Увезен, связь оборвана. Следы памяти, заносимые северной снежной поземкой...

Но возвратимся на Сивую Маску. В течение зимы почти постоянно большая группа мужчин, состав которой был текучим, находилась в состоянии, близком к смерти вследствие голода, антисанитарных условий и отсутствия медицинской помощи. Большинство выжило, так как появились геологические партии для изыскания и проведения железной дороги на Воркуту. Потребовалась рабочая сила, и многие попали в лучшие условия.

Люди приходили в негодность не в силу своих никчемных качеств, а в силу условий, в которые были поставлены. Так, чуть не погиб один из самых молодых среди нас, студент техникума Володя Гречухин, ныне доктор наук, геофизик. На этапе он держался скромно и неуверенно. Молоденький, худенький, застенчивый и очень грустный, с ярко выраженным псковским выговором. Деревенский паренек. Навалилась на него с арестом страшная тяжесть и тысячи вопросов без ответа. Силы подкошены, а тут голод, одиночество, грязь, безнадежность. Он болел тяжело и быстро шел под уклон. На выздоровление почти не было надежд. Так как Володя был одним из самых тяжелых больных, то он и попал в подобие изолятора, на единственную койку, которую к тому времени решил организовать Должиков в специально для этого вырытой землянке. Я же решила на выполнение функций медроботника по совместительству с общими работами — стихийно, по безвыходности положения. Я не имела ни прав, ни образования, но хоть что-то умела. Нужен был человек по уходу за больными, наблюдению за санитарным минимумом, для выписки лекарств с Воркуты, приготовлению порошков и т. д. Пришлось делать и большее. Нашлись и

помощники и, прежде всех, Дора. Посменно дежурили ночью около тяжелобольных.

С Володей дело обстояло до того плохо, что его сосед по нарам (имени не помню) получил разрешение от начальника в выходной день заготовить для него гроб. Но все как могли дрались за жизнь юноши, и, в конце концов, он выжил. Выжил, и через месяца два ушел работать в геологоразведку.

Через много лет, примерно лет через 25, в Ленинграде по телефону услышала незнакомый взволнованный голос: «Говорит Володя Гречухин. Не забыли? Не должны забыть, я был почти покойник, а вы единственная медицинская скорая помощь на Сивой. Искал вас повсюду, как только получил такую возможность, и совершенно случайно оказался в квартире вашего сына. Просто удивительно, одно из многих чудес в моей жизни. Не могу сейчас к вам заехать, сегодня уезжаю на Воркуту. Напишу, приеду». Он писал, потом приехал, недавно была у него в Москве, теперь мы добрые знакомые. Гречухин настоящий самородок по уму, самостоятельности взглядов и по тому, как всего добивался.

Приведу выдержки из писем, где он кратко изложил свою биографию. «Взяли меня двадцати одного года отроду со скамьи техникума. Год на Сивой Маске вам известен... Затем в геологоразведке. Люди разные, немало людей большой стойкости в испытаниях. Возвращенный к жизни решил и для себя — не сдамся! Годы 1936—1938 всему научили. Остался жив опять. Работая в тундре и тайге, прошел на практике все ступени геологоразведывательных работ сначала как зека, а потом как вольнонаемный. А знаний не хватает. Сделал вывод: останусь здесь, надо учиться... Заочно кончил геофизический факультет университета, продолжая работать. Одной из первых моих самостоятельных работ был проект совхоза Сивая Маска. Он построен по моим координатам вдоль большого ручья, который вам хорошо известен. Поступил в заочную аспирантуру и закончил ее. Стал начальником геофизической разведки. Все в Воркуте. Дни и ночи в заполярной тундре, по брюхо в воде, а потом на вездеходах, на вертолетах, всяко. Техника шла за нами, а затем начала нас крепко подгонять. Вы там ничего не узнаете. За три десятилетия, что мы не виделись, сказка стала былью. Увидимся, расскажу. Работая, защитил по воркутинским материалам кандидатскую диссертацию. Но мне как руководителю не хватало знания экономики. Снова заочно поступил в университет, на этот раз на экономический факультет и закончил его... В работу ушел с головой, она все поглотила, вытеснила тяжесть юности, хотя обо всем помню и думаю. Год тому назад защитил докторскую диссертацию. За все время ни разу не пользовался отпуском. Стало сда-

вать сердце. Страдаю гипотонией. Временно, надеюсь, временно, медики не разрешают работать в условиях экспедиций. Прошел по конкурсу в Ленинградский горный институт. Читаю геофизику в воркутинском филиале, но по здоровью придется уехать отсюда, скорее в Москву, чем в Ленинград. Отяжелел за последние годы, даже обрюзг. А может быть, со здоровьем станет лучше, вернусь в воркутинские края, здесь бюрократизма меньше, легче проявить инициативу, провести все в жизнь. Приезжайте со всей семьей к нам в гости на Воркуту, будем на вездеходе ездить на озеро, рыбачить...»

Это не биография, а лишь вехи биографии, но радостно узнавать о таких судьбах. Радостно и то, что когда встречаешься с Владимиром Васильевичем, то перед тобой не узкий специалист, а человек большого размаха мысли и интересов к общественным вопросам, людям, литературе, науке. Радостно и то, что у него имеется свой критерий оценок явлений жизни. Он автор многих книг по своей специальности. Одна из них «Геофизические методы исследования угольных скважин» была выдвинута на соискание Ленинской премии. Живет он в Москве, руководит крупной исследовательской лабораторией. Безусловно, человеческое окружение, в какое попал Гречухин в юности, сыграло роль в его росте. Это, однако, не должно означать, что нет менее смертоносных течений, в которые можно попасть, чтобы выплыть без риска для жизни. А сколько людей, таланты которых уже выявились, погибли...

Женщин на общем пайке на Сивой Маске осталось до пополнения всего четверо, так как Чертенко присосалась к ВОХРу, Котиш ушла поварихой к уркам, сестры Бардины и Иванова переселились в землянки начальников для их всестороннего обслуживания, что в такой откровенно-бесстыдной форме возможно было в условиях полной изоляции нашей командировки.

Так как экономическая необходимость освоения севера и процесс политических репрессий не имели и не могли иметь между собой органической связи, то использование рабочих силы на северных стройках носило чудовищный характер с точки зрения простой хозяйственной разумности или порядка. Кривая арестов росла в геометрической прогрессии, тогда как потребность в рабсиле, даже бесплатной, нарастала в лучшем случае в арифметической прогрессии. К приему рабочих не имелось никаких предпосылок, а во многих случаях не было и потребности. И потому строительство такого рода ничего общего с задачами социалистического строительства иметь не могло. Оно было насквозь нецелесообразно. Только значительно позднее экономические

потребности начали подгонять под поток политического террора. В конце концов вырастали города, шахты, железные дороги, разрабатывались недра, строились электростанции, но какой ценой? Ценой беспощадного истребления конденсата творческих революционных сил, ценой низведения квалифицированных людей, мозга страны в никому не нужную рабсилу, путем варварского истощения основного капитала и двигателя — человека.

В условиях, в которых мы работали, рабочая сила не восстанавливалась, а только поглощалась, даже если не говорить об истреблении людского состава в его чистом виде. Вся постановка работ на стройкомбинатах была хищнической по эксплуатации рабочей силы. Некоторые из этих строек были нерентабельны и по иным соображениям, а некоторые, поглотив несметные суммы и жизни, вообще стирались с карты, закрывались, консервировались. Но многие завершались. Помню, с каким недоумением и негодованием прочла в газете о том, что *«трудолюбивый народ коми проложил в трудных условиях железную дорогу на Воркуту и тем самым внес серьезный вклад в дело обороны»*, а ведь процент труда «народа коми» в этой стройке минимальный, и построили ее лагерники. Лишение свободы и произвол логически несовместимы с понятиями: социалистическое строительство, соцсоревнование и пр. И раньше случались явления, которые никак не сочетались с представлениями о построении социализма, не втискивались в голову, не укладывались ни в формулы, ни в законы классовой борьбы, но мы находили убедительные доводы для оправдания основной линии движения. Сейчас все встало в голове дыбом, ибо было своей несостоятельностью...

Мы с Дорой на Сивой работали прачками и швеями. Когда белье наконец появилось, то количество это было крайне ограниченным. В прачечной не было баков для кипячения белья, а потому вшивость оставалась неизживаемой бедой. Мы боролись с ней утюгами, под которыми мужское белье в швах потрескивало как пламя разгорающегося костра. Трещали живые гниды после нашей стирки. Шили из грубых мешков из-под крупы и муки, а также из рогожи мужские брюки. Ни выкроек, ни машинки не было. Шить мы не умели и потому легко представить, как мы обогревали и украшали рабочих результатами своего труда. Шили из активированных бушлатов, штанов и телогреек шапки, рукавицы и ватные лапти взамен отсутствующих валенок.

Почта зимой была санная, а потому и тащилась тысячи километров на перекладных, а мы еще дополнительно страдали от «неплановости». Писем мы все не получали и не могли отправить в течение нескольких месяцев, пока нас

не легализовали как законный лагпункт. На нашу переписку с родными ограничений пока не накладывалось. Взятые позднее, в 1937 году, лишались переписки на два года. После войны все лица нашей категории имели право писать только 2 раза в год. Что касается переписки с остальными гражданами (не близкими родственниками), то здесь действовал неписаный закон политического барьера, за который ни мы, ни люди с воли переступить не решались, за редчайшим исключением. Получать газеты было запрещено, как и книги. Радио не было, как и книг. Мы жили совершенно обособленно и оторванно, не общаясь с внешним миром.

Зимой мимо Сивой Маски начали перегонять пешие этапы заключенных. Шли кровавые годы — 1937 и 1938, когда на Воркуту, на знаменитый страшной памятью Кирпичный завод сгоняли людей для массовых расстрелов. В эти годы в тюрьмах на стенах писали: *«История не знала более кровавого года, чем 1937»* или *«Ложь, что весна приносит радость, весна 1938 года несет смерть»*... В эти годы люди подвергались в тюрьмах зверским пыткам. Но в энциклопедическом словаре издания 1951 года читаем равнодушно-стереотипные строки о том самом Кирпичном — страшной тюрьме смертников: *«на Воркуте построены угольные шахты и большой кирпичный завод для строительства зданий»*. Никогда не забуду эти цепочки людей в темных бушлатах, идущих со всех концов страны сквозь пургу и стужу сбивающейся походкой по узкой тропке. Пурга, ветер. Снег под ногами и в воздухе. С морозом и жгучим ветром он забивается в ботинки, под рукава и за шею, слепит глаза, обжигает лицо. Спереди и сзади конвоиры, по бокам собаки. Бредут загнанные, оклеветанные, такие же, как мы, те же «кртд», те же «враги народа». У большинства обморожены щеки, носы, подбородки, пальцы рук и ног. Чаше их прогоняли мимо нас, иногда же конвою становилось невтерпёж, конвоиры останавливали этап, чтобы обогреться, и цепочка фигурок «зека» тоже поднималась вверх, забегала в бараки и землянки. Мужчины почти все в лесу на работе, на заготовке крепежника, за несколько километров, а женщины на месте. Едва успевали напоить кипятком, сунуть что-нибудь поесть, смазать лицо и руки вазелином из скудной аптечки, перекинуться словом, беспорядочными вопросами о воле, о близких. Порой встречались родные, друзья, знакомые. Дважды узнавали о муже. Некоторые из этапников прошли пешком 1000—2000 км из Чибью или из Нарьян-Мара. Таким образом, мы хоть что-то узнавали о лагерной жизни за пределами Сивой Маски.

Давно это было, но и теперь закрою глаза и вижу черную движущуюся полосу сжавшихся фигур, быстро теряющуюся

в океане снегов. И саднящая, непроходящая боль режет сердце. Сколько людских цепочек прошло мимо Сивой, чтобы никогда не вернуться...

Командировка наша была превращена в заготовительный пункт крепежника для воркутинских шахт. Снег выпал сразу после нашего приезда и укутал, вернее, утопил Сивую Маску до июня месяца.

Крепежник заготавлился в лесу, расстояние от лагпункта становилось дальше с каждым днем. Для этого предварительно вножную вытаптывается дорога на вырубленных просеках. Вывозился он тоже людьми на изготовленных тут же санях, на «вريدло» (временно исполняющих должность лошади), как говорят в лагерях. Были, конечно, присланы нормы заготовок (повал, распиловка, обрубка веток, окоривание и пр.). Прокладка дорог в нормах не учитывалась. Труднее всего оказалась вывозка, так как заготовки приходили в разных участках леса, а построить снежные дороги не позволяло время и нормы. Работа тяжелая, изнурительная из-за скудного питания, жестоких морозов, снега в полтора-два метра и отсутствия дорог. За невыработку нормы паек хлеба урезывался до 300 грамм в сутки.

Должиков осуществлял свою власть над нами со сдержанным равнодушием, как нечто неизбежное, стремился к порядку, к созданию минимума сносных условий для нашего существования, а иногда бывал просто человечен. Зато его помощник Красный был мерзейшим типом — вне категорий всякой морали. Он упивался властью, издевался над заключенными как мог и делал все, от него зависящее, чтобы как можно больше измотать нас. К разводу он выходил почему-то в военной шинели, с кнутом, выстраивал всех в темноте, отсчитывал пары и тройки и не своим голосом без тени иронии орал: «Командовать парадом буду я!» Затем он переключал внимание на самых слабых и начинал над ними куражиться. Излюбленный объект его издевательств — слабосилка, которая не освобождалась от тяжелых работ, так как иных не было. Вот Красный подходит к профессору Ральцевичу и члену Коминтерна от польской Компартии Попову-Ленскому, которые впряжены в тяжелые сани... Прекрасно помню, как осенью 1934 года, зайдя в библиотеку Дискуссионного клуба на Мойку, 59, прочла объявление: «Ральцевич Василий Никифорович прочтет лекцию для партактива. Тема: «Классовые, гносеологические корни контрреволюционного троцкизма, левого и правого оппортунизма». В лагере он «вريدло» по статье «контрреволюционная троцкистская деятельность».

— Что,— спрашивает Красный,— нормочка будет вчерашней?— Те молчат.— Язык примерз к гортани! Сейчас разо-

гreetесь. Шагом марш!— Попов-Ленский и Ральцевич сгибаются, напрягают силы и медленно двигаются по направлению к лесу. Сил мало.

— Ах так,— кричит Красный,— эх вы, кони мои вороные! Бегом! Бегом!— Вертя и свистя над их головами кнутом, Красный нападает на них. Он выхватывает из рядов еще не отъехавших молодого поэта и журналиста Супруненко и приказывает ему толкать сани сзади, напирая на слабых товарищей.

К вечеру Ральцевич возвращался в состоянии изнеможения. У нас в бараке особое покровительство оказывает ему Усвятцева на почве идейной общности — оба считают своими злейшими врагами тех, кто позволил себе когда-либо в чем-нибудь усомниться, оба считали, что в лагере, за небольшим исключением, сидят прямые или косвенные убийцы Кирова, оба психологически приучили себя к идейному приспособленчеству и к сделкам с совестью, оба отстаивали чистоту генеральной линии, были бдительны и следили за всеми отступлениями от их догматического мышления. Оба поэтому были с трудом выносимы в условиях лагерного общежития. При сходстве взглядов они резко отличались в быту. Юдифь энергичная, практичная и по-женски умелая, Ральцевич беспомощен, неприспособлен, жалок.

На Сивой Маске не имелось вышек и строгой зоны, а только приказ не выходить за пределы командировки после работы. Мужчины полулегально могли заходить в женский барак. Мы находились на глазах у начальников и ВОХРа — территория командировки с пятачок, в глухой лесотундре.

Ральцевич нашептывает Юдифи — мы невольно слышим их беседу:

— Наконец нашел верные слова для заявления, которое вам вчера читал, сумел убедительно нащупать внутреннюю закономерность процесса среди кажущихся случайностей...

— Об этом после, здесь нас слышат,— говорит Юдифь конспиративным полупшепотом, выразительно глядя в нашу сторону.

— Извратить подлинное мое отношение к действительности никому не дано,— отвечает Ральцевич,— и тоже укоризненно смотрит в нашу сторону. Многозначительный их разговор раздражает, но терпим — жалко этого скомканного человека с его фарисейской мудростью, отца шести маленьких детей, оставшихся на воле. К нему не вернусь, но добавлю о детях: старший сын после всех передрыг неизлечимо заболел психически.

— Вы что-нибудь кушали?— спрашивает Юдифь уже деловито. Ральцевич вынимает из-под бушлата полуживую куропатку и медленно начинает крутить голову куропатки

вокруг ее шейки. Отвратительное зрелище, отворачиваешься, потом невольно притягиваешься взглядом к его бессильным рукам и бьющейся в них куропатке. Юдифь вырывает ее из рук Ральцевича, накидывает телогрейку, выходит и через 15 минут возвращается с общипанной птицей. А он все сидит понурый, чужой, бушлат на нем обвис, руки повисли как неживые, он дремлет.

— Идите к себе,— говорит Юдифь,— я передам вам суп, когда он сварится...

Не думаю описывать день за днем урезанную изуродованную жизнь, которая не окрылит тех, до кого когда-нибудь дойдут эти строки. Зачем же писать о том, что запрятано в глубоких нишах сознания? Затем, что необходимо говорить с живыми, чтобы рассказать правду и показать, что творимое не было неизбежно, что многое можно было, а значит и нужно в будущем предотвратить, если мы не в теории, но на практике не будем сторонниками непротивления злу, если мы не дадим общественному фатализму овладеть нами.

Воспоминания!? Но как определить, где кончается прошлое и начинается настоящее и будущее? Разве наша память не является одновременно средством познания? Прислушаемся к рассуждениям Норберта Винера о линии движения самолета по кривой: «Для предугадания будущего положения кривой необходимо предварительно выполнить некоторые операции над ее прошлым». Не говоря уже об исторической науке в целом. Главное благотворное свойство памяти не только в способности сохранять события или чувства, но в том, чтобы результаты прошлых действий использовать в будущем. Позвольте, скажут мне, что за субъективистский идеалистический подход к событиям, ведь дело не в людях, а в общественных условиях, которые ими управляют. Зачем ставить давно решенные вопросы о свободе и необходимости, об общественных условиях и общественном сознании? В том-то и суть, что допускаются чудовищные выводы из верных посылок. Слепое подчинение и пассивность путем сделки с совестью объясняют обязанностью перед партией и советской властью. Ложь и предательство допускаются и мотивируются железной дисциплиной и международным положением. Молчат, прикидываясь неосведомленными, тогда как прекрасно знают, что творилось ночью у соседа, и своими глазами видят пустые места на заводах, в учреждениях и в институтах. Мнимая неосведомленность и пресловутая историческая необходимость не снимают ни с кого ответственности за то, что происходит в обществе. А между тем под их прикрытием складывается та общественная пассивность, в которой беспрепятственно развиваются бациллы подлости и незуитства. Из непрекрасного далека кое-что вырисовалось

выпукло, с болью узнано и осознано. Жизнь людей, отдавших годы расцвета лагерям и не вернувшихся оттуда, не может быть вычеркнута, хотя они и были отведены Историей с переднего края. История не терпит провалов. Пусть живые свидетели скажут о мертвых,— те никогда уже не заговорят. Увы, память весьма несовершенна, а от тех лет не сохранилось следов даже в виде писем.

В феврале 1937 г., т. е. через семь месяцев после отъезда, пришло первое письмо от мамы, а в апреле — от мужа из лагеря. В дни почты нет одиночества. Подальше бы уйти, никого бы не видеть, чтобы побыть с близкими. Жалость и любовь, наверно, впервые чувствуешь так остро, так всепоглощающе от собственного бессилия. Мама писала подробно о детях, скупое о себе, старалась приободрить и намеками дать знать, что мы любимы и не забыты не только ею, но и друзьями. Вот что писал Ленечка, и мама не вносила никаких коррективов в его текст:

«Дорогая мамочка! Мы живем хорошо. Я перешел в школу на ул. Красных Зорь, теперь проспект Кирова. Учусь тоже хорошо. Живем в большой комнате с бабушкой. За Валею я слежу, не позволяю ей шалить и драться с Витей. Играю в шахматы. Бабушка с нами возится и все делает. Как плохо жить без мамы. Вот, например, расскажу про собачку. Я принес маленькую собачонку, такой хорошенькой никогда не видел. Принес ее со двора, ее выбросили Захаровы. Я ее взял, напоил, укутал и поселил в кладовке возле кухни. Бабушка не позволила оставить собачку у нас жить, а только до утра. Весь вечер я тихонько проплакал, а Валька стала выть. Я ее чуть не поколотил. Целую. Ленья».

Он и не подумал, как ранило меня его письмо. Письма Коли всегда бодрые, полные надежд, в них ни грана пессимизма. Он уверял, что будут и возвращение и встреча. Об условиях своей жизни — ничего. Писал, что узнал о моем аресте через восемь месяцев от Наташи, сестры Федора, и не столько огорчился, сколько обрадовался, что нашел меня, что я жива. (Вся переписка, с фантастическими трудностями сохраненная до 1950 г., переправленная домой, пережившая блокаду, возвращенная Валуше после второго ареста, бездумно и безжалостно сожжена одной молодой женщиной. Мы были ей чужими, она легко посчитала нас несуществующими. Аналогичный случай описал Борис Лавренев в повести «Седьмой спутник»).

Зимой 1937 года, 6 января проходила всеобщая перепись населения. Переписывали и население лагерей не по формулярам, а как положено, лично. Но так как заключенных, упаси бог, нельзя оставить наедине с переписчиком, то их сопровождал конвой, и водили на перепись нас под конвоем.

На Сивой перепись проводили двое мужчин-ненцев, плохо говоривших по-русски, и молодая учительница из Сыктывкара. Они заночевали у Должикова, а Зоя Иванова, таким образом, оказалась в бараке. Она пыталась заговаривать с нами, мы молчали. Я же, воспользовавшись положением медработника, ушла на медпункт. Часов в 11 вечера постучали в дверь медпункта. Вошла учительница с конвоиром. Сославшись на то, что ей надо раздеться, она попросила вохровца уйти. Выла пурга, голоса трудно за дверью различить, мы разговорились против правил. Она училась в вятском педучилище и третий год работала. Девушка сильно кашляла и попросила ее выслушать. Ответила, что я не медик, а преподавала в пединституте.

— Все равно разденусь, поставьте мне банки, чтобы остаться подольше, мужики пьют и курят. Противно!

Девчонка по-северному смелая, решительная. Не всякая решилась бы поехать с четырьмя мужчинами в лагерь, в глушь, в пургу. По-русски говорит чисто, но с обязательным цокающим специфическим ненецким акцентом. Лицо тоже запомнилось — беленькая, с глазами черно-круглыми бусинками, брови раскосые, а не темные, на круглом лице не приплюснутый, а острый носик, типичная метиска. Она легла, я поставила банки. Разговор продолжался.

— Не знаю, с кем посоветоваться,— начала она,— спросить у спутников — подумают глупа, при них и с начальником поговорить не удастся. Я очутилась в дурацком положении. За сведения как-никак отвечаю, а ни у кого ни паспортов, ни документов и все — заключенные. Может, все врут и надо мной посмеиваются.

— Что же вас смущает?

— Посудите сами, получается несуразная картина, на правду не похоже: заполнила 218 карточек. (К тому времени Сивая Маска несколько пополнилась людьми.) — В большинстве карточек такие сведения — в графе образование «высшее», а в графе профессия «лесоруб», «прачка». Кто поверит?

— В таком случае, почему вы обращаетесь ко мне, я такая же заключенная, как все?

— Да просто так пришлось. Вы меня не понимаете, ведь в моей республике считанное число людей с высшим образованием, вот и не знаю, как быть. Не ожидала, что пришлют сюда, сказали в отдаленный район, комсомолка, ну и поехала. Никакого инструктажа... Сама слышала выступление секретаря Коми обкома ВКП(б) (помнится, она назвала фамилию Семичева) о том, что у нас в вузах области учится 500 человек, в столице страны еще 400 человек, а здесь, на речушке, которой и на карте не заметишь, полторы сотни

людей с высшим. Все 14 пунктов опросного листа выглядят неправдоподобно.

Я оставалась сдержанной, ведь мы прошупывали и побаивались друг друга, хотя девчушка внушала доверие искренним непониманием увиденного.

— Мне кажется, что я во сне. Надо помалкивать, а я не удержусь, поделюсь впечатлениями, и мне путешествие даром не пройдет,— точно прочла запрещенную книгу. Книга интересная, но непонятная... Спасибо за банки.

— В сведениях по пунктам анкеты не сомневайтесь,— заметила я,— кто бы из заключенных отважился их перевернуть, их можно немедленно проверить, да и с какой целью?

Раздался стук, она выскочила, приложив палец к губам в знак абсолютного молчания. Уехали они рано. Где она? Помнит ли свою поездку в Сивую Маску, в иной, случайно приоткрывшийся ей мир? Как разрешились ее сомнения? Захотела ли их решать, или раз навсегда приложила палец к губам?

Как-то поздно вечером, когда мы сидели в бараке при свете благословенной копилки-фитилька из ваты в блюде с оливковым маслом, присланным в посылке Доре ее мужем незадолго до его ареста, в барак вошел Должиков и тоном приказа назвал фамилии Уструговой и мою: «Наряд на ночь, одевайтесь теплее, на наружные работы». Мы оделись и вышли. Светила луна. Мороз градусов 30. Безветренно. Все в лунном свете блестит, как в сказке в ночь под Рождество. Дышится легко, хочется вдыхать воздух глубже и глубже после смрадного, тесного, черного клопяного барака, где за зиму ни одного печатного слова — в бесконечно длинные полярные ночи. Тоска в бараке! Ночным сторожем работал Борис Донде, который ночевал, как Диоген в бочке а по утрам будил нас неизменно шутками, на что его всегда хватало: «Мадемуазели! Кофе подан, подъем!» или «Куропатки в сборе, подъем!» Речь шла о нашем «хитром домике», превратившемся в снеговую пещеру, на которой ночевали десятки и даже сотни куропаток. Когда мы по утрам торопливо шмыгали в лес, куропатки белой пенной стаей вспархивали и уносились прочь. Борис наблюдал наш бег и их полет каждый день. Сейчас он вышел из своего убежища, удивленно нас оглядел и, не обращая внимания на Должикова, как обычно, шутя, сказал: «В случае опасности, дайте выстрел, и я тут как тут!» Но дело обернулось сверхнеожиданно. Мы шли за Должиковым совершенно не понимая, куда и зачем он нас ведет, по привычке заключенных ни о чем не спрашивая. Он зашел за сарай, указал нам на две пары широких северных подбитых камусом лыж:

— Берите лыжи — и вокруг Сивой Маски. Чтобы никто

не видел, двигайтесь сначала в лес, а потом заверните к реке — иначе заблудитесь. Убежать некуда. Часа на три — так, чтобы на утро спать на нарах. Все, это и есть ваш наряд.

Тон строгий, начальнический, обе поняли, что благодарить неуместно, а благодарить было за что. Его ли инициатива или Зоя Иванова, побывав в бараке, упростила его дать нам передышку, не знаю. Может, стыдилась она своего поведения и хотела хоть чем-нибудь его загладить, или не могла забыть нашей совместной поездки в Тобольск? Зоя была податлива и беспринципна, но незлобива.

Ни до, ни после не видела такой умиротворяющей, успокоительно-радостной, волшебной красоты леса под луной. Тишина. Чудесная возможность вырваться из рабского состояния и затхлого барака. Иллюзия свободы хоть на несколько часов. Искрящийся снег, скрипящий под ногами. Мириады снежных блесток на деревьях и ветках, как будто сам лунный свет разлетелся на бесконечное количество сверкающих осколков. Свет играл на снегу, а каждая снежинка искрилась звездным огоньком. Мы взяли за руки, в другую руку по палке и сначала медленно и робко, а затем все смелее и смелее устремились на светлый снежный простор в сторону Воркуты. Не успели выйти за пределы поселка, как тут же замелькали свежие тонкие узоры то изгибами, со струнками, то извилинами птичьих и звериных следов. Их было множество, они сплетались и разбегались во все стороны — лапчатые куропацхи, когтистые и более редкие глухаринные, петляющие заячьи, прыгающие соболиные, метелочные от хвоста песка и всякие, нам неизвестные. Подсвеченные изнутри следы зверей и сбили нас с толку.

Глядя на них уверились в том, что лыжня, по которой мы катимся, послужит прекрасным ориентиром на обратном пути, не учли того, что лесные жители редко передвигаются на открытых пространствах, а прячут следы под деревьями и кустарником, где ветер и постоянная непроходящая поземка не всевластны. Мы же выбрали места более открытые. Бело-лунное бездорожье манило неизведанной далью. Внезапные порывы ветра загоняли нас в сторону, в глубину неистребимой вечной жизни хвойного леса. Его густые ветви ярче оттеняли лунную белизну и излучение снегов. Все приобретало особое очарование на свободе. Мы набирались сил и жизненных соков у хвои, утратившей горький вкус обязательного для нас ежедневного антицинготного хвойного причастия. Ночное причастие лесом было без горечи. Потом снова мчались по реке. Сколько прошло времени мы и сами не знали. Слепила мерцающая белизна, заснеженные болота, слившиеся с лентой реки. Лыжню заносило с мгновенной быстротой. Очнувшись от лесного колдовства. Несколько раз кру-

то поворачивали вправо, влево, назад, но не находили ни следов, ни направления. Мы заблудились. Видимо, река незаметно изогнулась, и мы не могли определить, в какой стороне Сивая Маска. Знали, что до Воркуты селений нет, а 70 километров не дотянем. Угроза замерзнуть или очутиться в бегах не из приятных. Логическое рассуждение требовало, чтобы мы остались на реке, где есть небольшая надежда на редкий транспорт, но инстинкт самосохранения гнал в лес, в затишье. Кое-где проступали следы наших лыж, но своим петлянием мы сами себя запутали, как зайцы путают охотников. Зверь умнее в лесу. Прокружившись еще около часа, слышали собачий лай. Страшась овчарок и конвоя, бросились в противоположную сторону. Но лай не отдалялся, а приближался, звуки, очевидно, относилось в сторону поднимающимся ветром. Сообразив, что лай несется из лесу, а не с реки, мы направились прямо на него и наткнулись на палатки разведывательной экспедиции, о существовании которой и не подозревали. В палатке все спали, но из трубы курился дымок. Собака нас не подпускала, мы стали бросать комья снега в палатку. Наконец появились люди. Они смотрели на нас, как на диво. Мы с Дорой путались в объяснениях, не зная, кто наши спасители и не желая подвести Должикова, но все же вынуждены были сказать, кто мы, и назвать Сивую Маску. Мужчины удивились:

— Да вы отмахали километров 30, дело нешуточное. Надо выручать. Прежде всего напоим вас чаем, потом проводим.

Среди экспедиции нашлись ленинградские геологи и инженеры, они, не убоившись двух женщин с их 58-й статьей, поделились всеми новостями, какими располагали. Пока мы чаевничали на вольных хлебах, работники экспедиции запрягли лошадь, чтобы отвезти заблудших. Недалеко от Сивой Маски нас высадили из саней, показав прямой путь. Незадолго до подъема мы тихо поставили лыжи и прокрались в барак. Для всех наша сказочная вылазка-авантюра осталась секретом. Должиков был по-прежнему строг и официален и ни о чем не спросил. Находились, конечно, любители, наблюдавшие за Должиковым, хотя особых скидок в отношении заключенных с его стороны и не было. Один из доносителей, безусловно, Красный. Должикова сначала перевели из Сивой Маски в Абезь, затем сняли с должности, вызвали на Воркуту и расстреляли. Имя его среди приговоренных к высшей мере, как я уже писала, слышала в Кочмесе.

Таким образом, Сивая Маска, низводившая всех в бытовом и культурном отношении до полузвериного существования, имела и некоторые преимущества: жизнь на отлете

без зоны, без усиленного конвоя, для женщин без изнурительной непосильной работы, которой в Кочмесе нас компенсировали с лихвой. Было еще одно преимущество — мы все шли одним этапом и поддерживали друг друга, как могли.

По санному пути прибыли к нам в барак еще три лагерницы и прожили с нами почти всю зиму.

Нина Булгакова из комсомолок 20-х годов, до самозабвения преданная революции. Потом — оппозиция и изолятор на пять лет. Последний поубавил в ней победоносности первых лет революции и придал черты аскетизма и нарочитого упрощенчества. На голове седеющая щетинка коротко стриженных волос. Носила до получения казенного обмундирования узкую длинную юбку, гладкую черную кофту или мужскую косоворотку, стоптанные ботинки без каблучков. У нее ничего и не было, кроме смены белья, теплых носков и старенького кисета. Все помещалось в маленьком затрепанном «сидоре», который Нина по-мужски закидывала на плечо. Она постоянно курила. Она подчеркивала свою неженственность, но обладала многими лучшими человеческими качествами: принципиальностью, добротой, смелостью, легкостью в быту, душевной чистоплотностью. Весной ее отправили на Воркуту, куда она и следовала по назначению, где через 4 месяца попала в камеру смертников и, конечно, погибла бы, если бы не особые обстоятельства — на Воркуте Нина встретила с мужем и оказалась беременной. В числе трех женщин, спасенных от расстрела будущим материнством, попала в Кочмес, где мы вновь увиделись. Муж расстрелян. Девочка, настоящая русская «матрешка», толстенькая кубышечка, умерла трех лет в архангельском детдоме, куда ее насильственно вывезли из Кочмеса, а что с Ниной — не знаю. Как будто скроенная и сшитая грубоватой рукой, Нина и в лагере по мере возможности жила политическими интересами и жадно впитывала то, чего не знала. Меня заставляла темными вечерами часами рассказывать исторические эпизоды, события и, когда что-нибудь ей казалось занятным, громко смеялась кудачающим смехом и восклицала: «Скажите!».

Часто единственной слушательницей моей оставалась Нина. Мы долго шепотом переговаривались с ней в глухие бессонные ночи, спорили, не соглашались, но оставались друзьями. Из воркутинской тюрьмы привезла она песню, которую пела мелодичным высоким голосом, не соответствующим ее нескладному внешнему облику. Вспоминаю песню — перед глазами Нина.

За Полярным кругом
В стороне глухой

Черные, как уголь,
Ночи над землей.

За Полярным кругом
Счастья, друг мой, нет,
Лютой снежной вьюгой
Замело мой след.
Там, где мало солнца,
Человек угрюм,

Души без оконца
Черные, как трюм.
Волчий голос ветра
Не дает уснуть.
Хоть бы луч рассвета
В эту тьму и жуть...*

Песня длинная, будто каждым «зека» сочиненная, кончалась так:

Не зови, не мучай,
Позабудь меня,
Если будет случай,
Помяни любя.

Спутница Нины по этапу — ленинградка Мария Митрофановна Советкина, жена Федора Дингельштедта, партработник, преподаватель истории в Институте Крупской. Муж и сын тоже сидят, она в большом горе. Остановили их по пути на Воркуту, так как у нее флегмона на руке и температура 39—40°. Врач в Абези не разрешала ее везти, но конвой заартачился, а к утру стало совсем плохо, вот и подбросили в Сивую. Пришлось мне с моим ничтожным умением лечить руку, распухшую и красно-синюю от пальцев до груди. Ни телеграфа, ни радио для вызова врача. В моем распоряжении йод, спирт, кой-какие инструменты и бинты, которые стерилизовала в кастрюле. Никаких антисептических лекарств. Естественно, что я не осмеливалась вскрыть нарыв, страшась заражения крови, но выхода не было — температура поднималась, начался бред. М. М. мучилась, кричала от боли. Я вскрыла нарыв, предварительно потренировавшись утром на материи и на куропатке. Гной из раны хлынул фонтаном. Воображаю, как я мучила Марию своей топорной работой, но она была терпелива и благодарна. Руку вылечили. Вскоре Марию Митрофановну вместе с сыном студентом расстреляли на Воркуте. Их муж и отец был привезен на Воркуту, когда смерчь расстрелов пронесся. Товарищам казалось, что рассудок его помутился, хотя он продолжал существование лагерника: «Сердце,— говорил он,— не приемлет и не признает их смерти, я вижу их, там, там, вы видите их? Я ясно вижу их, как в жизни». Во время войны, несмотря на окончание срока, Дингельштедт из-за немецкой фамилии был интернирован как немец.

Третья среди вновь прибывших — Мария Яцек, посаженная за брата Владимира, знакомого мне по воле. Брат дея-

* По воспоминаниям А. Боярикова, опубликованным в журнале «Журналист» (1989, № 6), стихи принадлежат старому большевику Драновскому. (Примеч. ред.)

тельный, энергичный, жизнерадостный. Мария невзрачная, вялая, нелюдимая, но оба прямые и непримиримые. Позже ей довелось выдержать многократные следствия, пройти через множество испытаний, «ухтарку» (строгорезимная, крайне суровая тюрьма) и дополнительный суд. В результате Маруся попала в психиатрическую больницу. Брат расстрелян.

В архивах и в памяти немногих еще живых хранятся имена людей, которые могли составить гордость страны. Могли, но... погибли. Гибель их не только страдания для детей и близких, она нанесла глубокий ущерб всему народу, хотя и не имела непосредственного резонанса. Судьба их оставалась долгие годы в полной неизвестности.

Наша маленькая группа женщин всегда чувствовала товарищеское бережное отношение со стороны мужчин-заключенных. Ничем другим они помочь не могли, и многие из них вскоре ослабели физически, а некоторые и морально больше женщин (исключая тех нескольких женщин, которые добровольно завербовались в услужение к начальникам. Они как-то выпали из нашей жизни). В голове вохровцев никак не укладывалось, что между нами отношения чисто товарищеские. По этому поводу вспоминается безобразно грубая сцена, разыгравшаяся однажды ночью, зимой, в женском бараке. Без распоряжения начальника ВОХР не имел права входить в бараки. По лагерному положению бараки должны по ночам освещаться хотя бы самым скудным светом. К нам керосин не был завезен, спали без света, пожираемые живьем насекомыми. В ту ночь у наших дверей, которые мы запирали на крюк, раздался лай овчарок, а затем бешеный стук кулаками в дверь. Дневальной была Дора.

— Что вам надо?— спросила она.

— Откройте, не то будет худо!

— Без начальника не откроем,— решили мы.

— Никакого начальника не будет вам (растакую мать, перемать). У нас свое начальство.

— Без начальника обыск делать не дадим, а все остальное отложите до утра.

Ветер и пурга проглатывают и лай овчарок, и крик, и ругань, и наши ответы. Звать на помощь бессмысленно. Мы вскочили, боимся бесчинств вохровцев. Землянки далеко. Сторож склада, видимо, заранее отослан перед «операцией». Стук прикладов, дверь срывается с петель, взбесившиеся вохровцы врываются в барак (их четверо) с собаками. Все с фонарями.

— Все в угол! Найдем мужиков, тут же собакам дадим на растерзание!

Они сбрасывают с нар на пол наши постели, топчут, сквернословят, грозят черт знает чем. Новая команда:

— На нары! Подбери ноги!

Они лезут под нары и шарят там прикладами. Протестовать — безумие. Поиздевавшись всласть и превратив барак в бедлам, они уходят, оставив нас в темноте и без дверей. В бараке холод, снег, гуляет ветер. Уходя, вохровцы кричат: «Попробуйте только высунуть нос до развода — собаки дело знают». Кое-как прилаживаем дверь, но не ложимся. Затапливаем печь и сидим безмолвно вокруг нее. О чем говорить? Наутро жаловались. Не уверена, что в связи с ночным бесчинством, но начальника ВОХРа месяца через два от нас убрали.

По лагерю ползут слухи о голодовке на Воркуте и на других лагпунктах. Причины? Повод? Мотивы? Да разве их мало? Причина — произвол в арестах и наша лагерная жизнь. Поводов сотни и тысячи. Может быть, голодовка разорвет густую пелену молчания, сотканную вокруг лагерей, будет пробойной в толще стены, сооруженной между нами и волей. Даже привезенные из политизоляторов политические, попадая в лагеря, отмечают здесь гораздо худшие условия. Это верно, но я против голодовки: объединяющей политической линии нет, нас по точкам передушат, как котят.

Снова и снова выпячивается противоречивость нашего положения, из которого никак не выскочить: не говоря о том, что мы арестованы властью, совершившей революцию, но и сидим в период свершения испанской революции, международной борьбы с фашизмом, в которой Советский Союз принимал в 1936 году решительное участие. И в то же время над нами чинили незаконную и жестокую расправу. Говорю о голодовке с Сашей Гриншбергом — он тоже против нее. Ложное понятие товарищеской солидарности не должно сбить с толку в данном вопросе. Игорь Малеев предупреждает: «Не присоединяйтесь ни в коем случае, но я, может быть, и заголодаю из-за Блюма — сидели вместе в политизоляторе, шли одним этапом, а он уже начал и смотрит на меня как на предателя; знайте, что я против, что бы со мной ни случилось». На Сивой Маске не голодал никто, кроме Блюма, на Воркуте голодовка прошла и послужила толчком для неслыханных расправ, впрочем, нашелся бы и любой другой повод для расстрелов.

С Блюмом ближе познакомилась тоже в медпункте. У него был туберкулез легких, а он еще буквально самоистязался: постоянно сидел в изоляторе. Изолятор — узенькое дощатое вместилище с земляным полом, под дырявой крышей и

без отопления. Блюм систематически отказывался выходить на работу и потому, что болел и слабел с каждым днем, и потому, что считал, что его не имеют права содержать в таких условиях как человека с открытым процессом в легких. Он жил на триста грамм хлеба и без горячей пищи до тех пор, пока к нам не приехал начальник санчасти доктор Тепси, который перевел его на «больничное положение». Но больницы не имелось, Блюм перешел в обычную землянку, получал шестьсот грамм хлеба и общую горячую пищу. О Блюме нельзя сказать, что он витал в облаках, скорее, что он был отрешен от каждодневности и погружен в жизнь исключительно иллюзорную, созданную им самим. Голод пока не притупил мысль, а истончил ее и поднял на особую степень духовности. С таким явлением встречаешься в лагере. Возможно, что к нормальной творческой деятельности он был бы не способен без минимума материальных условий. Говорю о другом, о том, что человек, даже если он мучается, далеко не сразу и не одинаково погружается в постоянные мысли о хлебе насущном. Голодание — еще не подлинный голод, рождает и стремление приподняться над ощущениями и избегать их, поелику это возможно. Блюм обладал свойством отвлекаться от обстановки в большой мере. Спустя долгое время после того, как вспоминала о Блюме, думала о голоде, прочла в журнале «Иностранная литература» записи Э. Хемингуэя о Париже его молодости «Праздник, который всегда с тобой». Есть там такие строки: «Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи. Я часто спрашивал себя, не голодал ли он, когда работал. Но решил, что он просто забыл поесть. Такие не слишком здравые мысли — открытия приходят в голову от бессонницы или недоедания. Позднее я решил, что Сезанн все-таки испытывал голод, но другой».

Блюм и многие другие голодные лагерники не были Сезаннами, но тоже испытывали великий духовный голод по жизни. Блюм хорошо знал французских просветителей, часами мог излагать того или иного философа, цитировал на память Руссо, которого любил. Проверить его, конечно, не могла, но доводы политических трактатов Руссо в изложении Блюма сохраняли характер подлинника.

— По терминологии французских просветителей принадлежу, — говорил Блюм, — к «партии философов», потому что ненавижу насилие и догматизм. По терминологии гонителей христианства принадлежу к любым еретикам и буду до конца дней жертвой нашей правящей папистской церкви, независимо от ее названия. Я буду голодать! Зачем? Затем, что сегодня еще надо доказывать, что я человек! В чем мое че-

ловеческое? Ни в чем! Живу как животное — вне деятельности, без книг, без близких, без любви. Живу так не первый год (за плечами два срока изоляторов). Желая свободу от совести превратить в свободу совести — буду голодать, докажу себе, что я не червь, не глиста, а человек — делаю, что хочу, голодаю по своей воле. Совершенно не верю в успех, даже в политизоляторе голодовка имела бы больший смысл, чем здесь. Но голодать буду! Мы все равно голодаем и прозябаем по чужой воле, а так хоть сдохну по своей воле. ...Когда плетусь на работу, как лошадь в оглобле, твержу себе: «Ты не лошадь, Блюм, ты тупой осел!»

...Не смотрите на меня, пожалуйста, снисходительно, как на чахоточного чудака, на работу не пойду и голодать буду, ведь я — царь земли!

Мертвенно-бледное лицо, обтянутые скулы, свисающее с худых плеч потертое пальто с облезшим некогда бархатным воротником, светлые блестящие глаза вызвали большее сочувствие, чем его речи.

— Сделайте мне шарф и рукавицы!

— Из чего?

— Из свитера, у меня их два, такие носил дома, без ворота.

На следующий день конвоир принес, уже из изолятора, грязнувший, в прошлом белый, свитер, свалявшийся после стирки. Из него нарезала рукавицы, а из оставшихся кусков сшила два шарфа и передала в изолятор. Больше он категорически ничего не принимал. После перевода на «больничное положение», без больницы, без лечения и без больничного пайка Блюм стал поправляться и к весне значительно окреп. Чистый заполярный лесной воздух, несмотря на душные землянки, все же положительно влиял на легкие. Весной его зачислили в партию, шедшую на Воркуту. Там его незамедлительно поместили в «тридцатку», жуткую лагерную тюрьму, затем перевели и на тот самый Кирпичный, а оттуда вывели в горы на расстрел. Блюм и без упрямых доказательств всегда оставался человеком твердым, с чистыми душевными устремлениями...

Мы были отрезаны, не получали газет, а в письмах ничего нельзя было сказать, но то, что политическая атмосфера сгущается, что не только над нами нависло нечто грозное и неотвратимое, мы понимали. Из каких неуловимых толчков складывается биение пульса времени, сказать трудно: то возчики на трассе буркнут два-три слова, сами не разбираясь в событиях, то ВОХР лишний раз ткнет твоим «кртд», то зачистят оперуполномоченные. Но прежде всего об этом свидетельствовали этапы, прогоняемые мимо нас все чаще и чаще в жесточайшую стужу на Воркуту. Спешная концент-

рация людей в лютые морозы в далекой заполярной Воркуте не могла быть случайной и подсказывала, что это делается неспроста, что выполняется какой-то крупный тюремный замысел. Воркута в те времена не была «Заполярной кочегаркой», как ее стали именовать позже. В 1930-ые годы только ставился вопрос о промышленной разработке воркутинских угольных пород. До нас район еще не осваивался. Кое-где проходчиками были охотники-оленоводы, жившие здесь издавна, да редкие партии смелых и настойчивых геологов во главе с легендарными Черновыми, отцом и сыном. Шахты недавно начали закладывать. От барака к бараку ходили по канатам, так как злая пурга и ураганные ветры валили с ног. Ясно было, что людей вели не по производственным соображениям, хотя решающая роль в постройке города Воркуты принадлежит «зека». Железная дорога Котлас-Воркута проложена «зека», в Заполярную кочегарку превратили Воркуту тоже «зека». Громадная территория республики Коми — от северного Урала до Тиманского кряжа и от бассейна реки Вычегды до Полярного круга и далее, как и ее основная жизненная артерия — могучая река Печора с притоками от верховья до устья, — вся была покрыта лагпунктами. Знаменитые ухто-печорский и воркутинский тресты были крупнейшими лагерями в стране наряду с колымскими, карагандинскими и прочими... Но я отвлеклась.

Для того, чтобы узнать, что за этапы движутся по реке, мы, конечно, прибегали к хитростям. Женщины старались не обременять вытягиванием воды при помощи ворота бессменную пару водоносов, для своих нужд мы таскали воду ведрами с реки. Стоило показаться на горизонте этапу, как одна из женщин хватала ведра, затыкала за пояс топор для чистки проруби, а если имела, то и хлебную пайку, и торопливо сходила по крутому обледенелому склону горы к реке. Далеко не всегда удавалось что-либо спросить или сказать, часто лишь обменяться взглядом. Бывало по-всякому. Однако постепенно выяснили, что на Воркуту стягиваются люди одной категории. Для чего?..

В тот год автотрассы еще не существовало, как и регулярной авиалинии. Спецпочту и деньги возил нарочный на собаках. На оленях ездили ненцы и коми (зыряне). Остальной почтовый и грузовой транспорт был конный. Не единожды проезд спецпочты через Сивую Маску зимой 1936—1937 гг. превращался в бедствие, ибо вместе с обозом спецпочты появлялся у нас известный всему краю Мороз. Выгнанный из партии за превышение власти на Бакинских нефтепромыслах и направленный в республику, он превратился в садиста и пропойцу и вел себя на Сивой, как разбойник, на которого нет управы. Ему все сходило с рук, значит, считали не-

заменимым до поры до времени. По приезде к нам с вечера он запивал в компании с вохромцами, а наутро, разъяренный до иступления, откалывал цирковые номера с собаками, обычно когда основная масса мужчин находилась в лесу. Для корма собак он вез всегда в большом количестве сырое мясо и рыбу и имел право покупать свежую оленину у ненцев. Собак в упряжке 8—10. Он их держал в особом сарае сутки голодными, затем выпускал и начинал дразнить пищей и горячил до того, что они приходили в бешенство, натравливал одну на другую или всех на одну, сам приходил в азарт, раскидывал куски оттаявшего кровяного мяса по всей командировке, кричал, науськивал, бесновался до тех пор, пока вохровцы не выпускали своих собак. Происходили собачьи потасовки и кровавые драки, летели клочья шерсти, снег алел кровью. Стоял визг и лай, а Мороз удовлетворенно гоготал. Высунуться в это время за пределы помещения было опасно для жизни. Иногда он, непрощенный, вваливался в женский барак и бахвалился тем, что ему ничего не стоит так же вот затравить «сучек империализма», то есть нас. Выдворить его из барака стоило немалых трудов. Вохровцы посмеивались, для них это было продолжением спектаклей, разыгрываемых Морозом, а для женщин дополнительное свидетельство затравленного положения. Так обстановка давила на психологию мышления, порой мешала ей.

Теперь, когда издали представляешь себе людей, то основным мерилom их характеров является способность к противостоянию, степень духовной сопротивляемости.

Обрывки, зарницы, блики, просветы воспоминаний — на фоне темных силуэтов Сивой Маски. Видится она мне всегда с вечерне-сумеречном освещении, исходящем от полярной ночи, повисшей над нами сразу после прибытия: серо-белый саван снегов, тусклые очертания приземистых невзрачных строений с едва различимыми оконцами, месяцами падающий снег или свистящая завывающая пурга, сбивающий с ног ледяной ветер. Со всех сторон надвинувшийся лес, а под откосом серо-снежная полоса реки. Над трубами в морозы стоит неподвижный гриб осевшего пара и дыма, который сливается в пургу с крутящимися вихрем снега. Зимой же Сивая Маска преображалась не от солнца и не от дневного света, а от луны и сполохов северного сияния.

С детства сохранилось приукрашенное представление о неподвижно-застывшем северном сиянии после постановки в киевском театре Соловцова пьесы «Дети капитана Гранта». На сцене оно было цветистое и правильной формы. Подлинное, неразгаданное еще наукой, северное сияние причудливо-изменчиво, разнообразно и никогда не принимает правильных очертаний. Большею частью это игра света-теней, пляска

огней с развевающимися на ветру легчайшими светящимися бледно-зелеными шарфами, мелькающими по всему небу. Иногда это стена от неба до земли непрерывно перемещающихся горящих грандиозных свечей. В другие ночи пучки колеблющегося света всех цветов и полутонов радуги падают в небе, но исчезают, не долетев до земли. Небесная феерия огня, от которой нельзя отвести взгляд. Случалось позднее наблюдать северное сияние и над заполярным городом, но в городах люди мало замечают небо. Когда же северное сияние озарит темные, запорошенные снегами полярные лагпункты, когда оно торжествует в праздничном своем великолепии, тогда оно ворошит и наше обыденное воображение и сулит перемены. Но чаще всего Сивая была погружена во мрак. В один из таких черных вечеров за мной в барак пришел вохровец: «Идите на медпункт — возчика лошадь убила». Возчика уже занесли в комнатуху медпункта. Он лежал без сознания, но был жив. Лицо и шея залиты кровью. Поднимаясь по обледенелой дороге от реки с тяжелым грузом, лошадь лягнула возчика, с размаха ударила подковой в глаз пониже брови. Разорванное веко было вывернуто и зияло кровавой раной. Удар был так силен, что человек потерял сознание. Что я могу сделать? Прежде всего надо привести его в чувство. Орудовали мы с одним вохровцем, парнем злым, но не глупым. Парень этот вглядывался в нас очень зорко и вынашивал что-то свое. По национальности чуваш. Порой он вспыхивал к нам лютой ненавистью. Но сейчас, поняв мое состояние, старался помочь. Вохровец затопил печурку, потом подошел ко мне.

— Ну, давай чего-нибудь делай с ним, врачей нет.

Мы раздели возчика, растерли ему ноги и руки, влили в рот спирт, он очнулся. Глаз страшно распух, но по тому, что вокруг глаза была только алая запекшаяся кровь, поняла, что глаз уцелел. Как быть? Оставить зияющую рану и отослать дальше, но за сутки может начаться заражение, несмотря на мороз. Зашить самой, но заражение тоже вероятно... Советоваться не с кем. Случай с Марией Митрофановной подсказывал, что заражение необязательно. Могло случиться все, что угодно, но оставлять глаз обнаженным мне казалось тоже невозможным. Наркоза не было, имелись разного диаметра хирургические иголки и стерильные нитки для швов. Я решила сшить веко, поскольку рана была чуть повыше зрачка. Спросила возчика, вытерпит ли он сильную боль.

— А чего,— ответил он,— могу, не бойсь, я крепкий, валяй!

И он действительно проявил мужественную выносливость и безбоязненность. Мы с вохровцем помыли руки, про-

терли их спиртом, полили йодом. Халат один, отдала его парню. Он придерживал веко с двух сторон пинцетами, а я наложила четыре шва и связала нитки самыми примитивными узелками, а затем сделала повязку. Возчик ни пикнул, а когда я кончила, спросил:

— Ну, что побелела? Струхнула? А мне хоть бы что... Спасибо!

Речь его, само собой разумеется, хорошо оснащена привычным лексиконом, который срывается с языка, как созревший плод, висящий на кончике черенка. Руки дрожали не у меня, а у вохровца, но когда хотела ответить раненому, то не могла сразу разомкнуть челюсти, так они были сжаты от напряжения. Наутро температура поднялась немного, к вечеру спала. Возчик отоспался, отъелся, давала ему и разбавленный спирт, а через три дня уехал с грузом. Вскоре кто-то сообщил с Воркуты, что он жив и не ослеп.

Прошел год. Отбываю срок в Кочмесе. Работаю в бригаде строителей и живу в конюшне, служащей баракком. Лежу в рабочей амуниции на знаменитой вагонке, зовут к двери, а там передают пудовый мешок пряников, засыпанный сверху слипшимися конфетами подушечками. Все смерзлось, конфеты обледенели. Я, естественно, сказала, что это ошибка, ибо такая диковинка не могла быть предназначена мне. Но в руки сунули записку: «Фершалу с Сивой Маски — ни обижайся тот самый что с глазом извесный тебе возчик». Он был проездом, искал меня, когда я работала за зоной в лесу, и оставил уркам мешок пряников для меня. Они передали все честь по чести. Мешок, безусловно, ворованный, но передан с самыми добрыми чувствами. Мы приняли его, как дар божий, и поделились в бараке содержимым.

В ту же злополучную ночь, когда ранен был возчик, вместе с обозом грузов приехал оперуполномоченный и вызвал меня прямо с медпункта на допрос. Была утомлена и взволнована предшествующей операцией. В канцелярии при свете фонаря «летучая мышь» сидел развалившись на стуле молодой сотрудник НКВД в военной гимнастерке и накинутом на плечи белом полушубке овчиной внутрь.

— Садитесь!

Села. Достал из портфеля какую-то грязную бумажку.

— Отвечайте, что значит «в животе у лягушки»?

Вопрос прозвучал комедийно, но я сообразила, в чем дело: недели две назад передала в Абезь наспех написанную записку Ваграму Безазьяну. В то время у нас кончилось масло из посылки Олега, и мы сидели в бараке в кромешной тьме. Опер прочел: «...темно, сыро и холодно, как, наверно, может быть в животе у лягушки. Лучины под запретом. Мечтаем о свечке да о какой-нибудь захудалой книжонке, лишь

бы напечатана. А. В.» Дурацкая записка попала не по адресу, а в руки уполномоченного и принята была за условный код.

— Инициалы ваши. Поддерживаете голодовку, значит!

— Какую голодовку? О голодовке мне ничего не известно, голодаем и без голодовки. Сидим без света. Дайте свет, не будет записок.

Далее он объяснил, что я давно на заметке, и что свободы мне не видать, как своих ушей, а приехал он исключительно по «вашему делу».

— Впрочем, продолжал он, вы можете нам помочь — кто здесь за голодовку? Булгакова за голодовку?

— Ни о какой голодовке ничего не слышала.

— А Певзнер утверждает, что вы о многом осведомлены.

— К нему и обращайтесь за информацией.

— Так, не желаете помогать Советской власти?

— Мы работаем, а вот вы плохо работаете, раз оставляете рабочих в темноте и голоде.

— Можете идти, вы мне больше не нужны. Пеняйте на себя!

Аркадий Певзнер как приятель Юдифи часто вертелся в женском бараке, в землянках любил петь революционные песни, а что он не брезговал «стучать» в III-й отдел, не было для зеков секретом. С тем опер и уехал. Стоящая командировка! Смешно, но и печально!

Тянулась долгая, долгая зима. Снег лежал плотным глубоким слоем в два метра толщиной. В безветренные дни мы погружались в глухую пухлую тишину. Мир оглох для нас, вытолкнул и забыл. Казалось, мы погребены в снегах. Жизнь просачивалась через письма и ударяла как неизолированный электрический ток. Почта была и зовом, и требованием терпеть, и болью, и воскрешением.

В феврале день начал заметно прибывать. Свет поглощал тьму. Солнце слепило, отраженное в белизне снегов, и обжигало лицо северным загаром. На лицах появлялись улыбки, но одолевала цинготная слабость, сильнее хотелось есть и спать. Мужчины сваливались, участились заболевания. Общее состояние тревоги не только не получало разрядки, но, напротив, усиливалось. Начальники и уполномоченные смотрели волками, были подозрительны и озлоблены. С Воркуты к нам перестали заезжать, даже обратный транспорт не заворачивал на Сивую, а следовал мимо. Вохровцы при нашем появлении замолкали. Спешно вывезли на Воркуту Н. Булгакову, М. Советкину и Марию Яцек. Из Усть-Усы приехал работник УРЧА, просматривал формуляры всех и сортировал нас к отправке. Однажды забежала Зоя Иванова, отозвала меня в сторону: «Отбросьте вашу не-

приязнь ко мне, должна сказать вам по секрету, что готовится большой этап на Воркуту, вас и меня в списках нет. В этом наше спасение. Там плохо, очень плохо. Больше ничего сказать не могу, нам предстоит многое пережить». Затем она начала ненатурально смеяться в своей обычной манере, болтать об ерунде и выскочила, оставив меня в еще большей тревоге.

Вскоре проследовал этап на Воркуту из Абези. Среди товарищей, которых знала по этапам — М. М. Иоффе, Ваграм, Липкин, Енукидзе. Была жестокая стужа, надвигалась ночь, но людей без остановки гнали дальше. Удалось перемолвиться несколькими словами на руке, у проруби. По слухам, на Воркуте идет голодовка. Режим резко ухудшился. На шахтах люди работают по 11 часов, с перерывом на обед — полчаса, под землей, в удушливых примитивных штреках, под постоянные окрики: «Давай-давай!». Падают, как мухи осенью. Многие заключены в лагерные тюрьмы, из которых выводят на работу и запирают после работы. Голодающие отказались работать. Толком в Абези тоже ничего не знают, сведения случайные. Кто-то из наших женщин успел передать этапникам несколько пар ватных рукавиц, которые мы всегда припрятывали в пошивочной на случай этапа. Со многими товарищами простились навсегда. Среди них Ваграм. Он оброс ледяной коркой на бровях, бороде и ресницах, на щеках лед застыл, как горох, как мелкие оспины, как слезы. Печальный, печальный... Окрик бойца охраны, и Ваграм уже шагает по тропке на северо-восток в цепочке, теряясь в саване снегов и пространств, вслед за другими обреченными, потому что с Воркуты мало кто возвращался. Там он работал бригадиром на шахте и на погрузке. О его бригаде говорили: «Бригада Безазьяна работает без изъяна». Разве какие-либо заслуги, даже самые крупные, что-нибудь изменяли в предрешенных судьбах? Почти вся бригада вскоре была переведена на Кирпичный, что уже само по себе пытка и к тому же преддверие последней человеческой драмы. И она пришла. Не овееяна их гибель романтикой, а могли быть героями, а может, и были героями в последний час. Ваграм — сын народа, жизнь положил за народ, а умер как «враг народа». Почему? Погиб, как целая армия таких же. Вспоминаю его жизнерадостным, молодым, с теплыми глазами, но точит память и последнее свидание... А голос же его звучит как живой — мягкий и сильный.

Рассказала близким товарищам немного, что узнала. Некоторые ушли с экспедиционными группами и избежали Воркуты в тот период, но тех, кого запрашивала Воркута, никуда не отпускали. Все окутывалось тайной, мы оставались в неведении относительно своих судеб. Тайнственность от-

равляла, сгущала атмосферу страха и рождала покорность у более слабых, чего и добивались в лагерях. Незнание всегда пугает.

Приблизительно в середине апреля, впервые после долгого перерыва связи с Воркутой, оттуда привезли по дороге в Москву трех мужчин. Их везли на так называемые «переследствия», которые в огромном большинстве случаев, как потом стало известно, кончились гибелью, расстрелом. Предварительно велись допросы с пытками, о чем с ужасом говорили избежавшие смерти. Но для некоторых вывоз с Воркуты оказался спасением жизни, так как именно в эти месяцы, вплоть до 1939 года, на Воркуте проходила полоса господства Кашкетина, назначенного для истребительных акций, после которых уцелели единицы. Остановка на Сивой Маске была вынужденной — все трое поморожены, а в Москву полагалось доставлять людей в сносном состоянии.

С Воркуты везли Алексея Иванова, Иосифа Сандлера и Михаила Соловьева. Хорошо помню первых двух. М. Соловьев, историк, окончивший Институт красной профессуры, был крайне подавлен и молчалив. Может быть, не считал возможным вести разговоры в пути, а скорее всего, предчувствие близкой смерти уже владело им. При прощании, когда напутствуя их, сказала: «Не поморозьтесь снова», Михаил махнул безнадежно рукой и возразил: «Напротив, остановка в Сивой Маске дала небольшой шанс удержаться в жизни на два-три дня»... Он не ошибся — срок жизни его был — путь до Москвы.

С Иосифом Иоганновичем Сандлером мы знакомы по осеннему этапу, — сидели они с моим мужем в политизоляторе. Алексей Иванович Иванов принадлежал к тем людям, которые вызывают мгновенно полное доверие и сами безошибочно разбираются в собеседнике. О нем сохранила долгую память. Он, как и М. Соловьев, погиб вскоре. Немногие люди оставляют такую борозду в памяти после недолгой встречи. Будто снял кто-то усталость после томительных дней, будто ушло мертвенное однообразие и обрела возможность дышать и думать, хотя ничего утешительного я не услышала.

Как прикрепленная к медпункту оказывала им посильную помощь и не контролируемая начальством могла оставаться на медпункте сколько хотела. Наш лагпункт вследствие оторванности и благодаря Должикову носил отпечаток своеобразия.

Приехавшие товарищи несколько больше осведомлены о воле, изредка им попадались газеты, кое-что узнавали от вновь прибывших, и сами они были примечательными людьми. Иванов был широк в плечах и весь крупный — черты лица, рост, руки. Он был управляющим на КВЖД. Такому че-

ловеку безоговорочно можно доверить и крупное государственное дело, и руководство массами. В нем сразу чувствовалась уверенность, сила крепкого ума и организаторская воля. Слабых сторон не заметила. Стоит перед внутренним взором, как на постаменте, человек значительный, и гибель его — большая потеря для общества.

Попробую изложить содержание беседы. Вьюга. Хибарка дрожит от холода. Чугунная печурка накалена докрасна. У мужчин руки забинтованы. От валенок густой пар. Соловьев сидит на чурбане у печки и подкладывает дрова. Прихлебываем кипяток. Все личное отодвинулось: и искалеченная жизнь, и голод, и все невзгоды, и даже дети и мама — во всей грандиозной объемности встала трагедия страны в целом. Алексей Иванович заговорил о процессах. У меня срываются обвинения в адрес тех, кто давал такие страшные клеветнические показания на суде против себя и других, что являлся удобным поводом для обвинительных заключений десятков и сотен тысяч.

Иванов рассуждал много мудрее, примерно так: «О многом можно лишь догадываться. Юридическая наука покоится на правиле — обвиняемый не виновен до тех пор, пока не доказана его вина на следствии и на суде. Сейчас юридическое право отвергнуто, арестованный виновен априори, он подвергается общественному изгойству, поскольку он взят. Поэтому следствие — пустая формальность, суда фактически нет, он закрыт для общественности и никому не нужен. Не известно, что происходит до суда и на суде. И потому не имеют никакого значения подтасованные показания и личные качества подсудимых. Те, кто верят, из веры и подобострастия, находясь на свободе, все равно поют аллилуйя, аллилуйя, а те, кто обьяты страхом, все равно «потребуют» смертной казни, вернее за них потребуют, а они составят громкоголосый хор. В данный момент повернуть колесо истории нельзя. И тут уж дело личного потенциала, как себя вести. Много об этом думаю, ибо мне предстоит... Сталин лично меня хорошо знает, мои назначения подписывал он лично. А таких он не терпит. Надо все по возможности спокойно взвесить и быть готовым каждому ко всему. В такой свистопляске нельзя знать, кто уцелеет и кто падет жертвой, ведь, по существу, происходит государственный переворот, но в своеобразных формах. Масштабов, диапазона и степени потрясений мы пока охватить не можем. Не только потому, что мало знаем, но и потому, что все процессы нашей формации никому еще не ведомы. Кто останется, поведает, что мы за враги народа. Страна в горячке. Кто, какие силы останавливают бешеную скачку исторических событий, предугадать трудно, жизнь быстра, далеко не все можно предугадать.

Вы, быть может, случайно отсидитесь в медвежьем углу, секира обойдет вашу голову, и вы окажетесь свидетелем перемен, так что мобилизуйтесь на долгое ожидание. Мы ведь еще молоды и крепки духом. Жаль молодости, но это малость по сравнению с событиями в стране. О показаниях вот что я думаю. Поскольку я работал на КВЖД, меня интересует всякое сообщение о Дальнем Востоке. В одной из случайно попавших мне в руки газет обратил внимание на небольшое сообщение ТАСС, то ли в августе, то ли в сентябре 1936 года, словом, недавно, уже после первого процесса. Там говорилось о расстрелах русских белогвардейцев в Манчжурии. Между прочим указано, что под пытками арестованные дали нужные японцам показания и назвали ряд новых лиц, близких к ним в Трехречье и т. д. Маленькое сообщение навело на невеселые размышления. Да, мы ничего не знаем о процессах».

— Почему вы говорите о процессах во множественном числе?— спросила я.— Мы слышали об одном.

— Были и другие. Не один. Читал о январском, на котором судили Пятакова, Радека и многих других. Их показания еще более чудовищны, потому что старый арсенал обвинений уже не действует на массы, к нему привыкли. Теперь обвиняют в прямом шпионаже в пользу иностранных государств, в распродаже территорий, в сговоре с Гитлером и Гессом. И они признаются, вот в чем ужас! А средневековый палач Вышинский, в сутане советского прокурора, задает почти каждому вопрос о том, как велось следствие, не были ли применены незаконные методы. Обвиняемые отвечают, что следствие велось в корректной форме, что следователи их не мучили, а они мучили следователей, хотя Муралов дал показания только через 8 месяцев тюрьмы. Все много сложнее, чем нам представляется. Мрачковский, Муралов, Безбородов мои личные друзья, близко знал и других — Каменева, Пятакова. Здесь дам голову на отсечение, что они не совершали никаких преступлений, в которых «признавались», но что я буду говорить там — еще не известно. Надеюсь на себя вот и все. Не все дают ложные показания, уверен, а умирают все. Надеюсь выдержать. Самое большее на что рассчитываю, — на смерть в тюрьме до суда. Человек не всё, да не всё и не каждый, может вынести. Существуют сотни методов не только физического, но и морального воздействия, перед которыми он может дрогнуть и сломиться, особенно в наших условиях, когда суд свершает сама партия. Одновременно со следствием надо пересмотреть взгляды, даже мировоззрение. На такое не все способны. Нет у нас данных для огульного их осуждения! Я не решусь поднести губку с уксусом к их изолгавшимся, искусанным от мук и през-

рения к себе устам. И вовсе не из христианских побуждений. Их участь уже решена. Они опорочены перед всеми — и врагами, и друзьями. Да минует нас чаша сия! Инсценировка, в которой они оказались действующими лицами, обошлась дорогой ценой, за нее будет расплачиваться весь народ, и не одно поколение. Нельзя обрушиваться на тех, кто выступал, как марионетки. Все являются участниками массовых сцен этого лицедейства. И на воле все превращены в статистов грандиозных постановок. Процессы не кончены. Готовится то же в отношении так называемых правых и еще, и еще им же несть числа. Кого заставили написать, что правые пошли по пути банды Троцкого, которая «хотела с помощью фашистов восстановить капитализм» — Надежду Константиновну Крупскую! Своими глазами читал статью за ее подписью.

— Вы говорите «партия» судит,— отозвался Иосиф Сандлер.— Не кажется ли вам, что партия, о которой говорим, стоит на лобном месте? Помню впечатление, какое произвел набор в партию после смерти Ленина, то был не ленинский набор, а сталинский. Именно с тех пор старый революционный костяк, закаленный и самостоятельно мыслящий, начал затапливаться случайными мелкобуржуазными элементами, а в партию незаметно просочился некогда враждебный ей взгляд на партийную организацию, как на широкую рабочую партию, в ухудшенном варианте.

Речь Сандлера в отличие от сдержанной речи Иванова звучала взволнованно, резко и полемично; он горячился, острил, смеялся, но порой перехватывала горло захлебывающаяся одышка, должно быть, в связи с тем, что он ехал после голодовки. Он обладал великолепной цепкой памятью, впитывающей детали и характерные черточки и не упускающей главного. То, о чем он говорил, выступало рельефно, трехмерно, тем более, что Иосиф часто и легко имитировал речь человека, о котором велся рассказ. Сандлер был арестован в 1922 году в Латвии при правительстве Ульманиса за подпольную революционную деятельность. Девятнадцатилетний комсомолец, в то время он просидел около года в рижской тюрьме и обменен в 1923 году советским правительством на латвийского преступника. Прошедший буржуазное подполье и тюрьму, он рвался к работе в стране Октября, быстро ориентировался, активно действовал, стал секретарем Балтинтерна молодежи и сталкивался со многими работниками Коминтерна по работе и в личной жизни. На воле я читала курс Истории Коминтерна, в его рассказах оживала вся политическая борьба внутри Коминтерна и даже в условиях Сивой Маски показалась важной, полнокровной и злободневной. Помнится, шла у нас и острая полемика относительно голодовки, длившейся на Воркуте. Требования выдвигались при-

мерно такие: рабочий день восемь часов, улучшение питания, использование на работе по специальности, вежливое обращение с «зека». Иванов был категорически против голодовки и называл ее самопровокацией. К голодовке примкнули далеко не все, что вполне естественно в условиях бесконечных альтернатив, встававших перед нами на каждом шагу. Голодовка шла долго, никаких положительных результатов не дала и послужила дополнительным, вернее облегчающим поводом для усиления режима, сортировки заключенных и подготовки списков людей с целью их ликвидации. Впрочем, причины лежали глубже. В других лагерях массовые уничтожения проходили в тот же период и без предварительных голодовок.

Когда нас столкнула случайность на лагерном перевале, события едва начали разворачиваться, и о многом можно было лишь догадываться. Каждый доходил до всего по-своему, на ощупь: и поглощенный приближением развязки Соловьев и полыхающий, как уголь, Сандлер, и вылепленный из самого лучшего человеческого материала Иванов.

— Отвлечемся немного, товарищи,— предложил Алексей Иванович,— отдохнем перед дорогой, дадим себе передышку, послушайте меня, хочется уйти далеко в прошлое. Случилось это в Харбине, в 1928 году. Белогвардейцы и другие русские эмигранты, наводнявшие Харбин, в том числе и бывшие сменовеховцы, весьма мною интересовались, следили с болезненным любопытством за каждым человеком «оттуда», из России. Я к тому же лицо официальное. Захожу в ресторан пообедать (не всегда же мы сидели вот в таких лачугах). Народу много. Обстановка типично ресторанная. Много весеннего света. На эстраде оркестр. Чувствую за спиной пристальные взгляды. Невольно оборачиваюсь. Компания, сидящая за мной, бесцеремонно меня рассматривает. Поймав мой взгляд, один из белых размашистым театральным жестом швыряет пачку денег в оркестр и кричит: «Сыграйте «Боже, царя храни». Оркестр играет царский гимн. Все демонстративно встают. Я продолжаю сидеть. Обедая. Мелькает мысль — сейчас начнется свалка, они меня провоцируют, а я представитель Советского Союза. Сижу. Жду.. Затронуть меня, обратиться ко мне прямо не решаются. Оркестр сыграл один раз и оборвал. Все сели. Вынимаю из бумажника деньги, так же бросаю их в оркестр и требую сыграть «Интернационал». Играют. Я встаю. Остальные сидят. Молчание. Расплачиваюсь, выхожу из ресторана и медленно поворачиваю в сторону нашей миссии. Не посмели тронуть...

Ряд других эпизодов прошли передо мной в ту ночь. Проговорили до утра. Расстались мы уже друзьями. Иосиф

прощался до новой встречи, и она состоялась через 20 лет. Соловьев молча пожал руку. Иванов хотел передать стойкое бесстрашие и терпение, которыми он обладал. О последних двух нигде не нахожу следов. Оба не дали повода для участия в процессах. Следы их замечены снегами и пургой. Голоса затерялись в тюремных коридорах или застенках. Память о них должна быть сохранена и должна облагораживать людей.

Сандлер вытянул лотерейный билет на жизнь. В начале 1937 года вызван в Москву с Воркуты, чем спасся от неминуемого расстрела, такова была участь всех голодавших. В Москве, после Лубянки и Лефортова, где подвергся неоднократным избиениям, неожиданно для себя был определен снова в лагерь, можно полагать, потому, что некогда прошел через обмен, и жизнь его была на учете. Возвращен на Воркуту, там просидел (страшно подумать!) два года и девять месяцев в «тридцатке», тюрьме, из коей не выходили даже люди атлетического сложения, а Сандлер был хилым и хрупким на вид, но, видимо, весьма вынослив и из той же породы людей, что и Блюм,— силен духом. В конце концов, как «доходяга» и «кашей бессмертный» был переведен в больницу. Здесь врачи ему выписали особый паек, так называемое «индивидуальное питание», что означало: «Ешь, что хочешь. Обойдешься ты начальству и государству недорого, ты уже не жилец». А Иосиф отъелся и выжил. Врачи-заключенные, встречая его через несколько лет, смеясь ему говорили: «Ну и подвел ты лагерь, Иосиф, ходишь в живых!»

Прибыли мы на Сивую Маску в начале октября, уже зимой. Теперь кончался апрель,— все еще длилась зима. Сколько времени она протянется? Снег валил все так же. Часто казалось, что пелена почти непрерывно падающего снега навсегда срослась с нашим пейзажем и отгородила нас от всего мира непроходимой непроницаемой стеной. Но мало-помалу весна начинала давать знать о себе обилием света и расширением горизонта. Раньше мы видели лишь бледные очертания далеких гор, теперь проглядывали их четкие контуры на светлом небе. Короткий отрезок дороги под нами, поглощавшийся темнотой за пределами Сивой Маски, раздвинулся в оба конца и тянулся вдоль реки. Когда снег уставал падать, прорывалось солнце, ослепительное и даже жаркое. Открывалась и бледная голубизна неба. Тропинки подтаивали, люди по пояс и глубже проваливались в рыхлый снег и увязали в нем. Рабочие загорали дочерна на солнце и на ветру. По утрам мороз держался до 35—40 градусов. Образовывался крепкий наст, по которому мужчины шли в лес на работу, а женщины в перерыв выбегали в лес надыхаться и понаблюдать приметы весны. И находили их. Лес

наполнялся шорохами и звуками живых существ. Пичужки, которые не улетели на зиму, стали подвижней и голосистей, следы зверей явственнее и более выпуклыми, стволы и ветки деревьев стеклянными. Это убеждало в подлинности того, что по календарю природы приближается май.

Последнее время начальник Должиков стал суетливее обычного и вместе с тем более сумрачным и удрученным, Красный же, напротив, повеселел и обращался с заключенными еще грубее и нахальнее. Плохой симптом. И действительно, вскоре разнеслась весть о том, что собирают этап мужчин на Воркуту. Предварительно Должикова перебросили в Абезь. Дошла очередь и до Сивой Маски...

Расформирование сжившегося этапа, все равно что расформирование воинской части на фронте. Все мы оторваны от мирной жизни и семьи. Политическим штормом всех нас стихийно случайно прибило к маленькой точке на земле — к Сивой Маске. Мы как-то окопались в ней, обжили трудом и потом, между собой сжились. Появилось чувство локтя, нам горько расставаться, горько отпускать товарищей на Воркуту, откуда просачиваются страшные слухи, где пахнет порохом и смертью.

Утро отправки первого этапа тихое и морозное. Небо сквозь морозный туман окрашивается в розовые тона, предвещая ясный день. Деревья обряжены в хрустящую изморозь. Этап в сборе. Такие моменты стоят вешками на запорошенных дорожках памяти. Уходят человек сорок. «Вот и покидаем наше голодное, провинциальное «Сивое» пристанище,— говорит Игорь Малеев,— а по правде сказать, не тянет лагерный «центр». Вход туда для всех открыт, найдется ли выход?»

Обычная картина этапа, но как горестно прощание! Серо-черные одномастные фигурки. Изношенные до блеска ватные брюки и телогрейки, подшитые продырявленные валенки и то не у всех — на некоторых старые армейские ботинки или «шанхай» неимоверной величины с вылезающими обмотками всех сортов. Хотя нас формально признали как лагпункт, мы так и остались незаконной, незапланированной «командировкой» без обмундирования первого срока, несмотря на «пиратство» Должикова. Ушанки повязаны чем попало. Жалкий личный скарб лежит в ногах. Стоят в ожидании конвоя. Уйти бы отсюда по своей доброй воле, чтобы время приобрело действительную силу, а не толкало тебя по «срокам» под капральской палкой произвола! Да где там!

Притоптывает застывшими ногами тощий Илюша Ефимов, удивительно задушевный и бесхитростный человек. За внешней расхлябанностью скрывается подтянутая строгость к себе. Прекрасный товарищ. Он, как и Игорь, уроженец

Одессы. Знал славную плеяду молодых писателей революции, объединявшихся вокруг одесского «окна сатиры»: Багрицкого, Бабеля, Ильфа, Петрова и др. Он был несколько моложе их, но в чем-то им помогал, смотрел на них снизу вверх, твердил на память их стихи, прозу, изречения и словечки. Восторженно вспоминал о юности, слившейся с героической гражданской войны, а иногда приходил в полное отчаяние от настоящего: «Поверите,— говорил он,— лежишь на нарах без сна, вытаращишь глаза в темноту и вонь — и заскулит все внутри, на кой черт эта маята, такое наше собачье положение, для чего терпеть и ждать, а потом стыдишься себя, клянешь хлипкость. Утром ужасаюсь: главное, личность, совесть, душу сберечь, а я вот...» Исповедовался без рисовки, искренне. Товарищество комсомольских лет вошло в его кровь и плоть. Его присутствие согревало и успокаивало. Узнав об уходе этапа, несколько товарищей — Борис Белыйшев, Саша Гриншберг, Ваня Долиндо, Илюша Ефимов с риском для жизни пробрались с лесозаготовок и приехали попрощаться. Заросшие, бородатые, мокрые, но приехали. Часть из них, в том числе и Ефимова, включили в этап. Расстрелян в горах под Воркутой. Рядом с Илюшей плотный, круглолицый, неунывающий безобидный ловкач Володя Карпенко, тоже одессит, инженер по профессии, десятник по должности. В женском бараке он свой человек, выручавший нас от сотен бытовых бед — то пододбьет нары, то смастерит скамейку, то добьется наряда на починку обуви, то притащит кусок оленины или куропаток или даже баночку керосина. Как десятник он пользовался некоторыми небольшими привилегиями, общался с экспедиционными группами, кое-что мог добыть и поделиться своей добычей. Он любил шутливое одесское балагурство и не терял вкуса к нему в лагере. Слова слетали у него с языка с необыкновенной легкостью. Не страшился Володя погрешить перед истиной, мог соврать что угодно, на ходу придумывал анекдоты и сам же их распространял. У него остались комсомольско-студенческая привычка всех называть на ты: Сашка, Дорка, Володька. Ходил он пританцовывающей походкой, словом, был рубаха-парень. Как-то посмеялась над его неудачным анекдотом. Володя ответил с неожиданно горькой серьезностью:

— Что же удивительного? Жизнь моя — неудавшийся анекдот. Мой отец-лесник всю жизнь твердил мне: «Учись, Володька, уйдешь из леса». Я выучился и... попал в лес. Я чистокровный украинец, а все меня принимают за еврея, урки в тюрьме окрестили кличкой «жид-одессит». Я даже горд этим, но ведь это анекдотично! Я жил с женой, которая все годы грозила от меня уйти, а я обожал ее и молил: «Не покидай меня!» Теперь я от нее ушел. У меня нет никакого

пристрастия к выборным должностям, а я был бессменным секретарем, членом партбюро, райкома и т. д. Я люблю работать на публику, люблю театр, зрелища, любительство, работал же келейником-инженером, а из артистов вижу только Женьку Соломина с гитарой! Отсюда и плохие плоские анекдоты, скажите и за них спасибо. Кто отважится на анекдоты, кроме Володьки Карпенко? На воле придумаю получше, вот так!

Сейчас он онемел и сосредоточенно глядел вдаль. Попробовал его друг Соломин пошутить: «Ха-ха-ха! Володька куропаток не доловил, цыганская жизнь не нравится!» Шутка не нашла отклика. И Володя расстрелян в горах под Воркутой.

Стояли все мы понурые — уходящие и остающиеся. Для большинства из наших товарищей этап оказался последним этапом жизни.

В молчании прощались. Появился конвой. (Участь многих конвоиров будет одинаковой с участью тех, кого они вели.) Построились... Минуты... Команда конвоя... Они отделены от нас... Ушли... Мы сжались, еще больше осиротели.

После ухода товарищей оставалась небольшая кучка, так как многие мужчины к этому времени работали в экспедиционных группах и партиях: кто в геолого-разведывательных, кто по изысканию будущей железнодорожной трассы.

Во главе экспедиционных групп стояли либо вольные специалисты, либо наши «зека» специалисты, но только не «кртд». Любой уполномоченный не упускал случая напомнить, что мы иуды и предатели и что мы «торгуем народной кровью» и принадлежим к «банде изменников родины».

В одной посылке, полученной в мужском бараке, попался случайно обрывок газеты с передовицей. Передовица озаглавлена «Троцкист-вредитель-диверсант-шпион». Коротко и ясно! Все мы по статье носили такое звание. Можно ли было чему-нибудь удивляться, приняв невозможное за возможное и сущее? Мы тогда не знали, что именно в тот момент, в марте 1937 года, сам Сталин на пленуме ЦК призывал забыть о том, что оппозиции когда-то были политическими течениями, а считать троцкистов и всех других оппозиционеров «оголтелой бандой врагов народа и преступников, наемниками международного капитала». Сталинские призывы являлись для всех карающих инстанций на воле постулатом, директивой, сигналом к лихорадочной деятельности, а для заключенных — сигналом к неслыханным мучениям и гибели.

Время было трудное и на воле, но там имелись сотни отвлекающих моментов личных и общественных: от семьи до искусства, от шумихи успехов до полетов в Арктику и научных открытий. Быт уводил от политических проблем, а

стоустая информация, вернее дезинформация, усыпляла совесть. В неволе же люди — наимчувствительнейший измеритель политической погоды, ибо наша жизнь зависит от нее целиком и полностью. Стоило где-то наверху нажать на рычаг политической атмосферы, как мы уже начинали задыхаться. В 1937—1938 гг. все политические заключенные скользили над пропастью между жизнью и смертью. Неожиданно у человека в самые трудные моменты может появиться какой-то просвет. Кажется все безнадежно, безвыходно, но вдруг наступят незначительные перемены и послужат источником изменения угла зрения и новых сил для жизни. Так случилось со мной — короткий случайный, но ощутимый просвет. Одной из экспедиционных групп руководил Борис Бельшев, заместителем начальника работал Борис Донде — «кртд» и созапник. Группа эта, человек в 30, в тот период располагалась недалеко от Сивой Маски, километрах в 25 от нее. Здесь работали и несколько товарищей с нашей командировки. К весне многие из партии болели и завшивели. Товарищам пришла в голову счастливая мысль затребовать в лес медработника. Кроме меня медработников не было. Любую минуту Красному могла улыбнуться идея направить еще этап на Воркуту перед самой распутицей. В конце мая Бельшев и Донде сделали запрос о медработнике с расчетом на то, что распутица задержит мое возвращение, и я проживу две-три недели в более вольной обстановке. Так и произошло. Поручили меня вохровцу со штыком, а ему дали наряд на меня, и пошли мы в лес на лыжах. В дороге не проронили ни слова, шли без привала. Конвоир ушел обратно по насту с распиской на меня, а я осталась. Осталась впервые в жизни в пробуждающемся от зимы лесу, пережила зарождение весны в глухой тайге, вдали от всего на свете, в непосредственной близости к природе, во время перелета птиц с юга на север. Присматривалась к трепетным переменам в предвесенней природе, и свои тревоги уходили на задний план. Не все ли равно, что будет, а весна идет... Не пришло еще время зелени, цветения, ледохода, но зима теряет силы, отступает, сдается...

Поселилась в палатке на пятерых — четверо мужчин, я пятая. Не испытывала ни малейшего смущения, настолько отношение всех товарищей было бережное и осторожное. Спали на просушенных сосновых и кедровых ветках. Снег снаружи плотным слоем защищал от холода. Круглые сутки топили печурку, мужчины по пять часов, а я на льготных условиях — по четыре часа. Ночи уже не было. Иной раз сбивались — три часа дня или три часа ночи. Какое небо в это время в лесу! Картины Рокуэлла Кента кажутся слишком реалистичными, словам же не хватает названий для

передачи всех красок полярного света. Карнавал цветов и оттенков, пришедших на смену белому снегу и черной ночи. Как зимой все постоянно, так теперь все изменчиво. Снег почти перестал падать. Только порывы ветра приносят мокрый снег. Пройдет порыв ветра — снова светлые краски. Дела оказалось много. В рабочее время чистила палатки, вещи, скребла посуду, возилась с больными. Все запущено, грязно. Отвоевала котел на кухне, одну палатку превратила в «баню», растапливали снег до кипения, на что уходили долгие часы; прокипятили белье, посуду, по очереди пере-мыли всех. Иногда рабочие уголовники проклинали меня: «Пасха у нас, что ли? Где же куличи?», но подчинялись. Грязь мучила всех, никого не миловала.

Кто же были мои случайные соседи по палатке? Бельшев, как начальник и любитель одиночества, жил отдельно. Донде, его заместитель, был душой группы геологоразведчиков. С Бельшевым у него существовало «джентельменское соглашение», им самим предложенное: «двух порядочных начальников, как и двух сволочей в одной группе быть не может при наличии половины рабочих из числа урок. Я буду сволочью, а вы иногда со мной соглашайтесь, а иногда ругайте меня, остальное предоставьте мне». Так они и жили. Донде умел потребовать, порой поддеть, кого надо, отвлечь от бытовых будней, с ним как-то становилось веселее, что действовало прекрасно на всех без исключения. В его палатке мы и расположились. Второй — рабочий уралец Павел Боровков, со щек которого даже цинга не могла согнать румянца, хотя тело покрывалось цинготными пятнами и сыпью. Он был по призванию хозяйственник и рукоделец, на заводе мастер высокой квалификации и партиец. Играл в карты, но за неимением партнеров среди нас, был молчалив и покладист. Звали его все Павло. Совсем недавно узнала, что Боровков долго жил на Инте, работал по вольному найму, начал пить и чуть не спился. Затем уехал куда-то на Урал, там был вновь арестован в 1950 году и получил 25 лет. Дальнейшая судьба его не известна. С нами в палатке был и заведомый стукач Аркадий Певзнер. В условиях тайги и палатки мы не придали этому особого значения, но Борис, подшучивая, случалось, заявлял: «Аркашка, выйди, а то мы тебе слишком быстро карьеру дадим сделать, тема подходящая». Тот краснел и лепетал: «Ложь, ложь, поганая ложь», но под любым предлогом выбирался из палатки. Непосредственным соседом его был Павло. Видимо, желая сам себя оправдать, Певзнер пускался с ним в туманные разглагольствования о том, что народ, дескать, идет столбовой дорогой революции, а мы помимо воли оказались препятствием и пр., и пр. Но Павло резко обрывал его: «Ты можешь не считать

себя народом, твое дело, а я и сам народ, и все здесь народ, а не быдло». Четвертым был ленинградский инженер Иван Субботин, милый и образованный человек, о котором знаю меньше, чем о других. В отношении меня все они были добрыми товарищами, рыцарями без страха и упрека, и я среди них не испытала и тени неловкости или напряжения.

Попала к нам от вольных тоненькая книжечка «Русские женщины» Некрасова. Читали ее вслух по очереди и без конца, снова и снова, всегда с одинаковым волнением и чувством сначала по книге, а потом на память. Когда голос у чтеца начинал дрожать, продолжал следующий. Внук мой в 15 лет отзывается о Некрасове пренебрежительно. Молодой литературовед, присутствовавший при этом высказывании, посочувствовал ему. Мне же вспомнился чудесный Некрасов в тайге, проверка поэзии по другому счету:

И за полночь правнуки ваши о вас
Беседы не кончат с друзьями.
Они им покажут, вздохнув от души,
Черты незабвенные ваши,
И в память прабабки, погибшей в глуши,
Осушатся полные чаши!

Правнуки? Может быть, но не внуки.

Палаточный экземпляр «Русских женщин» удалось сохранить и вынести из лагеря Борису Донде, и хранился он у него, как ценная реликвия: «Потом, потом расскажут нашу быль...»

В далекой глуши, в тайге, казалось бы, после рабочего дня должна наступить тишина. Но тишины не было. Происходило непрерывное пробуждение природы, земли. Однажды ночью все поднялись от какого-то нового небывалого шума, как будто эскадрилья самолетов где-то высоко реяла над нами. Шум становился могучим, близким. Обитатели землянок вылезли на снег и смотрели в небо, где бесконечной вереницей треугольников летели стаи пернатых. Их было необозримое множество. Где-то южнее тронулся лед, потеплело и по невидимому сигналу начался перелет птиц. Днем мы уже замечали появление редких стаяк разведчиков. Теперь же стаи хлынули лавиной. Гул их крыльев казался сильнее шума моторов. Гортанные крики заполняли пространство. Небо из светлого превратилось в черное, и только розовые облака окрашивали крылья птиц. Постепенно постигалась продуманная стройность и организованность перелета. Это так же удивительно, как гармония формы и окрасок цветов, как расцветка крыльев бабочек или стрекоз, как другие разумно-целесообразные явления природы. Природа перестает нас поражать, как нечто привычное. Но бывают

моменты просветления, когда ничто не становится между тобой и ею и тогда замечаешь совершенную непревзойденную гармоничность не тронутой рукой человека природы и преклонишься перед ней, как перед чудом. До нас доносилось курлыканье высоко реющих журавлиных стай, под ними летели гагары, пониже летели гуси, одна стая за другой такими же правильными треугольниками, заканчиваясь цепочкой охраны с одного бока. Еще ниже летят, враз поднимая крылья, более мелкими треугольниками, утки самых различных пород, совсем низко стайки чирков, готовых приводниться в любую минуту и отдохнуть. Ведь и этим малышам надо пролететь десятки тысяч километров пути. Другие ищут сушу, островки, а для их отдыха хороша и вода. Где-то в пути есть у птиц излюбленные места остановок, но не здесь. Мимо нас они летели и летели бесконечными зигзагами перелетающих треугольников, не теряя порядок и строя. Массовый перелет продолжался суток пять-шесть, после чего стаи появлялись на час-другой, затем — отдельные отставшие и, наконец, совсем исчезли. Тогда усилилось таяние снегов, и все звуки заглушила неумолчная музыка воды. Она падает каплями, льется струйками, журчит в проталинах, шумит под снегом, шуршит, сбегая тонкими змейками с пригорков, грохочет, низвергаясь с горы в низины, булькает в ложбинах, хлюпает под ногами. И, наконец, показывается мокрая, прижатая за долгую зиму снегами, прилизанная водой земля. Она быстро обсыхает. Надо уходить на Сивую Маску. Провожал Бельшев, пользовавшийся правом вольного хождения. Он моложе многих лет на восемь. Сидит по каким-то делам Академии наук, хотя не успел закончить Ленинградский университет. Белая ворона среди относительно однородной массы. Политическая проблематика ему чужда, избегает и разговоров на политические темы. Вовсе не потому, что страшится, нет, просто он ими не живет. Держится независимо, даже протестантски. Достаточно смел в условиях лагеря. По взглядам, отношению к людям, к жизни он архаичен, как бы высовывается из века. Зато нравственные принципы в нем незыблемы, твердые, рыцарские. Его дразнят «голубой кровью», но это его несколько не задевает. Его прадед был крепостным, отец — профессор Томского университета. По внешности можно заподозрить, что где-то произошло смешение кровей. Внешность аристократическая, глаза волоокские, нос с горбинкой, изящен, красив холеной красотой. Одет прекрасно благодаря отцу и особому умению не быть раскуренным урками. Среди нас он единственный в таком одеянии — кожаная куртка на меху, меховая шапка, на ногах оленьи липты и унты до пояса, а рубашку украшает галстук(!), забытая принадлежность мужской одежды. Природу

знает, любит, чувствует себя в ней по-хозяйски, умеет задуматься, понять и решить вопросы, которые она ставит. С природой ему легче найти общий язык, чем с людьми. Он романтичен, но романтика его акмеистична. Сейчас он доктор наук, одонтолог, по-гегелиански обожествил науку, изолировав себя и ее по возможности от людей. Как-то говорил, что идеал женщины — маленькое, изящное, хрупкое создание, однако женился на женщине высокой, как и он, но гораздо более земной, прочной и любящей простые дела и вещи. Тогда он был очень молод, мужчины называли его «восторженный геолог», а женщины испытывали его рыцарские чувства. В Кочмесе появилась очаровательная Ирина Гогуа, наполовину полька, наполовину грузинка. Она была отправлена на раскорчевку леса вместе с нами. Борис пожалел ее красу. Посмеиваясь, Муся Шлыкова предложила: «Прекрасный рыпась, вы можете получить рыцарское посвящение от дамы вашего сердца, если сработаете за нее норму на раскорчевке леса и обдирке моха», на что он ответил: «Меня немедленно лишат рыцарского сана, как только увидят в моих руках вместо рапиры и меча ваши адские инструменты — кайло, вилы, топор и лопату». Бельшев был в группе первых геологов, разрабатывавших угольные шахты на Инте. В жизни нередко случаются парадоксальные встречи: начальник Воркутлага Барабанов присутствовал на защите Бельшевым докторской диссертации в Алма-Ате, и они узнали друг друга.

Через 27 лет после весновки под Сивой Маской получила из Иркутска в Ленинград письмо от Бориса Федоровича. До его освобождения в 1939 г. мы еще столкнулись в лагере. О лагере он вспоминает даже с гордостью, но лагерь наложило на него и на его психику глубокий отпечаток.

Всегда казалось, что на севере весна замедленная. Вовсе нет! Весна в Заполярье стремительная, сказочно спешная, хотя и не пышная. Солнце не заходит. Светло круглые сутки. В детстве нам покупали конвертики с японскими или китайскими фокусами — маленькие кружочки и палочки из цветной стружки. Опустить их в воду, и на глазах они превращались в чудесные цветы, веточки, чашечки, фигурки. Точно то же происходило с лесом на обратном пути на Сивую Маску. Волшебство — иного слова не придумаешь.

С вечера деревья и кустарники стояли еще обнаженные. Короткий сон, недолгие сборы и я в лесу. Наст плохо держит даже поутру. Ветки подпухли и приобрели новый оттенок. По пути лес магически распускался и зеленел. Зеленъ нежная, свернутая в трубочки, потом блестящая, чуть более сочных тонов. Ветки на глазах уплотнялись, зрели, наливались. Не только видела, но и слышала, как лопаются почки,

распускаются листья, шевелятся травы и мхи, глотают соки земли. Потом звуки леса потонули в шумах приблизившейся реки и начавшегося ледохода.

Вот и Сивая Маска — убогое жалкое людское жилье. Снова лагерь. Середина июня.

Прошло девять месяцев зимы на Сивой Маске. Прошел год с лишним нашего заключения. По числу зека около 230 лет, отнятых у людей только на одной заброшенной, никому неизвестной Сивой Маске. А сколько таких «сивых масок», сколько таких лагерных центров, как Воркута?

Только за одну зиму черные цепочки заключенных, прошедших на Воркуту мимо нас, превратились в большую колонну. Все в возрасте 30—40 лет. Каждый порознь и все вместе могли бы они поднять на своих плечах великую ношу полезных дел, а им предуготована судьба стать горою трупов.

Ценность одной жизни безмерна. Гибель каждого во цвете лет — горе. Здесь погибали не отдельные человеческие жизни, погибала прекрасная лучшая часть революционного поколения. Можно ли измерить ценность этих потерь? Их духовная страстность рождала творчество. Их пламенное слово было набатом революции в момент ее становления и побед. Их высокие моральные качества являлись зародышем нравственных начал будущего. Они — наша эпоха в период наивысшего взлета.

Их изъяли, убрали с земли, могилы их никому неизвестны. И память о них хотят стереть с лица земли, выскоблить, изгладить, умертвить, опорочить. Зачем? Что останется людям и времени, если мы сознательно будем заглушать память об оруженосцах и творцах революции? Понесли убийцы кару или не понесли — не суть важна. Сама жизнь зло и жестоко мстит за них: слабеет пламя светильников общественной мысли, общественные науки с позиций критически-революционных скатываются на позиции консервативно-догматические, меркнет огонь политического темперамента и романтики. Размагничены основные полюсы нравственной жизни. Их гибель была бы бессмысленна, если бы не думать, что накал идей поколения революции и нравственная чистота ее страстотерпцев не пробьет дорогу в будущее.

Со вскрытием реки пришел приказ отправить женщин с Сивой Маски. Куда — тайна, как обычно. Не все ли равно? Знаем, что не вверх, не на Воркуту. До Абези нас с Дорой довез Г. П. Сафронов, тот самый, который советовал Николаю Игнатьевичу выволить меня с Сивой любыми средствами. Он «кртд», но очень нужен как специалист и для него сделано исключение — работает на изыскании железнодорожной трассы Чибью — Воркута. По ряду признаков и со слов товарищей Сафронов не выдержал такого искуса и соблазна, стал человеком нейтральным, отдалившимся от товарищей. Возможно. Он был человек запряганный, скрытный, сдержанный, но тогда относился к нам дружелюбно. Прощаясь, сказал: «Напишите Н. И., что все же я вас вывез с Сивой Маски на своей лодке». (В дальнейшем он оказался далеко не на высоте.)

Из Абези следовали уже под конвоем на катерочке вчетвером. Присоединили Мусю Шлыкову и Фриду Фаянс, с которыми нас прочно спаяла не только лагерная жизнь в Кочмесе, но и дружба. Две небольшие фигурки в ватных брюках и телогрейках. На Фриде все хорошо пригнано, аккуратно подшито, точно по ней скроено. На Мусе одежда болтается, заметно, что одежда ей не впору и что Мусю это нисколько не тревожит. Фрида суетится, педантично собирая свои и Мусины пожитки, придавая сборам значение важного события. Муся снисходительно улыбается, так как ей это безразлично, уговаривает Фриду не волноваться и быстрыми нервными движениями маленьких рук и пальцев свертывает коротенькую махорочную сигарку.

Фрида миловидная, изящная, близорукая брюнетка с румянцем во всю щеку. К сожалению, она поминутно щурится, что портит ее и скрывает выразительные глаза. Она москвичка, химик по образованию, остроумна и скрупулезно честна, порой до утомительного для окружающих ригоризма. На воле есть брат и сестра, но она решительно с ними порвала, боясь их скомпрометировать. Совершенно одинокая. За зиму настолько привязалась к Мусе, что возможная разлука с ней представляется ей непереживаемой трагедией. Отсюда ревнивая опека и заботливое внимание к Мусе.

У Муси непокорные слегка вьющиеся стриженные волосы. Да она и вся непокорная. Светлые глаза. Внешность не бросающаяся, черты лица неправильные, но мимо нее не пройдешь равнодушно, есть в ней какая-то прелесть — то ли в живости, то ли в выразительности, то ли в речи, в желании за-

острить любую мысль. Суждения тоже решительные и свидетельствующие о привычке самостоятельно думать и о постоянном горении. С первых минут знакомства меня потянуло к ней. В дальнейшем сошлись близко, хотя нередко спорили, иногда до вспышек, после которых пробегал холодок. Вскоре, однако, вновь устанавливался тесный контакт, а в лагерном поведении и действиях, не сговариваясь, всегда шли рядом. Она была эмоциональна и импульсивна и в то же время мужественна и неколебима в вопросах принципиальных.

— Так в какой же «земной рай» (Кочмес) нас везут? — спрашивает Муся. — Впрочем, не сожалею — лучше уж быть бездомной бродячей собакой в лагере, чем прижиться, как кошка, к какому-нибудь одному лагпункту.

Она — волжанка, аспирантка-филолог горьковского пединститута. В ней часто вспыхивает динамит возмущения и протеста. Отключившись от обстановки, с удовольствием переносится в область литературы, воспоминаний, эпизодов студенческой и аспирантской жизни. Муж ее пока на воле с десятилетней дочкой Иришей или как ее называет Муся — Дидей. Муж пытался получить с ней свидание в Архангельской пересылке, что очень ее тревожит.

В аспирантуре по философии она работала с красным профессором Фуртичевым и очень увлекалась занятиями с ним. Этого было вполне достаточно, чтобы после ареста Фуртичева выписать ордер и на Мусю. Срок три года. Не успели приехать в Кочмес, как Диди сообщила, что папа тоже арестован. Виктор Шлыков, ее муж, побывав в Архангельске, совершил тем самым преступление. Он получил пять лет лагерей, куда попал в полосу расстрелов и погиб в начале 1939 года. Это совершалось совсем просто, неправдоподобно просто — что выписать пайку для «зека», то и пулю — все делалось с заученным равнодушием. В отношении «крт д» в тот период не могло быть никаких сомнений. Слепая функция подчинения распоряжениям сверху: приказано — выполнено. И все! Нет человека, ранее помеченного галочкой, в очередном списке.

У Муси прекрасная память. «Евгения Онегина» помнит целиком, как и многое другое. Книг Пушкина в лагере не было, но Муся читала его с клубной сцены. Плыдем по реке. Смотри на очитившуюся от льда поверхность тихой реки, на нежную зелень леса, она медленно произносит:

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменили ей всечасно,
Что обманула нас она;

Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой...

Неправда, не истлели...

— Фрида, ну для чего ты копошишься?— срывает Муся свое смятение на Фриде.

— Оставь меня в покое,— раздражается в свою очередь Фрида.— Для тебя стихи, а для меня порядок утверждает человеческое начало; не могу же я свои пробирки, формулы и колбы таскать за собой в голове, как ты стихи...

Муся пережила лагерь, смерть мужа, вернулась на волю, защитила диссертацию, металась из города в город. Много пишет, покоряет студентов страстностью и правдоискательством, но сохранила вечную неуспокоенность, терзания, неудовлетворенность, душевную неустроенность тех лет по сей день. И все тот же порох неугасающего протеста. Она умерла в 1977 году.

Фрида, выбитая из колеи логического мышления и стерильности лабораторных опытов, внезапно окунулась в жизнь неразрешимых противоречий, острейших углов и бездны грязи и крови. Она растерялась, не выдержала. Она моложе нас трех, родилась в 1909 году, мир науки ей представлялся яснее и проще того, который она познавала принудительно. Она заболела цингой, затем диабетом, наконец, сошла с ума и умерла в страданиях и голоде в лагере. Целомудренно честная, она под конец жизни, со слов товарищей, в отсутствие заключенных шарילה по чужим койкам, рылась в чужих вещах в поисках пищи, бывала неряшлива, неопрятна. В больницу ее не положили как хроника. Все это не вяжется с Фридой. Не могу себе представить такой деградации. Однако рассказ о ней — правда. Помню, как на работе в строительной бригаде Фрида близорукими глазами тщательно и придирчиво рассматривала срез сосны при повале, линию ряда стружки на крыше, узоры дранки под штукатурку, ровность длины самодельных гвоздей... Это порой бесило нас, но Фрида объясняла: «Человек должен все делать безукоризненно!» «Почему,— недоумевал кто-нибудь,— даже в неволе?» «Безусловно,— отвечала она,— не хочешь — не делай совсем, так будет честнее».

У нее имелось свое мерило ценностей, но ее жизнь была оценена ни во что.

По притоку реки Усы подвозят к Кочмесу. Четыре вышки. Четыре вохровца с автоматами. Столбы, обтянутые проволокой. Зона. Ворота. У ворот охрана.

Лагерная зона! Прошла уже тюрьмы, проволоку в несколько рядов, вышки пересылок, овчарок на пешем этапе, нависшее ожидание смерти, многое другое, а в постоянном оцеплении еще не жила. Казалось бы, не велика разница — с зоной — без зоны, тот же лагерь, но она ощутима психологически. Зона — гетто и клетка одновременно. В гетто нет проволоки, но случись что-либо с жителем гетто за его пределами — никто в ответе не будет, но в гетто может зайти смельчак со стороны. В клетку не зайдет никто добровольно, разве что начальник — дрессировщик. Зона — пояс отчуждения, предел движения, узкая сфера, за которой для «зека» нет ничего. Маленький клочок поверхности, а вся земля под запретом. Граница всех возможностей. Проволокой отгорожена всякая попытка вторгнуться извне, проникнуть внутрь. Уж не забегут, как на Сивой Маске, люди с этапов, не забредет случайно, хоть и с опаской, оленевод или закутанный в одежды из оленьих шкур охотник с глухарем за плечами. Вышедший за зону без пропуска — мишень для стрелка. А иначе — зачем же ему здесь стоять? Мир замкнут на замках за проволокой.

Привезли нас четырех вне этапа. Мест нет. Сунули в барак урок. Они решили ошеломить нас с первой минуты полным арсеналом своих словесных аргументов и обычаев. В дальнейшем в этот барак вселили многих политических, пока же четверо — среди спевшейся компании:

— Девочки! Шикарно! Нас осчастливили прибытием политички. Осчастливим же и мы их, по-братски разделим их имущество и угостим! Добро пожаловать, фраерши (то есть не уголовные), — кривляясь орала дневальная Лихолат, вульгарная и, как потом оказалось, умная одесская «бандерша» (кличка сохранила ее профессию). Черные брюки, яркая шелковая блузка, выпирающий бюст, завитые волосы, свистящий, как кнут, мат.

— Сифка, отведи номер!

С нар вскочила девчонка лет 16, по пояс голая, с провалившимся носом. Картава и пуская слюни, она стала выделять перед нами неповторимые по гнусности движения под хохот всей своры. Со всех нар соскакивали женщины, падкие на развлечения, с неистощимым запасом мата. Никто не молчал, кроме нас, все орали.

Жилищем служила конюшня. Кочмес проектировался как овощно-животноводческий совхоз. Конюшни строились для лошадей, но наплыв заключенных заставил превратить их в бараки, что было для заключенных не так плохо: ведь лошадей не поместишь в низенькое помещение, да и лес должен быть добротный, не то лошади передохнут в полярных условиях. Правда, мало света и холодно, но зато много

воздуха и пока не грязно. Барак еще не заселен и нам досталась целая каюта с двумя половинками вагонок. Мы с Дорой расположились внизу, наверху Фрида и Муся. Рядом со мной, по сути на одних нарах, жила «Сифка», отделены друг от друга мы с ней были дощечкой в 10 сантиметров высоты. Не раз потом снимала я ее руку или ногу со своего одеяла. Болезнь ее уже не была заразна, так как перешла в третью стадию, но я не испытывала удовольствия от такого соседства. Урки никогда рядом с ней не жили.

Почему же мы не протестовали? Потому что в наших условиях полного бесправия это было невозможно и бессмысленно — начальник ни за что не изменил бы своего решения, а урки избили бы нас до полусмерти, обворовали и ни одна живая душа за нас бы не заступилась. Урки и сами по себе разнузданы и беспощадны, а в отношении политических они целой системой мероприятий со стороны всех звеньев лагерного начальства были натравлены и вооружены против нас. Все кланом, они ненавидели политических за то, что те работали, тогда как урки работали, когда считали это выгодным или удобным, но далеко не все.

Не успели мы очухаться от приема, как влетели вохровцы для «шмона», то есть — обыска. Бесцеремонно, нагло, грубо, произвели личный обыск. Командировка считалась женской, но женской охраны, конечно, не было. Затем расшвыряли все вещи, забрали иголки, шпильки, карандаши, перья, бумагу, рылись в волосах и платье. Во время «шмона» десятки воровских глаз то алчных, то равнодушных с нар разглядывали нас и вещи и примерялись к ним вслух. Муся имела неосторожность сказать нечто нелестное в адрес обитателей барака, за что поплатилась перед выходом на волю, через два года. Они ей этого не забыли и не простили. Желая доставить нам максимум удовольствий, Лихолат и парикмахерша Галя Смирнова спровоцировали свою банду на ночное бдение. Они заставили молодую блудницу «Сифку», лишенную малейшей стыдливости, циничную до мозга костей, рассказывать о своих похождениях истории, которые ни одному нормальному человеку попросту не могли прийти в голову, но и ни одна извращеннейшая фантазия не могла бы такого сочинить. Другие добавляли ее речи своим опытом. Пытка грязью и пошлостью. В ночь приезда никто из нас четырех не сомкнул глаз. Лежали безмолвно, нервы едва выдерживали, чтобы не кричать и не выть. Вступать в спор? Оргия опоганенных чувств и слов была устроена в нашу честь.

Наутро на поверку зашел комендант:

— Ну что, дневальная Лихолат, все в порядке?

— Так точно, гражданин начальник, каждая баба обеспечена мужиком! — ответила дневальная.

— И вновь прибывшие?

— Вновь прибывшие еще не обеспечены!

У коменданта с дневальной нашелся общий язык...

Все вместе уголовные невыносимы. Порознь они неоднородны: и жалкие искалеченные существа, и опустившиеся бабы. Попадают и Мальвы, и щедрые натуры. Но на что направлена их щедрость? Позже слышала, как одна из них, Дуся Виткова, часами сочиняла песни-поэмы о чьей-то загубленной жизни. Истории, которые она выпевала на мотивы жалостливых песен, бесконечно варьировались, но были однообразны, как ее незатейливая фантазия. Многие уголовники плакали, обуреваемые сочувствием к героине и жалостью к себе.

В целом — грязь, похоть, алчность, мат, лень и ничем не оправданное, но привитое сверху, чувство превосходства над нами, политическими. «Кусок троцкиста», «кусок дерьма», «убийцы нашего Кирова» — так именovali нас урки. Одним словом, лагерь. Так начался Кочмес.

Деление уголовных и политических на аристократов и плебеев в лагерях было повсеместным. Под это положение подводились политические основы, а Максим Горький, побывав на Беломорканале придал такому порядку идеологической вес в пылу покаяния за Капри и за все другое. В ладу ли со своей совестью или не в ладу, это уже не важно.

Приведу один из примеров привилегированности уголовников, достоверность которого не подлежит сомнению так же, как и то, что происходило на моих глазах в Кочмесе. Когда началась концентрация политических, в частности «кртд» на Воркуте, один из начальников — Сомов предварительно собрал всех «друзей народа», отпетых рецидивистов, которые уже жили на Воркуте, на специальное собрание. У некоторых из этих уголовников набиралось на душу до сорока лет. Срок складывался так: 10 — за убийство, 8 — за ограбление, 6 — за изнасилование и т. д. Словом, то была «славная» когорта! Сомов повел с ними деловую политическую беседу: «Сюда везут оголтелых контрреволюционеров, врагов народа, убийц Кирова. Они готовили убийство и других руководителей партии и народа, продавали родину направо и налево. Они будут продолжать свою грязную работу и здесь, среди вас: взрывать шахты, которые мы с вами строили своим потом, ломать оборудование и инструмент, отравлять пищу, вести подрывную агитацию, саботировать. Будьте бдительны! Мы доверяем вам, сынам народа! Мы надеемся на вас: вы обязаны сообщать нам о всех происках врагов, следить за ними днем и ночью, на работе и в бараке, в забое и в столовой. Ни один из них не должен скрыться от ваших взоров, мы доверяем вам и ждем вашей помощи.

Будьте же бдительны, друзья!» Кое-где слышалось в ответ: «А мы не лягавые!», «Идите к такой-то матери!»... Но в целом уголовный мир мазали по губам, а это щекотало их самолюбие.

Не успели наши товарищи зайти в лагерную зону, как их встретили свистом, матом, улюлюканьем и речами, в точности соответствовавшими начальническим наставлениям: «Мы вам покажем, найдем управу на злодеев, сделаем из вас лепешки с говном!.. А прежде всего раскурочим!» Словом, было где разгуляться разухабистой бандитской силе и фантазии. Так открыла объятия для «кртд» Воркута, лагерный центр, которому Кочмес был непосредственно подчинен. Наутро Фрида и Муся сдали все, что у них было, в каптерку, откуда вещей они уже не получили, урки все разворовали или уничтожили. Мы с Дорой все, вплоть до хлеба, оставляли на виду, у нас в бараке никто ничего не брал. Такова неписаная конституция уголовных.

Вскоре половину конюшни битком набили политическими, и урки притихли. Правда, раздражались скандалы между ними, вихрем носился в воздухе мат, в головы летели сковородки, кастрюльки и все, что попадало им под руки, но тон уже задавали не они.

За деревянной перегородкой, в другой половине конюшни, соседями нашими были лошади, так что терпкий запах конюшни выветрить было невозможно. Лошади с одной стороны, урки вперемешку с политическими — трудное сосуществование.

Жила среди нас остроумнейшая Надя Алмаз. Она умела найти во всем смешное, облегчающее, и тем самым скрасить окружающее. О жизни своей, большой и интересной, рассказывала не таясь и с блеском, то напряженно, то вызывая улыбку (мы знали друг друга по Киеву). Заберешься к ней на койку с ногами после работы и слушаешь. Рассказать ей было о чем. На воле Надя много лет подряд работала секретарем Профинтерна (Интернационала профсоюзов), была правой рукой Лозовского, имела выход на мировую рабочую печать, знала и дружила со многими коммунистами и деятелями рабочего движения. Несмотря на некрасивую внешность и базедову болезнь, она сохраняла большое очарование благодаря сочетанию умной иронии и душевности. Фамилия Алмаз как раз по ней. Однажды она позвала меня и прочла письмо матери: «Ты мне писала, Надюша, что живешь среди славного племени урок, происхождение коих очень древнее. Конечно, захотела узнать об этом племени. Обыскала все энциклопедические словари — и наши, советские, и старые дореволюционные, но нигде ничего о них не нашла. Сколько времени потратила, а пользы никакой, только пыль стерла

с твоих книг, да погоревала. Поэтому так и не знаю ни их обычаев, ни нравов. Но все равно я их уже люблю, раз ты живешь среди них». Надя добавила с обычной иронией: «О, небо! Ниспошли мне материнскую кротость, а ее любовь к ним раздели на нас двоих!»

Итак, Кочмес — центральная женская командировка северо-восточной части Воркутинских лагерей периода 1936—1941 годов. Здесь были сосредоточены тысячи женщин-политических. Уголовные потонули в лавине прибывающих осужденных по всем пунктам статьи 58. По социальному составу и положению они ничем не отличались от мужчин, осужденных по 58-й статье. Имелось одно различие — восемьдесят пять процентов из них были матери. Отцов обычно брали первыми, с арестом женщины дети оставались сиротами. Судьбы детей никого не интересовали, не трогали и не беспокоили. Их растыкивали по яслям и детдомам, нередко под другими фамилиями — Непомнящий, Безродный, Безпрозванный, Неведомская или названиям городов, откуда дети прибывали: Орлов, Житомирская, Владимиров и т. д. В лучшем случае дети оставались с бабушками на пепелищах бывших семей, без средств, убитые горем. Бабушкам мы обязаны сохранением жизни наших детей, их детским радостям, нашей связью с волей и тем ободряющим письмам, которые они нам дарили. Женщины, выросшие до революции, спасали детей тех родителей, которые совершили Октябрь! Их нет уже в живых. Пусть сила их духа передана будет нашим детям и внукам! Конечно, в руках у меня нет статистических данных, не знаю, какой процент детей, отданных в детдома, выжил и кем они стали, но я знаю поименно детей, которые умерли, сошли с ума, стали шизофрениками, уголовными, пытались покончить с собой или покончили самоубийством. А я ведь знаю малую толику от целого.

Жили мы на двухъярусных вагонках в неприспособленных для жилья помещениях, а при скоплении «зека» и на сплошных нарах. Штрафники или особо подозрительные переводились в одинарные палатки на 50—100 человек, а при морозе 45—50 градусов (в зоне вечной мерзлоты) в так называемые «сталактитовые пещеры», где громады сосулек свешивались с полотняного потолка, и при топке печи поливали нас струями своих оттаявших слез. К концу срока строительная бригада построила дом, в котором жила вместе с работниками конторы в более сносных условиях, но то было исключением из правила. Труд чрезвычайно тяжел и непосилен почти во всех звеньях — обработка полей в заполярных условиях, лесоповал, стройка, уборка, возка и пр.—

все при очень высоких нормах и на голодном пайке, снижавшемся до минимума в случае невыполнения нормы. За малым исключением все истощены, все больны цингой.

На свободе человек представлялся личностью, творцом, борцом, деятелем, частицей мироздания. В лагере, значит и в Кочмесе, он «зек», лишенный свободы, рабочий скот, облаченный в штаны и бушлаты независимо от пола и возраста. Мало того, его всеми силами, всеми способами, всеми неправдами пытаются лишить воли и собственного достоинства. Человеческое и сказывается в том, как с какой энергией и упорством заключенный этому сопротивляется. Сопротивление внутреннее, незримое, но решающее для каждого.

Времени нет, нет и часов, есть проверки, подъемы, разводы, отбои, обыски, карцеры и работа. Звякает обух топора по железному болту — подъем! Нас четверых, как здоровых и молодых, зачисляют в женскую строительную бригаду, и мы становимся строителями Кочмеса.

Пережитое нашим поколением страшно вовсе не одними трудностями, страшно бессмысленностью своей. Стройка, какой бы она ни была, включает элемент созидания, то есть нечто заманчивое, воодушевляющее. Но при обязательном условии: совершенно необходимо знать, что твоя работа нужна обществу, людям, чтобы за словом «нужно» брезжила вера в завтрашний день и имелись общественные побуждения. Тогда тайга, тундра, пустыня могут стать привлекательнее любой столицы. Именно этого и не хватало. Работали, чтобы существовать. Жизнь и труд не как нравственная первооснова, а только как спасение.

На школьных уроках дети слушали рассказы о том, что существует некий ядовитейший спрут, абстрагированный «враг народа», который в любую минуту готов выйти из засады и убить, предать, задушить, изменить родине и социализму. Спасение — в его уничтожении! «Усилим бдительность! Разоблачим двурушников!» — орало радио в домах, на площадях и перекрестках. Лозунги рабочих демонстраций к 1 Мая 1937 года призывали: «Искореним врагов народа, японо-германских, троцкистских вредителей и шпионов, смерть изменникам родины!».

Страстям не давали утихнуть, их подогревали, подкладывая умелой рукой топливо и раздувая разбушевавшееся пламя. В январе 1937 года прошел так называемый суд над так называемым «параллельным центром» Пятакова, Радека, Сокольников, Муралова и др. Тогда же обвинения были уже нацелены на Бухарина, Рыкова, Томского и бесконечную вереницу оклеветанных. В звании «врага народа» погибали партийные руководители и низовые организаторы, штатские и военные, экономисты и правоведы, писатели и поэ-

ты, рабочие и интеллигенты. Вчера мы учились по учебникам Солнцева, Аммона, Пашуканиса, Лукина, Фридлянда, Зайделя, Пионтковского, Дубыни, Ванага, Невского и многих других, сегодня все они — враги народа. Вчера мы в театре видели пьесы Киршона и Афиногенова, сегодня они под запретом как вражеские. В июне 1937 года «за измену родине и шпионаж» расстреляны крупнейшие руководители Красной Армии, ее полководцы и стратеги: Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков, Путна...

Как заключенные мы перестали быть возможными, потенциальными врагами, мы — осуждены как враги. Этого достаточно при фанатическом доверии к вождю и мистическом страхе перед его ненавистью. Что мог понять какой-нибудь лагерный начальник в том, что творилось, когда маршал Блюхер подписывал расстрел Тухачевского, чтобы назавтра подвергнуться его участи, а Михаил Кольцов писал статьи: «Троцкисты на службе у Франко», чтобы по приезде из Испании быть обвиненным в том же? Вали всех в кучу!

«Тракцисты, холера им в живот!» — горланили урки. Философия многих начальников лагпунктов мало отличалась от фразеологии уголовных. Тех же начальников, кто пытался послушаться, ожидала наша участь.

Разве при нашем суммарном умении, разносторонней квалификации и потенциальной, но совершенно задавленной, инициативе у нас не хватило бы энергии, ума или опыта справиться с любыми трудностями, преодолеть их и найти разумные решения всех вопросов стройки на любом участке? Ведь среди заключенных были рабочие со всех крупнейших предприятий Ленинграда и Москвы, Урала и Донбасса — отовсюду. Металлурги и шахтеры, электрики и механики, печатники и текстильщики, резинщики и пищевики, транспортники и связисты — люди всех специальностей умственного труда, партийные и беспартийные руководители и организаторы, директора и заведующие многих заводов и предприятий, вузов и школ, больниц и институтов, не говоря уж о простых, знающих работников всевозможных отраслей производства и труда. Работа, даже самая черная, не была одухотворена нужностью. Все делалось, как на зло, с единственной целью — принизить, обесценить личность.

Овощи выращивались исключительно для того, чтобы ими питались начальники, ВОХР и частично «зеки», в лучшем случае для отправки в другой лагпункт, то есть не было бы массовых арестов, не понадобился бы и Кочмес. То же в отношении скота, построек и прочее. Хозяйство носило чисто ойкосно-лагерный, замкнуто-лагерный характер. То, что мы осваивали север и постепенно обживали пункты будущей трассы, имело минимальное значение, не должно было нас

касаться. Лагерь для лагеря. Работа для применения раб-силы. Труд лишен всякого творческого смысла. Лагеря были не только «исправительные», но и трудовые, иначе бы мы не вынесли. Поскольку люди в силах были работать, труд поддерживал существование на земле. В нем заключалась возможность меньше думать, забыть себя и переключить страдание на движение до изнеможения. «Перевоспитывать» наш контингент трудом не имело смысла. В основу было положено не дело, а изъятие из жизни. В этом суть.

Итак, строительная бригада. Маленькая лагерная ячейка, но как молекула воды заключает в себе все физико-химические свойства, так стройбригада являлась отражением процессов, типичных для лагеря в целом.

Когда мы попали в бригаду, в ней уже имелось ядро во главе с бригадиром Жухиной. Прежде эта группка работала в совхозе Седью на полях, намучилась на комарах и мошке. Позднее их отправили на север, в Кочмес, где они решили не повторять своего полевого опыта еще в более тяжелых условиях и предложили начальнику организовать женскую бригаду строителей. До тех пор в Коми крае то была исключительно прерогатива мужчин. Начальнику мысль эта улыбнулась, командировка должна была стать исключительно женской. Ядро бригады составляли квалифицированные работницы-ленинградки, как на подбор, с крупных ленинградских заводов, все члены партии: Наташа Реброва, Оля Иванова, Клава Громова, Надя Макарова и несколько других. Они были однотипны и представляли определенную лагерную прослойку. Все и каждая хотели жить хотя бы в одном отношении подобно тому, как жили на воле последние три — четыре года: прежде всего не думать или делать вид, что ни в чем не сомневаются, и честно работать. Все, если бы сами не попали в лагеря, голосовали бы на партсобраниях за то, чтобы сидели другие, как кто-то неизбежно голосовал за них. После разгрома оппозиций все они прикусили языки и предпочитали, чтобы за них думал ЦК, горком, партком, секретарь ячейки. В лагере они продолжали работать, а думать за них предоставили НКВД (суррогату ЦК в их представлении) кроме того, начальнику лагпункта и... бригадиру Жухиной. За Жухиной они тянулись слепо и покорно, как нитка за иголкой. Последняя прекрасно распознала их породу, хорошо их вымуштровала и, когда надо было провести свою линию, умело пользовалась их исполнительностью. Такая прослойка выраженных партийных мещан существовала и на воле. К ним как нельзя лучше применимо слово «стертые», которым Герцен окрестил мещан в целом.

Лида Жухина, инженер-строитель из Саратова, была неплохим организатором на стройке, выжимала все,

что можно для бригады — пайку, более приличный барак, обмундирование. Она же была душой самодеятельности, актрисой, организатором хора. Не сомневаюсь, что она себя считала человеком идейным, хотя эта мнимая идейность равнялась изуверству, а лагерная позиция — подлости. Всем своим поведением она как бы узаконивала лагерный режим, обязательно поддерживала всякое, даже самое гнусное предложение начальства, была правой рукой КВЧ (культурно-воспитательной части), в обязанности которой входило постоянное наблюдение за умонастроением зеков. Для тех, кто казался подозрительным и неблагонадежным, у Жухиной имелся наготове трудный участок работы с невыполнимой нормой. Жухина на политические темы не разговаривала, но стоило ей прослышать, что на воле прошел какой-нибудь процесс, она как бригадир выдвигала встречный план работ в ответ на «измену врагов народа». В день отправки этапа на Воркуту — то были самые тяжкие месяцы, когда для всех стало ясно, что связано с отправкой, — Жухина в бараке строителей устраивала спевки или как-нибудь по-иному увеселяла бригаду. В годовщину смерти Ленина, в январе 1938 года, зная, что наша четверка находится под наблюдением у III-го отдела, Жухина сознательно выделила нам самую худшую и отдаленную делянку леса, чтобы подвести нас под рубрику саботажа. Она знала, что мы из кожи лезли вон, чтобы выполнить норму, ибо прекрасно сознавали, что нас ждет, Жухина понимала, что такая безделица зимой 1938 года может грозить нам катастрофой, однако ей предложили сделать и она не погнушалась выполнить. И она же с трибуны выкрикивала, что вся ее ударная бригада выполнила норму на 150—170%, а мы саботировали.

Жухина аплодировала после зачтения первого списка расстрелянных на Воркуте товарищей, выражая сочувствие лагерным расстрелам — этим многое сказано. Но в лагере и подлой труднее быть, нежели на воле. Однажды мы с Мусей четко выразили свое к ней отношение, Жухина не ответила как обычно — резко, а осела, нагнула голову и ушла. В конце срока она заболела жестокой неврастенией, а затем болезнью мозга, в которой наши врачи не разбирались. Крики ее из больницы оглашали весь лагерь. Жухиных тыщи и в лагере, и на воле, и в партийных аппаратах, и в институтах, и на заводах. Они пленники мифических представлений, из которых бессильны вырваться. Согласно мифу конца 1930-х годов враг вездесущ, как вездесущи были дьявол, черти и ведьмы средневековья. Да сгинут враги его! Враги бога, сверхчеловека, вседержителя. Приверженцам расовой теории мысль об истреблении евреев не страшна, даже благостна. Террористическому режиму нужны мишени. Не

наличие врагов народа породило террор, а террор породил необходимых ему врагов. Оппозиции так же были виновны в терроре Сталина, как евреи повинны в терроре Гитлера. Но не называйте это социализмом!

В тот первый день мы не знали ни Лиды Жухиной, ни ее бригады, но мы сразу заняли в ней особое положение, и наш энергичный бригадир управляла несколько лет по принципу — разделяй и властвуй, а мы оставались постоянной мишенью для ударов при ее делении бригады на агнцев и козлиц. Бригада — случайный конгломерат. Работали годами с утра до ночи, меняя пары, звенья, род занятий, и потому имели при желании время наблюдать друг за другом издали и вблизи.

Работнице стройбригады Тамаре Ивановой стукнуло 20 лет. Она удивительно хорошенькая и изящная. Ватные брюки не портят ее, а обтягивают крепкие ножки. Для работы на комарах выдали черный тюль. Мы натягивали его на каркас, чтобы он не прилипал к лицу, и сооружали нечто вроде шляп с полями. Нередко приходилось месить глину, навоз, песок для замеса во время штукатурки верхом на лошади. Работали по очереди, так как гарцевать на лошади по кругу без седла целый день слишком утомительное занятие. При этом навоз и глина облепят тебя с ног до кончиков волос. Когда же Тамара легко вскакивала на лошадь в шляпе «с вуалью», в ней было столько милой грациозной женственности, что все прозвали ее амазонкой, хотя к полудню она и покрывалась, как и все строительницы, навозной жижей и шлепками глины. Мы относились к ней по-матерински. Мужчины откровенно любовались ею, но Тамара никому не отдавала предпочтения. Она была зеленой студенткой и взята была с группой студентов первого курса саратовского университета. В лагерь отправлена с двоюродной сестрой — сокурсницей, которая заболела в тюрьме туберкулезом легких и умерла на втором промысле, под Чибью, через три месяца после начала лагерного срока. Тамара затосковала и напросилась на этап в Кочмес. Она приняла лагерь мужественно. Ей даже немного льстило, что она политзаключенная. В ней не было ничего натянутого или наигранного. Девичьему предчувствию радостного будущего не мешал даже лагерь. Все любили работать с ней в паре. Дурное отскакивало от нее. Молодое деревцо еще не пустило глубоких корней в землю, а сами корни не окрепли.

Удар был нанесен не по ее силенкам. Нанес его отец. В разговорах через каждые несколько слов Тамара вспоминала то отца, то мать: ждут они ее, горюют, но не сомневаются в близком возвращении, покупают, посылают не только то, что просит, но что и в голову не придет. По ее описанию,

отец глава в доме, способный инженер-путеец, идущий в гору, человек со связями. Мать состояла при нем и веса не имела. Незаметно Тамара рисовала портрет осмотрительно-го себялюбца и карьериста, но она не замечала его недостатков. Тамара — единственная дочь. «Папа гордился мной, любил бывать со мной всюду, папа выбрал вуз» и т. д. Тот же папа, видимо под соответствующим нажимом, написал ей беспощадно-циничное, небрежное, почти официальное письмо: *«Здравствуй! Только теперь узнал, что ты действительно враг народа, одна из тех, кто мешает, стоит на пути. Не прощаю себе, что не замечал этого за моими делами и за твоей детскостью. После всего, что мне стало известно, ты не можешь рассчитывать ни на письма, ни на поддержку с моей стороны. П. ИВАНОВ»*. В словах нет подтекста, обезличенные фразы, проявление общественной деморализации, повернутой в плоскость самых дорогих отношений отца к дочери. Вечером, не выдержав тяжести, которая на нее обрушилась, Тамара прочла письмо вслух. «Видимо,— сказала она,— дорога домой закрыта, заказана...» Ее точно подкосили, она сдавалась быстро, без сопротивления, никла, как тонкий стебелек. Она обособилась, ничто до нее не доходило.

Тамара раздумывала недолго. Дня через два бригада засыпала потолок. Вырытую мерзлую землю (стояла суровая зима) поднимали по сходням на носилках на крышу. Земля просыпалась, застывала комьями, мы спотыкались и скользили. Наконец, удалось приспособить блок, чтобы на веревке вытягивать ведра с землей наверх. Приладили его и ушли на небольшой «перекур». По возвращении застали Тамару повесившейся на блоке. Нетерпение, с которым она решилась осуществить задуманное, не дало ей времени на рассуждение, она не сообразила, что мы вернемся через несколько минут. Ждала удобного случая и нашла его. Девочка была еще теплая, веревка недавно затянулась. Тело болталось над провалом крыши. Аня Лукичева схватила ее на руки, другие распутывали узел. Ее быстро удалось вернуть к жизни, но реакция Тамары на возвращение к жизни — был ужас. Жить она не хотела. Раньше затаенно накапливалось отвращение к такой жизни, протест против несправедливости. Письмо послужило толчком, породило безнадежность, а то чувство чужды жизни, которое держало ее, как бы иссякло, выдохлось и перестало быть опорой. Она долго ходила с большим темным рубцом на тонкой шее, которую тщательно повязывала. Из бригады ее перевели на работу в канцелярию, а оттуда на Воркуту.

В бригаде работала еще одна студентка Аня Лукичева, биолог. М. А. Шлыкова знала ее по горьковскому пединституту. Аня много практичнее, трезвее Тамары. Она высокая,

сильная, миловидная. Вела себя сдержанно, с достоинством, но жизненную философию приспособлявала к изменившимся условиям. В отношении Жухиной была настроена критически. В бригаде была равна, ни с кем особенно не дружила. Как-то весной работали мы с ней вдвоем в лесу. Снег глубокий, а ветер и солнце весенние. Аня размякла и заговорила медленно и певуче: «Жизнь переломилась надвое, а я себя ломать не буду. Жизнь не кончилась, видоизменилась. Пройду лагерный «вуз», узнаю больше, чем сокурсницы с дипломом, а природы для изучения и тут предостаточно. Думаю остаться на севере. Меня не влечет назад. Не раз думала и всегда прихожу к одному выводу — значит, это не случайно. Достаточно одной ломки, вторая может стать смертельной. Могу показаться трусихой, но храбрость нужна и для решения остаться. Конечно, за пределами лагеря». Вскоре Аня пригласилась молодому завхозу из заключенных, непохожему малому, к концу срока вышла за него замуж. Уехали работать на одну из станций новой Воркутинской железной дороги. В течение пяти лет у них родилось трое детей. Она работает в лаборатории по вольному найму. Узнала о ней из письма, в конце которого она писала: «Поступила, наверно, правильно, поздно менять, но сильно тоскую по России, как будто я в изгнании».

Третья девушка пришла в бригаду строителей позднее, в 1939 году. Ей неполных 18 лет, студентка химтехникума. Арестована за встречи с иностранцем в ЦПКО, в Москве. Получила по ст. 58, п. 6 — десять лет. Через год полностью акклиматизировалась среди урок под кличкой «Верка-химик», развратилась до неузнаваемости. Мать же продолжала ей писать как Верочке, которую она отправила в лагерь со скамьи техникума, что служило поводом для шуток ее новых дружков. Ее куда-то увезли.

На тяжелой работе необходимо приладиться друг к другу, найти общий ритм, соотнести силы, быть терпимой к товарищам, так как сноровка разная, у некоторых ее совсем нет, а от нее зависит нагрузка на каждого и выполнение норм. Дора, например, выносливая и ловкая, работая на лесоповале со мной или с Мусей на пару, всегда тащила комель девятиметрового бревна. Если бы Мусю взвалила на плечо комель, то она с деревом вместе погрузилась в снег по горло. Вот и приноравливались кое-как. На женщинах лежала вся строительная работа, за исключением плотницкой, на которой имелся плотник и его помощник, а мы работали подсобницами. Еще двое мужчин командовали нами: печник и штукатур. Остальное делали женщины: рыли котлованы, карьеры в районе вечной мерзлоты и выкидывали землю из них на поверхность, таскали ее к объектам строи-

тельства и на потолок, заготавливали и обрабатывали весь стройматериал — баланы, доски, финстружку, гвозди, строили дома, крыли крыши, клали печи, штукатурили постройки снаружи и изнутри, белили, красили. Будущие дома рождались в лесу и руками женщин-демиургов превращались в жилые помещения: баню, ясли, бараки, кухню, столовую, клуб, скотные дворы, электростанцию, больницу. Почти весь Кочмес построен женской бригадой.

Обух топора бьет о железный болт — подъем! Кромешная тьма. Развод. Поверка. Разнарядка. Холод. Неизменное ощущение внутренней пустоты под ложечкой от голода. Тьма не рассеивается. Чтобы разобраться в работах, нарядчик освещает дранку с записями фонарем «летучая мышь». Самое неприятное время суток — стоим и тонем в темноте, сливаемся с нею, едва различаем силуэты в шеренгах, морозный туман залезает под одежду, а время тянется мучительно долго. Мороз. Формально день должен активироваться при — 39°, но кто смотрит на градусник и где он висит? Скорей бы кончилась эта канитель! Заготовка лесоматериала производится далеко от лагпункта. Вчерашняя тропка занесена за ночь снегом, но все же мы ее чуем нюхом, иначе в лес не пробраться. Метель. Пуржит. Топаем, увязаем в снегу, но бредем, вооруженные пилами и топорами.

Годные на дело деревья расположены не близко одно от другого, ищем их на бывших вырубках в снегу, погружаясь по грудь, а бывает и по шею. Вытаптываем в полутьме площадку под деревом, пилим, потеем. Остановиться нельзя, сейчас же зазнобит от стужи. Чтобы дерево хорошо упало, надо расчистить и обширное место для его падения, затем обрубить сучья, распилить на нужные размеры и снести в штабель. Нормы высокие, рассчитанные на мужскую силу, скидок для женщин нет. На перерыв не ходим — далеко и трудно. Не раз обессиливаем за день, не раз падаем с баланами на плечах под тяжестью ноши, разбиваем руки и ноги. Из нашей четверки быстрее всех выбивается из сил Муся, она тонула в снегу и ненавидела его лютой ненавистью. «Черт со всем: и с лесом, и с нормой, и с жизнью заодно, не могу больше, я задыхаюсь», — бормотала Муся. Потом выкарабкивалась, с усилием скручивала негнушимися пальцами самокрутку, глубоко затягивалась, отряхивалась и, уже улыбаясь, говорила: «Ну, пошли! Ведь я же была физкультурница... Забываю, что лес за зоной — дыхание свободы!»

На перерыв сходились в условленном месте. На облюбованную высокую ель или кедр со всех сторон, с помощью топоров и пил, наваливали деревья и разжигали гигантский костер вышиной в трехэтажный дом. Из карманов брюк вы-

таскивали по замерзшему в камень куску хлеба с заранее заготовленный дыркой, продевали через дырку ветку в хлеб, протягивали его к пламени и изготовляли чудесно пахнущий обед с поджаренной корочкой. Обжигаемся от жадности. Промерзшие деревья трещат, как высушенная на печи лучина. Костер разгорается весело, и скоро столб яркого пламени пылает в зимнем лесу. С бровей и платков струится оттаявший лед, смешиваясь с каплями пота. У нас не лица, а красные рожи и на них написано блаженство. Можно отдыхать, глотнуть без напряжения лесной воздух с морозом, колющий иголочками, как сельтерская вода. Красота леса, которая совсем недавно была затоптана надрывной работой, неожиданно дает радостное жизнеощущение. Непрерывно топчемся на месте, чтобы не остыть, это напоминает шаманские пляски или священный ритуал приема пищи у дикарей. Через 40—45 минут повторение утренней порции изматывающих работ и возвращение в той же темноте, в какой начинался рабочий день. В перспективе — слабо освещенный барак, нары-вагонки, смрад от просушиваемой одежды и валенок, чтобы завтра начать все сначала. Но мы уже привыкли к тяжелому труду и через два часа приходим в норму; лежим, думаем, изредка попадает книга. Посылка книг воспрещена, библиотеки нет. Как же попадала к нам книга? Через Леночку Данилову. Отец ее — начальник лагеря на Медвежьей горе. Он добился разрешения через ГУЛАГ на посылку книг и на получение их Леной. Помню, оказался у меня в руках журнал (кажется, «Знамя») с поэмой Константина Симонова «Пять страниц», первые его печатные строки, которые прочла. Стихи понравились, взволновали, наперегонки с Мусей выучили их к утру на память, а в перерыве, в лесу, на следующий день читали их остальным.

Другой наряд от бригадира — на строжку и фасовку баланов. Балан надо обстругать с четырех сторон и со всех сторон сделать фаски, из них закладывают сруб зданий. Толстые огромные бревна лежат в куче на земле. Они насквозь промерзшие. Откатываем их кайлами и ломами и садимся на них верхом на земле друг против друга. Работаем рубанком-медведкой. С непривычки мышцы рук и ног, спина и грудь начинают ломить и жечь через полчаса. Напряжение неимоверно. Привычка никак не вырабатывается. Ватные брюки вскоре превращаются в промерзший каркас и, когда мы пересаживаемся, они звенят, как металл. Тяжеленное бревно четыре раза переворачиваем, а таких бревен за день надо сделать девять. Железка в колодке рубанка быстро тупится, лезвие крошится, ломается, его все время пригоняем и подтачиваем на морозе. Бежать в слесарку — норму не вы-

полнишь. Естественные последствия — опущение желудка и других органов. Однажды с Лизой Дроновой произошел несчастный случай на строжке, и ее увезли на саночках всю в крови. Обычно врачи-заключенные делают все возможное, чтобы помочь товарищам, и уж раз-то в месяц отпускают женщин на один день на более легкие работы, но нам попалась исключительная стерва по фамилии Рождественская: «Никаких поблажек! Что за трудности? Руками туда-сюда, туда-сюда, боли мышечные, значит, не вредные». За заслуги она работала всегда врачом, тогда как многие квалифицированные доктора переводились на общие работы. Ко всем женщинам Рождественская обращалась с такими жалобами: «У вас дети без матери, ну и что? Я одна, как перст; дети ваши выживут, а у меня шесть тысяч на книжке пропадут!» А между прочим была она членом партии до ареста и считала, что продолжает им оставаться.

Крыть крыши летом, когда наверху гуляет ветерок и отгоняет тучи комаров и мошки, тогда как внизу они облепляют тебя и сосут, как вампиры, не так уж плохо. Гонишь в одном ряду с товарищами погонные метры дранки, все выше и выше взбираешься к коньку, а там — верхом на две доски конька и посматриваешь сверху вниз на кочмесский мурaveйник. Но зимой крыть крыши — пытка. Если финская стружка заготовлена и промерзла заранее — еще полбеды, но если она свежая, а обычно так оно и бывало, — когда крышу крыть, тогда и дранку готовить, — то пальцы на морозе примерзают к теплomu влажному дереву, затем прилипают к самодельным гвоздям из проволоки и отрывать их приходится с кожей и кровью. Ссадины к концу дня покрывают все пальцы. В рукавицах работать нельзя, так как проволочные гвозди в них не удержишь. Делали и специальные перчатки, но пальцы так или иначе должны быть голыми для работы. Часто выюжит, метет, стынут ноги, слипаются ресницы от дыхания и слезящихся глаз. Не позавидуешь! Случалась и горячая работа — перекладка печей, особенно на кухне, в неостывшем жерле. Бригадир-печник был по призванию и по профессии иконописцем. Онуфрий Владимирович Яковлев называл себя «муромским богомазом», сидел по церковно-религиозным делам, а занятие печным делом считал побочным и случайным, однако был в нем мастером. Говорил вкрадчиво, степенно, иносказаниями и загадочно, вплетая в речь церковные обороты. Со страстью говорил только о церковной живописи старинного подмосковья. К сожалению, рассказы его из памяти выскользнули за давностью и моей неосведомленностью. Пристрастие к живописи было у него искреннее и унаследованное от отцов. Запомнился его рассказ о том, как он учился: «Отроком не мог разрисовать

лик святого Петра, отец выгнал меня за это из дому и велел не являться, пока не обучусь писанию ликов и икон. Дед, тоже иконописец, посоветовал сходить в Киево-Печерскую лавру и в Троицкий монастырь, чтобы увидеть, как надо писать. Ходил я два года и больше, а когда пришел, все лики стали легко даваться».

К нам обращался вежливо, всегда на вы, примерно так: «Надежда, подайте мастерок, а вы, Клавдия, лезьте в печь, да не того жару бойтесь, что жжет извне, а того бойтесь, что изнутри жжет. Душа цела и сам цел». К Фриде, как к еврейке, обращался со следующими словами: «И вы, дочь бога и в вас Иисус Наввин во Израиле жив, лишь бы душою не кривили, так и кирпич бейте — прямо» и пр. Нередко в нем появлялось что-то поповское, затаенное, неприятное; под внешним смирением и елейностью проскальзывало озлобление. Библию знал, пугал пророчествами из Апокалипсиса и часто повторял одно и то же: «Помните меня и слова мои в год сорок первый». Работал по вдохновению — то медленно и равнодушно, то неистово и азартно, тогда сам лез в жерло недавно истопленной печи, повязав голову и лицо мокрой тряпкой, а поверх брезентом и клал печи неподражаемо легко и умело, заражая всех своей упоенностью делом. На вид не очень крепкий, он мог нагрузить себя двумя козелками кирпичей штук по 25 каждый и сбросить их с плеч играючи. В азарте работы он терял философичность речей и мрачность и мог даже затянуть разудалую песню. Тогда заметно становилось, что он не совсем тот, за кого себя выдает, и что он не мало прилагает ума и расчета, чтобы не выходить за рамки исполняемой роли.

Бригадир и учитель по штукатурной части — человек совершенно иного склада. Ярославский штукатур и маляр-профессионал Иван Степанович Степанов учил нас сначала добросовестности, но работал с прохладцей, лениво, а потом и совсем ничего не делал, ходил с объекта на объект и «показывал». Лагерная жизнь давно ему опротивела. Уголовных глубоко презирал, сам сидел по 58-й статье, но к политическим относился подозрительно, над религиозниками посмеивался, считал себя весьма хитрым: «Ивана Степановича на мякине не проведешь, не продашь за фунт колбасы, я хитра-а-й!» Но хитрости в нем особой не было. Он был прирожденный балагур и удовольствие получал исключительно от перекуров. Через каждый час он командовал: «Девки! Перекур с дремотой!» Во время перекуров наслаждался балагурством и хвалился своей жизнью под конец лагерного срока: «Бывало, чуть что, кричат: Степанов, на подмогу! И начальнику потрафь, подбели да с колером, и конюшню оштукатурь, и все прочее, а теперь у меня гарем штука-

туров и я в нем шах персидский!» После перекуров Степанов снова кричал: «Девки! Жми-нажимай, я вас выручил, мое дело сделано, кто меня выдаст, тому глаз вон». А сам шел спать.

Бригадир-плотник Семен Евдокимов степенный уралец, крестьянин средних лет, молчаливый, сосредоточенный. Делал все на совесть, крепко, прочно, надежно, как делали отцы, деды, как сам привык. Бревна пригонял в углах точно без зазоров при помощи глаз, рук, топора. Лицо глубоко изрыто оспой, кожа лица напоминала пчелиные соты, глаза смотрели в себя, а не на тех, с кем он говорил. Он не улыбался, не вступал в разговоры. В перерыв курил в стороне. Приказания его были коротки. Непонятливость и слабость в работе казалась ему нерадивостью, но замечания от него не услышишь, просто подходил, грубовато отстранял неумелую женщину и делал за нее сам. Никогда ни на одну не пожаловался. Его глазомером решалось будущее каждой стройки. Леса, сходни, стропила ставил сам, никому недоверяя, и потому несчастных случаев при нем на работе не было. И как человек он был надежный. Даже Паня Чернышова, которая ни к кому не могла приноровиться и постоянно нервничала до слез, приобретала уверенность и спокойствие под наблюдением нашего неразговорчивого бригадира-плотника.

В свободные дни летом Семен надевал светлую рубаху на выпуск с низко подпоясанным узким пояском. Волосы, спадавшие большой прядью на лоб, приглаживал и закладывал за ухо и расхаживал один по командировке, получая удовольствие от заслуженного отдыха. Накомарника не надевал — комары его не кусали. В приятельских отношениях состоял только с Иваном Тимофеевичем Богдановым, человеком заметным, настоящим русским самородком. Евдокимов настолько был замкнут, что к нему нельзя было подступиться, никому и в голову не приходило задавать ему вопросы на личные темы. Ум его проявлялся в работе. Когда я возвращалась на волю пешком по зимней дороге, спутником моим оказался Богданов, который ехал на лошади за грузом в Усть-Усу. От Кочмеса до Усть-Усы дорога дальняя рекой и лесом. На станках Иван Тимофеевич большей частью поджидал меня и не оставлял одну, жалел, хотя сроки поездки его подпирали. Времени для разговоров хватало. Как-то зашла речь о Семене.

— Какая у него статья? — любопытствовала я.

— А не все равно? Теперь-то уж не встретитесь.

— Как же — интересно, работали рядом, а ничего о человеке не известно.

— Зачем? Говорим мы с вами с разными статьями, а у вас с ним одна статья, да не поговорили ни разу.

— Догадывались, что не бытовик, а 58-я, но вот кто он — раскулаченный или религиозник — не разгадали.

— Ни тот ни другой. Говорю точно — ваша статья, кы-ры-ты-ды.

— Не может быть, вы ошибаетесь.

— Почему не может быть? Что ее трудно заработать? Не ошибаюсь, мы ведь соседи, уральцы, деревни наши близко одна от другой. Всю семью их знаю. Семья многодетная, одних сыновей пятеро, а девок не помню и сколько. Я и своих-то детей не считаю, нашелся — живи, — замечает он смеясь. — Первый сын Евдокимов Иван лет на десять старше Семена. Когда от Челябинска наступали чехословаки на Киштым, многие у нас тогда добровольцами пошли в Красную Армию, даже со своим оружием, что осталось с германской войны, целый вооруженный отряд. Иван Евдокимов руководил отрядом, Семену тогда, верно, было лет 18, тоже пошел. Оба брата дрались под Златоустом, оба уцелели. Иван в гору полез, поначалу в Екатеринбург, нынче Свердловск, потом в Москву, а Семен вернулся домой, крестьянствовал. Иван так ни разу дома не бывал, слух был, что учился, работал где-то далеко. Они все не болтливые. Семен женат, у него мальчонка, в колхозе плотничал. Меня раньше из деревни выпроводили, здесь с Семеном встретились и уж мне он сам сказал, что брата Ивана в Москве взяли, а его вскоре дома. Никакой он не раскулаченный, неверно думали. Думаете, раз крестьянин, значит кулак, твердозаданец или раскулаченный, среди крестьян тоже всякие статьи найдутся...

Мне пришлось упомянуть, что строительница Паня Чернышова не срабатывалась ни с кем. Она находилась в состоянии, близком к депрессии. Горе завладело целиком ее существом и не отпускало ее ни на мгновение. Она заставляла себя держаться линии благонамеренной части бригады, покоряться во всем Жухиной, но внезапно прорывался бунт по случайным поводам. Она и на других действовала угнетающе. В редкие спокойные минуты Паня дышала домовитостью, несовместимой с неуютным бытом, в котором не было и намека на домашность. Переделав все, что было можно, она бросалась со стоном на койку и вся содрогалась от рыданий. Женщин отстраняла и с мольбой произносила: «Не мешайте мне плакать!» Более подробно узнали о ней после прихода в Кочмес нашего этапа женщин из Марининских лагерей, где они просидели 2 года без права переписки. Пешком они шли от Котласа. В основном то были женщины с Кавказа, жены ответственных работников, идущие, за малым исключением, под рубрикой «член семьи врага народа» (чсвн), с

кликлой «наркомши». Многие из них — домохозяйки, но не мало врачей, учителей, художниц, инженеров и пр. Много красивых, самых разных — от дородных матрон до тоненьких и нежных мимоз. Весь двухтысячный путь — жуткие морозы, у всех по два года лишений за плечами, все без исключения поморожены. Не шутка — такой путь через тайгу, в основном по рекам, где негде укрыться от вьюг и метелей! Мучительный этап! Среди вновь прибывших и бакинки, знающие историю Чернышовой. Паня библиотечный работник. Муж — директор завода и член партии. Паня оставила работу и отдалась семье и воспитанию детей. По детским письмам, которые она получала, дети очень хорошие, заботливые, организованные, самостоятельные. Старшему мальчику 12 лет. Письма читала вслух с благоговением и гордостью, могла перечитывать их без конца.

Когда при очередном обыске у Чернышовой отобрали детские письма, она выкрикивала: «Бессердечные! Палачи! Убить вас мало!» Ее соседки обомлели, настолько это не вязалось с тихой Паней, а она стояла, комкала письма в руках и повторяла: «Не отдам палачам, не отдам!» Мы жили в разных бараках, сцены этой не видела, но слышала, что охрана оторопела, писем не взяла, швырнув отобранное Пани в грудь. Чернышова несколько дней болела и не выходила на работу. Когда она в 1940 году окончательно потеряла разум, тогда только поняли, что с самого начала пребывания в лагере она уже заболела психически. Бакинки между прочим говорили, что дома она получала призы за художественные вышивки и эстетику в быту... Что же произошло с Чернышовыми? В начале 1937 года арестовали мужа. Паня вернулась на работу в библиотеку и около года носила передачи в тюрьму, иногда передачи носил сынишка. На одиннадцатом месяце передачи перестали принимать. На все запросы отвечали, что он отправлен на суд. Куда — неизвестно. Так прошло два месяца. Тогда она решила не уходить из НКВД до тех пор, пока ей не ответят, где муж. Паня взяла детей и слонялась с ними около двух суток близ тюрьмы НКВД, не обращая внимания на угрозы. Наконец, какая-то женщина, презрев все запреты, сжалилась над ней, подошла и шепотом сказала по-азербайджански (Паня родилась и выросла в Баку): «Уходи домой, вся тюрьма, весь город знает, кроме тебя, что твой муж Чернышов уже два месяца назад выбросился из окна кабинета следователя. Он разбился насмерть. Уезжай из города. Береги детей».

Паня тут же на улице начала кричать, биться, буйствовать, перепуганные дети не отставали от нее. В карете скорой помощи их доставили домой. В ту же ночь ее арестовали, приписали троцкистскую группировку, хотя над тем, что

такое троцкизм, она никогда в жизни не задумывалась, дали 5 лет лагерей за «кр т д», детей увезли в детдом. Приезд бабинок ускорил ход ее болезни. В больнице Паня ничего не ела и повторяла: «Отправьте детям, они голодают». В больнице же она и погибла, отсидев всего 3 года вместо положенных пяти.

Помимо строительных работ, бригаду перебрасывали весной и осенью на авральные полевые работы, на остров по другую сторону реки, на посадку и уборку. Рабочий день длится 12—13 часов, на комарах и внаклонку с замерзшими, обледелыми овощами. Рабочие распухали с головы до ног, отекали и теряли людской облик и готовы были кусаться, как комары.

В наши обязанности входила также раскорчевка леса и обдирка моха и дерна на площадях под строительство. Раскорчевка производилась топором, дрыном и нашей силой. Одним концом веревки обвязывали себя, другим корни и тянули. Трещали веревки, набрякали шея, плечи, руки и ноги. Затем дерн со мхами подрубался широкой полосой со всех сторон и сворачивался несколькими женщинами, с полной выкладкой всех сил, в земляной ковер бархатной зеленью внутрь, и оттаскивался в сторону. И так целый день! Вторая половина суток — барак-казарма. От смрада, гула, махорочной вони и, прежде всего от бессмыслицы бытия, в первое время у каждого неизбежно мелькает мысль за вечер и ночь разбить себе голову о проклятые нары. Однако постепенно вырабатывается благодетельное умение абстрагироваться от действительности, сосредотачиваться внутри себя и многого не замечать. Этим свойством в высокой степени обладали Ольга Танхилевич, Эльза Руофф, обе Муси (Июффе и Шлыкова) и другие, рискуя прослыть нелюдимыми, злыми и пр. Но это необходимо и давалось огромным усилием воли. Проходила незримая отборочная работа всех органов чувств по отключению, в котором, может быть, даже не сознанию отводится главная роль. В бараке не остается для тебя никого или несколько человек. Остальное существует как неумолчный гул вне тебя. Барачные токи выключены. В лагере особенно важно, с чем ты сюда пришел. Здесь жизнь раздевает донага и вопит на разные голоса: «Теперь-то я проверю, что ты стоишь! Держись!» А некоторым слышится: «Ага, попался! Пихну тебя под зад с горки, и катись!»

Собственно говоря, и на воле перед человеком те же дилеммы, но в гораздо менее острой форме, часто они завуалированы, не требуют моментальных решений и растянуты во времени. Обстоятельства милостиво позволяют идти на ком-

промиссы, они не подступают с ножом к горлу, как это происходит в лагере. Здесь все сжато и сконцентрировано, и тут не смеешь давать отсрочку в выборе и решениях, ибо это губительно. Со стороны может казаться, что люди в лагерях ведут пассивное существование, им не о чем раздумывать — повинуйся и все тут. В действительности, в лагере, как на фронте: «зека» всегда «зека». С той только разницей, что на фронте личность солдата нужна и важна и для него самого, и для офицеров всех званий, в лагере личность «зека» начальству не нужна. Прошел санпропускник, оттуда вышел голый, дали тебе положенное казенное одеяние, как всем, дали место на нарах, как всем, выпустили на рассвете на общие работы и на полуголодный паек, как всех, — теперь иди, существуй, живи! Никаких профессий, никаких званий, никаких лычек, никаких привилегий и преимуществ и... никаких скидок.

Жили мы в бараке вчетвером на двух вагонках, повернутых внутрь, и таким образом занимали одно «купе», конечно, не в купированном вагоне. Дора чутьем находила свою линию, рисковала головой в трудную минуту и назавтра забывала об этом, хотя привычка и рассуждения ее порой тянули к настроениям и взглядам ядра бригады.

Муся постоянно стремилась положить буйную свою головушку на жертвенный алтарь. Она была непримирима и импульсивна, смела и горяча. Фрида — воплощение логики и порядка — обдумывала все до мельчайших деталей и принимала решение, взвесив все на своих мысленных лабораторных весах, на которых главной мерой была совесть. Приняв решение, она не отступала от него ни на шаг и действовала в заданном направлении.

Четвертой была я — связующее звено, ибо попарно отношения не между всеми складывались, а вчетвером мы хорошо ладили. Дружба грела и поддерживала, настоящая, нелицеприятная (не только среди четверки), возникающая между людьми среди больших трудностей, на фронте, вдали от любимой работы, семьи, при жизненных катастрофах и вопреки тяжелым обстоятельствам. Если бы человек не сохранял дружбы и юмора, то жить было бы невозможно.

О кочмесских обитателях говорилось: живем в конюшне, как лошади, работаем, как ишаки, спим, как свиньи, лаем, как собаки, пугливы, как зайцы, а едим, как птички. Отоспав, как убитые, положенные часы, мы вскакивали в затхлой, угарной темноте и тесноте по крику дневальной: «Подъем!» в бешеном темпе: важно вовремя выскочить в уборную на ледящий мороз, добежать до выскользженного трапа и спуститься по нему вниз, а затем проскочить в тамбур, который служит умывалкой. Бочка с водой замерзла и покры-

та толстым слоем льда. Прорубаем лед топором, у строителей он всегда под рукой, раздеваемся по пояс и моемся обжигающей водой без отлынивания, при любой температуре — мы уверены, что в этом наше спасение от холода на целый день. День пройдет повсюду в надрывной работе женщин-лесорубов, строителей, возчиков леса, воды, сена. Он будет поглощен оторванностью, пургой, тайгой и канет в лету, а мы будем жить, ждать, отчаиваться и надеяться.

Особое свойство или качество нашей работы заключалось в том, что рабочая сила поглощалась хищнически, не восстанавливаясь. Стоимостным ее выражением являлась сама жизнь, годы человеческой жизни. Из них делали дома, дороги, шахты и рудники, каналы и города. Рабочей силой не дорожили и по использованию она могла быть выброшена, как ненужный хлам, вместе с ее носителем.

Вьюга, ветер, колющий ледяными иголками и захваты-вающий дух. Дороги и тропы заносит моментально — отойди немного и будешь погребен под снегом. В такой сумеречной декабрьской мгле, скорей напоминающей темную ночь, чем день, возчиком сена среди других работает Сонечка Лихонина. У нее звенящий голосок, растрепанные вьющиеся светлые волосы, вздернутый носик, миловидная внешность. Сено сложено в стога километров за десять-двадцать. За сеном едут несколько женщин, но на обратном пути Сонечкина лошадь по имени Раб забастовала, отстала и сбилась. В темноте и от усталости женщины забыли про Соню с ее «рабом», лишь бы поскорей добраться до тепла. Хватились только у поселка. Сонечкины просительные уговоры лошади служили постоянным источником смеха в бараке: «Прошу тебя, пожалуйста, иди, не отставай. Назвался Рабом, так и поступай как раб! Чего ты хочешь, чтобы я из-за тебя триста грамм получила или тебе не жалко, что я замерзаю? Иди же, миленький, иди, мой соколик! Иди, мой непокорный раб! Ты не двигаешься с места, тебе не жалко слез моих?» Сегодня Соня буквально надрывалась в желании вызвать сочувствие своего «раба», который был полновластным над ней господином. Тот ни с места, видимо, тоже устал и потерял дорогу. Соня застыла. Она ревет в голос. Руки и ноги за-коченели. К счастью, с другого конца леса выехал бригадир возчиков Сашка Александров, доверенное лицо начальника Подлесного, лихой урка и дамский угодник. Он не досчитался лошадей и возчиков и поехал навстречу «рабу» и Соне. Часа через два после возвращения других возчиков вваливается в барак ревущая Соня. Она машет зашедшимися руками, топает ногами в чьих-то уже обсохших валенках, глотает кипяток и сквозь слезы рассказывает: «Подошел Сашка, а то я бы упала, сердце застыло совершенно, понимаю,

что теряю сознание и страшно боюсь упасть в снег — занесет и конец. Уже осипла, а по привычке молю Раба: «Пожалуйста, иди!» А Сашка мне: «Дура, не знаешь, как с лошадью надо обратиться?» И давай ее матом в хвост и в гриву. А та, проклятая, враз рванула и пошла. Меня зло берет и слабость небылая, а Сашка больше меня бесится: «Эти «кировки», — говорит, — до конца срока не научатся лошадью управлять, вот и учи таких!»

Ее утешает Леночка Данилова, умница, с виду тихоня. Она говорит Соне: «Ты ее чисто теоретически ругай матом, и все будет хорошо — у тебя совесть чиста и она довольна и послушна!» Лена по близорукости работает в конторе, то есть ходит в «придурках». «Что ты в этом деле понимаешь? — возражает злась Соня, — лошадь «теоретически» ничего не воспринимает, ее надо с чувством ругать, со вкусом, а у меня не получается! Думаешь, я не пробовала?»

Лена Данилова — москвичка, студентка третьего курса технического вуза. Она очень любит книгу, о книгах с ней говорить интересно, значит, понимает не только книги, но видит и жизнь. Свободно владеет французским языком, за что и поплатилась, хотя такая категорическая формулировка может вызывать сомнение. Однако это именно так! Девушка, у которой всегда наготове ироническое слово и свое отношение к вещам и людям. Для многих она остается неприемлемой, но лишь для тех, кто ее мало знает. Задумав совершенствоваться во французском языке, Лена написала об этом в газету «Юманите». Письмо было напечатано. Вскоре из Франции посыпался дождь писем на Ленин адрес, и весь ее курс заинтересовался судьбами ее молодых корреспондентов, которые писали ей о своих личных драмах и успехах. Раздавались телефонные звонки, и сокурсники спрашивали: «Ну, как там, Люсьен вернулся к Мари? Нет еще? Напиши, что мы требуем, чтобы он к ней вернулся!» Лена совершенствовалась в языке, волновалась о незнакомых ей людях и познавала науку страсти нежной по письмам французских девушек и юношей.

В 1936 году за ней пришли. На следствии ей предъявили обвинение по случаю того, что якобы один из ее корреспондентов выступил в Лионе с троцкистской речью. Как можно от такого обвинения защититься? Самозащита и не полагалась, требовалось «разоружение», «саморазоблачение». Лена получила 3 года лагерей. Ровно за неделю до конца срока, в 1939 году ее вызвали в УРЧ и объявили, что «по вновь открывшимся обстоятельствам» она решением ОСО получила дополнительно восемь лет лагерей. Итого одиннадцать лет! Лена вернулась в барак полуживой, свалилась на

нары и закрылась с головой. Несколько дней никто не решался заговаривать с ней, так как неизменной реакцией были судорожные рыдания. Она была очень близорука и теперь, чтобы ничего и никого не видеть, по возвращении с работы раздевалась, снимала очки, ложилась под одеяло и лежала плашмя на спине, никого не замечая.

Наши вагонки были недалеко, я посматривала на нее издали. Ее ближайшая подруга Ира Годзяцкая уговаривала проглотить 2—3 ложки супа, но, кажется, бесполезно. Наконец, Лена взяла себя в руки и начала медленно и лениво двигаться по бараку. Как-то она зашла в нашу вагонку, выбрав время, когда я была одна, чтобы дать мне книгу, полученную от отца, и потому, что деться было некуда, и чтобы «отвести душу». Слова утешения не отыскивались сразу, сидели молча. Потом пробовала, как косноязычная, объяснить ей, что села она всего двадцати двух лет, что срок снимут так же неожиданно, как его добавили. Неутешительная и, главное, необидительная чепуха.

— Перестаньте!— резко оборвала Лена,— я не младенец. Где гарантии, что мы выйдем? И не только в этом все дело. Вернее, совсем не в этом. Пусть моя жизнь пропала, бывают же неудавшиеся жизни, но при этом нет общего краха. Человечество или страна может спокойно продолжать идти вперед, несмотря на гибель единиц, и тогда не так уж жалко одной или даже многих жизней, мы привыкли мыслить масштабно, исходя из интересов класса, общества, революции... Сейчас совсем другое — никакой справедливости! Все ложь, ложь, попросту брехня!— Она понизила голос.— Знаете что происходит? Тирания — вот что! А называется диктатура пролетариата, коммунизм с высшей формой демократии! Говорю так не потому, что срок прибавили, но когда положат на угли раскаленные, тогда не скажешь, что холодно, а будешь вопить: «Горю, жарко!» Тот юноша во Франции, который произнес злополучную для меня речь,— произносил он ее? Скорее всего, не было ни митинга, ни речи, наверно, не сидит за решеткой, а я получила одиннадцать лет лагерей просто за дерзость, за переписку с французами. Что делать? Бунтовать здесь, когда на воле все оголтело кричат «ура!»? С кем бунтовать? С теми, кто и здесь спешит покрасить мысли и чувства в цвет лояльности? Или с Ирккой? Но она слишком ни во что не верит, чтобы протестовать. Надо твердо знать цель бунта. Что делать еще восемь лет? Подниматься утром с «подъемом», ложиться вечером с «отбоем»? Чем жить? Не утешайте меня, а скажите, для чего все это? Молчите? Молчите, когда мне нужен ответ! В чем причина? Где зарыта собака?

Не раз, волнуясь и мучаясь, возвращались все к тем же

вопросам, еще чаще приходила Лена послушать сказки «про жизнь», чтобы отвлечься от своих мыслей.

С конца 1937 года и до начала 1939 года заключенные в лагерях получили автоматические дополнительные сроки, но нельзя было уловить никакой закономерности в том, какими они будут по числу лет — иногда трехлетники получали восемь «на добавку», иногда — три и т. д. Дополнительные сроки оказывали на всех угнетающее и деморализующее действие, участились заболевания, смерти, потому что иссякала надежда. У Лены нравственное потрясение вылилось в своеобразную форму полного подчинения исключительно умной, опустошенной женщине Ире Годзяцкой. Ира — харбинка. Не знаю, как и почему ее семья вернулась в Россию, но она осталась эмигранткой по духу и настроением. Эмигрантство, подперченное озлобленным умом. Была прекрасным бухгалтером. Начальство приходило к ней на поклон, когда она сбегала из канцелярии на общие работы. Она бывала во многих лагерях, в том числе и на Беломорканале, и знала все стихи, баллады, поэмы и песни, которые переходили из уст в уста в лагерях. Ее меткие замечания попадали не в бровь, а в глаз. Людей разгадывала быстро и верно, как раскусывают орехи крепкими зубами. Держала себя независимо-враждебно. С начальством ругалась и тогда переходила на работу ассенизатора и развозчика фекалия по полям, а зимой — на лесоповал. Довод у нее был простой и выражала она его со свойственной ей четкостью: «Нафиг, пусть лучше от меня несет физиологическими экскрементами, по русски — г..., чем вонью нравственной, в которую обязательно вымажешься в лагерной конторе». Она носила мужскую прическу, и все повадки у нее были чисто мужские. При том она была очень аккуратна, подтянута, вежлива, лаконична, щедра и уступчива в быту. Поведение и манеры соответствовали характеру ее мужского ума. В то же время в ней уживались уродства извращенности, что сказывалось в отношении к женщинам, с которыми она дружила и сближалась и которых по-мужски подчиняла. Не сомневаюсь в том, что после лагеря Ира вновь эмигрировала. До выхода на волю, которую Лена получила с отменой дополнительных сроков, она во всем подчинялась своей покровительнице Годзяцкой. Удар по убеждениям для такой неискушенной девочки, как Лена, рикошетом ударил и по моральной ее устойчивости.

В нашем бараке первую зиму жили и несколько детей с матерями — Люда Караджа с двумя мальчиками восьми и десяти лет, Галя Вольф с Ирочкой, Фрида Геллер с Галочкой, Виктория Щехура с синеглазым Женькой, которого она продолжала кормить грудью в тюрьме и на этапе, и кто-то еще. Позднее их переселили в отдельную землянку, но год

дети болтались в общем женском бараке, предоставленные сами себе, так как матерей от работ не освобождали. Еще позднее, когда вопреки всем запретам, в Кочмесе начали появляться новорожденные у разных категорий заключенных, открылись ясли. Девочки из нашего барака выросли и живут нормальной жизнью, а жизнь мальчиков так и не выпрямилась — у всех трех трагическая участь. Муж Люды Караджи и отец ее мальчиков расстрелян на Воркуте. Дети недолго росли в лагере, а затем близ лагеря. Желая дать возможность старшему сыну быстрее стать на ноги, мать определила его в техническое училище, набавив ему в справке два года. Началась война и его по возрасту взяли в армию на два года раньше срока, пятнадцатилетним. В первые дни этот пленец погиб на фронте. Второму сыну значительно позднее удалось поступить в вуз. Люда жила на Ухте и работала уже по вольному найму. Юноша тосковал по матери и решил на каникулы проехать к ней поездом без билета, так как денег на поездку достать неоткуда. Когда пришли контролеры для проверки билетов, он выскочил из вагона в тамбур и пробрался на крышу. Как раз в это время поезд промчался под мостом. Юноше снесло голову, а матери привезли труп без головы. Женя Щехура болен тяжелой шизофренией.

Накануне любого праздника или в день праздника в бараках происходил «шмон» — обыск. При усилении режима «шмонали» каждую субботу. Возмутительная, бесцеремонная процедура длилась не менее шести—семи часов: все перетряхивалось, отбиралось, изымалось, рвалось, отдавалось в каптерку или безвозвратно исчезало. Вохровцами-мужчинами производился и личный обыск то более, то менее тщательный, в зависимости от политических флюид и от личных качеств обыскивающего, но всегда одинаково омерзительный, настолько омерзительный, что не хочется ему уделять слов. Иногда лишали права носить свою одежду и изымали все, что связано с вольным положением, вплоть до рубашек, то вдруг возвращали забранное, если оно еще уцелело. В каждом действии подчеркивалась наша зависимость от властей придержащих. Иногда по ночам врывался комендант или начальник, или ВОХР, обуреваемые служебным рвением. Некоторые затевали с ними маленькие, но упорные войны. Мышиная возня, но уступать не хотелось ни за что. В конце 1939 года мы получили разрешение на чтение книг, если они имелись, присылать книги по-прежнему было запрещено. Но ведь темно. Как читать? Товарищи из слесарки пришли нам на помощь — делали малюсенькие коптилки, наполняли их керосином и приносили в бараки. Новый начальник, сменивший застрелившегося Подлесного, некий Сенченко, заметил,

что я пользуюсь такой коптилкой после отбоя. Он влетал в барак с фонарем, хватал коптилку, швырял ее или на койку или на пол, разливал при этом керосин, рычал и ругался смачно:

— Хотите барак спалить, покой нарушаете!

— Гражданин начальник,— возражала я,— пожар рискуете сделать вы и покой нарушаете вы.

Неизменно через день-два у меня появлялась новая коптилка, что приводило Сенченко в неистовство. Некоторые женщины из чувства протеста просили мужчин зайти в женский барак или отказывались выйти на ту или иную работу, главным образом чтобы доказать себе самой, что воля еще не сломлена и что «кандей» не пугает. Впрочем, никакого удовлетворения такие упражнения не приносили.

Над нарами каждой из нас красовалась дощечка с указанием срока и статьи. Дощечки — красные с белыми буквами. Мы скандировали:

И мне мерещится дощечка красная

И буквы белые ка эр те де...

Или че эс ве эн (член семьи врага народа).

У «к р т д» большей частью срок 5 лет, а у «членов семьи» 8 лет, так как их брали позднее, когда срок в пять лет в прокуратурах уже никого не удовлетворял. В 1940-х годах, после Великой Отечественной войны, сроки удлинились до 25 лет, что означало «намотать на полную катушку», а высылка получила формулу «навечно». Размаху репрессий не было ни границ, ни предела.

Обычный барачный вечер. Весь длиннющий барак на сто человек освещается одним керосиновым фонарем. Второй фонарь стоит на единственном столе в проходе, где постоянно толпятся люди: надо зашить, подштопать, написать письмо. Две огромные опрокинутые цистерны служат печками, около них на полу, на проволоках и веревках развешены для просушки ватные брюки, телогрейки, бушлаты, чулки, валенки, ботинки, портянки, шапки, платки, рукавицы. Из-за всего этого скарба утром и вечером идет неизбежная грызня — то сожгли, то отодвинули... Почти все пришли с наружных работ. Пар от мокрой одежды висит ватной густой пеленой, расползающейся лишь к утру, когда становится холодно, одежда подсыхает, печи остывают. Наступал час, когда неслаженный гул голосов начинал затихать, утомленные за день женщины перекидывались обрывками фраз и мыслей в полутьме на нарах. Приближалось время отбоя. Все ждали гонга, переклички, поверки, наступающей вслед за ней от-

носительной тишины. И без часов чувствовали, что проверка затягивается, и начинали нервничать. Наконец, вошел комендант с вохровцами и на этот раз с начальником Подлесным. В его окрике: «Встать!» прозвучало нечто настораживающее, предвещающее. Трудно передать то состояние напряженного самообуздания, в котором мы всегда находились. Ни лишних слез, ни лишних жалоб, но и никакой разрядки, постоянное ожидание худшего. Нельзя привыкнуть к поруганию и ко лжи. Нельзя этому покориться, а внешне должны подчиняться и безмолвствовать. Такое создает тысячеградусный накал в людях.

— Слушайте приказ № 17 по Воркутлагу!— оловянным голосом объявил комендант. Мозг уже лихорадочно напрягся, а тело выбивало дрожь.— За бандитизм и контрреволюцию приговорены к расстрелу следующие заключенные...— Далее шел список по алфавиту, 55 человек, из них 46 человек по статье «к р т д» вперемешку с политическими других статей и уголовными.— Приговор приведен в исполнение.

То, чего мы страшились весь год, стало явью. В списке знакомые имена — вот в какой дальний этап гнали людей через Сивую Маску и Воркуту. ... Милешин Алексей, Енукидзе Владимир, Рубашкин... Енукидзе еще раз, Хотимский, муж Люды Караджи и отец тут же стоявших мальчиков: «Тише! Дети!» — не своим голосом закричала она, вцепилась в стол, но не осилила и выбежала в тамбур. В гробовой тишине слышалось, как она билась. И все же комендант крикнул: «На место!» И продолжал читать. В разных концах барака раздавались крики и падения тел при чтении списка...

Яковин Григорий, историк-германист, его знала в жизни и по книгам. Мария Михайловна Иоффе сейчас в Кочмесе. За время, что мы не виделись, она узнала о гибели восемнадцатилетнего сына, в списке услышала имя друга. Как вынести все?

Эльцын Виктор — продолжался список. Давно ли заходил он к Коле в «Асторию»? Энергичный, веселый, полный сил. Не помню, откуда он приехал, но помню, как скинув рюкзак, сразу заговорил, страстно споря, доказывая, увлекаясь, рассекая воздух рукой и волнуясь. Вся семья — революционеры. Отец — старый подпольщик, делегат от большевиков на съезде Союза городов* до Октября. Сестра, братья — все погибли — расстреляны, как говорят — «ликвидированы». Суд скорый и неправый. Ничего не стоило истребить целую семью, где так прекрасно пылал костер революционных дел и теорий. Нескоро вновь запалать таким кострам...

Удары били по целям. Мы стояли в оцепенении, сжимая

*Организация кадетского типа. (Примеч. авт.)

кулаки, стиснув зубы, сраженные и потрясенные. Теперь мы все и самые близкие — мужья, а для более пожилых — дети, — цепочки этапов, проходившие на северо-восток, этапы, отправляемые с наших командировок туда же, — все должны ждать неминуемой участи. Никто из нас живых, я уверена, не забыл и не забудет ту ночь, тот приказ и наше отчаяние обреченных. Стояли, опустив головы на собственных похоронах. И вдруг свершилось невероятное, самое невозможное — раздались аплодисменты — жидкие, кое-где, сначала робкие, потом более уверенные. Рядом, как пощечины, ударяли в ладони Юдифь Усвятцева и Лида Жухина и еще что-то одобрительно выкрикнул гортанный голос известной подлостью Вартановой. Усвятцева била в ладони, закусив губу и опустив голову, а Жухина смотрела в упор на начальника и четко отбивала такт ладонями. Это было чудовищно, но было.

— У-у, подлюки! — крикнула уголовница Надя Кудрявцева.

— Это вам не митинг, отбой! — оборвал комендант.

Ложились в том же оцепенении. Давило удушье безвыходности, отчужденность от всех, ярость против тех, кто посмел приветствовать расстрел заведомо невинных, ненависть к привитой жажде приспособливаться любой ценой. Голова и сердце не вмещали происходящего. Мысль лихорадило. Сердце ударялось в грудную клетку, как в железную решетку. Ночи стояли морозные и ясные. Сквозь высокое оконце конюшни в поле моего зрения в определенные часы под утро попадало созвездие Лебедя — Крест. Я его дожидалась и когда оно появлялось, казалось, что наступает облегчающее охлаждение, и я засыпала тяжелым сном. Слышала, как ворочаются в той же бессоннице Дора, Муся, но хотелось быть одной до утренней суеты, чтобы хоть за что-нибудь зацепиться. И не могла. Ночь проходила в изматывающих размышлениях подобно тому, как это бывало в одиночке, искала ответы в истории и не находила.

Для психологической подготовки массовых репрессий и убийств в фашистской Германии понадобились огромные средства и суммы, чтобы построить сеть учреждений, написать сотни и тысячи книг, распространить миллионы экземпляров газет, выпустить серии кинокартин, мобилизовать науку для создания многочисленных теорий одна вредоноснее другой: и нордическая раса, и геополитика с железным пространством и богоданным Германии срединным положением в Европе, и «высшая мораль», и нищезанемство. Сотни обольстительных обещаний стране, народу, молодежи, военной касте. И всё для подготовки почвы. У нас же, чтобы провести в жизнь массовые репрессии и расстрелы, понадоби-

лось истратить гораздо меньше пороха и средств. Как это ни дико и ни святотатственно, в эксплуатацию были пущены самые святые понятия, которые недавно были так эффективны и сохраняли свое обаяние для миллионов: «во имя революции и народа», «во славу коммунизма», «именем партии и народа». Моральный гипноз этих аргументов и формул имел еще сверхъестественную силу. Мобилизовывались те принципы, которые впитывались с пеленок лучшей частью рабочего класса и интеллигенцией. Ни в одной стране эти слои населения не были так вдохновенно идейны и не оказывали такого огромного влияния на идеологию народа в целом, как в России. Победоносная революция закрепила власть идей. На наших глазах шло истребление именно этих революционных бескорыстно-идейных групп, а аргументация оставалась старая, утратившая внутренний смысл, но сохранявшая силу инерции и привычки. Власть в тех же руках. Партия та же. Борьба с международной буржуазией как бы продолжается. Как будто все в порядке. Устоявшийся быт. Удобства. Когда же началось то, что изменило существо вещей и понятий? Люди раздваивались в противоречиях, но сохраняли внешний декорум благополучия, пока жизнь их не переламывала пополам. Внутри каждого существовал потайной сейф, в котором были заперты его сомнения, нравственные колебания, задавленный протест. Законсервированный в сейфах нравственный капитал постепенно обесценивался и становился ненужным мешающим хламом. Движимый страхом человек играл в прятки с самим собой.

Когда-то в Москве в еврейском театре видела спектакль «Гадибук». На сцене все несутся в общем потоке танца. Если ты не войдешь в стремительно мчащийся круг, будешь отброшен и раздавлен. Пляши вместе со всеми! В единстве сила! Нарушитель единства — враг! Аргумент мнимого единства превратился в тяжеловесную гирию при решении судьбы. И уже неважно, что стоит за этим единством, каково его содержание. Под прикрытием мессианской роли партии и пресловутого единства происходил процесс обезличивания и потери нравственного потенциала. Единство предполагало единогласие, единомыслие и отрицание какого бы то ни было инакомыслия, а далее следовало беспрекословное повиновение и расправа в случае малейшего отступления, а чаще расправа наступала, как превентивная мера. Изменения в сознании и поведении — долгий ступенчатый процесс, но падение происходит стремительнее, чем восхождение в гору. Извечно и повсюду человек мечтал стать вершителем своей судьбы, властителем вселенной, свободным в мыслях и действиях, он создал образы мифических Прометеев, легендарных витязей, искателей-богоборцов, романтических Данко,

революционеров-творцов. Однако многие из легенд оборачиваются против самого человека. Миф о Христе говорит о любви, братстве, всепрощении, но Христос оборачивается церковью, папизмом, школой иезуитов: религия становится господином, а человек ее рабом. Вспомним легенду о големе, не помню, кто мне ее рассказывал, позже прочла о ней у немецкого писателя Иоахима фон Арнима. Голем — глиняная фигурка, в которую человек вдыхает жизнь и пишет на его лбу слово «эмет», что означает — истина, правда. Но созданный человеком голем растет со сказочной быстротой, обгоняя силы и возможности человека, его создавшего. Если человек не умертвит его, пока он может еще коснуться лба своего создания и не сотрет первую букву «э», чтобы осталось слово «мет», то есть мертвый, тогда голем становится опасен, страшен, является источником бедствий и зла для человечества. Не правит ли нами современный голем, сотворенный народом, с печатью истины и правды на лбу? Сам творец не посмел и не успел стереть символической буквы «э» и увидеть печать омертвления на челе своего создания. Голем же чудовищно вырос, приобрел фантастическую власть над людьми, сеет смерть, несет зло своему творцу-народу.

Власть имеет сотни способов воздействия. Политика отделилась от морали. Совесть умолкла и разошлась с правдой. Люди сознательно или бессознательно закрывают на это глаза. Л. Н. Толстой говорит в «Воскресении»: «Люди судьбой и своими грехами — ошибками, поставленные в известное положение, как бы оно ни было неправильно, составляют себе такой взгляд на жизнь вообще, при котором их положение представляется им хорошим и уважительным...» Желание приспособиться к плохому, считать его «хорошим и уважительным» охватывает огромное большинство, оказывает влияние на психологию масс и подчиняет массы. Мимикрия спасительна в животном и в растительном царстве, но не в мире социальных страстей и битв. Нельзя без содрогания читать в газетах выступления виднейших членов партии, ее идеологов и руководителей еще до того, как они садятся на скамьи подсудимых. Что испытали они на предварительном следствии, нам не известно и, наверно, прав был т. Иванов, когда говорил, что человек не все может выдержать. Но их выступления предшествовали арестам. Они писали, что «фракционность вылилась в бандитизм, что в любой оппозиционности виден «оскал шпиона и диверсанта» и пр. Карл Радек о Сталине: «Зодчий социалистического общества стал стратегом социалистической демократии» (1936 г.) Х. Раковский: «Не должно быть никакой пощады! Любая оппозиция равна контрреволюции и фашистской агентуре» (1936 г.). Е. Преображенский: «За высшую меру измены и

подлости — высшую меру наказания... Пусть будет трижды проклято мое позорное прошлое» (1936 г.). Г. Пятаков: «Беспощадно уничтожить презренных убийц и предателей... Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду!» (1936 г.)

Достаточно! Создавалось впечатление, что людей, как скот перед убоем, загоняли в специальные психологические загоны, где мысль могла идти только в одном направлении. Это никого не спасало — гильотина делала свое дело, — но давало свои плоды, сказывалось на образе мыслей большинства. Сознание народа деморализовывалось. Вместе с тем следователи сами отмечали большую стойкость простых граждан. Один из товарищей, доктор С. Б. Идлис, рассказывал, что после ареста в октябре 1937 года в Хабаровске следователи Цесарский и др. подвергали его следующим испытаниям (обвиняли его в том, что он польский шпион). Следователь очертил круг мелом и потребовал, чтобы С. Б. стоял, не выходя из круга, и признавался. Следователи — дело великое — сменялись, а Идлис стоял сутками. В камеру не отпращивали, спать не давали. Выводили только похлебать соленую баланду и по нужде. Пить тоже не давали, хотя выдавали положенный хлеб и кусок сахара. На восьмые сутки разрезали валенки, так как ноги отекали и распухли. Дважды инсценировали вывод на расстрел — приставляли к стенке, щелкали затвором. На одиннадцатые сутки следователь орал:

— Сволочь, что ты из себя корчишь? (Далее непереносимая отборная брань.) Вот на этом самом месте стоял Радек, 69 суток стоял, а на 70-е раскололся. Что ты перед Радеком? Г... — и больше ничего! А воображаешь! «Не шпион, не подпишу». Выходит, Радек шпион, а ты нет!? Будешь дальше притворяться, так мы от тебя откажемся и найдем место, где тебя как плевков сапогом разотрут.

И все это во имя единства! Ранее мы понимали единство как результат, достигаемый в борьбе, спорах, в противопоставлении мнений и уж никак не приобретающий форму единички пули, топора, виселицы.

Пробыв в замкнутом изолированном лагерном мире пять лет, неизбежно буду возвращаться к людям лагерей, а может быть, и повторяться в их классификации.

В лагерь поступало немало лиц с перекошенным сознанием, многие продолжали доказывать свою «непричастность», желая заслужить «прощение» и «милость». Власть имела и в лагерях солидное количество таких заключенных, которые всячески стремились закрепить лагерный режим, тем самым утвердить свое законопослушание и свои алиби. На практи-

ке получалось, что эти «до конца разоружившиеся» быстрее других теряли сопротивляемость, слабели нравственно и физически и нередко погибали. Главным образом из их числа формировались лагерные банкроты, хотя они поддакивали каждому начальнику, вохровцу, стукачу, сами стукачили, подхалимствовали. Независимо от их положения на воле, на глазах происходили отвратительные метаморфозы: бывший прокурор превратился в мелкого лагерного воришку, от которого товарищи вынуждены были прятать жалкий скарб; заведующая отделом культуры — в дневальную-наушницу, берущую мзду с заключенных за лучшие нары; завкафедрой философии с ужасом отворачивался и сгребал миску с баландой на колени, чтобы, упаси господь, не есть по соседству с кем-либо из бывших участников оппозиции. Такие люди вызывали злость, раздражение или жалость и презрение. Помню, с этапом из Мариинских лагерей пришла циничная и грубая Арма Вартанова, бывшая не мелкой сошкой в партийном аппарате на Кавказе. Она подчеркивала, что сочувствие ее на стороне администрации, а не заключенных. Но этого мало — она всячески выслуживалась перед администрацией и III-м отделом, а также служила штатным и нештатным осведомителем. Сознание ее заросло коростой, поэтому не представляет интереса разбираться в том, что делалось из любви к искусству, а что из прямой корысти.

Сознания стеснялись ее и предупреждали всех, что она опасна, как клеветница. Арма не смущалась: вклинивалась в разговоры, затевала споры, провоцировала на возражения. Без сомнения, многие в Кочмесе попадали в списки неблагонадежных с помощью Вартановой. Вскоре ее как нужного человека вызвали на Воркуту, где масштабы деятельности расширились, о чем могу говорить только с чужих слов. Воркутяне рассказывают, что она лжесвидетельствовала нагло и с упоением, писала донос за доносом, пока не добивалась новых сроков. В личной жизни была нечистоплотна, что обычно тесно связано. Приведу один случай из ее грязной «работы». Вартановой удалось посадить на скамью подсудимых целую группу «зеков». Суд был местный, воркутинский. Основным свидетелем была она же. После суда она влетела пунцовая, сияющая в управленческую столовую, где она работала уборщицей и где имели право обедать заключенные, работавшие по специальности, и с восторгом сообщала всем и каждому, что все ее «подопечные» получили дополнительно по десять лет. Упоминаю о ней, потому что Арма Вартанова являлась воплощением одной из разновидностей тяжелой социальной болезни. Доносы писались в таком количестве, что перерастали потребности начальства. Анонимок, конечно, не было, так как каждый из доносящих

стремился выслужиться перед местным III-м отделом в тайной надежде, что его заслуги учтут и выше. В конце концов начальник Кочмеса Подлесный взвыл от них, и не втихомолку, а вслух, на разнарядке заключенных на работу. Очевидно, ему просто осточертело читать всю эту дребедень, а не читать он не имел права по долгу своей службы. Он так и ляпнул на утреннем разводе: «Тону, тону в ваших доносах друг на друга. Видно, мало вам работы от зари до зари, добавлю два часа, может успокоитесь». Совершенно лишенный чувства юмора, Подлесный не понимал комизма своей речи, но для нас это была веселая разнарядка.

Мания доносительства прививалась и складывалась годами на нашей отечественной почве, но подбрасывалась также извне, со стороны фашизма. В очерках писательницы-документалистки Елены Ржевской «Последние дни Берлина» приводится красноречивый отрывок из воспоминаний Геббельса: «Мы работали тремя секретными передатчиками, направленными против России. Тенденции: первый передатчик — троцкий, второй — сепаратистский, третий — национально-русский... Работа наших секретных передатчиков — образец хитрости и изощренности». Геббельс подчеркивает традиционность трехсторонней антисоветской пропаганды.

Мы знаем, что их пропаганда не осталась без результатов и что наши карательные органы брали их аргументы на вооружение. Подбрасываемая нацистами пропагандистская пища задолго до войны широко использовалась и в нашей пропаганде, и на следствиях, и на процессах. В период, который я описываю, подсудимых приводили на процессы моральными трупами, доводя их до такого состояния изощренными нравственными и физическими пытками, которые позже получили скромное название «применение незаконных методов следствия». Мог ли лагерь не быть эхом того, что происходило на воле? Приказ № 17 был первым и последним, который был зачитан в Кочмесе вслух. Он должен был воздействовать на психику заключенных. Действие оказалось сильнее, чем можно было ожидать. Поэтому все последующие расстрелы хранились в тайне, хотя расстрелы заключенных, главным образом «кр т д», стали организованной системой на большой отрезок времени. Даже наше твердолобое и вытренированное начальство не могло не понимать, какие настроения владели заключенными. Впрочем, не все было гладко и просто и для начальников лагпунктов. Начальник Сивой Маски Должилов тоже оказался в списке расстрелянных приказа № 17. А вот другой пример — начальником Кочмеса был Подлесный, разжалованный военный. В другой обстановке, быть может, он дожил бы до старости и делал бы порученное дело добросовестно и спокойно в меру своих воз-

можностей. В крутой перетасовке зацепило и его вышибло из колеи. В качестве начальника женской командировки никогда нельзя было заранее представить, какой номер он выкинет. Подлесный по должности санкционировал усиление режима, согласовывал и составлял списки этапов, отправляемых на расстрел на Воркуту, он же переводил нас за малейшие погрешности в штрафные палатки, откуда формировались этапы на отправку. Ему ничего не стоило любую из нас ночью засадить в «кандей» — карцер или держать по неделям письма у себя в столе, не выдавая на руки, хотя он знал, что они для всех значат. Бывал груб, придирчив, педантичен. Невзлюбил кого-нибудь — изведет, так изводил он М. М. Иоффе и не одну ее. Он обязан был поставить знак равенства между нашим пребыванием в лагере и нашей преступностью, а ведь он не мог не видеть, с кем имеет дело, к тому же мы, как на грех, работали изо всех сил и почти не нарушали введенного порядка.

Работали как-то с Дорой на отшибе, на раскорчевке. Припелся Подлесный туда случайно. «Почему не здороваетесь?» — спрашивает. «Здравствуйте, гражданин начальник». Не уходит. И уж совершенно неожиданно: «За что вы меня ненавидите? Я ведь тоже опальный, меня прислали сюда в наказание, как и вас.» Продолжаем работать. Махнул рукой и ушел. О чем мы могли с ним говорить? Ходил он по командировке постоянно угрюмый, с опущенной вниз головой. В темноте же бегал по командировке с фонарем и освещал всякую фигуру «зека», ловя правонарушителей. Его властелином являлся самый подлый из всех господ — страх. Жена его работала главным зоотехником совхоза. Хорошенькая и розовенькая, она смотрела на всех женщин заключенных, как на своих личных слуг и говорила с нами тоном приказаний. В клуб на самодеятельность приходила завитая и надушенная, садилась в первый ряд, никогда не аплодировала и не выражала чувств, считая ниже своего достоинства одобрение заключенным. Зато, когда урки однажды, желая оправдать безделье, демагогически заявили на собрании по итогам посева, что они потому не работали, что их ставили в бригады рядом с «убийцами-тракцистами», мадам Подлесная встала с места, повернулась к нам лицом и зааплодировала, выражая солидарность с уголовными и поддерживая их. Сам Подлесный человек безвольный, растерявшийся, последний год много пил и в конце концов застрелился. Жизнь начальника ему опостылела, во всяком случае мы так истолковали его смерть.

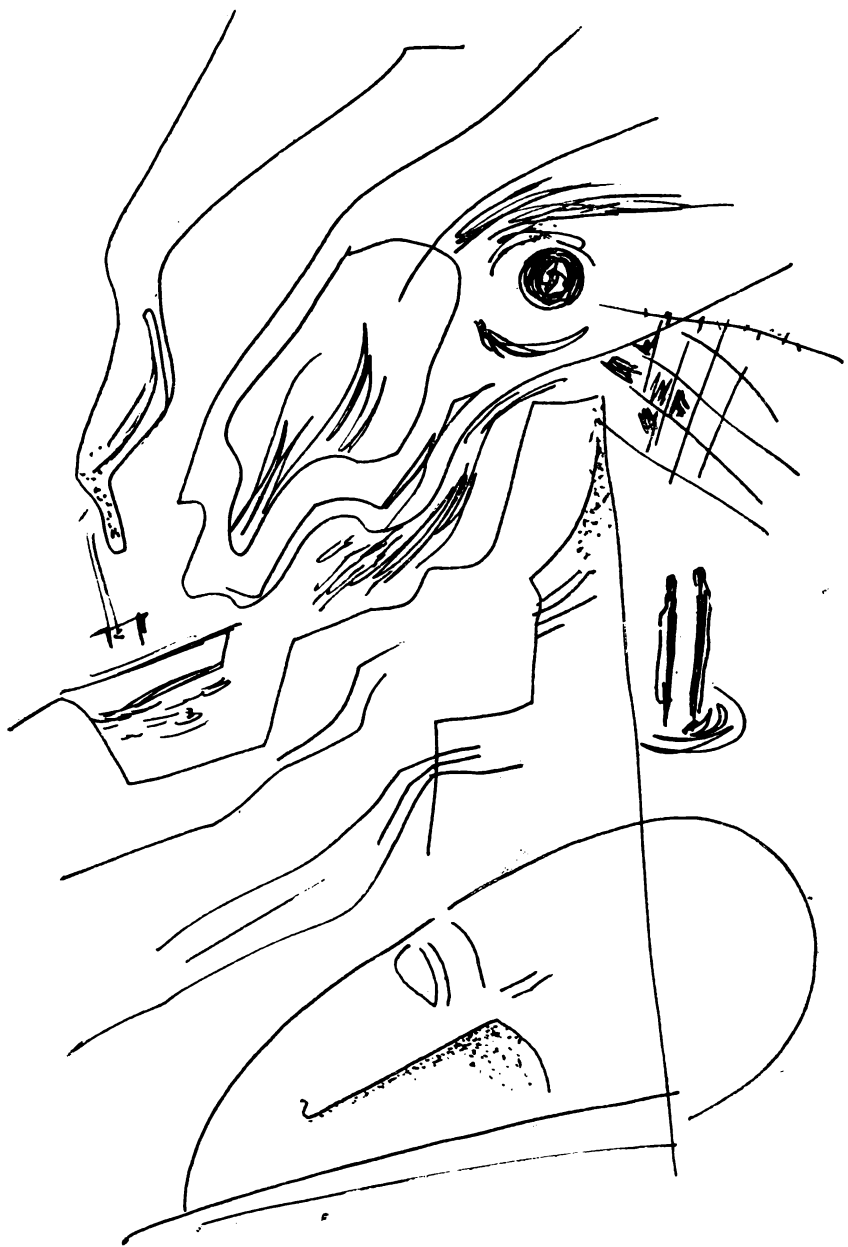
Речь идет не о сочувствии, он повинен не в одной жертве. Нельзя не отметить другое — среди людей, которые не могли закрыть глаза на события, которые были в них втянуты, оставалось малое число не потрясенных, не искалеченных

ими. То же и за пределами лагерей. Каким бы густым покрывалом таинственности и неизвестности ни прикрывалось происходящее, какими бы высокими производственными показателями и празднествами ни разукрашивалась жизнь, каким бы толстым пластом лжи ни засыпали наши имена и дела, в недрах душ людей мыслящих наряду со страхом были запрятаны сомнение и гнев, сожаление и мука. Лицемеры, закрывая глаза на правду, человек отмахивался от лишнего груза, благоговейно шептал: «Во имя народа и сына его и коммунистического духа» ...и давал сам себе отпущение грехов.

В тюрьме и в лагере перед заключенным огромный кнут и малюсенький пряник — проблематическая свобода. На воле — невидимый кнут и большущий пряник в виде всех жизненных благ. Я имею в виду блага не только материальные.

И все же на весах высших ценностей жизни не так уж различна: и тут и там самое главное, самое важное — не потерять себя, сохранить то, что возместить при утере невозможно. Вот почему так существенно важно не то, на сколько человек пришел в лагерь, а с чем, с каким «запасом прочности», как говорил Игорь Малеев, человек сюда попал. Всякий живой множество раз идет не по прямой, отступая от того, что он считает верным, нередко сгибаясь и падая. В то же время он стремится подняться и выпрямиться во весь рост. Наша беда становилась и нашей привилегией в некотором роде, неким преимуществом, достигнутым дорогой ценой потери свободы. Попробую объяснить: все болезненные явления жизни приобретали в лагере гиперболические размеры и становились броскими настолько, что не замечать их было невозможно, они сами напрашивались на выводы. Когда мы видим легкую сутулость, она нам кажется легко исправимой, но горб выпирает уродством и заставляет задуматься. Лагерь был уродливой карикатурой на свой прототип. Лагерь наши считаются исправительно-трудовыми, потому существует культурно-воспитательная часть и клуб, хотя нет ни книг, ни газет. Прежде всего необходимо дать какую-то отдушину уркам, иначе они разнесут весь лагерь, и как-то принять в расчет основную рабочую скотину — политических. Мало-помалу создавалась самодеятельность.

Находились артисты — профессионалы, чтецы, певцы, музыканты, танцоры, просто любители. Составился небольшой оркестр. Один из врачей — «зека» проявил себя как необыкновенный умелец — он вышивал чудесные узоры из обрывков ниток, даже пейзажи, рисовал, и он же искуснейшим образом создавал полнзвучные инструменты — скрипки, альты и виолончели. Нелюдимый и мало общительный доктор не спал ночи, чтобы изготовить инструменты для общественного ор-



кестра, но сам на концерты никогда не приходил. Таланту же его можно было удивляться. Мы с Олей Танхилевич переписывали ноты и расписывали отдельные партии. Из закрытых лагерей вместе с женщинами Кавказа пришла с этапом и московская артистка Сарра Борисовна Кравец, которая стала душой самодеятельности. Она обладала артистическим голосом, великолепным знанием классического романса в сочетании со способностями изобретательной и остроумной эстрадной актрисы. Ее искусство служило для всех источником радости, волнений и утешением. В ударе она бывала неистощима. Врожденная актриса, она наслаждалась тем, что находила отзывчивую аудиторию. Ее осмеянию подлежал наш быт и мы сами. Саррочка также великолепно имитировала известных актеров, певцов. И, главное,— пела: романсы Глинки, Кюи, Чайковского, Балакирева, Римского-Корсакова, Шуберта, Шумана, Бетховена и многих других. Пела она и со сцены клуба и в выходные дни в бараке, а мы не уставали слушать. Как-то на спор она напела нам около ста романсов, а знала она гораздо больше. У Сарры Борисовны яркие выразительные глаза и копна беспокойных волос. Лицо изменчивое, энергичное, полное жизни и веселья, когда она входит в роль актрисы. Несколько музыкальных фраз, спетых ею, и вы уже далеко за пределами барака, два-три метких словца — и неудержимый смех переносит вас в мир отнятый. У С. Б. восемь лет по статье 58 пункт 8 — террор. На вечере у одной известной московской артистки она что-то нелестное сказала по адресу одного, тоже известного, прокурора. В живых наушниках в те времена недостатка не имелось. Ее болтовня, приправленная в следственной кухне острыми специями, превратилась в террористическую деятельность со всеми вытекающими из нее последствиями.

Она и организовала оркестр. Столкновений с администрацией не оберешься: ее переводили на общие работы в лес или в поле, а какая уж культдеятельность пойдет на ум после общих? То на общие работы посылали молодого журналиста — первую скрипку Ленью Дулькина, без него все разваливалось, то запрещали репертуар. Так случилось, когда С. Б. захотела спеть арию Лизы у Канавки. Со свойственным ей юмором Саррочка доказывала, что Пушкин и Чайковский фигуры не одиозные, из репертуара не изъятые, но комендант, он же цензор, уперся и отвечал два слова: «Ну, положим!» В заключение он треснул для убедительности кулаком по столу:

— Вы мне голову не морочьте! Думаете бдительность усыпить песенками? Не на того напали! А такие вредные мотивы можно допустить? Политически вредные! Настаиваю на том, что вы меня подстрекаете на притупление политической

бдительности! Кончим разговор, репертуар в целом запрещаю!

— Какие мотивы, скажите, где они?

— А вот! «Он жертва случая, и преступления он не может совершить» — и комендант показал С. Б. подчеркнутые им слова.— Как так не может совершить, на что намек?

Таких курьезов было предостаточно. Нам многое компенсировали рассказы Саррочки в лицах о ее сражениях на фронте культуры. Среди женщин была и прекрасная чтица, таких называли в рабисе — «речевик» — работник московского радио Е. Я. Рабинович. Мы не были с ней близки. Почти всегда ее можно было видеть вместе с юной, нежной, смуглой Танечкой Раевской, из рода знаменитых Раевских, девушкой яркой красоты. Когда видела их, все внимание обращалось на Таню. Е. Я. — сосредоточенная и тихая даже в шумном бараке. Знала, что муж ее Дроздов расстрелян и что у нее есть маленькая дочь. Ее скрытый темперамент узнали в чтении.

Слово — эстафета поколений, наследство человечества, которое нельзя ни уничтожить, ни умалить, рожденное мыслью и существующее до ее исчезновения. Слово — великая река жизни, прошедшая через века, неиссякаемая и полноводная, принявшая в свое лоно неисчислимые притоки, водопасы и ручейки человеческого мышления, бездонный источник утоления нашей жажды. «Мысль изреченная есть ложь», — воскликнул Тютчев. Он же пишет: «О, смертной мысли водомет, о, водомет неистощимый!»

Суббота. Жуткая банька с земляным осклизлым полом. Банька топится по-черному. Новую только строим. Но так или иначе мы вымылись, помолодели, надеваем, если на то в эту субботу есть разрешение, платья, привезенные из дому, или лагерную одежду, напяливаем бушлат и шагаем в клуб. Метет поземка. Валенки сами находят утоптанную дорожку. Распаренные лица не боятся холодного ветра. Хорошо или плохо, есть письма или нет, будет завтра шмон или не будет — завтра воскресенье! И вот мы в бедном холодном клубе, выстроенном, оштукатуренном, побеленном руками женщин-строителей. На сцене, тускло освещенной «летучей мышью» (электричества еще нет) Елена Яковлевна Рабинович в черном шелковом платье. Лев Николаевич Толстой — «Свидание Анны с сыном».

«Одна из целей поездки в Россию для Анны было свидание с сыном. С того дня, как она выехала из Италии, мысль об этом свидании не перестала волновать ее. И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялась ей больше и больше»... — го-

ворила Е. Я. сдержанным и проникновенным голосом, глядя прямо на нас. Затем она пропустила отрывок и дальше читала уже без пропусков.

«Она поехала в игрушечную лавку, накупила игрушек и обдумала план действий... Она не приготовила только тех слов, которые она скажет сыну. Сколько она ни думала об этом, она ничего не могла придумать...» Слушали мы забытые и такие близкие для нас слова Толстого. Все помыслы, переживания Анны были нашими страстными желаниями. Даже когда мы видели детей постоянно, входили в дом ежедневно и тогда свидание Анны с сыном не могло оставить нас равнодушными. Но там, где мы были, где нас стремились унижить и лишить возможности жить по-человечески, услышать в задушевной взволнованной передаче такой же обездоленной матери, как мы, свидание Анны с Сережей — означало познать и высшую радость и высшее страдание. Нежность к детям, тоска разлучения, страх за их жизнь и судьбу были запрятаны в глубокие тайники. Толстой разбил их, всколыхнул все наши чувства и дал им безудержную силу пробиться наружу. Каждое движение души Анны было не только понятно и близко нам, но отвечало на него столкратными отзвуками согласованного оркестра. Не всем удалось проститься с детьми. У каждой насильственно оторвали детей — теплых и беспомощных. Рана не заживала, всегда кровоточила, к ней нельзя было притронуться. «Сережа! Мальчик мой милый! — проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело.

— Мама! — проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук...»

Мы задыхались вместе с Анной. К горлу подступил горячий ком, который сотрясал грудь и плечи, сладостный трепет охватил нас и сдерживать себя уже не было ни сил, ни желаний. Весь клуб безмолвно плакал, слезы лились безудержно. И все же стояла тишина, трепещущая, торжественная тишина высоких минут. Мы боялись нарушить чтение, нарушить гениальный текст Толстого, давший исход нашему горю.

«— Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?

— Никогда не верил.

— Не верил, друг мой?

— Я знал, я знал — повторял он свою любимую фразу...»

Наконец-то мы говорили с нашими детьми, ласкали их, обнимали их тельца. Наступило долгожданное, светлое искупление. Запрятанные чувства ожили, окрылились, получили свободу. Они наполнили клуб, Кочмес, поглотили расстояние. Мы были дома, с детьми, расплатившись разом за все

несодеянное, но сотворенное с нами. Тюрма, неволя были разбиты и уничтожены. Облегченно плакали, радуясь свиданию, не замечая соседей, страшась одного — конца чтения. Мы были и несчастны и очень счастливы, и в лагере и дома, у кроватей детей. За эти короткие минуты стандартные «зека» перестали существовать. Мы обрели черты личные, индивидуальные. Исчезли запуганные, разобщенные, подозрительные. Рождалось драгоценное свойство коллектива, массы во время подъема. Возрастают силы, они множатся и удесятелялись. Совсем не помню перерыва и как он прошел.

Потом Е. Я. с огромным подъемом читала «Владимир Ильич Ленин» Маяковского. Трубный голос Маяковского распахнул ворота зоны. Он стоял среди нас, смотрел глазами творца на людей революции, отринутых от нее и одетых в арестантские бушлаты. Он видел в нас то, что в нас пытались затоптать. Плотина прорвалась. Воскрешенные, омытые слезами материнства, мы стали силой. Мы ее ощущали. Не сговариваясь, неистово аплодировали Ленину, аплодировали вызывающе и смело, протестуя и обвиняя. Аплодировали все, как один, стоя. Это был нескрываемый, прорвавшийся помимо нашего рассудка вызов, короткий бунт распрявленного духа. И тогда мы увидели, что клуб в обоих проходах наполнился вихрем, что начальник Подлесный вскочил на сцену, а за ним комендант и маленький безобразный «воспитатель», и жены вольных, чтобы не смешиваться с нами.

— По баракам! — кричали со всех сторон разъяренные голоса. — Тих-х-а-а! Р-р-расходишь! По местам! Выметайтесь! Забыли, где вы есть! Гонга не слышите! Время не знают! Отбой!

Охрана злобно напирала, теснила нас к выходу. Мы быстро вскакивали, страшась нарушить приподнятость, загасить свет и его сияние внутри.

Вывездило. Было морозно, ясно и легко. «Лучше тебя нет!» — звучали в нас слова Сережи, обращенные к Анне.

Когда слышу споры «физиков» и «лириков», читаю статьи на эту тему, всегда вспоминаю тот вечер, свидание Анны с сыном, клуб, Елену Яковлевну и все аргументы людей искусства кажутся недостаточными. Иные ищут резервы искусства в неисчислимых возможностях звуко-слова и краскосочетаний, в их неиссякаемости, в гении и таланте, во вдохновении и работе. Все верно, но не самое главное. Физики и техники презрительно замечают, что искусство, дескать, было ведомо и дикарям, а наука — высшее достижение разума. Я не против «физиков». Творчество ума, мысли, чувства неисчерпаемо во всех сферах. Но техника, созданная мозгом и

руками человека, уже живет вне нас и имеет соприкосновение с нами как внешний мир в отношении к нам. Резервы же искусства в нас, они неотъемлемы от нас и в этом их непревзойденное преимущество. Остался голый человек на голой земле,— так бывает нередко, но ничто в нем не умерло, если сопротивляется и противостоит одичанию. Все живо, хранится в глубоких ангарах мысли, чувства, памяти. Чем богаче человек, тем богаче резервы искусства. Как бы ни усовершенствовалась техникой быстрота движения и полета, им не обогнать скорости мысли и воображения, пробужденного искусством. Метаморфозы человеческой психики под воздействием искусства никому и ничему не подвластны. Его воздействие свободно в любых условиях воли, за решеткой и в зоне, и в пустыне, и в тундре. По греческим мифам за песнопевцем Орфеем двигались деревья и превращались в цветущие кущи и рощи, а под пение Амфеона росли города. Потому-то и запрещены были нам книги, потому-то искусство в лагерях разрешалось лишь в гомеопатических дозах.

Нагнетание и сгущение политической атмосферы продолжалось и доходило до высшей точки как на воле, так и в лагере. Мы узнавали об этом по новым этапам и пластам людей, поступающих в лагерь, по обрывочным сведениям о продолжающейся концентрации людей на Воркуте, по слухам о жуткой новой тюрьме на Кирпичном, по железной скованности всех террором. Так, панцирем холодного льда сковываются воды в северных широтах.

Еще потому, что в Кочмесе поставлена была одинарная палатка на сто человек в самую стужу. Прямо на льду и снегу вбиты колья, простелен слой досок и сделаны вагонки. Сюда выдергивались с отбором женщины из всех бараков пачками или поодиночке, наиболее независимые, наиболее неугодные начальству, III-му отделу и КВЧ или состоящие на особом учете (неизвестных нам градаций существовало множество), или совершившие какое-либо «прегрешение» по политической линии. Ночью входил комендант с вохровцем и объявлял — такая-то или такие-то с вещами в палатку! Разбуженные сворачивали вещички в матрац, набитый протухшими, заплесневелыми опилками, и перебирались под сень обледелой палатки. Из палаток отправляли в течение всей зимы на Воркуту и на Кирпичный. В палатках размещали и мужчин в то время, как строительная бригада возводила добротные свинарники, скотные дворы, дома начальства, рацию, баню.

Все шло своим чередом: на воле намечались и выхватывались жертвы в молчании и тишине ночей, потом они таинственно исчезали, и все окружающие делали вид, что ничего

не произошло, и опускали глаза при случайном упоминании имен изъятых. В лагерях шла расправа с теми, кто не погибал в кровавой мясорубке тюрем. Такое не могло бы совершиться только из-за вероломства и безумия одного, в общественные процессы масштабного размера включаются так или иначе все, тут действуют глубокие причины, которые втягивают все общественные слои. Исторические явления подобного рода стали зловещими факторами XX века. Естественно, что под домокловым мечом террора не много скажешь, но и в период смягчения не изучаются законы ускорения и торможения активности масс. Проблемы коллективной психологии, поставленные в конце XIX и в начале XX вв. вовсе были заброшены, а теперь ставятся как частные статистические исследования и исследования сферы деятельности той или иной группы людей. Комплексное изучение темы не заключается в том, что Иванов, Сидоров, Петров и Семенов будут обсасывать одну деталь процесса, заранее договорившись о конечных результатах. Требуется широкое изучение процессов. В исторических проблемах аналогии не разрешают больших вопросов. Знаем примеры того, как в I веке н. эры, в эпоху Римской империи оболганным по доносам государственным деятелям предлагали принять «почетную смерть» во имя империи, вскрыв себе вены. Немало говорилось о временах Ивана Грозного и т. д. Что же дают эти сопоставления из истории других формаций? Вносят ли ясность в понимание нашей эпохи, проливают ли свет на наши события? *Нет! Историки же наши совершают немыслимые трюкачества — не только ставят знак равенства между различными эпохами, но и интерпретируют прошлое как им заблагорассудится.* Втянутые в общее соучастие в терроре, они восхищаются «прогрессивной ролью опричнины», хотя прекрасно знают разорительность опричнины для крестьянства и всей страны.

Маркс ужасается «кровавой бане» опричных погромов, а наши академики пели осанну величию и мудрости грозного царя. Малюта Скуратов провозглашался «крупным русским военачальником», правой рукой «спасителя русского государства».

Ставилась под сомнение прогрессивность крестьянского движения, как нож в спину, как «подрыв мощи» русского государства. Припоминается объединенное заседание кафедр Русской и Всеобщей истории в Ростовском пединституте в 1948 году: наиболее ретивые историки выступили с обвинением Кондратия Булавина и его движения, «нанесшего удар в спину прогрессивной политике Петра I».

История превратилась в изощренное насилие над историческим прошлым. И не только история. Подлинная наука и большие ученые безусловно вели упорную борьбу за истину

и свободу мысли, но государственная наука была подчинена правительственному диктату, а жизнь общества превращена в беззаконие, с одной стороны, и в пытку страхом, с другой.

20 декабря 1937 года состоялось помпезное празднование двадцатилетия ВЧК — ОГПУ — НКВД. Большой театр. В правительственных ложах — ответственные члены правительства. Гремят оркестры. Цветы. Вся знать с женами заполнила театр до отказа. Выступает Анастас Микоян: «Учитесь у Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у товарища Сталина... Поэтому сегодня весь НКВД, в первую очередь т. Ежов, являются любимцами советского народа...»

И учились! Можно ли удивляться тому, что происходило в заключении?

Ужас владел нами тогда и овладевает сейчас, когда поставишь себе действительность.

Что же такое Кирпичный? Для меня, как и для других, кто туда не попал, Кирпичный — кровавый призрак насилия, мрачный символ гибели, тени ушедших друзей и сотен неизвестных, преддверие смерти, голод, тоска, страх... Уводили на Воркуту. Оттуда на Кирпичный... И не возвращались... Вот все, что мы знали вначале. Где-то в глухой тундре, в 15 километрах от жилья, стоял заброшенный, полуразрушенный, пришедший в негодность кирпичный заводик, где ранее изготовлялся примитивным ручным способом кирпич. Когда кому-то пришло в голову превратить его в тюрьму Воркуты, то все комиссии одна за другой признавали его непригодность. Но появился Кашкетин, в те времена в каждом крупном лагере имелся свой Кашкетин-истребитель, — и решил, что именно Кирпичный будет отвечать своему назначению. Сказано — сделано: вставили в проломы бывших редких окошечек решетки, кое-где стекла, кое-где фанеру, окружили высоким забором и колючей проволокой, сделали вышки и превратили его в невыносимую по условиям тюрьму строгого режима. Ведь каждый начальник под страхом смерти изощрялся как мог — не будешь стараться, поставят других: «незаменимых нет!» Оплошаешь и переведут в разряд «заменимых». И он решил: «Что нужно для людей без будущего? Режим — голод и издевательство. Удобств же для поставленной цели много — бесшумней и ближе выводить приговоренных в горы без возврата».

Когда на Кирпичном стало тесно, рядом разместили палатки для тех же целей. Из Кирпичного вышли случайно уцелевшие единицы, всего несколько человек. От них почти ничего никто не услышал, они были скованы молчанием или

больны психически, а потом рассеяны по всей земле. Узнали о Кирпичном много позже.

Остался ли кто-либо в живых? Из женщин вышли Мария Яцек и Лиза Дронова, из мужчин — Исаак Шапиро (умер недавно) и Яков Раппопорт, с которым случайно столкнулась в Туруханске в 1950 году, и еще несколько человек. В последние месяцы северной зимы, в марте-апреле 1938 года, еще по санному пути, начали формировать и женские этапы на Воркуту, а значит — на Кирпичный. К тому времени там находилось много женщин. Не всех, увезенных из Кочмеса, я знала, ведь жили в разных бараках, работали кто где с раннего утра и допоздна, а после рабочего дня забирались на нары. Все увозимые жили в палатке. Их смерть выжгла имена в памяти, даже если их мало знала.

С первой партией ушли: Паша Кунина, Шева Абрамовна Генкина-Полевая, Рая Васильева, Ида Шумская, Лена Меерсон, Варя Павлова, Надя Штерн, Дуся Сорокина, Дуся Павлова.

Затем увозили то днем, то ночью по несколько человек женщин и мужчин. Среди них: Зина Козлова, Лиза Сенатская, Мария Иоффе, Мария Яцек, Рахиль Яблонская; остальных фамилии забыла, хотя лица многих иногда встают в памяти. Вспомню тех, с кем так или иначе соприкоснулась, даже близкие о них ничего-ничего не узнали — ни о жизни в лагере, ни о смерти. Погибли без реквиема.

Паша Кунина, жена брата Косиора, запомнилась исключительной мягкостью и ненавязчивой заботой о людях, случайных товарках. Она была соткана из тонкой и нежной человеческой пряжи. На острове, на прополке, в один из авральных дней очутилась рядом с ней и притом без накомарника. То ли забыла, то ли потеряла, не помню. Комары на острове — бедствие. Они ежегодно заедали там бычков и телок. Настолько меня комары одолели, что я буквально ослепла. Над бровями навис распухший лоб, глаза закрыли распухшие веки и щеки. Не вижу ничего, пропадаю. Паша без слов подошла, тоже, конечно, истерзанная комарами-кровопийцами, и прополочла за меня несколько рядков. Стала я к ней захаживать, привлекала она излучающейся теплотой. Видела, как она поднималась с нар, а согреться и улечься на нарах не так-то просто, и подтыкала бушлаты и одеяла под бока спящих соседок. Как будто мелочи, но почему я их помню? Почему все товарищи говорят о ней, как о луче, согревавшем мягким сочувствием. Потому что она такой была.

Ида Шумская — старый член партии, примыкала к оппозиции, деловая, умная, резкая. Одна из тех, кто умел полностью отключаться от быта и жить своей далекой жизнью.

Рая Васильева — фигура яркая. Всегда в жизни на перед-

нем крае. Большевичка и политработник гражданской войны. И это вязалось с ней. По-женски привлекательная: яркие глаза, звонкий голос, чистая речь. На воле — писательница, киносценарист. Автор (или соавтор) сценария известного фильма «Подруги», в свое время на шумевшего, с участием Бабочкина, Жеймо и др. популярных актеров. Уходила Рая с чувством, что это ее последний путь. Кричала нам: «Прощайте, прощайте! Живые, найдите сына, расскажите об мне, не забудьте!» О чем-то жарко и горячо говорила Марии Михайловне Иоффе. Рая не ошиблась...

Лена Меерсон — совсем молоденькая, неопытная, светлоглазая, пушистоволосая и милая со сроком в три года. Трехлетников обычно не трогали, но почему-то попала и она в эту чехарду, чтобы не дожить, не порадоваться и столько принять мук до двадцати пяти лет.

Шева Абрамовна Генкина-Полевая — пожилая социал-демократка-меньшевичка. Умудренная жизнью и многолетним несогласием, Ш. А. была скептически и строга. В то же время в ней не было партийной узости или взгляда со стороны, как это иной раз бывает с людьми давно отошедшими от непосредственной активной политической жизни. Напротив, ее интересовала экономика и философия и все новое и неизвестное ей в жизни. Спорила она веско, аргументированно, в широком крупном плане.

Зина Козлова была, напротив, бескомпромиссная большевичка в лучшем смысле этого понятия. Бывшая работница, затем партработник. Она до прямолинейности принципиальна во всех жизненных перипетиях. От своего морального кодекса не отступала нигде — ни в тюрьме, ни во время пыток. Женщины, которые проходили с ней по одному так называемому «процессу», по которому Козлова приговорена к расстрелу, рассказывали о сверхвозможном стоицизме и героическом товариществе этой удивительной женщины с неколебимым нравственным потенциалом. Зина погибла не на Воркуте, она по каким-то необъяснимым соображениям была спущена вниз к Ухте, переведена в отвратительную тюрьму «ухтарку», подвергнута вместе с еще пятью женщинами и пятью мужчинами допросам и пыткам самого Кашкетина. Женщины, проходившие следствие в «ухтарке»: М. Иоффе, Е. Сенатская, И. Гогуа, М. Яцек. Фамилию шестой, как и Зина Козлова погибшей, не помню *. Четверо живы. М. Яцек сошла с ума.

* Речь, вероятно, идет о Е. В. Конахевич, которая проходила вместе с Козловой, Сенатской и др. по одному процессу т. н. «Процессу 11». По утверждениям Е. М. Сенатской, Конахевич была расстреляна вместе с Козловой, Лейтманом, Шибяевым и Косманом. (Примеч. ред.)

Лиза Сенатская, на вид очень юная, но крепкая и выносливая. Она попадала в бесконечные следствия и переследствия, не могу объяснить по каким причинам. Работала она, как вьючная лошадка. Поражала меня необъятной памятью на людей и обстоятельства, которые впитывались ею с необычайной легкостью и закреплялись навсегда, что имела возможность проверить много лет спустя.

С их отправками в душе образовалась новая пустота, новая боль, независимо от того, знала ли я их близко или едва была знакома.

Что делать? Как жить?— задавала себе главные вопросы, как и все вокруг меня. Пролетев многопролетную витую лестницу низвержения вниз головой, ударяясь о все углы и ступени, попадавшие на пути, узнав людей, шедших рядом, я уже не могла противиться логике фактов. И она делала свое неумолимое дело. В лагере все обнаженнее, сгущеннее, рельефнее, но здесь лишь микрокосм, а за его пределами — макрокосм. Если мы безмолствуем, то там — гробовое молчание, если к нам прибывают отряды с этапами, то там исчезают когорты, если здесь убивают сотнями, то там стирают с лица земли сотни тысяч...

Как-то на разводе бригадир строителей Жухина, считавшая ошибкой то, что наша четверка состоит в ее незапятнанной бригаде, объявила, что мы выделены от бригады на лесоповал и весенний лесосплав с мужчинами разных статей (в том числе и уголовных) на дальнюю делянку, километров за 30 от Кочмеса. Нам угрожало нечто подобное судьбе Котиш. Мы категорически отказались ехать и как отказчики посажены в изолятор на 10 суток в почти нетопленный сарайчик, на 300 г хлеба и без вывода на работу. Работали мы неплохо, имели уже квалификацию строителей, знали, что весной в строителях большая нужда, а все же Жухина нами пожертвовала. Особенно нужна ей была Дора, так как она работала и на продольной пиле, и умела найти решение в любом строительном затруднении. Через 2 дня Устругову вызвали на работу с отменой карцера.

— Одна не выйду,— заявила Устругова,— ни на какую работу.

— Выведу!— орал комендант.— Обленилась! Понравилось!

— Да, понравилось сидеть в холодном кандее,— ответила смеясь Дора.— Одну не выведешь — драться буду.

Пошумев, комендант ушел и не вернулся, а на восьмой день нас всех вывели на работу в строительную бригаду. Тут-то мы с Мусей и повели с Жухиной откровенный разговор, о котором я упомянула, и который ей был неприятен и тяжек.

Зимой 1938 года в Кочмес прибывали партии вновь арес-

тованных или передвигаемых мужчин и женщин. Женщины большей частью оседали на командировке, а мужчины задерживались на несколько дней или недель и перегонялись дальше.

Приблизительно в середине апреля прибыл большой этап мужчин. Имелось много больных, и необходимо было провести санобработку. Всех поставили под навес, где обычно хранился стройматериал. Оттуда по четыре человека выпускали на opravку с привычным в таких случаях акафистом: «Остальным выход запрещен, шаг влево-вправо считается побегом».

После прибытия этапы быстро расконвоировались, и мы, зная это, во время обеденного перерыва подходили близко и переговаривались. На этот раз конвой был необычно большой и свирепый. Конвоиры нацеливали винтовки в нашу сторону и не подпускали никого, бранясь с ожесточением. Общая атмосфера накала оказывала на них свое воздействие. После перерыва работали на крыше строящегося дома, метрах в трехстах от навеса. Доносились окрики часовых, но этап не был виден, так как крыли нижние ряды крыши со стороны леса. Вдруг послышались выстрелы, поднявшийся вслед за ними вой мужских голосов. Мы вскарабкались на верх крыши по жердям и увидели на земле перед навесом два окровавленных человеческих тела. Один из этапников был убит наповал и лежал, распластав руки, вниз лицом. Другой еще корчился на земле, истекая кровью. Вой этапников, крики возмущения, рыдания — все слилось. Возмущение, отчаяние переполняло всех. Сбегались со всех сторон заключенные. Остервенелый конвой палил в воздух и каждую минуту мог повернуть дула на нас, но мы не расходились — осто-чертел произвол и несправедливость. Расправа на глазах, что спичка, брошенная в порох, терпение не безгранично даже у «зек-ков». Что же произошло? Два молодых этапника побежали на opravку навстречу забегавшей под навес предыдущей четверке — дело было в двух-трех секундах разницы во времени. За это они поплатились жизнью. Этап был большой, им просто стало невтерпёж. И два таких же молодых парня пустили им пули в спины: настолько была обесценена человеческая жизнь! Так и жили! Могли произойти и массовые убийства, но, к счастью, начальник Подлесный ушел в поле, и действовал его заместитель агроном Саломеха. Он мигом учуял настроение заключенных, да и сам взволновался убийством, он отдал распоряжение немедленно сменить конвой и отправить убийц в ВОХР безоружными. Тем самым он разрядил обстановку до некоторой степени и создал впечатление, что они будут подвергнуты наказанию. В действительности ничего подобного не произошло: убийцы-конвоиры уш-

ли как сопровождающие тот же этап с нарочитой целью подчеркнуть их правомочность в вопросах нашей жизни и смерти, ушли безнаказанно, и дело не было предано огласке. Значит, убийства могли повториться — ведь конвоиры действовали согласно инструкции!

Похоронили убитых тайком, где — неизвестно. Без анатомического вскрытия, значит, и без составления врачебного акта вскрытия. Как собак! И мы всему этому свидетели.

Более организованными и политически более решительными были те, кого называли «троцкистами-ортодоксами» в отличие от так называемых «капитулянтов», которые будучи на воле подавали заявления об отходе от оппозиции. «Ортодоксы» и написали заявление-протест по поводу убийства и собирали подписи всех, кто желал примкнуть к протесту. Все делалось секретно, конечно, и говорить об этом можно было только доверительно с самыми близкими людьми. Но прежде всего надо решить вопрос самой для себя. Дать подпись означало принять всю линию «ортодоксов» и их принципиальные позиции, т. е. солидаризоваться с их политическими установками и тактикой. Не дать подпись — значит подвести их под удар, а самой уйти в кусты и промолчать в решающий момент. Как быть? Как поступить? Мы обдумывали решение вчетвером и посчитали невозможным подписать протест «ортодоксов».

Тогда-то и началась настоящая пытка, ее ни с чем не сравнишь: представился случай протестовать и выразить свое отношение к насилиям, а ты спряталась, струсил — вот цена твоим гражданским качествам. Ты стала ничтожной козювкой, которой стыдно смотреть себе в глаза и стыдно будет смотреть в глаза людей и детей твоих, и матери. Что же говорит во мне — несогласие с троцкистами-ортодоксами или простая трусость, мелкая душонка, шкурничество, боязнь перевода в палатку и дальше на Кирпичный? Что скажет совесть — критерий истины? Все сойдет, все «ничего»?! Ничего, что убили на глазах двух людей, которые так же виноваты, как ты, они те же «кртд», что и ты! Ты молчишь, ты прячешься — и это «ничего»! Арестовывают без оснований, ломают жизнь, лишают материнства, отрывают от любимого дела. Оболгали, оклеветали путем подлогов и лжи — все «ничего»! Терпи, работай! Свозят на Кирпичный лучших людей, расстреливают — «ничего»! Истребляют поколение революции под лицемерно-демагогическими лозунгами социализма — и это «ничего»? Наконец, заставляют тебя презирать себя самое — это тоже «ничего»!?

Что же тогда-то «чего», ради которого стоит жить и терпеть? Или его не существует, если ты не протестуешь, если нет ничего святого.

Нельзя жить, нельзя так дальше жить ни одной минуты или необходимо немедленно что-то делать. Пусть бесполезный протест, но он нужен, он нужен мне больше всего на свете в данный момент! Три дня были для меня самыми тяжелыми в лагере. Жизнь совершенно обесмыслилась и утратила притягательную силу. Мы четверо за те дни не сказали друг другу ни слова. В молчании вставали, работали, ложились. Никакой дружбы не существовало. Когда все сводится к формуле «и это ничего», к беззначному нулю, когда мера вещей исчезает, нет ни честности с собой, ни дружбы, ни правды,— тогда ничто не может спасти. Жизни уже нет, если все можно безмолвно снести тогда, когда есть выбор. Так поняв и почувствовав, я немедленно нашла решение, удивляясь тому, как оно не пришло на ум сразу — такое простое и естественное. Почему необходимо присоединиться к протесту тех, кто не является моими единомышленниками? Села и написала протест от своего имени в два адреса — одно в прокуратуру Союза, а другое на имя начальника Подлесного, которое подала ему в руки.

— Пустое дело,— сказал он,— возьмите обратно!

— Не пустое, не заберу.

Содержание заявления простенькое: «Генеральному прокурору СССР Вышинскому. (Такого-то числа) в лагере Кочмес (близ Воркуты) на моих глазах были убиты без предупреждения двое заключенных только за то, что они вышли на оправку за несколько секунд до команды. Это произвол, я выражаю протест и требую выезда на место совершенного преступления, в совхоз Кочмес, Коми АССР, прокурора и следственных органов для немедленного наказания преступников-убийц. В противном случае каждый из заключенных может подвергнуться такому же беззаконию и произволу.

Заключенная Войтоловская Ада Львовна,
1902 г. р., статья крtd, срок 5 лет».

В барак впервые за эти дни вернулась с легким сердцем и хорошим аппетитом. Заговорила с Дорой, которая посмотрела на меня с удивлением. Муся опустила веки и улыбнулась уголками губ. Ночью Муся меня разбудила и со свойственной ей чуткостью зашептала:

— Аддочка, знаю, почему вы повеселели, уверена потому, что вы пришли к тому же, что и я, вы куда написали?

— В прокуратуру и Подлесному.

— Ну, а я во ВЦИК и Подлесному. Давайте спать!

На следующую ночь, часа в два, вошел в барак комендант и обычным в таких случаях резким голосом, совершенно не считаясь со спящими, приказал: «Войтоловская, Шлыкова, с вещами в палатку!» Мы стали собираться. С нами, несмотря на наши протесты, собирали вещи для перехода в палатку

Фрида и Дора, которые считали наши заявления неоправданным донкихотством. Но дружба снова вошла в свои права. Комендант протестовал. Фрида громко на весь барак сказала ему: «Заявления не писала, но с содержанием согласна». Комендант выматерился и философически заметил: «Плевал на вас всех — не все ли равно, за это не поругают. Выходи!» И мы пошли.

Должна признаться, что позднее расценила свои излишние колебания как недостаток смелости. Не все ли равно, к чьему протесту присоединиться, когда бессмысленный произвол приводит к гибели людей на твоих глазах? Так и поступили несколько товарищей, которые не имели непосредственного отношения к так называемым «ортодоксам». Они поставили свои подписи под общее заявление протеста. Имена их — Леля Малашкина, Роза Сандлер и Лена Меерсон. Они действовали решительнее, а встретились мы в той же палатке, куда их перевели за два дня до нас. Так мы четверо попали в палатку и двое из нас в списки на Воркуту. По всей вероятности, ни заявление «ортодоксов», ни наши с Мусей никогда не пошли дальше III-й части Воркуты, ибо дело не хотели разглашать, а Подлесный согласовал свои действия с тем же III-м отделом на месте. Кто мог ему в этом помешать?

В палатке было холодно и сыро, а во время топки парно, как в бане. Лед, намерзший по углам на матерчатых стенках, на каркасе и нависавший толстыми бревнами (их уже сосульками и не назовешь), все время таял, когда нагревалась печь.

Одна из заключенных, лежа на верхних нарах палатки, прислушиваясь к таканью падающих капель, мечтательно рассказывала, как она — геолог и путешественник — обошла летом 1931 года уральские и приуральские священные озера и сталактитовые пещеры. И вот так же, говорила она, в пещерах тихо и постоянно капала с потолка и сочилась по стенам вода. С тех пор палатка-барак и получила название «сталактитовой пещеры». Зато в нашей «пещере» не было урок и собрано «изысканное общество». Здесь проявлялось больше внимания друг к другу, по вечерам царила тишина, а вспышки перебранок стали редким явлением. Каждого могли отправить в дальний путь в любую минуту, хотя об этом не говорилось. Когда человек лишен всего, чего можно лишиться, случается наблюдать, чувствовать, осязать душевное богатство людей независимо от внешнего благополучия, обстановки и всех покровов. Оголение не всегда уродство, хотя его было и немало, иногда оно прекрасно.

В палатке же ближе узнала М. М. Иоффе, которая почти всех держала на расстоянии от себя совсем не из аристо-

кратической пренебрежительности, как казалось многим, а потому, что именно в то время, забывая о себе и об окружающих, она пережила расстрел единственного сына Воли и друга. По внешнему виду М. М. никто бы не догадался, что с ней происходит, так она владела собой на людях. Жила же с обнаженными ранами и была беспомощно уязвима. Для того, чтобы найти в себе силы жить дальше, нужно время и мужество, а для натур, подобных М. М., — одиночество и самоизоляция.

Там же встретилась со старой большевичкой Саррой Моисеевой Кан, общительной спорщицей, сердцеведкой, на редкость жизнерадостной, способной склонить к оптимизму заядлых ипохондриков и скептиков. Такие люди в заключении незаменимы.

В палатке скопилось и несколько меньшевичек, среди которых имелись и такие, которые давно забыли свои доисторические взгляды начала 1920-х годов, хотя они продолжали за них нести свой крест второе десятилетие, так как сроки их наказания увеличивались с неистощимой щедростью и непрерывностью. Они побывали и на Соловках, и в политизоляторах, и в ссылках, а теперь — в «модных» лагерях. Были среди них и начетчики-догматики, неискоренно не верующие в своеобразие восточного социализма. Однако, как правило, они были люди чистой души, ими не руководили ни корысть, ни месть.

Палатка значительно уже конюшни, и мы находились визави на вагонках через узкий проход. Жизнь всех была на виду и просматривалась «скрытой камерой» невольно. Нередко вызывало улыбку удовольствия наблюдение над тем, как высокая и статная, в короне светлых волос Алечка Максимова, придя с работы, скидывала с себя брюки, мгновенно преображаясь в настоящую женщину, приветливую и привлекательную, и принималась за хозяйственную возню, казалось бы, немислимую в нашей обстановке. Бог весть каким чудом умела она сохранить хозяйственные навыки и атрибуты — на веревочках под вторым этажом вагонки были развешены с десятков мешочков с горстками разных круп, что-то сушеное, кастрюлька... Всем богатством своим она с радостью делилась. Сразу становилось уютнее, палатка, казалось, превращается в комнату, чего так недостает в лагерном общении. От этой женщины веяло душевным расположением. Хлебом ее не корми, но Расскажи анекдот (пусть даже с бородкой), пошути, придумай лагерную «парашу», развесели — и она расплывется в улыбке и пообещает, что все плохое пройдет, потому что «так долго продолжаться не может». Объяснений своим прогнозам Аля не давала и не пыталась давать, ни к кому не приставала с

расспросами, не навязывала своих привычек и взглядов. При ней можно было сболтнуть лишнее, посмеяться и всплакнуть. С Алечкой всем было легко. Сквозь все в ней просачивалось женское начало — женская любовь, женское кокетство, заботливость, женская находчивость и уменье. В лагере она полюбила и обоготворила человека, с которым прожила всю остальную жизнь. Она буквально растворилась в нем. Когда он тяжело заболел, все, кроме него, перестало для нее существовать. Аля самозабвенно ухаживала за ним, заболела и сгорела. Он болен, но жив.

В палатке обитали люди самые разные, как то всегда бывает в случайно подобранном общежитии, но все же состав был однороднее, чем в других бараках. И по части «стукачей» здесь полегче: добровольцев совсем нет, а посаженных тотчас различить.

Наша четверка по-прежнему работала в стройбригаде. Весной много штукатурно-побелочных работ, и мы возвращались до того измазанные и вонючие от навоза, что нас сторонились. Выдался денек, который врезался комедийной стороной нашего бытия, хотя в нем не содержалось и намека на веселье.

С утра стало известно, что прибыла почта. В то утро была моя очередь топтать замес на лошади по кругу. Штукатурили скотный двор. Иван Степанович — бригадир с хитрецей и ленивым добродушием подсказал: «Чем нам, девки, за конским навозом за сто верст на конюшню драпать, обойдемся навозом коровьим, что под боком. А ты, каинова сестра Ада,— обратился он ко мне,— влезай на лошадь, да езд по кругу не больно шибко, чтобы до башки добро не долетало. Коли замес будет слабый, сыпьте песочку и глинки. Для коров как раз подходяще будет. Скот оберегают, а люди в палатках всю зиму стынут. Тьфу на них! Хорошего русского слова и то на начальников жалко». Инструкцию мы приняли к исполнению, но замес пачкал нас немилосердно. Раза два я срывалась с круга и галопировала на лошади через всю командировку к дому начальника за почтой, так как очень давно писем не получала. Вскакивать на лошадь не умела и, чтобы влезть на нее, притягивала ее вплотную к крыльцу и через перильца взбиралась на ее круп. При этом, не знаю, кто кого больше, перемазывал в навоз. А Подлесный оба раза почту не выдал, повертев пакетом передо мной — любил подлец позабавиться! Я была взбешена.

Вторую половину дня белила потолок в коровнике. Кисти длинные, с наклоном, но пачкали безбожно одежду и лицо. Белила известью, а не мелом, и лицо не обтирала, чтобы не содрать кожу. Платок спасал волосы лишь относительно, так как с задранной кверху головы он постоянно сползал. В тот

день белили поздно, чтобы закончить работу на объекте и не подвозить к нему на полдня стремянки, козлы, бочки и материалы. Возвращались поздно, мечтая смыть грязь и получить наконец почту. Инструменталка была уже закрыта, и все инструменты пришлось тащить в палатку. В тамбуре, где мы хотели оставить громоздкие инструменты до утра, валялись обрезки досок, брусков, жердей, чего никогда не случалось. Места для нашего груза не нашлось. В палатке между вагонками поставлены были дополнительные двухэтажные козлы, на них положены доски, и вагонки превращены в сплошные нары. Новые жильцы еще не вселены. Со стороны администрации учинено самое настоящее издевательство: не иметь возможности присесть на нары, откинув матрац и спустив ноги, чтобы скинуть вонючую грязную одежду, втискиваться на нары в узкую щель, таща за собой всю грязь, было просто невыносимо. После тяжеленного дня, невыдачей почты запас моего терпения истощился. Разъяренная течением дня я буквально взбесилась. Топор был у меня в руках, подбежала к своей вагонке и начала отбивать доски, жерди, козлы, поставленные между мной и Дорой. В ту минуту я бы могла сокрушить и всю палатку, настолько меня душила злоба. Дора, как более благоразумная, пыталась меня уговаривать, но бесполезно. Фрида и Муся стояли в нерешительности, поскольку я одновременно разбила и козлы между ними. Все, конечно, мне сочувствовали и готовы были меня поддержать. Закусив удила, перемазанная глиной, навозом, известкой, я, как фурия, помчалась в контору и наскочила на помощника начальника Титова (на воле он был инженером-электриком). Я видела, как он опешил, столкнувшись со мной, наверно, ощутил ток моего разъярения. Он не крикнул на меня, не обозлился, а испуганно спросил: «Что с вами? Откуда вы свалились? Кто-нибудь разбился на лесах? Зайдите в приемную». Тут только дошел до меня комизм моего вида. В беге я, наверно, выдохлась, а тон Титова охладил пыл. Я сразу отрезвела. Внезапно пришлось на ум обращение немецких демократов революции 1848 года в парламенте, и я выпалила: «Мы требуем не милости, а справедливости!» Титов расхохотался, что меня снова распалило, и я стала ему доказывать достаточно убедительно, что делать сплошные нары, когда мы приходим с работы в таком виде, недопустимо и незаконно.

— Идите в палатку,— сказал он,— приведите себя в нормальный вид, а я сейчас туда зайду и разберусь.

В палатке многих охватило то же возбуждение, толпились около поверженных мною нар, охала дневальная. Впопыхах я забыла сказать Титову о самочинном разборе нар. К моему приходу некоторые принялись ломать козлы по

моему примеру. Дело принимало новый оборот. Все зависело исключительно от такта Титова. Наша четверка не мылась в ожидании Титова и стояла во всеоружии строительного инструментария, так как тамбур был завален строительными отбросами. Что ему оставалось делать? Снова сажать в карцер? Сам он прекрасно оценил нелепость распоряжения — неужели нельзя соорудить на снегу точно такую палатку — одну, две, сколько угодно таких же роскошных жилищ?

— Чье распоряжение?— спросил Титов дневальную, обозрев палатку и поняв ситуацию.

— Начальника,— ответила дневальная.

— Когда дано?

— Сегодня.

— Через кого передано?

Титов явно тянул время и искал выход — ему надо было санкционировать дурацкое распоряжение, поскольку нельзя было его отменить.

— Я выясню, в чем дело,— сказал он,— а пока между строителями и возчиками сплошные нары можно снять. И ушел. К нам никого не вселили и постепенно сплошные нары разобрали.

— Ну, Аддка,— ворчала Дора,— и чего ты на рожон лезешь? Случайно наскочила на Титова, а не на кого-нибудь другого...

Вечером почту роздали, но ни Муся, ни Дора снова не получили известий о муже. От Олега и Виктора писем давно не было. Они были арестованы, как мы узнали позднее. А через год ни того, ни другого уже не было в живых.

Держала в руках письма мамы, детей и Николая Игнатьевича. Письма в лагере самый большой праздник, ни с чем не сравнимый перелет в мир иной, стократ менее трагический, несмотря на все его тяготы, мир более светлый и обнадеживающий. И письмо обязательно уведет тебя в него. Огромное наслаждение пойти на концерт в филармонию и услышать любимого пианиста или симфонический оркестр ленинградской филармонии под управлением Клемперера! Но перед волнением при чтении писем в заключении — все впечатления бледнеют и меркнут. Из каждой строки маминых писем можно было бы создать эпопею самоотверженной любви, хотя в них говорилось почти только о детях. Даже о болезни отца она едва упоминала. Из письма узнала, что Валюша за время моего отсутствия научилась писать, но занятие это ей не нравится. Вот ее письмо: «Дорогая мамочка,— писала она аршинными печатными буквами,— когда пишут письма нада думать а я очень не люблю думать целую тебя миллион раз В. Карова». Леня приписал: «Мамочка, наша Валя и

на тетрадках пишет не Карпова, а Карова и мы с Витей ее так и дразним — Карова».

Ленечка писал, что занимается в Доме пионеров в кружке рисования, Валюша прислала рисунок из двух квадратиков, соединенных вместе, которые должны были изображать развернутую книгу. На одном квадратике нарисован цветок, другой заштрихован и под рисунком надпись: «Мамочка это только наброска Валя». С такими листиками писем, с «наброской», лишь для меня представляющей ценность, можно было еще долго продержаться. Коля писал с какого-то маленького лагпункта Шапкино, на притоке Печоры. Он послан туда на лето с небольшой группой людей косить сено и ухаживать за телятами. С ними единственная женщина-повариха, она же ленинградский врач Богоявленская. У ее мужа-врача, заведующего больницей Балинского на Васильевском острове, лежал и лечился мой отец. Колины письма из лагеря за все время нашей многолетней разлуки не содержали ничего печального — здоров, бодр, живу на природе, сон отличный, коплю силы на будущее. Уловить его настроение по письмам могла только я по неприметным черточкам. Для постороннего глаза могло казаться, что они писаны человеком, не ведающим горя. А ведь он работал на тяжелейших работах в лагере и дважды совершенно случайно избежал отправки на Воркуту. Щадил меня. В духе увлекательной робинзонады он рассказывал о постройке маленьких землянок-временок, о ловле рыбы сетками и на мерлицу, о пляске хариусов на солнце и об их прыжках на каменистых порогах речушки, и о том, что к ним несколько дней тому назад поутру пожаловал медведь, «не о котором ты слышала лагерную присказку — прокурор-медведь, а самый доподлинный. Увидав его, вся братия принялась ударять по котелкам косами и топорами, музыкальные уши лесовика не выдержали звуков шумового оркестра, и он удрал с поля боя».

Говорить о таких близких людях, как муж, сестры, почти невозможно, слишком переплетен ты с ними всеми человеческими связями, взаимосвязан, как сообщающиеся сосуды, вплетен в одну ткань жизни. Но было бы несправедливо не сказать о тех, кто выручал и держал меня больше, чем кто-либо другой.

Поскольку заговорила о письмах Коли, скажу о нем. Муж мой Николай Карпов принадлежит, как я уже говорила, к поколению творцов революции. Дело даже не в его биографии, единственным возможным для него путем в жизни была революция, его религией и страстью, воплощением его творчества. Революция в ее большевистском толковании. Она поглотила его, и он отдал ей всего себя целиком. Никаких сомнений для него не существовало, никаких колеба-

ний. До поры до времени... Инициативный, смелый, сильный, волевой, по натуре прямолинейный, бескомпромиссный шел он в первых рядах. Организатор и трибун. С такой же страстностью и настойчивостью отдался позднее науке, но политическая жизнь осталась первой любовью, главной целью бытия. Пришли сомнения, и он примкнул к оппозиции.

О событиях, связанных с нашими арестами, рассказала вначале. С первой минуты разлуки знала, что ни тюрьма, ни следствие, ни дальнейшие испытания его не сломят, и разлука нас не разлучит, если он будет жив. Николай Карпов человек необычайной устойчивости и надежности. Встречала людей более гибких, изощренных, наделенных разными качествами, которыми он весьма возможно и не обладает, но такой правдивой безупречной надежности, неиссякаемого, как живой родник, жизнелюбия и оптимизма не встречала ни в ком. Письма его из одной далекой лагерной точки в другую ко мне всегда действовали как животворный ток, поднимали, поддерживали, вселяли надежду. Даже если писем не было очень долго, слышала его голос, зовущий на свободу и на сопротивление в тяжелых обстоятельствах. Многим ли женщинам довелось иметь такую незримую поддержку в лагере? Для меня она была невидимой броней.

В палатке близко сошлась и с Рахилью Яблонской. Но дружба длилась не долго. Муж ее находился на Воркуте, и она со дня на день ждала отправки туда же. До Кочмеса она работала где-то под Ухтой не на общих работах и не была истощена, напротив, была в расцвете сил. Но ее снедал страшный недуг тяжелых предчувствий, доводя до умопомрачения. По ночам она металась, просыпалась с неизменной тоской и жаловалась: «Со мной происходит небывалое, я жду конца и боюсь его. Не знаю за собой никакой вины, но постоянно угнетена и воображаю себя преступником, которого ждет страшная кара. Меня пугают молчание мужа, пустые глаза начальника, каждый крик в палатке. Я заблеваю психически и когда прихожу к этой мысли,— хочу конца, но... не от руки палача. Этого боюсь...» Иногда ей удавалось сбросить наваждение, тогда Рахиль преображалась в общительную, молодую, остроумную, словно живой воздух надежды касался ее и возвращал к жизни.

Однажды утром Рахиль подошла ко мне совсем сломленная, передала свой сон: «Стою у входа в барак. Барак пестрый, покрашен в разные цвета, а на нарах лежат трупы мужчин и женщин вперемешку. Я сопротивляюсь, не хочу идти дальше. Конвоир винтовкой толкает вперед, все вперед. Кричит: «Ложись, ты и сама труп, разве не видишь? Не ляжешь, буду стрелять. Посмотри на себя!» Взглянула на руки и ноги, они в синих пятнах, а я голая упала среди тру-

пов... и проснулась». В то утро, как обычно, вышли на работу с разводом. Возвращались строители поздно; в следующие два дня я ее не видела. На третий день перевозила бочку с известью и случайно столкнулась на дороге с тремя женщинами, уводимыми под конвоем на Воркуту, их собрали после развода на этап. Среди них Рахиль. «Рахиль, Рахиль, до свидания, буду ждать», — кричала я. Не слышала или ей было не до ответа... На Воркуте, пройдя через Кирпичный, была расстреляна, как и муж. На воле остались дети.

Так выдергивали из палаток на Воркуту людей. Только чуть-чуть тоска уляжется — и вновь поднимается после ухода друзей и товарищей с новой силой. Месяц за месяцем тоска ложится с тобой на нары на всю ночь и поднимается с разводом, чтобы стать твоим спутником на целый день. А все тянутся к просветам, и когда две-три недели никого не берут, всякий раз рождается надежда, что последний этап был действительно последним, и наступили перемены...

Лед еще сковывал реку Усу, но поверху закипала наледь. Не известно почему казалось, что весна принесет свободу — к счастью, человек живет не только логическим мышлением, но и живительным природным инстинктом. Одно дело зима — все сковано льдом, зоной, оборваны связи, а весна — это течение рек, открытие навигации, свет, зелень, более частая почта и, может быть... Совсем забываешь, что и к реке-то подойти нельзя, чтобы увидеть хоть веселый хвостик играющей рыбешки. Но солнце светит дни и ночи, небо окрашено в розовые тона, идет «весна света» по выражению Пришвина, а затем звуков.

Как бы ни было горько, какой бы тяжелой работой ни был занят, глаз, уставший за зиму от снегов, поразит и обрадует новизна весенних красок, богатство переливов северного неба. Все расковывается: неужели весна не принесет нам ничего радостного? С открытием навигации после весенней распутицы вновь начали прибывать этапы. Расконвоированные этапы не работают, если у конвоя хватает пайко-дней. Группка ленинградцев, среди них Юзеф Заславский, прибыла из Ухтпечлага, где работала с Николаем Игнатьевичем, и привезли привет от него. Они пробирались к нам в рабочее время на крышу, под стук молотков изощрались в островах на наш счет и сообщали о событиях на воле и даже тайком доставили кипу газет, правда, разрозненных, но относительно свежих — январь—апрель 1938 года. От чтения газет после большого перерыва создавалось впечатление удручающее, несмотря на деланное, наигнанное, фальшивое спокойствие. Газеты читались наспех, в обеденный перерыв, там же, на крыше, так как газеты были запрещены.

Недавно я нарочно перечитала комплект газет за тот

период, чтобы вспомнить, что меня в них так возмутило и лишило надежд и иллюзий. Газеты возмущали и при вторичном прочтении чудовищной ложью. Если можно так лгать, то нет преград ничему. Передовицы источали мед и взывали к доверию народа, справедливости, чести, правде. Пленум ЦК бичует парторганизации за ошибки при исключении коммунистов из партии, формально-бюрократическое отношение к апелляциям исключенных и «преступно-легкомысленное отношение к судьбе членов партии». Следующие слова звучали кощунством и надругательством в свете того, что мы переживали и видели собственными глазами: *«Пора разоблачить перестраховщиков, которые путем репрессий против членов партии делают карьеру... Реабилитировать неправильно осужденных, сурово наказать клеветников! Швыряться людьми партия никому не позволит!...»*

Во время, когда многие сидели по доносам и лжесвидетельствам, когда оклеветанных пытали, замуровывали в лагерях и расстреливали, как куропаток, «Правда» проливала крокодиловы слезы и цитировала Салтыкова-Щедрина: «Распространяется клевета тайно, так что концов ее почти невозможно найти. Тем не менее положение клеветника ужасно. Каждую минуту он должен опасаться, что его уличат». Увы, уличение клеветников ни в те годы, ни 20, ни 30 лет спустя ничем им не грозит. Жили и живут припеваючи назло Салтыкову-Щедрина. Пожалуй, не ошибусь, что в «ученом» мире никто из клеветников без кафедры не остался.

По газетам народ счастлив и ликует, зимовщики дрейфующих станций приводят в восторг беспримерными подвигами, население получает больше товаров, жилищ, всех благ. Мир. Спокойствие. Процветание.

Теперь пора ошарашить, ошеломить, обрушить гнев народа на тех, кто ломает счастье, срывает мир, губит страну... 28 февраля «Правда» заговорила другим языком — языком Цицерона против Катилины. Разве могут не вызвать гнев народа враги, преступления которых перечислены в обвинительном заключении? Чего только в нем не сказано!

Представим себе на минуту, что должен чувствовать любой заключенный, загнанный в ловушку лагерной «командировки» в период садистских расправ, читая обвинительное заключение подобного рода. Он не может сказать себе, что все это никакого касательства к нему не имеет, как оно есть в действительности, уж по одному тому, что преступления являются сплошным вымыслом и в отношении непосредственно обвиняемых. Где же законы и запреты, ставящие преграды между тем и другим? Их нет. А ненависть ширится, стирает грани, захлестывает мертвой хваткой, господствует, торжествует, душит кровавыми лапами. Ее не остановить,

нет такой силы... Ей все дозволено, ибо она наряжена в священные одежды социализма так же, как некогда восточный деспотизм рядился в наряды конфуцианства, а средневековые — в христианство.

Коммунистическая фразеология и господствующая идеология удивительным образом уживались с тиранией. Вопросы о том, как это происходит, никто не пытался разрешить. Однако несовместимость была по жизни, как несовместимость крови — резус, бьет по потомству.

Терроризм оправдывался борьбой с империализмом, фашизмом, игнорировалось очевиднейшее явление, что он изменил направление и бьет по своим, уничтожая не только людей революции, но и принципы революции.

Верили или не верили? В силу инерции под пыткой страхом принимали на веру и подчинялись инерции и дисциплине страха.

Из обвинительного заключения. Февраль 1938 года:

...Обвиняются в том, «что по заданию разведок враждебных Советскому Союзу иностранных государств составили заговорщическую группу «право-троцкистский блок», поставивший целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих государств на СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, среднеазиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке в пользу упомянутых иностранных государств, наконец, свержение в СССР существующего общественного и государственного строя и восстановления капитализма, власти буржуазии» («Правда». 3 марта).

Бухарин хотел убить или арестовать Ленина уже в 1918 г., Крестинский — шпион в пользу Германии с 1921 г., Раковский — сотрудник «Интеллиженс-Сервис» с 1924 г. и японской разведки с 1934 г., «Троцкий уже с 1921 года нес шпионскую службу для одной иностранной разведки. С 1926 г. Троцкий продается и другой иностранной разведке». Через десять лет те же аргументы.

«Враги принесли в жертву светлые головы Куйбышева, Менжинского, Горького при помощи фашистов, извергов-врачей»... «Они замыслили убийство миллионов рабочих и крестьян, разгром советских городов, гибель советских заводов и колхозов»...

Ясно помню, как в тот день после прочтения газеты сдала инструмент, вернулась на крышу и в беспросветном отчаянии просидела там до проверки. Сквозь не покрытую крышу видела едва заметные бледные звезды на холодном небе, и жизнь представлялась такой же холодной, бледной, далекой

и совершенно ненужной. Хотелось одного: безразличия и равнодушия ко всему на свете. «И наконец придет желанная усталость и станет все равно... Что? Совесть? Правда? Жизнь? Какая это милость» — вертелись в голове слова Блока.

Думаю, что таким приступам отчаяния были подвержены весной 1938 года едва ли не все заключенные. Впрочем, не только весной и не только в 1938 году...

Не так давно один товарищ, который был в заключении около двух лет, а затем всю войну на фронте в качестве врача, рассказывал о катастрофе, которая произошла с его госпиталем в поезде. Раненые были эвакуированы в тыл, а госпиталь передвигался к фронту. Под Полтавой началась бомбежка с воздуха. Был произведен массированный удар, и весь состав запылал. Погибло 60 человек. Доктор с другими бежал в лес и залег там до конца бомбежки. Смерть могла настичь всех в любую минуту. Он передал мысли, которые бродили в его голове: «Когда я лежал в лесу и видел горящий состав с гибнущими людьми, когда моя жизнь висела на волоске, невольно сопоставил арест и войну и твердо знал, что умереть сейчас, в этой страшной обстановке, неизмеримо легче, чем быть там. Поскольку существует война — бедствие всенародное. Почему не я, а кто-нибудь другой должен погибнуть? Смерть здесь закономерна, в такой гибели есть оправданность и смысл. Под огнем испытывал облегчение от того, что я не там. Совсем иное восприятие себя, окружающего мира».

Ряды женщин, живущих в палатке, редели. Брали на Воркуту. Некоторых, как слабосилку, перевели в Адак, на инвалидную командировку. Оставшиеся ждали своей очереди.

В июле работали на штукатурке и побелке клуба и столовой. Работа близилась к концу и на побелку потолка отправили двоих — Дору и меня. Мы стояли на стремянках с ведрами извести и длинными кистями, когда привели этап из нескольких женщин с Воркуты: Ольгу Танхилевич, Нину Булгакову, Раю Смертенко, Бети Гурвич и М. М. Иоффе, которую недавно увозили в Сангородок при Воркуте по болезни. Среди вхохровцев, приведших этап, был тот самый Кошкин, который помогал мне при зашивании века и который позже сопровождал этап мужчин с Сивой Маски на Воркуту. На минуту вспыхнула надежда — возвращают, живы, ужасы преувеличены! Но стоило нам сойти со стремянок, разглядеть лица женщин, как пахнуло замкнутостью, скорбью, горем.

Нина Булгакова, с которой вели ночные беседы на Сивой Маске, поседела, похудела и заметно состарилась. Живот беременной женщины выпирал, как нелепое противоречие

всему ее убитому виду. Она нервно замахала руками, как только я подошла к ней, желая этим выразить, что никакой разговор не возможен. Танхилевич, обаятельную, с веселыми пронизательными глазами, окруженную общим поклонением, знала немного по Ленинграду. Сейчас ее лицо без тени улыбки было сухим, вся она выглядела подавленной, взгляд смотрел в себя, не отражая ничего из внешнего мира. Мне показалось, что и она, и Рая Смертенко тоже в ожидании родов. Последняя оставалась женственной в своем положении. Она скинула теплый платок с головы на плечи, волосы рассыпались кольцами, она беспокоилась о кипятке и хлопотала вокруг женщин. Мария Михайловна посмотрела на меня незнающим взглядом и перевела глаза на окно, около которого сидела в полоборота, совершенно равнодушная к окружающему. У Бети резко обозначились морщины около губ и носа. Мы для этапниц — инородные, чуждые тела, что сразу почувствовали и, не решаясь даже предложить услуги, полезли на стремянки. Вскоре за женщинами пришел дежурный из бани, а из вохровцев остался в клубе один Кошкин. Он сразу узнал нас, но не здоровался. Мы же с бойцами охраны заговаривали только по необходимости. Он знал все о Воркуте и о наших товарищах с Сивой и ждал наших вопросов. Мы упорно белили. Заговорил он сам раздраженно, грубо, зло. Казалось, будь его воля, пальнул бы в нас из винтовки без всякого сожаления. Винтовка стояла рядом, и он за нее нервно хватался.

— Что? Не признаете? Или думаете я вас не признал? Здесь вам не то, что на Сивой Маске — и в лес гоняют, и землю зубами грызете... Все знаем.

На Сивой Маске он был сдержан и молчалив. Видно, Воркута — хорошая школа! Сейчас он был не похож на себя: он как бы выворачивал себя наизнанку, щеголял наглостью.

— Привез трех шлюх, вытащили, потому что брюхаты, а то бы и их туда же, в одну кучу... Пожалели! Нашли кого жалеть! Чего гниду жалеть, пожалеешь — вшой станет (его распирало от бешенства). А я еще на Сивой Маске за людей вас считал. Небось хочется узнать, что с вашими... дружками, где они и как поживают? Чего ж не спрашиваете? Я скажу. Почему не сказать? Поминай, как звали... Тю-тю-ю-ю... всех, всех, на развод не оставляли. Чтобы чисто было.

Ни тени доброжелательности не сохранилось в нем, он озверел и выплевывал всю накипь, что скопилась за иступленный тот год. Он бил сознательно каждым словом, как обухом по головам, и не боялся рискованности своих рассказов. Ненависть кипела в нем с откровенной силой, и он с удовлетворением изливал ее на нас. Во мне тоже накопилась ответная ненависть к нему, и я уже дрожала с головы до пят.

Белить было трудно, казалось, упаду. Уйти не могла — непреодолимо влекло дослушать, узнать, наконец, правду, какой бы она ни предстала. Кошкин прихлопнул плотно дверь клуба, придвинулся к нам с винтовкой, волоча приклад по полу. В пустом клубе каждый звук отдавался гулко. Он продолжал:

— На Воркуте все работали. Даром пайку не получишь. Потом списали их на Кирпичный. Я их долго не видел и позабыл даже, нужны больно... Сколько времени прошло. Работаю. У нас служба! Не то, что у вас — шалая-валяй. Дисциплина! Гады дрыхнут, а мы их ночь карауль, в пургу, в дождь. Вы считаете — «попка», а мы — люди государственные. Да что говорить, разве вы понять можете? Потом вызывают на Кирпичный в распоряжение самого начальника Кашкетина! Не одного, целый взвод туда направляют. Тут-то я их голубчиков и встретил, ваших облезлых тракцистов, всю шатию-братию. И до чего же облезли — срам! Я же их с Архангельска вез — ни кожи ни рожи. Володька Карпенко гоголем ходил, — ног не тянет, Безазьян зарос, чистая обезьяна, Блюм доходит, Яшка Белинкис, Илюшка Ефимов, Попов Гришка, да все гамузом*... Соскучились без мужиков в Кочмесе — получайте приветы... Без них — обойдемся!!! А без нас — нигде! Несколько дней дежурными на часах простояли. Потом перетаскивали аммонал в горы, чтобы для этапов дорогу через Урал прокладывать на 501-ю стройку. Сообразили, что взвод затем и вызвали, чтобы этап сопровождать. Вернулись — нам день отдыха. В тот день с утра до вечера «зеков» по спискам вызывали, к этапу готовили. Вечером собирает нас начальник — готовься в этап, на следующий день. Всем «зекам» дали обмундирование хорошее, все первый срок, всем валенки, у кого нет. Мужикам и бабам. А они все как один доходяги на Кирпичном стали, не всех и узнал. Иные обрадовались: конец Кирпичному, хоть дальше, да, может быть, легче. Одеваются, переговариваются, ожили...

По тону его, по голосу, по сжиманию нервно, до побелевания пальцев, винтовки не сомневались, что не врет, не сочиняет. Слушали не в силах прервать, как вынуждены бывают приговоренные выслушать приговор. Правда носилась в воздухе, когда-нибудь вынуждены ее узнать.

— Мы выводили одну партию за другой... а там уже, другие делали... Зачем аммонал — мы догадались и вы догадаетесь... Обмундирование обратно мы сносили. Так всю ночь — туда и обратно. Потом перерыв день-два и снова

* Все гамузом — все вместе. (Примеч. авт.)

мобилизация на ночь. Бабам, думаете, амнистия — нет на вас ее...

— Замолчи, подлец! — крикнула Дора не своим голосом, пинком ноги в ведро обрызгала вохровца с головы до ног, соскочила со стремянки и с воплем бросилась из клуба.

Я слезала с последней ступеньки своей стремянки, когда Кошкин швырнул ногой ведро мне под ноги, больно ударил ребром ведра ниже колен, но дал выйти. Слышала, как он остервенело, но тихо сказал: «Ничего, подлюки, на Воркуту я вас доставлю».

Кошкин — крестьянский парень, чуваш, взят, надо полагать, по мобилизации в армию, переведен не по выбору, а случайно по должности в военизированную охрану, в особые войска. Прежде всего он служил своей советской власти, другой он не знал и о другой никогда не думал. Приказывали — сопровождал этап, караулил, приказывали — стоял на вышках, приказывали — выводил под пулеметы, может быть, сам стрелял, если был признан метким стрелком. Во всяком случае, с его же слов, снимал с приговоренных к расстрелу одежду и сносил ее обратно для следующей партии. Но чтобы расстреливать ответственно или безответственно безвинных надо стать мерзавцем и иметь навыки палача. Или другой путь — путь ежечасного ожесточения, ибо нельзя отделаться одной безответственностью, одним выполнением приказа, будучи втянутым активным участником в террористическую систему. Предположим, ничто не смущало его при поступлении в особые войска, но далее он начал сталкиваться с осужденными, год прожил на Сивой Маске, слышал наши разговоры, видел на работе, наблюдал, взвешивал, думал. Не думать он не мог, ведь ничего внешнее его не отвлекало — ни труд, ни деревенские сходки, ни клуб, ни радио, ни кино, ни девушки. На нас смотрел исподлобья, с затаенной обидой, так как для заключенных он часовой с винтовкой и только. И нас, и его обязывало положение. Что же дальше? Как быть? Отказаться выполнять долг — не караулить, не этапировать, не стрелять, то есть стать дезертиром. Но почему? Он ведь не толстовец и не непротивленец. Этого не позволяла ему простая солдатская честь. И страх смерти тоже. Да он и не разбирается в высокой политике. А выход должен быть найден. Ему подсказывают, в чем его долг, — возненавидеть нас, оправдать ненависть нашей преступностью, изменой, чтобы таким путем утолить совесть, человеческие чувства, ужас, чтобы осталось в жизни нечто неприкосновенное, оправданное, чтобы не тащился за ним кровавый след убийцы, чтобы не страшиться собственной тени здесь и по возвращении домой.

Вот еще какая огромная прослойка людей была не только задета, но и перемелена в машине уничтожения.

Говорят, что всех участников операций Кашкетина позднее «пустили в расход», то есть подвергли смертной казни. Не знаю, насколько это достоверно, но думаю, что именно так и произошло. Что же думали кошкины и все эти без вины виноватые, когда их вели на расстрелы? Кого проклинали они в предсмертные часы? Обмануться в том, куда их ведут, они не могли, мешал собственный опыт. А если они остались жить и работать? Детям можно ничего не сказать, но о чем поведывали ночью женам, что почувствовали, когда слышали и прочли о сотнях тысяч невинно осужденных? Молодость большинства этих слепых исполнителей была отравлена, искалечена и, если они живы и не прошли очистительных испытаний войной, продолжает оказывать тлетворное влияние на всю их жизнь и на жизнь окружающих.

То, что вохровец в клочковатом порыве ненависти рассказал жестокою, горчайшую правду, подтвердили те несколько человек, которые уцелели после расправы. Привезли и уцелевшую Марию Яцек. Бедняга Маруся не успела передохнуть и оправиться от одних мук, как ее снова потащили на следствие Кашкетина, только уже на Печору, на Ухту, куда временно перенес центр своей деятельности палач Кашкетин. Там она сидела в тюрьме «ухтарке», с режимом на подобие воркутинских «тридцатки» и «Кирпичного». В пути Маруся Яцек была, по словам спутниц, забита, голодна, пуглива; при ней нельзя было заговаривать о Воркуте — начинались слезы, стоны, галлюцинации. Значительно позднее рассказала Лизе Сенатской следующее: «Жили женщины на Кирпичном в нечеловеческих условиях, как и мужчины. В сырых, темных и холодных казематах, на нарах без белья и без матрацев. На голодном пайке. Сивая Маска казалась приличным общежитием по сравнению с Кирпичным. Голод был настолько силен, что вытеснял все чувства и доводы рассудка. Поэтому, когда всех женщин, кроме двух, вызвали на этап, все обрадовались и повеселели. Зато две остающиеся слонялись, как убитые, считая себя обреченными.

Ночью конвой разбудил: «Собирайтесь с вещами!» Вывели первую группу женщин, затем вторую и третью, не сразу, по очереди. Но конвоиры были не те, что охраняли в течение месяцев, а совсем новые, и обращение было более мягкое и осторожное, чем обычно. Не торопили, не кричали, а дожидались терпеливо и тихо. Некоторые конвоиры даже говорили полупшепотом. Среди собранных на этап пронесся вздох облегчения, как шорох, видимо, там, куда переводят, не будет такого страшного режима, как здесь. На душе у двух остающихся — Маруси и Лизы Дроновой — залегла тя-

жесть и тоска. Уходящие им сочувствовали и жалели их.

Постепенно ночью вывели всех, кто был намечен. Слышно было, что на мужской половине Кирпичного и во всех палатках тоже идет шевеление. Оставшимся двум женщинам не разрешено выходить до утра. Обе не спали. В 6 часов утра, как обычно, подъем. Оправка происходила во дворе. Когда их вывели, обе явственно различили в горах пулеметную очередь. Еще совсем темно. «Озираемся,— говорила Мария,— не то бормочем между собой, не то спрашиваем: «Где стреляют? Почему стреляют?» Конвоир мнетя и отвечает не привычным окриком, а поеживаясь: «Ничего не слышу, почудилось...» Но нам не чудилось, все время, пока стояли во дворе, равномерно стучали пулеметы.

Утренний завтрак вызвал полное недоумение и зародил тревогу — выдали по целой тарелке гречневой каши со шкварками. Голод превозмог все — кушали. Пища не принесла успокоения, напротив, с насыщением тревога и сомнения усилились: что происходит, почему накормили досыта, почему не взяли вместе с другими? Стучали в окошечко кормушки, спрашивали дежурного часового. Он просунул голову, как-то жалостливо улыбнулся и сказал не зло, а сочувственно: «Дуры вы, дуры, ешьте, пока дают. Это — тризна»... Остановился, помотал головой, хотел захлопнуть форточку, но снова приоткрыл ее и добавил заговорщически, вернее, пробормотал: «По вашему режиму... амба... кончился...» И захлопнул фортку. Слышим ходит, как всегда, но с нашей стороны пусто — ни одна форточка больше не хлопнула. Кормить нас стали прилично, обращение более вежливое. По утрам несколько раз снова явственно слышим стрельбу, а во дворе все тише и тише... Тоскуем, томимся, но не понимаем. Наконец, через две недели вызывают днем и нас на этап.

— Идите выбирать валенки!

Пошли в каптерку. И вот среди валенок вижу знакомые валенки Дуси Павловой, в которых она ушла на этап. Ошибиться я не могла. Я их знала, как свои собственные,— наверху они ей были тесны, прорезали и обшили треугольники нитками. Почему они здесь? Какое-то содрогание сердца произошло, еще не догадка, не сознание... Нет, ее валенки не возьму ни за что. А работник каптерки говорит: «Бери любые, не жалко, а лучше всех вот эти, смотри, домашние, черные, фетровые»,— и достает из кучи мужские новые валенки. Тотчас узнала, чьи они. Несколько недель тому назад Федор похлопывал по этим валенкам, присланным из дому, на прогулке, радуясь теплу и тому, что домашняя забота дошла до Кирпичного, преодолев расстояние, зоны, решетки, режим. Со стоном упала на пол, потому что неясные предчувствия стали явью, пронзившей сознание... Моя напарница с

выкатившимися от ужаса глазами показала мне на полушубок с гладкой кожей, который Шева Абрамовна ни за что не хотела сменить на бушлат и в котором она ушла «на этап». Сомнений не могло быть. Обе мы свалились на груды валеков и одежды, конвоиры с силой оттаскивали нас оттуда, обе мы не могли пошевелиться. Мы были раздавлены. Друзья, товарищи, самые близкие, самые родные... Никого, кроме них, все с нами переживших, не надо... Так вот куда нас собирают на этап! В мир «лучшего режима».

Конвоиры приволокли нас в камеру и бросили на нары. Назавтра нас вывели на этап, а из мужских отделений и палаток выводили по одному или по два из бывших сотен — желтых, обросших, шатающихся, больных... Рядом со мной стал Исаак Шапиро, совершенно прозрачный, и шепнул: «Мария, всех расстреляли и нас ведут туда же, умрем, как люди, как надо». Я схватила за его руку, как за единственное спасение. Нас развели. В силу неизвестных причин, для нас непонятного отбора, эти несколько человек остались жить».

Таков ее рассказ.

Кое-что рассказали много позже женщины, которых оставили жить по беременности, и Бети. Мужья их расстреляны — Мильман, Смертенко, Радченко и муж Нины Булгаковой, фамилию которого забыла (Слятинский). Ольга Танхилевич никогда о Воркуте и Кирпичном не говорила и предупредила: «Хочу сохранить здорового ребенка, поэтому должна молчать и, если это мыслимо, не думать».

Долго не отдавала записку от погибшего на Воркуте Филиппа Вайнцвайга, мало меня знала, хотя слышала обо мне от товарищей. Филипп писал с Кирпичного, предугадывая свою участь и участь товарищей. Мы были с ним связаны киевской юностью. Он бывал у нас дома, часто с компанией товарищей, особенно весной, блуждали по ботаническому саду или по склонам Днепра, катались на лодках, еще чаще спорили до хрипоты о «мировых вопросах». Не знала, что он на Воркуте. Записка получена после его смерти. Так стало горько! Оборвалось нечто очень дорогое, близкое, юношеское. К сожалению, не удалось ее сохранить, как и все другое — во время одного из обысков комендант изорвал ее. Часть письма помню. Филипп писал: «И больно, и тепло оттого, что одна из половинок Эллады где-то близко. (Сестру мою звали Элла, отсюда и наше общее имя Эллада). У тебя, пожалуй, больше шансов дождаться лучших дней. Тогда сохрани киевскую молодость, как бы это ни было трудно. Меня она выручала не раз. Теперь она бессильна. Вспомни с друзьями! Обнимаю. Прощай. Филипп». Ни одного из тех юношей, кто был в нашей дружной компании, нет в живых,

Женщин сохранилось несколько человек, и все прошли через тюрьмы и лагеря.

В моих руках нет списков, нет запротоколированных документов, но я свидетельствую, что все это безусловная правда.

Совершенно верно говорил в сборнике «Как мы пишем» писатель Юрий Тынянов, восстанавливая истинную жизнь Грибоедова, Кюхельбекера и многих других: «Представление о том, что вся жизнь документирована, — ни на чем не основано, бывают годы без документов». Тем более, что и документ дело рук человеческих. Да, есть годы без документов, и мы участники именно таких лет. На каждом нашем деле написано «Хранить вечно», но мы великолепно знаем, как писались наши дела, а потому можем догадываться, как зафиксирована смерть людей «реабилитированных посмертно». Справки родным даются по определенным стандартам: «умер от туберкулеза в 1941 году» или «от язвы желудка в 1942 г.» и т. д., а о человеке ни слуху ни духу с 1937 или с 1938 года.

Поколение революционной демократии XX века истреблялось беспощадно, с маниакальной последовательностью, с невиданной в истории яростью и ненавистью. За что? За превосходство этих людей, за идейность, чистоту и талантливость, за неподкупность и гражданское мужество, за непоколебимую приверженность и верность революции, более дорогой для каждого, чем собственная жизнь.

Молодость этого поколения и молодость революции слиты воедино, у них одно лицо и общая история. Немало его представителей оставили след неповторимой личности, ибо они были лучшие люди прекрасного времени.

Мы мало знаем о последних минутах отдельных товарищей, но в целом они умирали так же, как жили — бесстрашно, стойко, героически, предпочтя смерть измене своей молодости и самим себе. Их жизнь и смерть должна оставить запечатленный след в сознании современников и грядущих поколений. Они истреблялись без мысли о том, как их смерть отразится на стране, народе в целом, молодежи, на морали, идеологии, а затем было сделано все, чтобы выжечь память о людях и о событиях. Да, их насильственно лишили возможности защищаться морально и физически, террор и его исполнители хотели положить их на обе лопатки, но не смогли, тогда их причислили к врагам народа, убили, а трупы их свалили в кучи и кое-как захоронили в братских безымянных могилах.

Ценность одной жизни безмерна. Гибель каждого в цвете лет — горе. Погибала немалая часть революционного поколе-

ния. Нам предлагают молчать и забыть. Почему же эта кровь не вопиет? Почему этот пепел не застилает глаза и не попадает в легкие с дыханием? Мы, их друзья, случайные спутники или узнавшие о событиях от очевидцев, которым верим, являемся документами времени, пока живы. И мы обязаны рассказать то небольшое, что знаем.

В тот же период из Кочмеса был собран этап женщин на Печору, (вскользь о нем упоминала ранее). В этап взяли М. М. Иоффе, Ирину Гогуа, Мусю Магид, Лизу Сенатскую, Марусю Яцек и Зину Козлову. На Печоре они проходили следствие самого изувера Кашкетина в течение нескольких месяцев. Сидели в «ухтарке», следствие велось с побоями, по обычаям того мрачного времени. Группа не была расстреляна лишь потому, что к концу следствия стрелка невидимых нашему взору правительственных часов как-то переместилась в сторону, был снят с поста наркома внутренних дел «любимец партии и народа» Ежов, а вслед за ним слетел и Кашкетин. Все лагерное начальство пришло в смятение. О Кашкетине ходили слухи, что его даже не увезли в Москву для расследования, а где-то недалеко расстреляли в тех же лесах, куда он посылал на расстрел. Не знаю, так ли было, но его подследственные автоматически были изъяты из-под следствия и разосланы кто куда.

Кратко о мученицах этого следствия. За что? Так не качают и великих преступников. Их же преступлением было лишь участие в революции.

Мария Иоффе просидела 28 лет. Ко времени ее выхода на свободу — ровно половину жизни. Прошла неоднократно следствия, тюрьмы, лагеря, ссылки, семь месяцев одиночки в Лефортово, знаменитую «ухтарку», голод, холод, пытки, избиения, карцеры, собачники и пр. и пр. И все же я слышала от нее: «Вчитайтесь в Толстого, в его «Воскресение», у него в тюрьме жизнь продолжается со всеми ее нюансами, муками и трудностями, но и доступными радостями. Только Толстой понял это до конца. У Достоевского тюрьма пожирающе-беспросветна». У нее хватило сил все пережить, но 28 лет съела тюрьма. Самых полноценных лет. А разве они не давят на весь оставшийся отрезок жизни?

Кратко о судьбе Зины Козловой. «Она была настоящая подвижница и как все подвижницы погибла» — так характеризовала ее Иоффе. Зина была скромна, самоотверженна и непреклонна. Ее веру в революцию ничто не могло поколебать ни на йоту — ни пытки, ни карцеры, ни неоправданная жестокость собственной судьбы. Такие люди не философствуют, а веруют и действуют. Кашкетин в своем застенке — «следственном кабинете» сам наносил ей побои резиновой

дубинкой по голове и телу, но она, по словам сокамерниц, приходила с допросов такая же ясная, твердая и уверенная в своей непоколебимости. Чтобы не приводить в ужас товарищей, она скрывала побои и потому не ходила в баню, хотя после побоев баня — единственное спасение. В такой вере, в такой убежденности должны быть элементы догматизма, скорее фанатизма. Благодаря ему Зине удалось сохранить уверенность в том, что она продолжает жить для будущего, которому отдала молодость. Вот источник ее бестрепетности до конца. Она стойчески прошла следствие Кашкетина. После снятия Ежова кашкетинское следствие приостановлено, и Козлова вместе с другими направлена снова в общие лагеря заканчивать прежний срок. Но ее голгофа не кончилась.

После ареста Ежова была арестована и известная работница ОГПУ Андреева, ранее один из ведущих следователей по политическим делам. Она была снята с работы следователя, как говорят, с формулировкой «за истребление кадров» и получила 15 лет. Андреева попала в Ухтпечлаг, где находилась и Зина Козлова. Андреева в лагере продолжала свою деятельность по «истреблению кадров» уже безнаказанно. В 1940 году было заведено очередное лагерное дело на 18* человек мужчин и женщин по обвинению их в лагерной организации и антисоветской агитации. Среди привлеченных — Зина Козлова. Свидетельские показания давала Андреева. Вот что она говорила о Козловой: «Я не осведомлена о ее деятельности, но стоит только посмотреть, с каким видом читает Козлова газеты (следует отметить, что газеты Зине давала сама Андреева, пользовавшаяся правом на чтение газет), как ведет себя с администрацией, как подчеркнуто жертвенна в отношении других заключенных, чтобы сразу почувствовать ее протест, непримиримость, враждебность».

В Зине ничего подчеркнутого не было и это, конечно, Андреева понимала. Андреева, перевидавшая тысячи людей, понимала и то, что Зина враждебна лагерю, но не революции. Андреева сознательно лжесвидетельствовала, потому что пребывание Зины в лагере жгло и терзало даже на фоне общего бедствия. Терзало и жгло и саму Андрееву. Зину нельзя было сломить, ей надо было пустить пулю в сердце. По так называемому «делу» приговорили к расстрелу и Зину Козлову. И Зины не стало.

* Речь, вероятно, идет об уже упоминавшемся «Процессе 11-ти». (Примеч. ред.)

Лето 1938 года прошло в утомительных строительных работах. Кочмес строился от реки в глубь леса. Лес не успевал отступать,— мы его догоняли. Строительная площадка постоянно граничила с лесом, откуда тучами с болот и падей поднимался комар и гнус. Закутываться на работе душно. Шляпы с полями годятся только для более спокойной работы на крыше. Когда же роешь карьер, закладываешь фундамент, таскаешь землю, баланы, плахи, доски, строгаешь, месишь и пот льет в три ручья, тогда накомарник, завязки и прочие предохранительные меры против комарья превращаются в намордники и кандалы. А сбросить их нельзя — заедят.

Природа и тайга становились терпимыми как только ветер и солнце разгоняли комариные тучи. Бледное чистое северное небо. Нетронутая тысячелетиями тайга, в которой растущие и уже гибнущие деревья, расцвет и увядание, жизнь и смерть переплелись между собой. Запахи отцветающего богульника, прели, мхов, земли и трав, краски и оттенки темной хвои и опадающей осенней листвы особенно волнуют и трогают после скудости барака и всей жизни. Помнится, как-то в воскресный день в августе получили разрешение от коменданта обложить наше брезентовое жилье мохом до наступления холодов. Под командованием одного вохровца отправились в лес, вооруженные большими ивовыми корзинами с двумя ручками. На изготовлении таких корзин, необходимых в овощном «совхозном» хозяйстве, работала круглый год целая бригада женщин. День был жаркий, но до «белых комаров» оставались считанные дни, что мы уже знали по опыту. Тайга расцветает бурно и отцветает торопливо под незаходящим солнцем. Затем природа как-то заволакивается бесконечно длинной зимой, от которой испытываешь непроходящее почти никогда щемяще-горькое чувство.

Солнце и ветер. Комаров нет. Лес пестрел поспевшими ягодами. На них медленно и тихо падали листья. На болоте спелой, розово-желтой морошкой земля в некоторых квадратах была покрыта сплошным ковром. Лес казался изобильной скатертью-самобранкой, полной чашей, особенно для голодных глаз и желудков. Воспринималось все свежо не от свежести воздуха, а потому что все запертые чувства вдруг блаженно открылись навстречу природе и нежной красоте приближающейся осени. В лагере ничего этого не замечаешь, теперь мы видели, обоняли, слышали, осязали. Мы возвращались без мха, но с полными до краев корзинами морошки. Вечером вся палатка варила ее с водичкой вместо сахара во всех посудинках. Оскомина от морошки забылась, тайга запечатлелась как жгучее пятно жизни. Кстати скажу, что под-

держкой служила и музыка, которую впитывала с детства. Музыку помнишь и воспроизводишь точнее и легче, чем литературу. Иногда на работе, если она была посильной, но чаще часами после работы в бараке, под общий стоустый гул, перелистывала в памяти страницу за страницей музыкальные произведения, и они полностью звучали во мне, явственно, как почти никогда на воле. Слушание музыки занимало, отвлекало и уводило из лагеря. Вспоминались также романсы и песни. Именно это послужило поводом для сближения с Ольгой Танхилевич. Она не работала перед родами, бродила по командировке и как-то зашла на конюшню, где я белила и мурлыкала под нос любимые музыкальные страницы. После встречи в конюшне Оля стала заходить ко мне, позднее объяснила, что по тому что и как я напевала, знала, что мы сблизимся. Но Оля и тогда уже впускала к себе в душу людей с опаской, и то только в какую-то часть жизни. Не по скудости душевной, а напротив, по необъятному богатству, — круг ее умственных интересов всегда превышал интересы собеседника, — по присущей ей скромности и по зарождавшейся психической болезни. Несмотря на искреннюю привязанность к друзьям, она постоянно находилась под самоконтролем. В то время звуки музыки выводили Ольгу из двойной сосредоточенности на Кирпичном, где сидела до Кочмеса и где оставила мужа и других близких — с одной стороны и на ожидании ребенка — с другой. Отвлечение от себя было ей необходимо.

Всякий раз, как подхожу к Оле в мыслях, испытываю чувство, что не сумею рассказать о ней и откладываю на будущее.

Конец августа — начало сентября. Замельками белые комары в воздухе. Набухла липкой грязью то замерзающая, то вновь оттаивающая земля. Холодно и сыро в палатке. В новых домах, которые мы строили, пора делать печи, а кирпича нет. Кирпич изготовлялся в тридцати пяти километрах от нас, на инвалидной командировке Адак. Там лекпомом* работает Коля Дрелинг, муж старшей сестры и мой большой друг. Живя недалеко, мы никак не могли встретиться, а тут такой удачный случай — поездка в Адак за кирпичом. Едет стройбригада, только надо, чтобы никто не догадался, что я в этом заинтересована — ни начальство, ни III-й отдел, ни бригадир, ни десятки осведомителей, которыми кишит лагерь. Кажется, ничто не препятствует отправке рабочих за кирпичом до холодов, но какое дело начальникам до

* Лекпом — помощник лекаря. (Примеч. авт.)

удобств рабсилы? Здесь не в моде думать о таких пустяках. Рабсила — «зеки», а кто они такие? Никуда не денутся! Тянули, тянули до заморозков. Буксир и паузок едва шевелятся, а мы замерзаем под открытым небом, с которого сыплется ледящий дождь или тающий снег. Листва опала, снег еще не украсил хвойные леса берегов Усы, — мрачно и серо. Медленно сползают хлопья с мутного неба, медленно ползем мимо унылых безлюдных берегов, где нет и признаков жилья. Ночью ни зги не видно. Черные ватные фигуры женщин жмутся друг к другу — замерзшие и не женственные. Конвоиры ушли на буксир, в тепло, вслух соображая: «И без нас доедут, охота ли в ледяную воду нырять, не убегут, все как одна по счету тута будут!» Палатка в Кочмесе кажется вожделенным приютом — привычно парным, обжитым...

Адак инвалидный, с низкими деревянными бараками и землянками, с приглушенным ритмом работ, выглядит печальным, сердце сжимается от его неприглядности. Но жили здесь полегче, чем мы.

Лекпом, как принято, выходит навстречу этапу. Издали не различишь, кто причаливает — этапники или грузчики. Вышел и Дрелинг. С горы различаю его непомерно высокую фигуру с чуть склоненной набок головой. Аля Максимова через двадцать пять лет вспомнила, какой иронический смешок женщин и недоумение вохровцев вызвало то, что Николай Викентьевич, разглядев меня среди приезжих, слетел семимильными шагами своих длинных ног с горы и, вытянув шею жирафы, поцеловал мне руку. Вохровцы растерялись — ведь за руку и посадить в карцер нет оснований! В первый день погрузки не было, и нам удалось поговорить на медпункте после трехлетней разлуки. Нас связывало многое: общее детство и юность, одна семья. Встреча была последней, не считая мимолетного взгляда и нескольких долевтевших слов через щелку забора Архангельской пересылки, где мы случайно оказались одновременно летом 1939 года, Коля — по пути в Ленинград на переследствие и смерть, я — с ясельными ребятами, которых сдала в детдом.

Разговор в Адаке был сбивчивый, горячий, сразу обо всем, по существу важнейшего. Боялись упустить единственную возможность говорить без посторонних, разузнать о близких: о семье, сестре, маме, детях, друг о друге. Внезапно разговор оборвался, перешел в спор, трудный и бесполезный, ибо ни один не мог убедить другого. Н. В. посылал заявление за заявлением во все инстанции, обвиняя следственные органы в фальсификации следствия, в незаконных действиях и доказывая свою правоту: «Я послал уже 17 заявлений и добьюсь правды! Я разоблачу негодяев, которые из меня пожелали сделать «врага народа» и «контрреволю-

ционер», — говорил Н. В. Мы резко разошлись в этом вопросе, больше того, меня охватил страх за него, я злилась, выходила из себя, так как не сомневалась, что писать заявления в то время, означало подставлять голову под пули.

— Не ты один объявлен врагом народа. Ты не знаешь, что творится на Воркуте. Идет полоса расстрелов не на одной Воркуте. Надо переждать, сейчас никто твои заявления читать не будет или они обернутся против тебя.

— Вот потому-то мы здесь, что все вы прячете голову под крыло, как курицы. Я не могу и не хочу думать, как другие, я хочу отвечать за себя и отвечаю. Я не хочу знать, что делается на Воркуте, ибо страх может меня удерживать от того, что считаю для себя обязательным и единственно возможным.

— Твои действия безрассудны, продиктованы чувством, темпераментом.

— Правильно, чувства на то и даны, чтобы действовать. Говорила о том, к чему привел пустяшный протест по поводу расстрела двух этапников в Кочмесе, на что Н. В. возразил: «Если уж жизнь наша так испоганилась и так все топчется, так стоит ли ею дорожить? Не отступлю, действий своих не изменю, чем бы дело ни кончилось. Напрасно трагично тратить на споры считанные минуты. Уверен, что буду скоро дома и там буду продолжать протестовать. Здесь я бессилен. Мы не должны здесь оставаться (как будто это зависело от нас). Международная обстановка обостряется. Мы будем нужны на всех участках. Нельзя ждать, пока сверху посыпятся изменения. Я не отступлю, спорить со мной бесполезно. Мой протест не растает в воздухе. О нем узнают и задумаются». Я его не переубедила. Мы по-разному относились к событиям, и это омрачало встречу. У него были шоры на глазах, он видел одну линию и по ней шел к гибели.

Много лет спустя после его расстрела, во время следствия по делу нашего общего следователя, я поинтересовалась, имеются ли в деле Дрелинга его заявления-протесты против ведения следствия. Их в деле не оказалось, хотя перед расстрелом они там были, что очевидно по обвинительному заключению. Значит, добившись приговора Дрелинга к высшей мере, следователь их уничтожил. Никто о них не узнал, кроме следователя, против которого они писались, и никто над ними не «задумался», как то представлялось романтическому воображению Николая Викентьевича.

Работа леккома ему нравилась, он даже увлекся ею, мечтал закончить медфак, решив, что медицина — его новое призвание, что в ней добро получает прямое и непосредственное выражение. В течение нескольких дней погрузки сталкивалась со многими лагерниками Адака, знакомыми и не-

знакомыми, и все в один голос говорили о своем лекпоне с признательностью и дружескими чувствами как о человеке, который постоянно поддерживает во всех бодрость, активность, шутит, острит, скрашивает жизнь, воюет с начальством за питание, больницу, санитарный минимум. Н. В. не позволил себе в лагере изменить угол зрения, под которым он смотрел на жизнь будучи на воле.

Все ночи грузчицы спали не раздеваясь, вповалку, на соломе в помещении, где ранее обжигали кирпич. К нам пробирались бывшие кочмеежки Аня Бокал, Маша Солнцева и Таня Адрианова. Маша — неистощимая острословка, умела всех развеселить, Аня и Татьяна чуть не до рассвета читали стихи, Аня со скрытым волнением, вполголоса, медленно Блока и Есенина, а Таня четко и сдержанно Гумилева, Ахматову и Багрицкого. Двойное бытие — придавленность жизни и ее избыток — являлось нашим постоянным спутником и достоянием.

Погрузка была нелегкой: Адак расположен на крутом берегу реки Усы. Разгружали обожженный кирпич из печей, перетаскивали его на гору, к пристани. Через два дня, когда он намок и промерз, спускали под гору, в трюм паузка. На козелки надо было накладывать кирпич в два ряда, штук по 16—18, спускаться по скользкой дорожке, затем подниматься по сходням на паузок и сбрасывать.

Учетчицей послали Зинаиду Немцову — недремлющее око администрации и воспитательной части. Роль надсмотрщика, сторожевого пса она выполняла отлично. Она обладала слухом и вниманием ящерицы. Немцова считала, что в лагере ее партийный долг заключается в слежке за тем, чтобы мы надрывались изо всех сил. Она упорно пересчитывала кирпичи, следила за их кладкой, как будто это было дело государственного значения. Несколько раз выведенные из терпения грузчицы предлагали ей поменаться с кем-нибудь хоть на полчаса.

— Э, нет,— отвечала Немцова,— вы сразу пойдете на поблажки, с радостью бы поразмялась, но дело пострадает.

— Не беспокойся, тебе поблажки не будет!

Она — доверенное лицо и ей надрываться не положено. Увы, вот эти худшие люди лагерей по выходе на волю вновь становятся «доверенными лицами» и носителями нравственных начал, проповедниками коммунистического труда. И снова за чужой счет, тогда — по подлости, теперь — по старости или еще по каким-то неуловимым причинам.

И в Адаке нашлись старые знакомые. Бледный заросший бородкой «эека» смотрит на меня и с улыбкой говорит: «А,

и «наследственные интеллигенты» приехали на поклон за кирпичом? Работайте, работайте, заслуживайте звание новое, откреститесь, наконец, от старого!» Всматриваюсь и узнаю Николая Ивановича Лободу, бывшего ректора киевского ВИНО* (университета ранее), любимого нашего преподавателя, горячего, веселого и удивительно симпатичного. Он то как раз и снял с меня в киевском университете клеймо «наследственной интеллигентки», которое наложил председатель комиссии по чистке студентов тов. Бровченко. Происходило это в 1922 году, когда такое звание не грозило исключением, но и не придавало особого блеска имени. Демьян Бедный, когда ему об этом рассказали, с юмором заметил: «Слышал, бывает наследственный сифилис, а про наследственных интеллигентов узнаю впервые».

— Николай Иванович! И вы здесь?

— А чем я хуже других? Только вот кантуюсь среди инвалидов. Скучаю без аудитории, без..., ничего, это тоже история, но поставленная головой вниз, долго так не простоит!

— Почему вы на инвалидной?

— Старый туберкулез дал знать о себе на севере. Непоштенный гость. Нахожусь под началом «Викентьевки» (Н. В.), благо старые приятели по Киеву. Сейчас «порадую» доктора Шрайбера вашим прибытием, на днях вспоминали с ним книгу вашего отца «По следам войны».

Доктор, пожилой человек в пенсне, которых теперь не носят, узнав, что я дочь Льва Наумовича, бросился меня обнимать и расспрашивать об отце. Этих двух людей, сразу ставших близкими, просила уговорить Дрелинга не безумствовать и не рваться к верной гибели. «Бесполезно!— ответил Николай Иванович,— я уже пытался не раз, а он называет меня маловером и убегает на своих страусиных ногах».

В Адаке режим напоминал сивомаскинский, хотя зона и существовала. Больничка жалкая, а больных чуть не 90%, бытовые условия те же, что и в Кочмесе, но ничего не строится, еще резче подчеркивается бесплодность существования на земле под названием Адак. А сколько здесь высококультурных и нужных людей!

После свидания с Дрелингом осталось чувство тоски, считала его обреченным в данной ситуации и ничего не могла изменить. Не могла, потому что им овладело строптивое и в то же время жизнеутверждающее нежелание подчиниться навязанной извне чужой воле. Это было сильнее его и руководило всеми его действиями против доводов рассудка.

Нагруженный паузок еле волочился против течения, а нами владело одно желание — согреться. Как только мы воз-

*ВИНО — Высший институт народного образования. (Примеч. авт.)

вратились, река стала, и началась осенняя распутица, полный разрыв связи с внешним миром. Жить зимой в палатке уже казалось привычно. К чему только человек не может притерпеться!

Недалеко от меня поселили изящную, немножко заносчивую и капризную, но умную и очаровательную польку Викторию Щехуру. Она приехала в Кочмес с мальчиком Женей. Глаза и ресницы в пол-лица, толстый и неповоротливый, с кривыми ножками, но красавец. Его вскоре определили во вновь открывшиеся ясли, а Викторию направили на общие работы. Щехура инженер высокой квалификации, член партии. Дома, близ польско-белорусской границы (на советской стороне), остались два старших сына — школьники младших классов и муж. Женька родился в тюрьме. Пришли за ней ночью совершенно неожиданно как для нее, так и для мужа. Во время обыска муж закатил ей сцену: «Я не знал, что живу с врагом народа, ты подлая, как ты смела забеременеть, ведя подпольную, контрреволюционную работу», и т. д.

— Хорошо, что он хоть кричал по-польски, — взволнованно рассказала Виктория, — но смысл, наверно, доходил до обыскивающих. Я смотрела на него, как на полоумного, но каково мне было! Может быть, он и правда потерял разум. Иначе трудно себе представить размеры предательства мужа и отца трех детей в отношении жены, которую он знал, как себя. В дальнейшем убедилась, что он в твердом уме и памяти, так как передач мне не передавал. Я никогда никого так не ненавидела, как его. Как женщина буду мстить ему, если предоставится возможность.

Виктория говорила уже с пеной у рта.

— Он не только не пожелал меня проводить, он не хотел дать мне проститься с детьми. Оперативник вынужден был ему сказать: «На это вы не имеете права!» Рада, что муж облегчил мне прощание и сделал меня каменной для следствия. Мое самое сильное, жгучее желание, чтобы он тоже сел и прозрел. Нет, мне не страшно за детей, такой отец их скорей погубит, он научит их несправедливо относиться к матери, а что может быть хуже для воспитания. Пусть растут в детдоме, но не с ним! Он превратит их в трусов и лишит детства.

Виктория была мстительна, вызываясь кокетлива, но не теряла при этом обаятельности, грации и гордости. Внутренне она терзалась, главным образом из-за мужа, даже о детях, об утере свободы думала спокойнее.

Что же происходило с людьми, если возможным становилось такое поведение мужей, как у Виктории, и отцов, как у Тамары Ивановой?

Щехура была последовательно настойчива и не страши-

лась ни риска, ни огласки. Вскоре сошлась с врачом и забеременела, несмотря на то, что на руках в лагере у нее имелся Женька. Виктория арестована в конце 1936 года, к нам попала в 1938 году, а зимой 1939 года узнала об аресте мужа. Видела ее при получении письма от сына. Она побелела, вскочила, вытянувшись, как струна, откинула голову и смеялась, откровенно торжествуя. «Ничего,— твердила оскорбленная женщина,— дети не пропадут, они мальчики крепкие, упорные, выдержат!»

Много лет спустя, в 1950 г. в Красноярской пересылке Анита Русакова передала отрывочно, что знала о Шехуре. Виктория родила девочку в 1941 году, добилась, чтобы обоих детей не отправляли в Архангельск, так как она должна была скоро освободиться. Началась война. Заключенных не выпускали. Виктория осталась работать по вольному найму в качестве медсестры в Кочмесских яслях. Ясли к тому времени вывели за зону и превратили в «Дом малютки» для вольных. Врач Одарич оставил Викторию и женился на вольной. Во время войны старшие мальчики порознь перебрасывались из одного детского дома в другой, и Виктория их потеряла из виду, сведений не имела, считала погибшими, так как жили они на границе. Муж отбывал срок. В 1948 году он нашел обоих мальчиков — одного в Сибири, другого — на Урале, вместе с ними приехал уже по железной дороге за Викторией и Женей. Узнав о существовании маленькой девочки, он усыновил ее. Виктория согласилась. Все вместе уехали в Белоруссию. Там им не удалось прописаться, и Анита потеряла их след.

Эти протокольные сведения ничего не говорят о том, что творилось в жизни и в душе Виктории, как произошел переворот, позволивший ей вернуться к ненавистному мужу — или это уж была месть Одаричу? Удалось ли ей вырастить детей, вернуться к работе по специальности, или образование пошло прахом? Жива ли она? Не знаю.

Случайно слышала от врача-психиатра, что наш любимец Женя, родившийся в тюрьме, болен тяжелой шизофренией. Он излечился от рахита, но не переварил всего сложного комплекса своих и материнских потрясений. Об этом ни говорить, ни писать нельзя, хотя правда, истина никогда не развращают, а ложь и лицемерие растлевают до мозга костей.

Морозно. По часам утро. Темно, и весь день будет освещение, какое бывает при сгущающихся сумерках. Необходимо забыть об этом, в противном случае полусвет давит на психику. Стоим на разнарядке. Подрывают нескольких женщин на поездку за тесом вниз по Усе. Среди них строительницы для отборки теса. Под насмешливыми взглядами опыт-

ных возниц неумело и неловко запрягаем лошадей и выезжаем на реку. Ветер со снегом так и хлещет в лицо, застывает на губах и в ноздрях колющими ледяными иголочками, шерстяной платок мешает дышать, так как лошади бегут рысцой, а сидя на голых санях мгновенно застываешь. Время от времени слезаем. Едва поспеваем за лошадаками. Снизу метет поземка. Дорога не протоптана и заносится ветром. На бегу согреваемся, но дышать все труднее, и девять километров расстояния кажутся бесконечными. А впереди целый день и обратный путь. Тес находится на лесозаготовительном пункте, где зимой живут несколько «зека» в качестве сторожей под охраной двух вохровцев. Паяк получают с нашей базы в строгом соответствии с количеством людей, так что и на баланду надеяться не приходится. Вожделенные надежды на пайку в кармане брюк и на кипяток. Жутко становится от затерянности нескольких человечков в снегах. Никакой связи. Кажется, занеси всех снега — и не вспомнят об их существовании. Наконец добираемся до цели, вваливаемся в мужскую землянку, теснимся у раскаленной печурки, но переобуться, перевернуть портянки времени не хватает, так как лошадей негде распрячь, негде их обогреть, хотя сено с собой, значит, надо торопиться. Лошади сопят, вспотевшие, на ходу бока обрастают снежной бахромой. Пока лошади жуют сено, торопливо, в очередь глотаем обжигающий кипяток. Котелки грязные, их мало и они провоняли селедкой. Мужчины здесь живут, как звери: дико, неопрятно, голодно, одиноко и заброшенно. Голые нары жалят глаза нищетой.

Тес обледел, а сверху засыпан снегом. Отдираем доски с помощью топоров, лопат и кайл и сносим на реку, чтобы во время спуска доски не сползали с саней и не разлетелись во все стороны. Работа учит не расходовать силы зря. Опыт подсказывает, что все с самого начала до конца надо делать основательно, тогда силы расходуются более экономно. Стоит поработать спустя рукава, как суровые условия труда отомстят без проволоочки, и быстро наступит изнурение. На протяжении ряда лет мы в труде были лишены какой бы то ни было техники, все делалось нами вручную, мы работали, как лошади, это входило органической частью в систему нашего «перевоспитания». Ученые считают, что мысль каждой эпохи отражается в ее технике. Наша техника равнялась на лошадиную силу, с тем, чтобы и мысль наша низведена была на уровень лошади. Если этого не всегда удавалось достичь, то не по вине нашего начальства. На морозе не до «перекуров», но без коротких передышек не потянешь. Во время одной из них подходим с Дорой к сторожке. Сидит в нетопленной будочке человек, намотавший на себя все свое незамысловатое барахло. Он высвобождает лицо из-под об-

мотанного поверх ушанки свитера и смотрит на нас пристально, но молчит.

— Послушай,— говорит Дора полушепотом, я его где-то видела! Человек, кажется, расслышал ее слова, спрашивает, откуда мы.

— Из Ленинграда.

— Тогда не удивительно, что вы меня видели. Я тоже ленинградец, но узнать меня трудно. Я вас не помню — обратился он к Доре. Где работали?

— На политработе и, если не ошибаюсь, осторожно говорит Дора, видела вас на улице Правды.

Глаза сторожа сразу оживают и теплеют:

— Вполне возможно, вполне, я ведь Степанов, бывший редактор «Ленинградской правды». А здесь...— И он выразительно разводит двумя руками, повернув их ладонями вверх. Руки сливаются с наваливающейся отовсюду темнотой. Бесшумно придвигается фигура вохровца. Сникший снова редактор Степанов закутывает голову свитером и уходит в глубь сторожки. Во тьме исчезает его силуэт.

Случайная встреча саднит душу. За что люди так унижены, так незаслуженно терпят обиды и оскорбления? За что? Это страшнее самой тяжелой работы на самом жестоком морозе.

Темнота сгущается. Едва различаем предметы. Небо не предвещает звезд. Теса нагрузили мало, но ночевать негде. Нам, как и лошадям, хочется в тепло. Спускаемся на реку и бредем наугад, увязая в снегу. С поклажей лошади тащатся медленно, и мысли у нас с ними одинаковые на радость воспитателям.

Возвратились глубокой ночью, пьяные от усталости. Не верится, что можно войти в сталактитовый «дворец» и бухнуться на жесткие нары. Тепло, уютно, дома! Каждое из этих слов хочется взять сейчас в аршинные кавычки. А тогда, после такого дня, казалось невероятным облегчением свернуться калачиком, подвернув ноги, на стружковом матраце. Неужели опять заставят встать с подъемом на работу? Какая сила толкает нас всех на эти подъемы, на труд? Жизны! Неистребимая сила жизни и неистребимая надежда на будущее. Нельзя допустить, чтобы действительность стала сильнее мысли, весомее убеждений, точно так, как нельзя позволить делать нравственные скидки на обстановку. Нельзя ставить знак равенства между нашим сегодня и жизнью, чтобы не довести себя до нигилизма отчаяния. Мысль человеческая способна и должна вывести из тупика, найти выход из безвыходности, не потерять перспективы.

Лишив человека свободы, не лишают права думать. И в этом спасение. Но ведь мысли тоже скованы, подавлены

угнетенной психикой. За их ясность и силу тоже надо вести упорную борьбу, целые сражения. Иногда на это уходят дни, недели, а иногда месяцы.

Такую именно борьбу, упорную, гигантскую, мобилизуя все силы ума и души вела на протяжении всей жизни Ольга Танхилевич. В ней сочетался блеск таланта и душевная прелесть, женская красота и обаяние со строго логическим мышлением. Революция ворвалась в ее юность, подчинила, дала возможность высоко взлететь и вскоре ударила, как молнией, углом своего непредвиденного изгиба, ранила, превратила всю дальнейшую жизнь в трагедию, ломала представления и надежды, гнала по земле из конца в конец, убивала любимых, подвергала мытарствам и лишениям, сталкивала на край пропасти, толкала в бездну. В Институте красной профессуры, куда она поступила до 20 лет, об Оле говорили с восторгом и восхищением преподаватели и студенты, а в 23 года она уже стала гонимой. И так на протяжении сорока лет. Она не совершила героических поступков, которые воспеваются в песнях и легендах. Свет ее был притушен, но он горел в ней и виден был тем, кто ее знал. Сражена была тяжелой психической болезнью. Однако Олино психическое заболевание и самоубийство — явление социальное. Нельзя успокаивать себя мыслью, что ее сломила болезнь. «Всем, всем, всем», к кому обращалась Ольга в предсмертной записке и к кому она не обращалась, надо задуматься над причиной ее болезни и смерти. Оля сама наложила на себя руки, но фактически она уничтожена, как и ее ближайшие друзья, только иными средствами. Смерть Оли не менее трагична, она — результат того же общественного бедствия. Таких молчаливых невидимых драм сотни и тысячи. Тысячи по возвращении убиты не прямой наводкой, а системой выталкивания, шельмования, игнорирования. Сколько людей, уже не запертых в тюремных клетках, а в четырех стенах своей комнаты, лишённые возможности вернуться к любимой деятельности, незаслуженно отринутые от близкой им общественной или научной среды, задыхаясь от одиночества, от невозможности добиться справедливости, кончают инфарктами, параличами, самоубийствами? Такой статистики нет.

Оглянемся на жизнь Ольги Танхилевич, которую и я знаю отрывочно и не полно, потому что ее судьба — яркая страница из жизни замечательного поколения. Буду, как часто бывает, хронологически непоследовательна.

По приезде с Воркуты в Кочмес Ольга была совсем отстраненной от всего. Она была вывезена с Кирпичного, знала уже о гибели Дали Мильмана и носила его дитя. О Дале

рассказывали другие. Оля о нем и позднее почти не говорила, но раза два показывала мне на воле его карточку с волнением, в полном молчании.

Мильман кончил Институт красной профессуры как историк. Товарищи говорили о его тонком уме и глубочайшем чувстве товарищества. Я видела его однажды на этапе, и запомнилось лицо человека-мученика. Характерным для него явилось его поведение во время голодовки на Воркуте. Даля Мильман и Гриша Злотников были принципиальными противниками голодовки и голосовали против нее. Но большинство решило голодать, тогда они присоединились к голодовке, подав следующее заявление (привожу текст по памяти): «На Воркуте собран цвет революционной советской демократии. Нас собрали для истребления. Мы живем в такой период, когда общественный протест — демонстрации, забастовки, голодовка и пр. — невозможны. Нам дадут умереть. Своей голодовкой мы идем навстречу целям правительства в деле нашего уничтожения. Таким образом, мы идем на самоуничтожение. Но стоять в стороне в то время, как наши товарищи будут гибнуть, не считаем себя вправе и потому присоединяемся к голодовке, хотя считаем ее неправильной и неоправданной. Мильман, Злотников». Так же Оля никогда не говорила и о своей голодовке в ссылке. Она была замкнутой, но могла быть насквозь открытой в моменты дружеского просветления, хотя и тогда откровенных разговоров о прошлом, о людях близких не бывало. Много хранилось в заветных шкатулках, свято оберегаемых. И никто бы не решился их коснуться.

Олю поместили в людской половине конюшни, где мы жили до переселения в палатку. Женская половина жилья не штукатурилась и не белилась, конюшни не отделявались, как жилое помещение, утеплялись, чтобы лошади не мерзли. Наряд на конюшню достался нашему строительному звену: одранивание, штукатурка и побелка. Конюшня огромная — месяц или побольше под крышей, под парами свежего навоза, без комаров и накомарников. Что может быть лучше в условиях строительных лагерных работ? И без соглядатаев бригадира Жухиной. Одно сознание таких привилегированных условий настраивало по утрам на благодушный лад. Работали на совесть, без нервотрепки. Дора командовала, Фрида вычисляла, Муся читала «Онегина» потихоньку напамять и все, что помнила, а я мурлыкала любимую музыку — романсы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Шуберта, Шумана, обязательно шотландскую и ирландскую, Бетховена и другое. В один из таких рабочих дней на нашу половину пришла Ольга и тонким протяжно-ласковым голосом за-

говорила. Удивил голос, не тот равнодушно-вежливый, который редко удавалось услышать, а совсем новый.

— Кто здесь распевает все то, что я люблю?

Исчез и взгляд, глядящий выше глаз собеседника. Оля дождалась, пока я закончила, собрала и помыла инструмент, и по дороге заговорила мягко, просто, будто мы давно знаем и понимаем друг друга. Дружба возникла мгновенно и длилась почти до Олиной смерти только потому, что Оля ее так же внезапно оборвала. Мне кажется, и в любви она создавала отношения и рвала, когда любовь не могла ее поглотить целиком. Передо мной был другой человек, близкий к той, которую мельком знала на воле. Подавленность горем исчезла, она могла смеяться заразительно, весело, но какой-то порог она никогда не переступала, чему причиной высокая степень нравственного целомудрия, не позволявшая раскрыть себя. В ней для меня оставалась всегда некая неуловимость, нельзя было и предугадать, как будет реагировать она на события. К ней невозможно подойти с обычным критерием. Поразительна была в Ольге ее редкостная способность в развитии той или иной мысли — доводы, обоснования кратки, четко нанизаны, импровизация легка, как дыхание, а создается стройная и убедительная концепция, система взглядов.

Не часто удавалось мне после работ зайти к Оле. После родов и до конца срока Ольга работала в конторе. Мысли свои Ольга развивала чаще всего перед Зельмой Руофф, тоже женщиной весьма примечательной. Вагонки их стояли рядом. Зельма Федоровна Руофф — ботаник и философ, немка, вызванная в Советский Союз из Германии. В круг ее интересов входило изучение естественно-научных работ Вольфганга Гете. Для перевода этих работ она была приглашена из Германии в связи с изданием полного собрания сочинения Гете, так как она свободно владела русским языком. Так оно до ареста и было. В России ее работа шла успешно. З. Ф. познакомилась с крупными знатоками Гете и переводчиками, в том числе и с Борисом Пастернаком. О нем Зельма и по сей день говорит с преклонением и признательностью. Борис Леонидович тоже ее ценил высоко и не прерывал переписки в течение всех лет ее заключения. Кончила Зельма переводы тем, что попала в лагерь, естественно, на общие работы, сначала в качестве лесоруба, а затем местный агроном Саломеха сообразил, что З. Ф. неплохо пригодится для сбора гербария и его классификации, поскольку Кочмес должен был некогда стать и растениеводческим совхозом, а сельским хозяйством в тех широтах начали заниматься впервые. Приведу воспоминания З. Ф., которыми она со мной поделилась после смерти Оли:

«В 1938 году я закончила редактирование переводов ботанических работ Гете и перед самым арестом написала вступительную статью к ним. Ольга интересовалась моей погибшей работой. Ей хотелось потолковать и о Гете-художнике. Немецким языком она владела свободно, как русским. Взгромоздившись на верхнюю полку вагонки, где было место Ольги, мы восстанавливали содержание гетевского романа «Избирательное средство», она знала это произведение лучше и глубже, чем я. У нее было несколько книг по философии, в том числе два тома Гегеля и толстая тетрадь с конспектом его «Логики». Ей сложными путями удавалось их сохранять в лагере. Когда она освободилась и уезжала из Кочмеса, то просила агрономов сохранить эти материалы в лаборатории, но во время войны они «на всякий случай» все уничтожили — сожгли. Летом 1940 года я собирала гербарий для лаборатории. Ольга с удовольствием рассматривала засушенные растения, разложенные по семействам. Конкретность ботаники была далека и чужда ее абстрактному уму. Я пошутила, что у нее нет морфологического чутья, а через 17 лет, когда мы вновь встретились, Ольга вспомнила мои слова. Зато у нее имелось огромное чутье к поэзии. Она писала стихи, удачно пародировала Пастернака и не только его, сочинила целую поэму в гекзаметрах, в которой сравнивала меня, шествующую с измерительной линейкой для метеорологических наблюдений, с Доротеей из поэмы Гете. Все удивительно легко, свободно, по вдохновению, которое ее, безусловно, посещало, снисходило на нее и уносило в другие миры. Следовать за ней нередко было недоступно. Весной 1941 года она уезжала из лагеря полная новых надежд и с дороги писала: «Мы увидим небо в алмазах...»

Скупые строки воспоминаний Зельмы Федоровны вводят нас в атмосферу духовной жизни двух женщин, которые были отторгнуты и выброшены нашим обществом, как ненужный мусор. Не слишком ли большая роскошь для социалистического государства?

Оля говорила, что Зельма — знаток и переводчик немецких поэтов, в частности Рильке, досконально разбиралась и знала немецкую классическую философию. Между ними существовала глубокая духовная общность. Дружба и переписка продолжалась до конца Олиных дней — Зельма делилась мыслями своей книги о Пастернаке и Рильке, Ольга — содержанием своих работ по математической логике. Письма проникнуты глубоким уважением и любовью друг к другу, но переписка носит, я бы сказала, скорей мужской характер, отвлеченный и не затрагивает ни одной личной темы. Когда Оля умерла, я повидала Зельму Руофф; меня удивило, насколько она ничего не знала об обстоятельствах жиз-

ни Оли, о ее неизлечимой болезни и о личных драмах и тревогах. Вместе с тем З. Ф. очень тосковала об Оле, а Оля, в свою очередь, не могла обходиться без писем Зельмы.

Меня влекло и тянуло к Оле. Стержнем ее жизни стала маленькая дочка Таня. В нее она вложила всю очаровательную женственность, которую ничем нельзя было уничтожить, свою последнюю любовь к Дале и неистребимую мечту о жизни. Позже я работала в яслях, и Таня недолго находилась под моим наблюдением. Это нас тоже сближало, тем более, что Оля как мать проявляла неопытность и робость.

Рождение Танечки вернуло Олю к жизни, дало обнадеживающий росток в будущее, которого некоторое время для нее не существовало. Когда уехали на волю как трехлетники Дора и Муся, Оля стала для меня самым близким и любимым другом. Она была ровна, ласкова и излучала особый свет. Со стройки меня перевели в ясли на должность старшей медсестры и часто я возвращалась часа в два-три ночи. Когда бы я ни вернулась, она всегда ждала и встречала меня: «Какой я для тебя вкусный обед приготовила!» — с улыбкой говорила Оля и вынимала котелок с баландой или кипятком, завернутый в теплый платок. Посылок мы не получали, но однажды блаженствовали целый месяц. Как мастер молокозавода Коля (Н. И.) имел льготное право на покупку 2-х килограммов сахара, а деньги зарабатывал на выгрузке. Через нашего зоотехника, ездившего в Новый Бор, он передал 2 килограмма сахара и ботинки на резине, которые мне показались сапожками Сандрильоны. Ольга обладала способностью внезапно преобразиться и помолодеть до неузнаваемости и воскликнуть о ком-нибудь из заключенных: «Слушай! Это же умница! Чудесный мальчик, я завтра ему об этом скажу!» То была шутка, но независимо от возраста в периоды, когда ее не томил, не мучил недуг, Оля сохраняла где-то в глубине неистощимый запас свежих чувств, восприятий, реакций, свойственных молодости. Вдруг она становилась изящно-очаровательной, брызжущей полнокровной жизнью. Это бросалась в глаза. Как-то дочь моя Валюша летом 1961 года встретила Ольгу Марковну на биржевом мосту, горячо беседующую на ходу с молодым еще человеком. Оля поразила ее: «Навстречу шли двое, оба молодые, смеющиеся, веселые, оживленные, у женщины блестели глаза, а голос переливался от избытка жизни. Представь себе, как я удивилась и восхитилась, узнав в женщине Ольгу Марковну!»

В тот день Оля возвращалась с семинара профессора Шанина по математической логике и спорила с аспирантом кафедры.

Ни разу не видела ее плачущей, не помню, чтобы она на

что-нибудь жаловалась. Сила духа преобладала над всем, хотя она не отличалась атлетическим здоровьем. Редко выходила из себя. Когда белезнь на воле сваливала ее, она исчезала на недели и месяцы, коротко писала, что она «не в форме» и не желает никого видеть. В состоянии припадков я ее ни разу не видела. Но некоторые вещи крайне волновали Олю, как правило, — общественные вопросы. Помню ее в лагере в сильном возбуждении, потерявшей равновесие, взволнованной. В обеденный перерыв, осенью 1939 г., она ждала меня. Дождавшись, схватила за руку и потащила в какой-то закуток, там развернула газету и в наэлектризованном состоянии стала спрашивать: «Что ты здесь видишь? Говори! Или я в бреду? Что ты видишь, почему молчишь?»

Газет мы не получали, сведения из внешнего мира просачивались скудно, не систематически, с большим опозданием. Оля работала в конторе и кто-то из работников УРЧА оставил случайно на ее столе кусок газеты с портретами Молотова и Риббентропа. Оля в ранней юности работала секретарем у Молотова и не хотела этому поверить. Обе мы были ошеломлены, Оля возмущена.

— Что же мы головы кладем за дружбу с Гитлером? Этого невозможно объяснить и выдержать. Чудовищно и неопровержимо!

Дня два она меня не замечала, мы едва перебрасывались словами. Когда я подошла к ней вечером, чтобы разорвать такое напряжение, она замахала руками: «О том не будем, не сердись, но, бога ради, молчи, я не могу! Такое сразу не переживешь. Лучше представим себе, что делают наши детки». К тому времени Оля отправила девочку к родителям Дали в Москву.

Запомнился разговор, который как бы предрекал ее судьбу. Его математическую линию помню смутно, лишь то, что личные надежды Ольга связывала с этой наукой. Ход ее мыслей был таков: «Одной из важнейших функций нервной системы является память. Она хранит результаты прошлых действий для использования их в будущем. Но память существует в комплексе: вместе с памятью логической в нас живет память чувств. В нашей психике они неразделимы. Часть моей психики, а значит и памяти, кровоточит. Я должна подавить ее беспощадно, иначе я лишусь возможности творческой деятельности, а значит, не смогу и не захочу жить. Но дело не только во мне, совсем не во мне. Помимо того, что люди не имеют заставить память работать избирательно, она, то есть память, несет на себе печать субъективизма, субъективного опыта и тем самым исключает правильность и объективность выводов. Единственный выход — расчленить память, — а она сгусток наблюдений и опыта, — на

элементы и заставить вычислительные машины математическими методами избирать и фиксировать только необходимые нам функции памяти и всей нервной системы в целом. Мышление породило, создало математические законы, вернее выделило и нашло их, но оно в свою очередь должно быть очищено и подчинено законам математической логики, во всяком случае контролироваться ими. Для меня лично возможен теперь лишь один способ существования — заниматься математикой. Здесь я владею собой. Если увижу свое бессилие и в этой области, тогда конец. Танечке я тоже нужна только в таком случае. Мир, в котором я росла, думала, образовалась и до некоторой степени сама создавала, была очень счастлива и очень несчастна, от меня отказался безвозвратно».

Такие просветы приоткрытия себя бывали редко, к сказанному она не возвращалась. Как-то попросила послушать ее повесть, читала шепотом несколько вечеров на верхних нарах, при этом волновалась, некоторые страницы из-за волнения пропускала. Повесть о юности, но не автобиография, своеобразная по стилю и содержанию, незаконченная. Мне удалось передать ее на волю по адресу сестры Оли через товарища, погибшего в 1944 году на фронте. Когда мы встретились через много лет в Ленинграде, она убеждала меня, что я все перепутала, что она ничего не писала и могла передать только рукопись об Эпикуре. Книга ее «Эпикур и эпикуреизм» вышла в 1926 году, тащить рукопись в лагерь было бы нелепостью. Тогда впервые поняла, что Ольга страдает психическим заболеванием и человекобоязнью, хотя память оставалась блестящей, эластичной, точной. Это было проявление болезни, подозрительности ко всем и всему, желание отрицать все, связанное с прошлым.

В лагере с окружающими она большей частью была сдержанно ровной, с некоторыми мягка и мечтательна. Любила медленно повторять стихи, особенно Андрея Белого:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел,
Не смейтесь над бедным поэтом...

Или Тютчева:

О как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, любви вечерней!
Полнеба охватила тень,

Лишь там, на западе бродит сиянье,—
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
Пусть скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадёжность...

У нее никогда не ослабевало стремление к познанию, к универсальному познанию. В непознанный мир входила смело, по-хозяйски, в него была устремлена ее мысль и воля. Не случайно Ольга была одной из первых, кто в двадцатых годах боролся за кибернетику, математику в философии, математическую логику. С этой целью она засела за изучение Лейбница и, чтобы читать его трактаты, овладела свободно латынью и греческим. Из древних языков она знала еще древне-еврейский. С английского и французского переводила без словаря, сразу читала русский текст. Не раз обращалась к ней в Публичной библиотеке за помощью, и она безотказно, с легкостью помогала. Иосиф Сандлер рассказал, что Ольга случайно зашла к ним, увидела книгу Шолом-Алейхе-ма на еврейском разговорном языке, сняла с полки и стала читать вслух без запинки, сохраняя тонкий юмор содержания. В знании ей все давалось удивительно легко, в жизни — непомерно трудно. Особенностью ее еще было то, что детское умение мечтать и фантазировать у нее превратилось в умение широко охватить предмет и предугадать перспективы развития. Любая обстановка не мешала ей уйти с головой в то, что в данный период времени становилось смыслом существования, будь это увлечение Карнапом, Винером, Лейбницем, Гофманом, Ростаном, Рильке, математической логикой, или преподаванием немецкого языка, перепиской с ученым физиком, или посылками Танечке и ее детям предметов своего шитья и вязанья. Разные по характеру области знаний и деятельности не превращались в хаос, а гармонично сочетались и последовательно чередовались. В ранней юности она совмещала марксизм и большевизм с увлечением Блоковской «Прекрасной дамой», Гофманом и мистикой, писала поэму «Даймон», потом, как платье, сбросив все это, безраздельно отдавалась партийной работе.

Она была соткана из духа и творчества, не нуждалась ни в чьей подсказке, самостоятельна в поисках: натура страстная, не останавливающаяся на полпути в своих увлечениях идеями и людьми. О себе говорила так мало, что о ее детстве и юности гораздо больше узнала от ее друга Нелли Новосельской, нежели от нее самой.

Оля родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Мать ее,

рыжеволосая черноглазая красавица, умерла рано, оставив мужу пятерых детей. Оля матери не помнила, но нередко в разговорах вспоминала мачеху, нежно любимую, которую почему-то называла «хаха». Ранее она работала гувернанткой детей, и вскоре после смерти матери отец на ней женился. От нее у Оли совершенное знание немецкого языка. Отец Ольги, строгий умный человек, был простым служащим в торговой фирме, со скромным заработком. О нем слышала от Оли как о человеке-самоучке с прогрессивными идеями, крайне самолюбивом и вспыльчивом. Он выписывал «Русское богатство» и преклонялся перед Михайловским. По натуре общительный, остроумный, любящий отец, но после ранней смерти жены и быстро последовавшей трагической гибели сына (мальчик утонул на Дону, спасая товарища), не смог оправиться и жил не понятной для детей жизнью. Между ним и детьми, как Оля выразилась, стоял «барьер вечности». Ближе всех — мачеха. «Она делала жизнь, внешне повседневно-серую, оправданной своими заботами, нежной преданностью и любовью. Все становилось реальным, устойчивым, нужным, когда к нему прикасались ее добрые руки. Все так и должно идти каждый день: просыпаться ранним утром при свете лампы, мыться холодной водой до пояса, быстро одеваться, убирать постель, пить утренний чай, хватать книги и мчаться в гимназию». Так писала о ней Оля. Вторая мать (мачеха) умерла в 1942 г. во время эвакуации из блокированного Ленинграда. Старший брат Григорий (разница в годах между ним и Ольгой 10 лет) — видный большевик в Ростове-на-Дону, погиб в начале 1920-х годов в гражданской войне. Старшая сестра Елизавета Марковна самоотверженно относилась к Оле во время ее болезни. По своим убеждениям она была верующая христианка, умерла незадолго до Оленьки. Люся — младшая сестра, красивая и очень способная, арестована «за связь с Ольгой», хотя они почти никогда не жили в одном городе, и расстреляна на Колыме. Оля умерла последней. Семья их небогатая, но учиться дети имели возможность. В доме царил немецкий порядок.

У Оли была, правда проходная, но отдельная комнатка. Ничего лишнего — кровать, стол, шкаф. Любила кукол и фантастические приключения. Читала запоем и без разбора: сказки и классику, издания «детской библиотеки», Чарскую и «Русское богатство». Училась блестяще все годы, гимназию закончила с золотой медалью. Над уроками не корпела, но работать умела с первых лет учения. Сочиняла стихи и прозу и знала на память несметное количество стихов.

Любимой подругой была Лида Новосельская. «Дружба, не имеющая себе равных», по выражению Оли. Все представилось ей в приподнято-романтическом духе. Она написала

повесть о ранней юности, назвав пролог своей жизни «Счастье» и поставив эпиграфом слова А. И. Герцена из «Былого и Дум» — «Будто можно рассказывать счастье?»

Романтизм нашел полное выражение в страстной отдаче себя революции. В 1917 году ей исполнилось 17 лет, она как бы выросла вровень с годами революции, не отстав от нее ни на шаг. «Бес благородный скуки тайной», соблазнявший ее в стихах декадентов и символистов, в предреволюционные годы, когда она жила в ожидании чудес, бесследно исчез, растаял. Революция оказалась воплощением чуда. Ольга была окружена друзьями-сверстниками, однако особое влияние оказал на нее отец Лиды и Нелли, человек широкого образования, «помещик-разночинец», как называл его Володя Щепкин, друг юности Оли и ее сестер. В представлении Оли он слит с образом Герцена, «чародей и мудрец». Февральская революция все прежде важное сделала неважным, незначительным. Появилось новое: ходить на демонстрации, митинги, слушать ораторов, верить им или сомневаться, спорить по дороге домой в 12 часов ночи и позднее, не слушаться отца, не спускать весь вечер глаз с кого-нибудь из юношей, а назавтра не помнить, о чем шла речь. Обязательные уроки стали необязательными, а под партией хранится «История культуры» Липперта или даже вырванная глава из «Капитала» Маркса, которую необходимо срочно дочитать. Вечером мчаться в Коммерческое училище, где заседает «Комитет средних школ», куда Оля избрана делегатом от женской гимназии. Ее ближайшие друзья — «златоуст» Элькан Гольденберг и остроумнейший, но всегда сомневающийся Яков Старосельский.

Отчет Оли о деятельности «Комитета» в гимназии, где она училась, был принят в штыки — возмущались учителя и родители: «Не своим делом занимаетесь! Учиться надо, комитетчики! В «Комитете» кто? — большевики и евреи, мутят только!». Оля резко парировала, ее отозвали из комитета. Ростов город не одних рабочих, а казацкий, мелкобуржуазный, не случайно он стал оплотом деникинщины.

Для рассказа о всех событиях в гимназии Оле на заседании «комитета» предоставили слово. Она подготовила выступление, насыщенное героическим пафосом и протестом, но выйдя на сцену, открыла рот, мучительно напряглась, к горлу подступил ком, а звуки не вылетали... За нее говорил Элькан. Все же ее выдвинули в комиссию по организации «Дома Школьника», где, со слов Оли, произошло ее «второе рождение». Здесь происходили дискуссии обо всем на свете: о железных законах истории и о гегемоне революции, о мировых социальных противоречиях и о революционности крестьянского бунта, о правде и справедливости и о безумстве

храбрых, о месте революции в мировом развитии и о всесторонне-развитой личности, о прекрасном будущем человечества, о Сашке Жегулеве и о художественном театре, об импрессионизме Шопена и о политическом ренегатстве Вагнера и о многом, многом другом. Вся Россия полыхала в то время такими жаркими дискуссиями, искала и рвалась в бой. Среди молодежи, как и среди всех, усиливалась борьба между большевиками и меньшевиками, позже в Ростове был создан Социалистический Союз пролетарской молодежи III Интернационала. Дискуссии приняли остро-политический характер. Было время, когда дерзкие мальчишки и девчонки клали в спорах на обе лопатки заслуженных директоров гимназий и седобородых адвокатов. Олю одно время тоже мучили вопросы о том, все ли дозволено хотя бы для революции и для всечеловеческого рая, но когда наступили решающие дни Октября и гражданской войны, все сомнения отпали, и Ольга стала большевичкой вместе со своими друзьями Петром Сомовым; Эльканом Гольденбергом и Соломоном Цимбалистом. Юноши уже сражались на передовых позициях против калединцев и алексеевцев. В дни деникинщины Оля бывала на подпольных большевистских собраниях и участвовала в подпольной работе.

С 17 лет она серьезно занялась философией. Вместе с Сомовым и Гольденбергом они «кантировали», то есть читали и конспектировали Канта, Гегеля и других философов и, как говорила Оля, «сквозь мир ирреальных феноменов неожиданно проступил мир сущих ноуменов». Как только большевики в 1920 г. укрепились в Ростове, Оля вошла в партию большевиков и работала секретарем у А. И. Муралова. Весной она заболела тифом с тяжелыми последствиями, болела бурно, едва выжила. Жизнь уже не была домашней, вместе с Неллей, тогда четырнадцатилетней, не по летам развитой девочкой, Оля поселилась в подвале у матери своего приятеля Цимбалиста, который в то время был еще на фронтах, и жили там неповторимой жизнью молодых людей неповторимого времени первых лет революции. Обе вспоминали об этом периоде, как о чудеснейшем, полном начинаний и осуществлений.

Вскоре Ольга переехала в Москву, где работала в ЦК партии у Е. Ярославского, а затем у Молотова. Затем она поступила в Институт красной профессуры на отделение философии. Товарищи рассказывали, что Л. И. Аксельрод, умнейший и образованнейший преподаватель философии, на экзамене была поражена глубиной Олиных ответов и той свободой, с которой она владела материалом. Со свойственным ей юмором она спросила: «Откуда ты, прелестное дитя?»

Ольга занималась сутками с азартом, вдохновенно, мно-

го времени отдавала партийной пропагандистской работе, как все студенты Института красной профессуры, и преподавала историю философии в военной академии.

В 1923 году дружба с Эльканом оборвалась, Оля стала женой Альтера, революционера-коминтерновца, приехавшего из Парижа после революции. В этом же году за принадлежность к оппозиции Олю посылают на партийную работу в Луганск, затем в Харьков на преподавательскую работу и позднее в Ленинград. Здесь мы случайно сталкивались мельком. Я смотрела на нее с интересом — о ней шла слава, как о восходящей звезде, умнейшей женщине и талантливом преподавателе. Она была очень хороша собой, всегда оживлена, говорила громко, часто смеялась, постоянно окружена товарищами. То была группа работников Ленинградского отделения Комакадемии, преподавателей вузов, большей частью закончивших Институт красной профессуры. Среди них Альтер, Пригожин, Яковин, Малышев, Ширвинд, Зайдель и др. Все скошены сталинской косой. Ольга — доцент университета, преподаватель Толмачевки*, много пишет, выступает. Помню, как-то Николай Игнатьевич пришел домой после заседания в Комакадемии и в восторженных тонах говорил о блестящем докладе Танхилевич о французской просветительной философии: «Ты знаешь, там много способных людей, но Ольга произвела впечатление свободно парящей в небе птицы. Мысли и слова слиты, внимание всех ни на минуту не ослабевает, она покоряет аудиторию доказательностью, логикой, остроумием, эрудицией, филигранностью речи. У этой женщины большое будущее».

Ленинград — короткий период, когда она жила семейной жизнью и в довольстве. Альтер умел организовать жизнь и оградить Олю от бытовых трудностей. У них была большая комната на Адмиралтейской набережной, окна выходили на Неву. Оля постоянно любовалась великолепием Невы и набережных. В этот период она организованно и плодотворно занималась философией и математикой. Не долго! В конце 1928 года она снова выслана из Ленинграда и с тех пор ни месяца, ни дня покоя. Она разделила судьбу поколения, потому что принадлежала к молодому крылу революционной интеллигенции, к ее творческой лучшей части, которая вошла в жизнь и в историю с Октябрем. Октябрем выпестована, с размахом развернула свою деятельность в 1920-е годы, оплодотворила все отрасли знаний, где она работала, главным образом — гуманитарные науки. Вслед за более старшим поколением марксистских теоретиков молодая русская

*Толмачевка — военная академия. (Примеч. авт.)

общественная наука играла революционизирующую роль в истории мировой науки в послеоктябрьский период.

Оля шла вверх по ступенькам, совершенно не помышляя о личном восхождении, не придавая ему ни малейшего значения. Шла в гору, потому что в этом был смысл существования и победа дела, ради которого жила она и окружавшие ее люди. Шла легко вперед, ибо отказ от старого и открытие нового были необходимы и естественны, их никто еще не связал цепями и путами догматов. Эта интеллигенция должна была заменить старую, эмигрировавшую, сопротивляющуюся и ту, что погибла в гражданской войне. Но ей не суждено было приобрести навыки государственного управления, революционизировать и дальше марксистскую науку. В силу особого развития русской революции она была сметена прущей снизу и сверху мелкобуржуазной стихией и не нашла почвы и сил, чтобы отвоевать право выполнить свое назначение. Со второй половины двадцатых годов их начали стаскивать с лестницы восхождения поодиночке с тем, чтобы обрушиться всею силой и истребить огромное большинство из них с середины 1930-х годов. Еще не найдено объяснение тому извращенному фанатизму, с которым Сталин и сталинисты расправлялись с творцами и деятелями Октября. Сталинской прямолинейной последовательности в этом направлении могла бы позавидовать любая контрреволюционная власть. История не так быстро раскрывает свои тайны, но обязательно раскрывает их грядущим поколениям.

Все ужасы арестов, тюрем, ссылок, лагерей, разлук, расставаний, расстрелов Оля испытывала начиная с 1923 года и до конца дней за себя и за самых близких и любимых. Расстреляны и погибли Элькан Гольденберг, Алексей Альтер, Володя Яцек, Даля Мильман, ее сестра Люся, Мария Советкина, Яковин, Ширвинд, Фридлянд, Старосельский, Эльцин, Татаров, Малышев, Райский, Эльвов и многие, многие другие, с кем Ольга была близка, с кем входила в жизнь, училась, работала, спорила, думала, кого любила. Не говоря о лагере, где она не была расстреляна только благодаря беременности. Достаточно проследить послужной список ее ссылок (в ссылках иногда бывает хуже, чем в лагерях, вследствие невозможности получить хоть какую-нибудь работу) — а значит безработицы, унижений, бесправия и голода, — чтобы понять, как Ольга была истерзана.

В 1929 году она исключена из партии, что пережила очень тяжело, выслана на Алтай, в Улалу, затем переведена в Томск, там пережила недоношенную беременность, хотя хотела стать матерью. Затем снова арест. С 1932 по 1936 годы непрерывные тюрьмы и ссылки то в Павлодар, то в различные пункты Красноярского края. Разлуки, расставания. Вновь

арест в 1936 году, голодовка 72 дня — протест против ареста и разлучения с мужем и, наконец, Воркутинские лагеря. По пятам преследовала ее смерть, смерть и расстрелы самых дорогих людей.

Но Ольга не сдалась. После освобождения, весной 1941 года, накануне войны она едет под Москву, чтобы жить поближе к Танечке, заканчивает немецкое отделение пединститута, которое дает ей право преподавать немецкий язык в школе и принять участие в материальной помощи дочке. Работая, она учится на математическом факультете, потому что занятия точными науками, в частности математической логикой, стали для нее органической потребностью, а пробелов в связи с ее гуманитарным образованием много.

Шла война. Эвакуация. Голод. Нужда. Однако — это бедствия всего народа и потому воспринимаются совсем иначе. Так чувствовала Ольга. «Страдала наравне со всеми, как равная, боролась с трудностями, как и другие, все становилось на свои места». Но в 1949 году снова арест и ссылка «навечно» в Казахстан, это участь тех, кто ранее арестовывался. Их превратили в особую категорию «повторников».

Да какие же железные нервы и силы нужно иметь, чтобы все это снести! А ведь это только краткий путь ее страданий, намеченный едва заметным пунктиром.

Кто не прошел его, тому не пересказать в толстых фолиантах, а кто прошел — живо вообразит по аналогии.

При первой возможности, сразу после освобождения, Оля все же вернулась к творческой деятельности, хотя теперь ее преследовало тяжкое психическое заболевание — циклотимия. Между циклами она титанически сражалась с болезнью, не давала себе поблажек, продолжала работать по математике и математической логике, один год работала в семинаре научных работников по математической логике у профессора Шанина в Ленинградском университете. Последние годы упорно занималась Лейбницем, работала над его греческим трактатом, непереуведенным или, по ее мнению, неправильно переведенным, так как считала его отцом кибернетики.

В 1960—1962 гг. мы встречались очень часто. Она любила излагать те или иные положения математической логики и выводы, к которым приходила, умела доступно передать продуманное до конца. Встречались дома и в Публичной библиотеке, где она нередко помогала мне в разборке иностранного текста, а я, хоть и профан в математике, была в курсе ее работ. Лейбниц занимал ее и потому, что во многом был близок ей, с ее слов. Ольгу привлекало в его философии сочетание универсального символизма и рационального исчисления. Соотносящиеся в монадах Лейбница элементы духа и

материи тоже были постоянным предметом Олиных рассуждений. Одна ее статья о Лейбнице была напечатана в философских тетрадах издания АН СССР за 1962 год, другая напечатана в сборнике Украинской Академии наук в 1966 году, посмертно.

Работала в этом же плане и над Спинозой. В архиве остались рукописи статей о Спинозе, о Карнапе. Вела философскую переписку с молодым ученым физиком Г. А. Соколиком. Свою книгу «Групповые преобразования в теории элементарных частиц» он посвятил «Памяти моего друга Ольги Марковны Танхилевич», считая Олю выдающейся женщиной светлого ума.

Неоднократно Оля вела беседу о необходимости и неизбежности перестройки всего школьного образования коренным образом с тем, чтобы математические знания, без которых, как она полагала, мысль в современных условиях постепенно становится бесплодной даже в общественных науках, стали достоянием всех. Для этого, с ее точки зрения, необходима популяризация многих математических принципов и идей, в особенности математической логики, которые известны слишком узкому кругу людей. Она считала своей задачей популяризацию этих идей, чем занималась еще в 1927—1928 гг., когда наша официальная наука ополчилась против математической логики и кибернетики, называя их буржуазными измышлениями. Преследуя идеи популяризации математической логики и кибернетики, Оля законспектировала ряд книг Норберта Винера и др. На одной из них — «Кибернетика, или контроль и способы сообщения у животных и в машине» надпись: «Для Тани и Кости». Ей хотелось, чтобы нетленными для Танечки и ее мужа остались ее мысли, устремленные в будущее.

Между тем болезнь наступала все напористей. Промежутки между циклами становились короче. Она сама уходила в больницу на Пряжку и оставалась там подолгу, а иногда и никого не желала видеть.

Оля занималась математикой, а душа ее отдана была с юности политической жизни. Все ее близкие погибли от репрессий. Но, получив свободу, Оля, как это ни удивительно, подала заявление о восстановлении ее в партии. Отказ оказался для нее ударом, после которого она уже не оправилась. Усилилась мания преследования, бредовые состояния, и на три месяца она попала в больницу. Я не вхожу в существо этого вопроса, ибо Оля двух слов со мной по этому поводу не сказала, но знаю, что так было.

Отношения ее с Таней тоже складывались трудно. Они не могли быть гладкими, это естественно. Танечку я не знаю, но все — свою большую нежность, любовь, материнство — Оля

стремилась отдать Танечке и ее детям. Почему ей не удалось быть для них необходимой, не могу судить. Оля часто последние годы говорила о смерти. Как-то в Публичной библиотеке она положила на мой стол «Замок» Кафки на немецком — просила прочесть и сказать, как я поняла. Когда мы после этого встретились, Оля сказала: «Так же, как его герой не может преодолеть препятствий для проникновения в замок, я не в силах преодолеть свое безумие. Кафка понял общечеловеческое страдание — невозможность преодолеть. Многое могла, этого не могу. Так бывает плохо, что не надо жить, надо скорей кончать. Ты не представляешь, сколько уходит сил, чтобы встать утром, подняться, не слышать воя, лая, голосов. Просветления реже, тьма чаще, дольше. Живу только, чтобы помогать Танечке. Но, кажется, и это последнее скоро перестанет быть препятствием для смерти. Не выдержу». Говорилось это в период затишья болезни, когда Оля была действительно просветленной, доброй, ласковой, даже веселой.

Последние несколько месяцев она не хотела меня видеть, не отвечала на звонки и письма и сама не звонила.

Перед отъездом в Усть-Нарву, в августе 1963 года я зашла к Оле — у нее была малюсенькая четырехметровая комната за кухней в старом петербургском доме на Гороховой, окно которой выходило во двор-колодец, — но мне сказали соседи, что Ольга Марковна уехала к дочери.

Начиная с 6 сентября меня преследовали мысли об Оле, мучили совесть и тоска, хотелось все бросить и ехать к ней. Мысленно писала ей письма, но не знала, где она. Оля преследовала меня день и ночь. 13 сентября приехала в Ленинград и в тот же день зашла к ней. Дверь не открыли и опять кто-то из соседей сказал, что Ольга Марковна уехала за город, куда — неизвестно. 20 сентября узнала, что Оленька покончила с собой в ночь с 7 на 8 сентября, а на двери повесила записку «Уехала за город». Она пролежала уже мертвая у себя в комнате целую неделю до приезда из командировки ее племянницы Лидии Яковлевны, которая сразу поняла, что Оле за город ехать некуда, и открыла дверь вторым ключом. Оля знала, что Лида уезжает в командировку и все продумала заранее до мельчайших подробностей.

Оля лежала на диване, как живая, совершенно не разложившаяся. Последнюю неделю она голодала и готовилась к смерти. К Танечке ездила проститься. С вечера была весела, оживленна, острела с соседями, а записку на дверях прикрепила ночью, перед самой смертью. Вскрытие не обнаружило, чем она отравилась, можно предположить, что большой дозой снотворных лекарств, которые она приберегала.

Все конспекты, работы разложены в порядке по группам.

Все постирано, указано, что кому отдать, в чем хоронить.

Ольга оставила три записки — Танечке, Лидии Яковлевне и «Всем, всем, всем». Она любила свою девочку безмерно, как и ее мужа и детей, но ее записка, обращенная к ним, лаконична: «Дорогие детки, простите меня. Будьте счастливы. Целую, мама». То же и Лидочке. В записке, адресованной всем, сказано, что лечили ее хорошо, но прогнозы ужасны, с такой болезнью нельзя справиться и жить.

Некоторые ее галлюцинации представляют интерес не только для психиатра, но и для нас, знавших и любивших Оленьку. Но я не хочу о них писать, так как это уже не самое в ней дорогое. До последних дней Оля была близка с Зельмой и с Нелли. Незадолго до смерти Оля прислала Зельме Федоровне перевод с немецкого статьи Гейзенберга о Гете и Ньютоне и свои замечания о поэзии Пастернака и Рильке. В Тарусе, по словам Нелли, Оля была в очень хорошем психическом состоянии и не вызвала у Нелли никаких подозрений, но мимоходом заметила: «Мне кажется, я скоро умру». Решение было ею бесповоротно принято. Ольга — человек высокого интеллекта и духа и богато одарена от природы, как многие талантливые люди, нацелена на главное и необычайно трудоспособна. Уродливые условия жизни обкарнали ее творческие возможности, довели до самоубийства. Поэтому Ольга не дала людям и науке того, что было в ней с такой щедростью заложено.

Оля предъявляла к себе всегда максималистские требования. Это качество необходимо, когда человек действует, тогда беспощадность к себе служит проверкой, учитывает просчеты, неудачи, ошибки, стимулирует к новым действиям, к творчеству. В заключении возможность и действительность находятся в постоянной дисгармонии, приобретающей у таких страстных и эмоциональных натур, как Оля, особенно острые формы, приводят к катастрофам.

Я была у врачей-психиатров, которые лечили Олю. Они удивлены сопротивляемостью ее интеллекта и воле, с которой она боролась с болезнью. Эти врачи-психиатры и другие психиатры, работающие в больницах Ленинграда, подчеркивали, что среди психически больных имеется значительное число бывших репрессированных и их детей.

Последнее, что слышала из уст Оли, было стихотворение Р. М. Рильке: «Все существа в себе объединяет пространство внутреннего мира...» Теперь ее нет.

Психология заключенного в дореволюционное время складывалась в условиях, ничего общего не имеющих с условиями и положением «врагов народа» советских тюрем. Я имею в виду не материальные, а моральные условия. Там человек боролся с властью во имя ясно поставленной цели, получал

соответствующее возмездие, и его заключение продолжало служить тем же идеям и целям. Здесь — либо творцы революции, осмелившиеся во имя той же революции отклониться от «генеральной» и за это причисленные к лагерю предателей, изменников и убийц, либо — и таких большинство — люди, ни сном, ни духом не помышлявшие о борьбе, не представляющие себе жизни вне советской действительности, и также зачисленные в категорию врагов. Многие, правда, вымогательством следственных органов, действовавших неслыханно подлыми методами, признавали себя виновными, но это не меняло сути. Как-то на этапе одна женщина, имени которой не запомнила, рассказывала о своих настроениях в политической одиночке Ярославской тюрьмы, где она просидела больше года:

«Мертвая тишина. Все глохнет. Несколько дворов один в другом за высокими воротами и заборами. Двери неестественной толщины. Гулкие затворы. Безмолвные часовые-марионетки. Козырьки. Полумрак. Никого и ничего. Не долетает ни один звук. Давящая система замкнутого мира и полнейшей изоляции. Полная уверенность, что одиночка преследует тебя сотнями глаз и ушей. А сидят люди, которым стоит сказать «не выходите» и они по привычке будут выполнять наказания своей власти. Постепенно оглушенный человек доводится до безотчетного ужаса и до сознания важности, значимости себя, как «преступника», которым он никогда не был. Когда вырвешься из-под гипноза, тогда ложь кажется овладевшей всем на свете, а жизнь — сплошной болью. Метание от веры к неверию, от пропасти к бездне, от желания доказать свою невиновность — до стыда за это желание, от чудовищного прозрения до возврата к непониманию. Все выводит из обычного человеческого состояния и ставит на грань безумия».

Всякая тюрьма, в которой люди лишены возможности заниматься какой-либо умственной работой, — скотское существование, но наша тюрьма для каждого заключенного рождала дополнительно и человеческую трагедию, с которой каждый заключенный вел свою борьбу. Тупики бывали. Много лет спустя можно стать в позу мудреца, но там мудрым было быть нелегко. Пытались искать «реку воды живой», по выражению Достоевского. И как-то ее находили. Все по-разному. Казалось бы, где как не в лагере, подстриги всех под одну гребенку, «вправь мозги», чтобы ни одной мысли своей не оставалось, и наведи порядок, на воле недостижимый. Получалось же как раз обратное: нередко удавалось разглядеть под драными бушлатами и за сморщенной, обветренной кожей особое, неповторимое лицо и колоритную фигуру нравственного сопротивления. Люди оставались людьми.

Рожденное помимо воли создателей лагерей северное зем-
лячество продолжало существовать и утешать. И дружба в
вагонке давала опору. Когда я смотрела на высокую фигуру
Доры в брюках, ладно сидевших на ней, с немалой долей
русского ухарства справлявшуюся с любой тяжелой работой,
я непременно подтягивалась за ней, и работа спорилась. С
Мусей вели нескончаемые беседы на отвлеченные темы. Фри-
да была жрицей очага и организатором быта.

У Муси и Доры уже не оставалось сомнений об аресте, а
вскоре и о гибели их мужей. Фрида совершенно порвала с
родными и не получала с воли ни строчки. Мужские письма
приходили только мне из лагеря от Коли, остальным — от
матерей и детей.

Смерть самых близких переживалась всеми нами, как
общее горе. Но существовал неписанный закон, по которому
мы опекали друг друга и потому не позволяли себе распус-
каться. По тому же неписаному закону не разрешали фик-
сировать внимание на голоде, на режиме, на мерзостях быта,
«шмонах» и прочих атрибутах заключения. Все это запира-
лось в одиночки черепных коробок, безмолствовало и во что
бы то ни стало должно было подавляться. Обратное грозило
худшим — деградацией.

Из палатки реже выдергивали женщин, но мы не знали,
что это означало. Некоторых близких товарищей по Ленин-
граду и Сивой Маске — Григория Григорова, Сашу Гирш-
берга, Ваню Долиндо и др. увезли на Иджид-Кирту, где бы-
товые условия были хуже, а голод сильнее, чем в Кочмесе.
Многие блуждали по экспедициям — Борис Донде, способный
развеять горькую тоску, повзрослевший Володя Гречухин и
др.

Закладывалась Инта, где в то время было лишь два не-
больших барака, склад, дом начальника, а неподалеку от
стоянки строились вышки для бурения на уголь и нефть. Весь
край был тогда бездорожный, глухой и необжитый. В ту
весну 1938 года из нашего края и района совершен был по-
бег, о котором складывались легенды, строились догадки и
о котором из уст в уста переходила молва по всем ворку-
тинским лагерям. Узнала о нем со слов товарищей.

Первые дни начальнику было невдомек. За это время на-
чалась распутица, что, безусловно, входило в план беглецов.
Когда начальник лагпункта поднял тревогу и дал знать в
III-й отдел, вохровцы не могли уже переплыть реку, чтобы
двинуться в Большеземельскую тундру по направлению к
океану: дважды льдины переворачивали лодку. Розыски не
увенчались успехом и двух «зека» так и не доискались. Ка-
кова их судьба, никто не знает. Может быть, ушли на ино-
странном судне, ведь один из них бывший матрос, быть мо-

жет, утонули в какой-то речке. но скорее, олени нашли путь к спасению, а люди? Кто знает? Переплыть на другую сторону вздыбленной льдами реки погоне удалось только через месяц после побега.

Рискуя оборвать линию повествования, приведу еще один известный мне случай побега — он любопытен для подтверждения бессмыслицы побегов из советских тюрем. Знаю сестру беглеца, которая и рассказала, как все происходило. Человек бежал из-под Абези. Месяцы скитался, пробираясь на севере пешком, скрываясь в лесах, потом подрабатывал на железнодорожный билет и, наконец, так или иначе добрался до Ленинграда. Залег под мостом и ночью постучал к себе в дом, к матери и сестре. Приход его вызвал не радость, а ужас. Двое суток никто не ложился спать и не выходил из квартиры, не отвечал на звонки. На третий день мать и сестра потребовали, чтобы он ушел. Не потому, что они его не любили, напротив, он для них самый любимый на свете. Но его пребывание дома оказалось пыткой. На третьи сутки он ушел под мост. Так продолжалось еще несколько суток. Мать и сестра собирали деньги на дорогу. Он вернулся в лагерь и получил дополнительный срок. Родные же без содрогания не могли всю жизнь вспоминать о кошмаре его прихода.

Раскидывали нас по земле и по краю Коми, но мы старались не терять друг друга из виду по тем же неписаным законам северного землячества, если еще оставались на свете. Устная лагерная почта — через людей, реже записка, иногда случайный приезд...

С Инты изредка заглядывал по делам геологической партии Борис Бelyшев, всегда подтянутый, внешне сдержанный и спокойный. Он был человек совсем иной формации и мышления, чем общая масса политических тех лет, и ощущал себя инородным телом среди других. Так же воспринимало его и большинство людей. Склад мыслей сформировался рано, но в нем сохранялось много юношеского, да ему и было лет 27—28. Как геолог он переезжал с места на место более свободно, и я как-то попросила его привезти мне гребенку, так как в одном из очередных обысков у меня отобрали все шпильки для волос и гребешок. Случилось так, что как только Борис Федорович вызвал меня из палатки,— а было время вечерней поверки,— я немедленно попала под свет «летучей мыши» начальника Подлесного. Он и засек меня как раз во время обхода барачков. Виделись мы с Бelyшевым ровно одну минуту, но для Подлесного это не имело значения.

В два часа ночи, когда я крепко спала, комендант осветил меня фонарем и зачитал приказ: «На пять суток в изолятор без вещей и без вывода на работу».

Как я узнала впоследствии, в тот же вечер Бelyшева выгнали из Кочмеса, не посчитавшись с тем, что идти надо в ночь и в метель. Никто не принуждал Подлесного расправляться с нами, как с крепостными девками, притом без всякого основания, просто из любви к искусству. Моя власть! Оделась, возражать не приходится, и пошла в пустой, щелеватый, промерзший «кандей», причем была довольна, что соседи по изолятору мужчины-урки спят. Боялась шевелиться и топтать ногами, чтобы их не разбудить — им ничего не стоит разобрать дощатую перегородку и оказаться в женском отделении. Конечно, не спала до утра, обуреваемая злостью и яростью. Лишь холод охлаждал мой пыл.

Все пакости на свете творят люди, но от них же исходит и хорошее. Моим соседом оказался бесстрашный головорез возчик Санька Александров, сохранивший не только душевную порядочность, но и уважение к людям культуры. Он разглядел меня сквозь щели утром, подсунул под доски перегородки охапку соломы и какую-то снедь, да еще и приободрил: «Львовна, не тушуйся,— не пропадем! На сколько суток? На пять, а я на восемь, три дня уже кантуюсь здесь. Вместе выходить. Меня «с выводом». Стану я на них работать из кандея, нашли фраера! с их «выводом»! Знаешь, за что попал? Коровья «мамаша», зоотехничка, приказала моей Ленке придти к ней на уборку в квартиру после рабочего дня, я ей такую квартирку устроил, что будет помнить! А ты мне про что-нибудь рассказывай, люблю больше книги с голоса».

Рассказывала сказки, которые помнила, а потом спала в мороз на досках, постланных прямо на землю, и на охапке соломы.

На третий день моего пребывания в изоляторе прибежала Дора и сказала, что в Кочмес приехал замначальника Воркутлага, и товарищи советуют написать заявление ему о незаконном заключении в изолятор. Конвоир сквозь пальцы смотрит на наши переговоры, а иногда и сознательно уходит погреться. Сквозь щель можно просунуть ломоть хлеба, карандаш, бумагу, а вот насчет кипятка плохо. Тут же, прислонив бумагу к дощатой неструганной перегородке, заледевевшими пальцами нацарапала заявление и передала его Доре, мало надеясь на благополучный результат.

Не более как часа через два вдруг вызвали к начальнику, куда меня и препроводили под конвоем. В комнате было тепло, что я прежде всего ощутила всеми фибрами существа. За столом сидел полный стареющий человек невысокого роста в морской форме. На столе лежала меховая шапка.

У окна лицом к столу стоял Подлесный.

Человек за столом, видимо, и был приехавшим начальником. Он смотрел на меня, внимательно всматриваясь, и заго-

ворил совершенно спокойно, как в то время ни низкое, ни высокое начальство с нами не разговаривало.

— Это вы Войтоловская Адда Львовна?— спросил он, напирая акцентом на мое отчество.— Ваш отец врач?

— Да, я. И отец мой — врач («зекам» полагается отвечать, а не удивляться или задавать вопросы).

— Так вот,— обратился он к Подлесному,— заключенная Войтоловская пишет, что она незаконно посажена в неутепленный изолятор без вещей и без вывода на работу на пять суток, за то, что другой заключенный передал ей гребенку. Так это или не так?

— Так,— криво улыбнулся Подлесный,— но сразу спохватился и сказал,— после отбоя выход из барака запрещен, а она вышла.

— Проверка еще шла по баракам,— вставила я.

— Других проступков не было? Работает?— спросил начальник у Подлесного.

— Работает в строительной бригаде. Проступков... как сказать... Ею написано заявление о... А, впрочем, не было.

— А что, писать заявления о... запрещено?— придирчиво-насмешливо спросил приезжий.

Подлесный молчал. Он был не хуже других. Прональствовав в Новом Бору, а затем на нашей женской командировке, понаблюдав за происходящим, он нашел для себя выход в самоубийстве, чем доказал нежелание быть и дальше марионеткой. Своей смертью он показал, что он был живой человек. Мертвые срама не имут.

— Оставьте меня с заключенной,— сказал человек в морской форме. Подлесный вышел. Начальник подождал несколько, затем вышел из-за стола, распахнул широко дверь, желая убедиться, что за дверью никого нет, вернулся и предложил мне сесть (до тех пор я стояла неподалеку от стола). Он сел и уставился на меня. Заговорил не сразу. Я ждала.

— Вы безусловно дочь Льва Наумовича Войтоловского, военного врача и писателя. Иначе быть не может. Или это совпадение?!

— Да, Лев Наумович Войтоловский, врач и литератор — мой отец.

— Странная встреча! Я с вашим отцом, редким человеком по благородству своему, полтора года пробыл на фронте в одной части. Я Воронин, тогда капитан Воронин. Уважая его и теперь. Где он? На воле?

Человек часто действует по первому побуждению, и это иногда не худший вариант, по чутью, я так и поступила, как, наверно, и он. Ведь нас все разделяло, разделяла бездонная пропасть.

— Отец на воле, но он ослеп, а сейчас и тяжело болен. В нашей семье арестованы шесть человек: мужья моих двух сестер, мой муж, я и две сестры. достаточная нагрузка для отца. Мои дети у них, так что мама воспитывает их и ухаживает за слепым отцом. О чем я могу с вами говорить? Вы — начальник Воркутлага и знаете положение наше, я — «зека» и не знаю, чего ждать — конца срока или своего часа.

— Поймите, что я с вами говорю как с дочерью Льва Наумовича, а не как с «зека». Хочу вам помочь, чем смогу. На Воркуту сейчас не время ехать. Как вы здесь живете? О каком заявлении говорил начальник Кочмеса?

— О Воркуте знаем мало, но кое-что...— Мы встретились взглядами на одну секунду, но интуиция подсказала, что с ним можно и должно говорить. Я продолжала. Кратко изложила причину и содержание заявления, сказала, что формально поэтому Шлыкова, Устругова, Фаянс и я переведены в штрафную палатку, откуда увозят на Воркуту. Формально, потому что многие переселены в палатку без особого повода, по признакам, нам не известным. Известно, что с Воркуты никто не вернулся... Он не смотрел на меня и то ли автоматически, то ли утвердительно кивал головой. Можно было понять его как угодно. У меня перехватило дыхание и я замолчала.

— Так у вас нет просьб ко мне?

— Нет.

Тогда он совсем тихо, но отдельно произнес:

— Думаю, что больше из Кочмеса на Воркуту этапов не будет. И не только из Кочмеса.

Опять помолчали.

— А работа? — спросил он. — Кто вы по специальности?

— Моя работа может пригодиться только в том случае, если я останусь жить после лагеря, я — историк. Работаю, как все.

— В изолятор не возвращайтесь, идите в свой барак. До свидания.

Я вышла. Он уехал в тот же день. На следующий день вышла на работу. Через неделю нас четырех перевели в строительный барак. Из палатки уходили с большой грустью, мы там прожили больше года в более дружеской обстановке, чем где бы то ни было.

Через несколько недель меня назначили на работу в ясли старшей медсестрой, как мне потом сказал начальник санчасти, по распоряжению с Воркуты.

Так случайное стечение обстоятельств, последовавших цепочкой одно за другим без моего в том участия, несколько изменили мое лагерное существование.

Из палаток действительно больше на Воркуту никто взят не был. И террористическая система должна иметь некоторые передышки.

Наступил 1939 год. Скоро 3 года заключения. Зима 1938—1939 гг. стоит суровая. Морозы крепкие, держатся долго. Недели подряд метет пурга. Строители часто работали в зоне, потому что обмороживание поголовное. В начале апреля, хотя морозы ночью еще сильные, днем под солнцем уже теплее, лучи его превращают нас в «цветных». Кожа на лицах коричневеет, а порывы холодного ветра заканчивают обработку лиц под мореный дуб.

В один из апрельских дней лагерная «голубиная почта» сообщила, что нашу четверку срочно и немедленно вызывают два человека с Воркуты, просят подойти к барaku строителей. До этого времени никого не освобождали из лагерей, а как уже говорилось, все получали дополнительные сроки — «довески» (к пайке хлеба прикреплялся довесок, скрепленный палочкой, отсюда название). Так Николай Игнатьевич в конце декабря 1937 года расписался в том, что таинственное ОСО добавило ему три года лагерей. Он их отбыл без скидок, некоторые же, кому к трем годам прибавляли «довесок» в восемь лет, превышавший основную пайку, получили льготу и ушли на волю. ОСО, которого никто никогда не видел, перед ясные его очи никто не представлял, распоряжалось нашими судьбами, как дух всемогущий.

Десятки предположений пронесли в наших головах, всегда готовых к неожиданностям. Первой сорвалась Дора, якобы в поисках бригадира по производственным делам, а затем под каким-то предлогом и мы с Мусей. Фрида работала где-то далеко. Об обещании Заславского пройти через Кочмес на свободу мы и не вспоминали. Свобода казалась невозвратной и неправдоподобной.

Перед нами оказались двое мужчин, изуродованных до неузнаваемости помороженными носами, щеками, подбородками, обмотанные шарфами и заросшие. Но это были Юзеф Заславский со своим товарищем Голубевым, отпущенные на свободу с Воркуты и пожелавшие быть первыми ласточками и провозвестниками освобождения. На правах освобожденных они попали в зону, так как Кочмес значился как пункт снабжения сухим пайком по пути, но мы не могли их ни завести в барак, ни даже пробраться с ними в слесарку, чтобы обогреть друзей и напоить кипятком. А они прошли сотни километров пешком, от Абези до Кочмеса всю ночь и часть дня без остановки.

Товарищи прожили на Воркуте самый жуткий период, но

говорить о событиях на Воркуте отказались категорически твердо и непреклонно: «Довольно! С нас и с вас хватит! Сейчас мы знаем одно — идем на свободу! Скоро начнут освобождать всех от «довесков». Мы — столица воркутинских лагерей, а вы жалкие провинциалы, ничего не знаете! Газет не читаете, о XVIII партсъезде не слышали, позор вам! На съезде звучали слова о тщательном обосновании всех обвинений, о клеветниках, порочивших кадры партии. Мы тоже ничему не верили, а вот шагаем по земле без конвоя!»

Им, вырвавшимся из атмосферы воркутских кошмаров, идущим на свободу, естественно, все рисовалось в розовом свете, а мы уже готовы были им верить. Все заключенные, как бы они ни отличались между собой, поклоняются одному — свободе — и потому весть о свободе единственно возможное воскрешение.

На Воркуте шло крупное строительство угольных шахт, там центр управления лагерями, открылось авиасообщение Архангельск — Воркута, поступали газеты, естественно, что сведений было значительно больше.

Грело солнце и не было холодно, но товарищи были чертовски голодны и стоять на виду слишком рискованно. Как быть? Выручил, как всегда, медпункт, вернее аптека, где работала Александра Ильинична, попросту Шура Кукс. На свободе — химик, она справлялась с работой провизора, прекрасно поставила аптеку и с ловкостью персонажей французской классической комедии управляла аптекой, извлекая из нее всяческие привилегии для заключенных. Здесь пешеходам удалось погреться, спрятаться, а нам поговорить с ними во время обеденного перерыва. Сама Шура стояла у наблюдательного пункта около окна на страже общих интересов. Шура была находчивая умница, умевшая провести начальство, набившая на этом руку. Ей доставляло особое удовольствие этого добиться, особого рода спортивный азарт овладевал ею в случае необходимости. Она единственная сумела весь лагерный срок отбыть на одних командировках с мужем, нашим главным экономистом Берлинским. Деловая, энергичная, пользующаяся доверием начальника, Шура в белом халате стояла у окна, сворачивая порошки, принимала горячее участие в разговоре и наблюдала за дорожкой к аптеке, а мы с жадностью впитывали сообщения товарищей.

Они торопились — идти еще одну ночь по морозу было опасно для здоровья, а до следующего жилого пункта не близко.

— Могли лететь и на самолете, — говорил Голубев, — так как оба решили остаться пока работать в системе Воркутлага по вольному найму, на воле работы не сыщешь, но захотелось пронести весть о свободе через все лагпункты, самим

начинает больше вериться в нее, а теперь приедем домой уродами, и жены от нас откажутся.

Заславский предложил готовить письма: «Клянусь, доставлю франко вольная почта, а ленинградцам франко квартира». И он действительно побывал у моей мамы и детей и у родных Шуры Кукс. Такая щедрость души встречается на фронте и в лагере, там, где жизнь и смерть шагают рядом, все критерии укрупняются, а человеческие отношения восприимчиваются как случайный дар судьбы.

Как сложилась жизнь Голубева, не знаю.

Заславский в первые дни войны ушел добровольцем на фронт, рядовым. Зная свободно немецкий язык, он скоро стал переводчиком, затем разведчиком. Много раз бывал в немецких тылах, осуществлял трудные операции, руководил разведывательными группами. Дослужился до чина полковника, выполнял сложные задания. Однако это не помешало тому, что, когда однажды его группу постигла неудача, ему немедленно вспомнили его «прошлое», то есть заключение, и обвинили во всех смертных грехах и угрожали смертью. Спас его случайный приезд командующего фронтом, который полностью его оправдал и даже отметил в приказе. Но такие встряски после всего пережитого не проходят. Жена Юзефа Борисовича рассказала, что после разбора дела он получил двухнедельный отпуск в Ленинград. Она его не узнавала, он был пассивен и подавлен. Постоянно подвижный, легкий на подъем, воодушевленный, в этот приезд, по ее словам, он был как бы одет на металлический тяжелый каркас, неподвижный, немногословный, почти все время пролежал, не играл с сыном, грустил. Прощаясь, вдруг сорвался и сказал, что в свое возвращение больше не верит, потом всячески старался сгладить впечатление от этих слов. Так и случилось. Его друзья сообщили жене, что, нарушая правила поведения командира, он рвался вперед, в горячку боя, был тяжело ранен в живот и вскоре умер, похоронен в Острове, когда немцы в 1944 году покидали этот район.

Через часа два они ушли, заронив надежду на свободу. К вечеру весь Кочмес говорил только об освобождении. Лопнул и чуть разошелся тугой обруч беспросветности, приоткрылись ворота в будущее. До перых освобожденных они были наглухо закрыты на многопудовые замки. Вскоре начали освобождать трехлетников и снимать дополнительные сроки и у нас в Кочмесе, и на других лагпунктах. До этого существовало настоящее и прошлое, теперь появилось будущее и приблизилось независимо от срока. Леночка Данилова, которая пережила дополнительный срок в 8 лет как непоправимую ката-

строфу, так и не оправилась. Кроме Иры Годзяцкой, почти ни с кем не вступала в разговор, и мы с тех пор не слышали ни разу ее милых шуток, которые она умела произносить с индифферентным выражением, что вызывало смех.

Вечером в нашей вагонке царило особое оживление: мы были источником радостной информации, во-первых, а кроме того, у Доры и Муси летом кончался трехлетний срок. И срок Леночки кончился, если правда, что снимают «довески», она вот-вот должна была выйти на волю. Я затащила ее к нам в вагонку и старалась обнадежить и приласкать, как бывало раньше. Она оставалась безучастной и безутешной и, сославшись на усталость, ушла. Спустя несколько дней Лена простоволосая, в одной кофточке, несмотря на мороз, без очков, примчалась ко мне на стройку, захлебываясь и плача не своим голосом выкрикивала: «Сняли! Еду домой! Сняли срок! Кончилось! Кончилось!» Прилипла головой к моей грязной телогрейке и казалась счастливым задыхающимся кутенком, совершенно преображенная. Куда делась ее сонливая безнадежность!

К этой молоденькой девушке сохранилось теплое чувство на всю жизнь, но я потеряла ее из виду.

Лека была первой освобожденной политической в Кочмесе. В этот день преобразились все, точно каждый получил свидание, услышал впервые Марсельезу или Интернационал, увидел нечто прекрасное, когда спирает дыхание, сердце комком подходит к горлу и хочется плакать и петь. И в то же время никто не смел радоваться открыто — перед глазами стояли вереницы погибших друзей, мужей, братьев, отцов и матерей. У всех погибших на воле остались дети...

С этого времени трехлетников начали отпускать. Правда, их было немного, основной контингент составляли пяти- и восьмилетники.

Остающиеся продолжали тянуть сроки. «В лагере, как в лагере» перефразировали мы французскую поговорку — *a la quegge come a la quegge*, за кулисами жизни, где бывали лишь сами участники драмы, которые никогда не выходили на сцену.

С нами шло все, что не горит и не тонет, что спасает во все времена при всех условиях, все, что годилось в многоступенчатой школе терпения и ожидания.

Жизнь как бы снимала с нас ответственность за те дела, которые свершались на воле и обрекали на бездействие, если не считать той физической работы, которой предопределено было стать основой существования. Вместе с тем жизнь возложила на нас неотвратимую обязанность думать, осмысливать важнейшие вопросы общественного бытия в целом, хотя в наши функции ничто подобное не входило. Режим был по-

строен с целью сделать нас абсолютно бездумными, но человек слишком сложная машина, к ней невозможно подобрать ключи, даже если в государственных мастерских над их изготовлением трудятся мастера самого высокого класса. Вернее — человек не машина. По вечерам мы предоставлены сами себе. Ночи бесконечно длинные, если ты не сражен чрезмерной физической усталостью. В это время и шла подспудная, затаенная, обособленная освободительная жизнь, свое маки, прибегая к позднему рожденному понятию. Жизнь наедине с собой, пожалуй, самая значительная для каждого, беззапретная. Две жизни, не наложенные одна на другую.

Редко в руки попадали книги, так от одного к другому переходили «Бесы» Достоевского, потрясающие в тех условиях с небывалой силой. Разоблачительное утверждение Достоевского о том, что «сообщники связаны как одним узлом пролитой кровью», протягивало нити к нашим следователям и провокаторам и казалось правдоподобием, как и мысли о том, что воля «избранных» навязывается всем инквизиторскими методами и приводит к «безграничному деспотизму». Но и помимо этого, Достоевский пленял мучительной, противоречивой, но яростной борьбой за человека. Он оскорблял и унижал его, как только мог, и тут же возносил, жалел, стремился спасти, проклинал, плакал, не покидал человека на его крестном пути и тем становился рядом. К слову сказать, смешно бывает, когда прочтешь, как так называемые историки, пресмыкаясь перед «отцом родным», проникшимся ненавистью ко всему революционному, порочили вслед за ним народничество, соперничая с Достоевским, Емельян Ярославский, стремясь избежать участи своих учеников, которые при его содействии все пошли под нож, в одной из консультаций в газете «Правда» не стеснясь писал:

«Ко всему народничеству мы относимся отрицательно, как к течению, враждебному марксизму, но мы различаем в нем различные ступени развития» ... и далее «народники перешли на позиции эсеров ... которые превратились, как и все мелкобуржуазные партии России, в шпионско-диверсантскую агентуру фашистских разведок» (1)

Вполне уместно привести слова Достоевского из тех же «Бесов»: «Полунаука — это деспот, каких еще не приходило никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, перед которым всё преклонилось с любовью и суеверием, до сих пор немыслимым, перед которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему ...»

Томик Пушкина составил так: каждый записывал то, что помнил, и рукописный он переходил с нары на нару.

Как бы ни было тяжело женщинам, но они с меньшими потерями переносили лагерь. Мужчины больше страдали от

голода, цинги, дизентерии, голодных поносов, сильнее были истощены и обтрепаны, среди них была более высокая смертность, им труднее было физически сопротивляться. Мужской организм требует больше, а паек шел одинаковый. Цинга и дистрофия принимали среди мужчин угрожающие формы. Если у женщин ноги, руки и грудь покрывались специфической цинготной сыпью, кровоточили десны, расшатывались и крошились зубы, то мужчины распухали, ноги в коленях не сгибались, как и руки в суставах, бросались в глаза отеки, синюшный цвет лица, у многих выпадали зубы, глаза угасали. Их больше поглощали чувства голода и тоски. Это особенно сказывалось на чисто мужских командировках, так как на женской командировке они являлись более ценной недостающей рабсилой и ими больше дорожили.

Вопреки всем законам и постановлениям, вразрез с замыслом создания чисто женских лагунков, на зло лагерному началству и во имя жизни, в Кочмесе стали рождаться в полном смысле слова «незаконнорожденные» дети. Что с ними делать? Нельзя же бараки превращать в ясли, да они и погибали бы в бараках немедленно, а по закону они не лагерники, действия прокуратуры и ОСО на них пока не распространялись и кто-то за них должен был быть в ответе, поскольку мать и отец неправомочны. Знаем, что шла длинная переписка между Кочмесом и Воркутой, а надо полагать, что Воркута запрашивала Москву и высокие инстанции. В конце концов в Кочмесе, на спецкомандировке женщин, появились своеобразные ясли, через которые, пока я там работала, прошло около семидесяти пяти маленьких человечков в возрасте от семи дней, какими они поступали из нашей больницы в ясли, и до трех лет.

Часто, идя в ясли, невольно повторяла близкое каждому начало «Воскресения» Л. Н. Толстого, ибо кто же не знает его на память с дней отрочества?

«Как ни старались люди... изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц,— весна была весной даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили гнезда и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди не переставали обманывать и мучить друг

друга. Люди считали, что свяшенно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для блага всех существ,— красота, располагающая к миру, согласию и любви, а свяшенно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».

Как весенняя пробившаяся меж камней травка, рождались дети. В неподходящих условиях, случалось, в суровую стужу, бесправно, у матерей, которые работали до последнего дня, доставляя моральные страдания женщине, сидящей по 58-й статье, и удивляя необычностью своего появления на свет женщину-уголовницу, не чаявшую стать матерью. Но для рождения нет неподходящих условий, и оно в конце-концов приносит радость.

Когда я попала на работу в ясли, куда была назначена весной 1939 года старшей сестрой, там было около 40 детишек, ютившихся в стареньком тесном помещении. Однако не признаваемые *de jure*, дети жили *de facto* и с этим приходилось считаться. Поэтому последняя крупная стройка, на которой я работала, были детские ясли. Просторные, с высокими потолками, специальной кухней, прачечной, боксами, позже с электричеством, кварцем и верандой для прогулок зимой по типовому проекту, утвержденному для крайнего севера. Вся противоречивость лагерной системы сказалась в существовании этого оазиса — дома малютки. Поскольку дети появлялись на свет, на них должны были распространиться законы о детях: отпускались средства на оборудование, снабжение, лекарства и пр. по нормам детских учреждений, кроме obsługi, которая набиралась из лагерного контингента без оплаты. Поскольку же они рождались в обход и в нарушение лагерных законов, их в три года отрывали от матерей и насильственно отвозили в специальные детские дома в Архангельск. Кроме того, каждая мать находилась постоянно под страхом того, что ее за малейшее нарушение выкинут из Кочмеса и лишат возможности видеть ребенка.

Врач в доме малютки был, но не педиатр. Не было необходимых лекарств, медикаментов, мы не имели возможностей ни предостеречь детей от эпидемий, ни спасти во время эпидемий: лагерная медпомощь не приспособлена для детского возраста. И потому, несмотря на то, что ясли обслуживались исключительно добросовестно, главным образом нянями с высшим, но, конечно, не специальным медицинским образованием, вкладывавшими в ясельных детей нерастратенную любовь к покинутым детям, мы дважды теряли детей во время эпидемии дизентерии в Кочмесе и во время инфекционной пневмонии. О каждой из этих эпидемий скажу особо.

Каков же был «постатейный» состав ребят? Большинство из них были детьми уголовных. В своей основной массе уголов-

ные как мужчины, так и женщины, противники работы в лагерях, вернее признают лишь те работы, которые дают возможность пожить от нее, выйти за зону или «перекантоваться». Излюбленная их работа извоз, почта, каптерка, кладовая, парикмахерская, или болтание около начальства, если их к этому допускают, в худшем случае — конюшня, а также дневальство в бараке. Но все же на работу их «гоняют». Кормящая мать первый год имеет некоторые преимущества — через каждые 3, а затем 4 часа происходит кормление, то есть длительный перерыв в работе. Кроме того, жизнь для них была чересчур «скучна». В лагерях собраны урки-«профессионалы», а чем заняться в лагере? Некоторые профессиональные проститутки и воровки пленялись естественным чувством материнства, его новизной для них, для некоторых материнство явилось невиданной, интригующей авантюрой. В мою бытность в яслях из больницы к нам в бокс поступило три младенца с сифилитическими язвами. Такие дети не заразные, но они занимали боксы, создавали дополнительные трудности со стиркой, питанием и пр., а они нежизнеспособны. Все трое умерли в возрасте до четырех месяцев. Лаборатории не было, и мы не знали, в каком состоянии здоровье матерей и всех остальных детей. В этом отношении мы были так же не вооружены, как и во многом другом.

Урки отличаются немотивированной непоследовательностью, подчиняются шальным, разнузданным прихотям, иметь с ними дело весьма трудно.

Женщин оставляли на работах на командировке для регулярного кормления, чего было очень трудно добиться от администрации, но многие из них не желали считаться ни с временем, ни с детьми. Ночью, когда они спят или заняты любовными делами, их убедить немыслимо. Некормленные детишки поднимают крик, вой, будят соседей, в яслях начинается ночной содом и ночные бдения. Несколько раз одевалась ночью (последнее кормление от 11 до 12 часов) и шла по баракам уговаривать их пойти покормить ребенка. Ответы следовали такого содержания: «Тебе надо — неси сюда, тракцистка некокнутая, фраерша, мать твою за ногу...» или «Чего вяжешься, родили и баста, советская власть воспитает», — и тот же рефрен в вариантах, или, нарочно издеваясь, пели, валяясь на нарах: «Эх, перина моя пухова-я-я...» Они не стесняются схватить полено или что попало под руку и бросить в тебя.

Были среди них и прекрасные, нежные, самоотверженные матери. В яслях работала Лида Проскурова, бывшая уголовница, но изъясшая прошлое ради материнства. Чтобы иметь возможность постоянно находиться с дочкой, Лида стала ясельной прачкой. Родом она из Владивостока. Работала и

жила самозабвенно. Во время эпидемии дизентерии Лида, независимо от дежурства, следила за кипячением белья и гладкой, была незаменима в каждую трудную минуту, преданной всем детям, на редкость бескорыстной. Мы благословляли за нее небо. Но с непокорными урками она изъяснялась на своем жаргоне. Ей принадлежит инициатива в их «исправлении» в вопросах кормления детей.

Врачом в яслах работала Ася Романовна Степанян, женщина лет сорока пяти, но совершенно седая, внешне хрупкая и худенькая, о ней можно было сказать — силуэт женщины, настолько она была бесплотной. По духу же она была волевой и сильной, хотя склонна была сглаживать острые углы в столкновениях с администрацией, однако без принципиальных уступок.

Темные глаза сразу запоминались на пергаментно-желтом бледном и все же красивом лице. Не раз в стычках с начальством Ася Романовна дергала меня за халат, желая предотвратить надвигающийся конфликт, что не всегда ей удавалось, но в целом мы действовали согласно и дружно. Как врач она была исключительно добросовестна, но педиатрию изучала на ходу, на практике без пособий и не имея возможности с кем-либо проконсультироваться, а на ней лежала врачебная ответственность за много жизней. Муж ее Степанян расстрелян, а в лагерь она приехала с пожилой женщиной-подпольщицей, с которой они не разлучались. О ее прошлом почти ничего не знаю.

Начали мы с А. Р. работать одновременно, и она как старшая с первых дней ввела порядок, по которому никто из персонала не имел права пользоваться ни одним граммом детских продуктов. Правило проводилось неукоснительно, даже проба бралась ею из ложки или блюдечка. Сначала были протесты и смех, дескать все равно никто не поверит в нашу святость, но порядок получил силу закона. По случайному совпадению поварихой работала уроженка села Усть-Черно, близ Нарвы, откуда родом мой муж, Марта Ивановна Алексеева, которая одно время была невестой брата моего мужа. Брак расстроился, и М. И. вышла замуж за финского дипломата, жила долго в Финляндии, а по приезде на родину была арестована по ст. 58 п. 6 — шпионаж. Человек честнейший и отличная повариха. Однажды из своего ночного похода за кормящей матерью я вернулась с рассеченной губой и распухшей ногой — урки забросали меня поленьями. Мы либеральничали с ними, так как не хотели переводить детей при наших ограниченных ресурсах на искусственное питание. Меня встретила бессменная Лида, рассвирепела, как обозленная тигрица, и предложила лишить двух матерей права кормления. Пришлось пойти на крайнюю меру, больше того, до-

говориться с новым начальником Сенченко о переводе двух самых злостных матерей на другую командировку. Мера крутая, мерзко было прибегать к административным полномочиям начальника, но иного выхода не было. Двух мам не допустили к кормлению, деток перевели на искусственное питание. Оба ребенка выжили в период эпидемий. Средство оказалось радикальным и действенным, и больше его применять не пришлось.

Что же касается детей политических, то всякий раз их появление на свет являлось следствием исключительных обстоятельств. Процент родившихся детей среди заключенных по 58-й статье по сравнению с количеством заключенных был незначительный, вернее, доля от одного процента. В яслях же одно время жили дети, взятые с родителями при аресте, некоторые матери приехали беременными, остальные дети «нашлись».

Вот несколько эпизодов из истории таких «находок». Как-то, когда мороз доходил до 45—50 градусов, в ясли принесли большущий тюк из одеял и шуб: «Получайте ребеночка!» Мать, Аниту Русакову, отправили на медпункт — у нее сильно поморожены руки, ноги и лицо. Когда мы развернули тюк, то к ужасу увидели окровавленное маленькое тельце, похожее на кусок сырого мяса, от которого шел пар. Реснички и волосики слиплись. Верочке было около месяца, и умное начальство Адзвы, командировки, расположенной от Кочмеса в 60 километрах санного пути, не нашло ничего лучшего, как сбуть с рук и мать, и новорожденную в лютый мороз. А неопытная мать, напуганная стужей, путешествием, разлукой с отцом ребенка, который тоже рад был от них отделаться, закутала девочку так, что она едва выжила, а тельце очистилось от рубцов только через несколько месяцев тщательного ухода. Мало того, что кожа на многих участках буквально сгорела, ей грозило и заражение крови. Но Верочка оказалась на редкость живучей и росла красоткой.

Кто же была мать Верочки Анита Русакова?

Виктор Кибальчич, до революции русский эмигрант, проживавший с детства во Франции, член французской компартии. Во Франции он женился на сестре Аниты. После Октября Виктор Львович переехал в Россию и перевез всю семью жены в Советский Союз. Работник Коминтерна Анита свободно владела французским и итальянским языками, знала неплохо русский и работала переводчицей в секретариате Коминтерна.

Кибальчич, начиная с 1928 года, арестовывался и высылался несколько раз. В 1936 году, когда Ромэн Роллан, близкий друг Кибальчича, приезжал в Советскую Россию, он специально летал в Семипалатинск к Виктору, а затем добился

разрешения на выезд Кибальчича с женой и сыном во Францию. Все члены семьи его жены остались в Советском Союзе. К этому времени старики умерли, а братья и сестра жены Кибальчича Аниты были репрессированы и попали в лагеря.

Анита была наивна, беспомощна, абсолютно не приспособлена к жизни в России, а тем более к лагерному существованию. Ее нелепые, на наш взгляд, рассуждения, иностранный акцент, манеры, замечания не попадая вызвали раздражение соседей по бараку, напарников на работе и всех, с кем ей бедняге приходилось сталкиваться. А она вовсе не была глупа. Образованна, много интересного могла рассказать о Франции и обо всех, с кем встречалась по работе в Коминтерне, в некоторых вопросах тонко разбиралась, но при всем том не понимала, как говорится, «что к чему», то не в меру конспирировала, то болтала без умолку. В общем, неокрепшее растение, пересаженное в чужую почву при неблагоприятных условиях. Привиться на нашей земле она так и не смогла. За меня ухватилась, как за спасительный якорь, так как по воле я хорошо знала Виктора Львовича, его жену и сына. Мы как-то провели с ними лето в Крыму и продолжали встречаться до ареста Николая Игнатьевича. А тут еще и Верочка попала в мои руки.

Отцом ее девочки был бывший директор маслозавода в Ленинграде Войцеховский, которого Анита сочла своим покровителем и спасителем. Он пожалел ее на этапе, расспросил, опекал, тем более, что был вдвое старше ее, и без усилий покорила, внушил любовь. Остальное произошло само собой. Анита до него никого не любила: красивый, бывалый директор показался ей воплощением добра. Перед отъездом он не преминул сообщить ей, что на этом их отношения кончатся, что у него сын старше Аниты и что дети в Советском Союзе не пропадут. В этой части философия его ничем от урока не отличалась. Так появилась Верочка.

А вот румяный, голубоглазый Вова, один из «старших». Плотный, здоровый, жизнерадостный, он первый, надрываясь, кричит мне «Адда» при моем появлении, вечно с кем-нибудь дерется, ни за что не даст себя в обиду. В очередь за рыбьим жиром кидается быстрее других и готов вылакать всю бутылку. Задира, буян, говорун и милый фантазер. Его мать Роза С. выросла на Украине и напоена ее солнцем, а великолепные ее косы — цвета спелой ржи. Она пышет здоровьем, как и сын. Взята в Ленинграде с работы заведующей районным отделом народного образования. Дома остались двое детей, им 12 и 4 года. Муж, преподаватель философии, арестован незадолго до нее, тоже где-то в лагерях. Роза жизнелюбива, активна, энергична, держится скромно, с достоинством и вовсе не склонна к лагерным авантюрам и приключе-

ниям. Напротив, она всячески избегает их, из-за чего была вынуждена уйти со второго промысла, где работала на парниках, уйти в гораздо худшие условия. Но в Кочмесе ей повстречался Богданов. По типу Иван Тимофеевич Богданов — кержак, землепроходец, умелец и завоеватель. Человек крепкой хватки и воли. Один из тех талантливых русских крестьян, о которых западные ученые и путешественники с удивлением и восторгом рассказывают как о людях, которые могут сделать все с помощью единственного инструмента — топора. В лагере ему поручалась как организатору и ответственному лицу всякая работа, где требовалась инициатива, ловкость, смелость и умение. В лесу он был витязем, который не только его «как щепу рубил», но знал и любил, как свой дом. На реке — богатырь. Как-то шел с товарищами по льду реки. С ними была лошадь с груженными саними. Лед уже талый, и лошадь в миг ухнула под лед. Богданов один ринулся на помощь и тоном приказа запретил кому бы то ни было приближаться к месту аварии, ибо это грозило худшим несчастием. Ловко и смело орудуя, минут через сорок спас лошадь, сани и часть груза. Лошадь стояла дрожа всем телом и каждой мышцей, а Богданов весь мокрый и красный перепрыгал и успокаивал лошадь, позабыв о себе. Роза ушла с бригадой Богданова на лесозаготовки поварихой. Ушла на те самые заготовки, за отказ от которых наша четверка отсидела в изоляторе. Внешне Богданов не бросался в глаза. Среднего роста. Широкоплечий, осанистый, всегда чисто выбритый. Простое лицо с резко вычерченным носом, лбом. Глаза ясные. Все черты лица выпуклые, барельефные. Загорелая шея, руки. Крепко сколоченный, прочно сбитый. Видимо, обаяние умной силы, ловкости и любви этого человека было велико. Так появился Вовка.

Один товарищ, который был с Богдановым на лесозаготовках за год до этого, рассказал мне о такой любопытной черточке Ивана Тимофеевича. Она характеризует его с другой стороны — как рачительного дотошного хозяина-крестьянина, черту вовсе не романтическую, но вошедшую тоже в его кровь и плоть. В тот год другая женщина жила поварихой в лесу, тоже молодая и красивая, ироничная и строгая со всеми. Пошла она в Кочмес в баню и за пряжей. Идти километров 15 или более. Настигла ее на обратном пути пурга. Наступила темная ночь, сбилась с дороги, долго плутала, наконец, пришла в землянку. Товарищу не спалось. Слышит их разговор с Богдановым. Женщина с трудом разматывает платок, тяжело дышит, устало садится. Потом, передохнув, пьет кипятка и говорит, что один большой клубок шерсти потеряла дорогой.

— Как так потеряла? — спохватывается Богданов, — где

потеряла, в каком месте? И не нашла? Нельзя оставить, вся вещь пропадет.

— Где его искать? Пурга, рада, что живой добралась. Пропади он на век!

Она засыпает. Товарищ слышит, как Богданов встает, натягивает валенки, шубу, шапку, обматывает голову и уходит в ночь, в метель, в лес. Вернулся он утром и выложил на стол замерзший клубок шерсти, который проискал всю ночь.

Часто побочные линии человеческой жизни уводят меня в сторону, как тропинки в лесу, сбивают нас с намеченной дороги, маня неизведанным. Такова и еще скрытая в будущем тропинка жизни Володи, сына Розы Борисовны и Ивана Тимофеевича. Сверну на эту тропинку, но предварительно несколько строк отступления. Как-то в ясли привели двух детей — девочку и мальчика. Мать их не то цыганка, не то бесарабка, в прошлом распутница и воровка, имевшая бесконечное число судимостей, производила впечатление забитого существа. Такое же впечатление производил и старший ребенок, мальчик лет шести. Он почти не говорил по-русски и сильно заикался. Девочка бойко говорила по-русски и была живым черноглазым зверьком. Она быстро акклиматизировалась в яслях и не доставляла особых хлопот. Мальчик оказался эпилептиком. В его диких тяжелых припадках, как в зеркале, отражались все стороны материнской жизни и его неприглядного детства. Во время припадков он изрыгал потоки сквернословия на русском языке — без заикания, рвался, плакал, бился. Страшно было видеть его корчи и слышать омерзительное словоизвержение из уст тщедушного детеныша, который в такие минуты становился сильным и бесноватым.

Конечно, мы всячески оберегали других детей и следили во все глаза за ним. Для него сделали глухую перегородку, отделявшую его спальню, под предлогом того, что он старше всех. Изолировать от детей его нельзя было, щадя его самого. Володяка рвался к нему, потому что ему было интересно играть со старшим мальчиком. Однажды припадок начался при Володе, с тех пор, уж не знаю, по каким законам психопатологии, Вова начал заикаться. Недостаток этот ему так и не удалось выправить.

Володю вырастила мать. Он рос в Кочмесе, а затем переехал с матерью на Воркуту, так как на волю с началом войны никого не отпускали. Известно, какая жизнь у матери подневольной. После мнимого освобождения Роза Борисовна работала на заводе, ютась в бараке. Волей-неволей мальчик часто был предоставлен сам себе. Сверстники — самые различные, тоже полубезнадзорные. Характер у Володи формировался буйный, все в нем клекотало и бурлило. Игры — толь-

ко военные, книги — только о войне. Он доставлял много огорчений матери, имел постоянно сниженную оценку за поведение, учился кое-как. На все уговоры отвечал: «Чепухня!» То он с какими-нибудь мальчишками поджигал магазин или склад, то где-то что-то стащил или переломал. Но было в этом мальчишке что-то заложено природой, что сквозило в его голубых глазах, открытой улыбке, непосредственности, в подчеркнуто выраженной индивидуальности — как в хорошем, так и в плохом. В 12 лет, как Володя мне сам потом рассказал, ему попала в руки книга Александра Грина «Алые паруса». Впервые он был захвачен и покорен, рабски предан книге и ее автору. «Алые паруса», конечно, не сразу круто изменили жизнь Володи, это было бы неправдоподобным чудом, но эта книга, без сомнения, — поворотный момент в его судьбе. Занятия еще шли кое-как, но книги стали самоучителями и друзьями, он бесповоротно и страстно полюбил чтение и открыл занавес в мир.

В 16 лет мать отправила Володю на год в Ленинград к старшему сыну, который в то время готовил кандидатскую диссертацию по криминалистике, много и упорно работал. Володя был перенесен в обстановку чисто духовных интересов и заражен ею. В нем разгорелось любопытство, азарт к чтению, к познанию, честолюбие, желание доказать, что и он не лыком шит. Он поступил на завод, но его поглотило творчество Александра Грина и литература. Несколько лет он совмещал работу механика на заводе с занятиями литературой, а затем, не получив специального литературного вузовского образования и определенных средств к существованию, ушел с завода и смело целиком переключился на литературный труд. Он изучил Грина, исколесил страну в поисках материалов о писателе, перерыл не один архив, газеты, журналы, попутно знакомясь и изучая литературу века, журналистику, критику. Александр Грин стал для него воротами в литературу, а «Алые паруса» — ключом, с помощью которого он приоткрыл эти ворота.

И вот уже появились в печати много его статей о Грине, затем самостоятельных книг, его уже знают и ценят в литературном мире, он редактирует издания Грина. Постепенно круг его литературных интересов ширился. Володя шел своим путем, на котором, безусловно, набил себе не одну шишку, но у него была страстная любовь к литературе, одержимость ею, дерзость, воля, трудоспособность и своя голова на плечах. В то же время в нем сидела богдановская деловая сметка и инициатива, которая помогла ему рисковать и добиваться, дерзко ринуться в неизвестное и довести до конца, замыслить и свершить. В Володе сочетался талантливый искатель и исследователь и беспечно дерзкий юноша. Он готов

был корпеть с луной дни и ночи над каждой архивной строкой и одновременно категорически отказываться получать диплом. «Для чего он мне? Вся литература к моим услугам, а времени лишнего у меня нет, я давно перерос вузовские программы». По существу он прав.

Планов в голове у него непочатый край, энергии воплотить их достаточно. Рожденный против правил и лагерных законов, он подчиняет себе жизнь, также нарушая каноны традиционных правил. *

Композитор Валерий Арзуманов тоже рожден в Кочмесе. Мать Вера Гильдерман и отец Грант Арзуманов оба политзаключенные. Кто знает, может быть, первая его работа, получившая премию на конкурсе, телевизионная опера «Двое» или «Безымянные» навеяна мотивами биографии родителей?

Появились дети и у сверхпартийной ханжи и святоши В. Годес, которая постоянно настаивала на неукоснительном выполнении всех правил лагерного режима. У таких, как она, теория и практика всегда в разладе. Годес изводила нас требованиями о том, чтобы ее мальчикам подкладывались только их пеленки, одевались их рубашки и пр., принесенное ею в ясли. Любой здравомыслящий человек поймет, что в учреждении, где находится около пятидесяти грудников, выделять индивидуальное белье немыслимо и ни к чему, так как все белье у нас не только кипятилось, но и проглаживалось с двух сторон именно вследствие наших специфических условий. Но Годес это не касалось. Все ее коммунистические принципы бесследно испарились. Она доводила дежурных нянь до слез придиричивым недоверием и скандалами. Она успокоилась тогда, когда ее временно взяли на работу в ясли в качестве няни. Мальчишки ее выросли, работают и учатся, а сама она и по сей день блюдет «партийную чистоту» в партийной организации жилконторы и немало крови портит людям. Сердцевина человека остается неизменной.

Весной и летом 1939 года мы еще оставались в полном неведении, по-прежнему без газет и без радио. Мы ничего не знали о том, что война вот-вот охватит весь мир, ни о том, что Чехословакия уже отдана на съедение Гитлеру, ни даже о том, что «карающий меч», занесенный над нами, передан из одних рук в другие. Знали только, что «Кормчий», «Зодчий», как и раньше, печется о стране и о нас, призывает народ к бдительности и зоркости. О том, что он замышляет союз и дружбу с фашистской Германией и Гитлером, в голову нам прийти не могло.

Какие-то просветы забрезжили в нашей жизни после прохода через Кочмес двух освобожденных. В УРЧ вызывали

*Позднее Володя эмигрировал в Америку. (Примеч. авт.)

уже не за продлением сроков, а объявлением освобождения трехлетников. Благословенная свобода приблизилась вплотную и к нашим нарам: одну за другой Мусю и Дору вызвали для получения освобождения. Прекрасно помню ощущение вновь обретенного глубокого дыхания и праздника, насколько не омраченного тем, что срок остающихся был много длиннее. Надежда превращалась в уверенность. Это поймет лишь тот, кто вместе с нами потерял и то и другое в 1937—1938 годах. Не с легким чувством уходили мои подруги на свободу — у обеих за время их заключения погибли мужья. Обе осиротели навсегда, ни одна не создала новой семьи. Мусю на воле ждала дочь, у Доры детей не было.

Дора хотела правдами и неправдами проскочить в Ленинград, чтобы разузнать все об Олеге. С ней я передала непосредственный привет маме и посылочку детям. В создании посылки из ничего приняли участие все. Дора отдала свое платье, из которого сшили платье Валюше, кто-то другой — полотняную рубаху, на которой вышили аппликации, из заячьей шерсти связали рукавицы и шарфы; для Лени вся инструменталка изготовляла набор инструментов — пилку, топорик, молоток, затирки, мастерок, щетку и даже станочек в миниатюре. Все это Дора довезла и передала. Мусю же урки раздели донага — они выкрали ее чемодан из каптерки и изрезали все вещи на маленькие аккуратные квадратики в отместку за первую недружелюбную с ними встречу и за то, что она отдала сразу по приезду вещи на хранение. Сшили ей в мастерской бязевую черную юбку, у одной из уголовниц нашли ее кофточку. в таком костюме Муся и вышла на волю, благо не голая. Урки позволяли себе все, другим же ничего не прощали.

С открытием навигации Муся и Дора уехали на свободу.

Захотелось с новой силой встретиться с Николаем Игнатьевичем. Работал он в это время в Харьяге, недалеко от Нового Бора, но от меня — сотни километров.

Зимой 1938 года по глупости обратилась к пожаловавшему в Кочмес начальнику III-го отдела с просьбой о переводе в лагпункт, где работал муж. Кажется, уж и научена была всем, а все же, дай, думаю, попытаюсь, написала заявление и пошла с ним в часы приема, назначенные им в конторе, после работы. Ждала часа четыре. Не принял, занят. На третий день в обеденный перерыв зашла в контору случайно, говорят, он там, собирается в дорогу. Сходила за заявлением и представила перед светлые очи. Типичный старорежимный пристав в карикатуре. Прочел заявление, нагло оглядел с ног до головы, изрек: «Не с таким заявлением надо ко мне приходиться...» Затем задал единственный вопрос, за который мало было плюнуть в его откормленную красную рожу. Сидел развальясь,

пользуясь тем, что никого в конторе нет, говорил нахально в сознании своей власти, права и неприкосновенности. Лагерный феодал-крепостник.

Я тоже воспользовалась тем, что все на перерыве, еле сдерживаясь, сказала, в упор глядя на него: «Ну и сволочь!» Хлопнула дверью, сорвав обиду и ненависть, и выбежала. Успела заметить, как изменилось выражение его мерзкой физиономии и как он вскочил. Думала, он за мной гонится. Перевела дух в тамбуре барака. Никто за мной не гнался, конечно. Ждала ареста, но все обошлось. Подлец, наверно, решил, что я не стану хвалиться результатами «приема», а в случае надобности поделюсь впечатлениями.

Через неделю вызвал Подлесный и, видимо, ничего не подозревая, показал мое заявление с наискось написанной каллиграфическим почерком резолюцией: «Запретить». Подпись тем же бисером, но неразборчивая. Не отказать, а запретить!

Надо было попытаться действовать хитрее, окольным путем, ибо хозяйственная связь между нашим начинающим совхозом и большим совхозом заполярья Новый Бор все время поддерживалась. Карпов работал в его отделении.

Летом 1939 года оказалось необходимым проверить наше стадо коров на бруцеллез, что можно было сделать только в Новом Бору, так как там имелаась лаборатория. Оттуда в Кочмес предполагалось завести бычков. Жена начальника Подлесного после его самоубийства уехала, и зоотехником за неимением вольного назначили «зека» со статьей «кртд», значит, свой брат. Пошла к нему бить челом. Рассказала что и как, понял с первого слова: «Добро, говорит, но ведь по дороге три раза в день надо выдаивать по 19 коров, такой мне дали штат и ни на одного больше. Попробуйте после работы подоить коров и попривыкнуть. Только вряд ли выйдет у вас, надо иметь большой навык».

Тут же приступила к дойке под его руководством. Корова терпеливо стояла — с этой стороны все шло благополучно, но руки через несколько минут свело судорогой. И сколько я ни принималась — результата был один. Всякую черную, тяжелую работу выполняла и пальцы для игры на рояле были очень крепкие, а тут не могу справиться при всех усилиях ни в какую. После нескольких пробных дней руки распухли, как колоды, я даже не могла купать детей в яслях. Пришлось эту мысль оставить.

Вскоре представился другой случай. По приказу с Воркуты ясельных детей, которым исполнилось три года, требовалось отправить в Архангельск в специальные дома для детей заключенных или передать родственникам, которые должны получить разрешение на приезд в Архангельск.

Новый начальник Сенченко недавно приступил к своим обязанностям и не был осведомлен о том, где находится мой муж, в его распоряжение поступили сразу тысячи человек.

Ася Романовна предложила начальнику послать меня старшей медсестрой с детьми как человека, к которому все дети привыкли и за которого она как врач может поручиться. Начальник не возражал. Я согласилась при условии, что мне предоставят выбор женщин, сопровождающих ребят, независимо от статьи и срока. Важно, чтобы люди были надежны, как няни, и чтобы нам не подсунили стукачей из III-го отдела. Ехали мы, конечно, под конвоем, но все же в Архангельске удалось через родных, которые брали детей, через матросов и пассажиров передать письма и кое-что на словах на волю; и все дошло.

В состав сопровождающих вошли исключительно матери отправляемых детей. Когда думаю о детках, которых мы все сдавали с такой болью и любовью, и их судьбе, не могу писать, нельзя не горевать с первоначальной силой...

Решила для себя, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы повидаться с Колей, мимо которого мы должны были проехать дважды — туда и обратно. Баржа с коровами выехала тогда, когда уже было известно, что детей повезут в Архангельск и что я буду их сопровождать. Просила зоотехника Сухарева передать об этом Н. И. По работе они должны были встретиться. Переезд долгий, по всей Печоре и морем, тот же путь, что мы проделали три года тому назад по этапу, только летом и в обратном направлении. Летняя Печора не казалась унылой. С жадностью вглядывались в людей без бушлатов, без черных спецовок, без конвоя, в пестрых одеждах.

На вечерних и утренних зорях любовались лодчонками с сетями, доносилось откуда-то и пение. Это и веселило и печалило, — мучительнее недосыгаемость свободы, но ближе просторы, движение, прошлое, любимые... Палуба, вольная гладь реки, вольное небо.

Конвой мало стеснял, прекрасно понимали, что от детей никуда не убежим. Приказано не разговаривать с пассажирами, но проследить немыслимо. Мы только нигде не выходили на пристанях, так как караул постоянно стоял у схода на стоянках.

Мимо Харьязи и Нового Бора проехали ночью. Ночи светлые. Застывшие, летние полярные ночи, когда все спокойно, кроме неба, которое безостановочно сменяет тона и окраску. Нюансы всех красок, слегка дрожа, колеблются в абсолютно гладкой воде, пока пароход не разрежет их отражение. Так в лесу каждый звук рождает отзвук. Стоишь замороженный и очарованный...

Волнуюсь. Жду. Сердце стучит, как барабан. Напрасно. Никого. Полное безлюдье. В Новом Бору остановка. Обычные звуки причалов, спующие равнодушные фигуры, занятые своими обязанностями. Ни Коли, ни привета.

Мимо Харьяги проплываем без остановки, но берег виден далеко, далеко. Луга, холмики, снова луга. Если бы показался хоть один человек, я бы его тотчас углядела. Но нет... Разочарование — половина шансов на встречу исчерпана. Ни спросить, ни узнать, ни дать знать. Оба — «зека»...

В Нарьян-Маре без остановки пересели на морское судно. Едем дальше. Море чуть пенится. Штормов нет — август.

Пристань в Архангельске. Людская сутолока, но нас немедленно изолируют. Встречают работники НКВД. Странную группу женщин-заключенных с детьми окружают плотным конвоем. Ловим косые взгляды из публики — испуганные, удивленные, сочувствующие и отчужденно-презрительные. Надо молча проглотить и ко всему быть готовым.

Вдруг прорываются к нам, сбивая конвоиров, люди пожилые и молодые, не обращая внимания на начальство, на окрики и команду. Это родные, приехавшие за детьми. Для них проще — они вольные или, как говорят урки, «вольняшки». Они ждут уже несколько дней, дежурят, не уходя с пристани в ожидании нас. Они не знают детей, дети чуждаются их, жмутся к матерям и к нам, прячутся за наши спины. Но взрослые узнают друг друга. Встреча. Язык не пошевелится произнести — радость встречи. Тут же на пристани размыкается кольцо охраны, родственникам разрешают первое знакомство с детьми. Как всегда, торопят, не дают сказать лишнего слова. Не часы, а короткие минуты. Прощание. Детей уводят. Слезы, горькие слезы...

Все дети, переданные родственникам, остались жить. Выросли, работают. Но вот остальные наши дети... Сейчас приедут за ними из спецдома, чтобы разлучить с матерями навсегда. Одиннадцать мальчиков и девочек. Маленькие, трехлетние.

Приехали за ними три женщины — принимают холодно-равнодушно, неласково. Дети плачут. Те, кто без матерей, цепляются за наши юбки. Надо быть спокойной, но это выше сил. Страшит разлука с детьми, а главное, страшит судьба этих незащитных детишек, которых мы передаем в чужие руки, чужим людям, смотрящим на нас как на отщепенцев и не дарящим ни нам, ни детям ни одной улыбки. Неважно кто мы, но при чем тут дети?

Проходят часы крайне возбужденного и тяжелого состояния, в которые официально, по актам, передаем детей, прощаемся с ними. Разлука матерей и нас всех с детьми. Все подавлены. Матери убиты. Нашу осиротевшую группку жен-

щин стягивает плотное кольцо охраны, раздается негромкая команда, так хорошо знакомая формула: «...считается побегом», и мы движемся под конвоем через город к пересыльной тюрьме.

О детях, которых мы сдали в спецдома. Свершилось самое страшное — сдали по акту одиннадцать здоровых прекрасных детей и ни одного не получили обратно. Ни одного! В лагерь не получили ни одного письма. Ни одна мать не получила ни одной весточки, хотя все писали и каждая запрашивала. Что же, запрещено было писать арестованным матерям или такая черствость души была вменена в обязанность всех ухаживающих за «спецдетьми»? Да есть ли такие бесчеловечные законы где-нибудь еще на свете? Кто за них в ответе? Кто в ответе за наших детей? Никто?

Немедленно по приезде наш дом малютки начал запрашивать детдома в Архангельске, Управление лагерей в Архангельске, на Воркуте, архангельский отдел образования, здравоохранения... Все молчат. Наконец детдом ответил, даже не назвав по именам и фамилиям: «Все погибли во время эпидемии». Можно ли этому верить? Что с ними стало? Неужели для наших деток были созданы особо скверные условия? Может быть, это и не так, но почему все до одного погибли? Ведь не было ни войны, ни эвакуации, ни голода, ни чрезвычайных эпидемий. Одна из тайн, которую мы никогда не раскроем. Дети Нины Булгаковой — солидная толстушка-девочка и Раи Смертенко — златокудрый сынишка были созданы, чтобы спасти своих матерей от расстрела и затем погибнуть неизвестно как и где.

Когда нас увели с пристани, мы еще ничего этого не могли знать, но все были потрясены расставанием с детьми.

Через несколько минут после ухода с пристани начальник конвоя остановил группу, назвал мою фамилию и сказал: «Выходи!» Меня выпустили из кольца, остальных повели дальше. По выходе из кольца оказалась рядом с работником НКВД, который принимал наш этап на пристани и обратил на себя внимание человеческим отношением к нам и к родным, прибывшим за детьми. Стою в недоумении и жду. «Не беспокойтесь, — говорит он, — ничего плохого не произошло. В знак того, что я не замышляю ничего дурного и что я вам не враг, познакомимся. Моя фамилия Завгаллер. Я взял вас на поруки до вечера. Знаю о вас от моего большого друга Заславского, который работает в управлении после освобождения. Мы получили телеграмму, о том, что вы будете сдавать детей, а он уехал в командировку и взял с меня обещание сделать для вас все, что я смогу. Многое знаю о Воркуте и Кочмесе. Знаю также о вас и о вашем муже. Можете говорить со мной, как с добрым знакомым. Откровенно, — я не знаю,

чем могу быть вам полезен до вечера. Я ленинградец, как и вы. Сын мой закончил Ленинградский университет и преподает там». Я все же с опаской разглядывала седеющего человека с восточными черными глазами, как будто доброжелательного и серьезного.

Мы шли по окраинам, а затем по выщербленным тротуарам города. Он в военной форме НКВД, я в потертой черной бязевой юбке, в ватной лагерной телогрейке и в непомерно больших ботинках лагерного образца. Каждую минуту нас мог встретить кто-либо из работников управления или охраны, которыми Архангельск был тогда наводнен, но его это не смущало. Во всяком случае в нем не было натянутости. Меня же грызли сомнения — ловушка, бред, почему упомянул Заславского? Мы шли и шли. Голос его звучал спокойно, доверительно, а я несколько раз останавливалась и смотрела на него во все глаза. В конце концов мое недоверие начало ему досаждать, а может быть и обижать его.

— Слушайте,— сказал он с накипающим раздражением,— не ставьте меня в глупое положение — рискуя я, а не вы, и вы же мне не доверяете. В моем и вашем распоряжении считанные часы. Я могу сейчас же доставить вас на пересылку, но я не сделаю такой глупости. Вами руководит пропитавший вас страх. Надо же уметь быть смелой сразу! С первого взгляда. Не глядите на меня испытующе, на это тоже уходит время.

И доверие родилось. Посмотрела на себя со стороны и почувствовала неловкость.

— Простите,— сказала я.

— Знаете что, откинем все условности, я видел утреннюю сцену. Не весело! Хотите, пойдем в кино, в кафе, в столовую! Любое ваше желание выполню. Я тоже в Архангельске не по доброй воле. Раз уж решился потратить день, потратим его с пользой для вас.

— Никуда мне идти не хочется. Не так-то просто сбросить груз многих лет за несколько часов, так бывает лишь в сказках. Сегодня особенно тяжелый день, вы свидетель тому. На фоне яркого дня и спокойного течения жизни я — черное пятно. Не могу переключиться. Я здесь чужая. Есть у меня просьба: помогите мне поговорить по телефону с мамой в Ленинграде.

Завгаллер был озадачен. Он поколебался.

— Трудно! Привести вас в управление никак нельзя. Как быть? Пойти на междугородную станцию тоже нельзя, там часы переговоров с Ленинградом ограничены, до вечера время ушло, а на поверке вы должны быть на месте.— Он задумался.— Попытаемся связаться по прямому проводу через инженерное управление (он был инженером).

Мы пошли быстро и через полчаса были уже у провода. Но провод не действовал, и связи с Ленинградом не было. А я так ясно вообразила, что услышу голос мамы! Битых два часа ждали у провода, а время близилось к проверке. Ничего не получалось. Проклятый провод повис где-то в пространстве и срывает задуманное, которого я уже ждала неистово и жадно. Судьба послала мне неправдоподобное чудо, а воплощение ускользает. Телефонистка не знала, кто я, но мое нетерпение передалось ей, она вызывала то Вологду, то Череповец, перекидывая шнуры, чтобы соединиться, но напрасно. Завгаллер поминутно смотрел на часы и нервничал, а я эгоистически думала только об одном — назвать номер В2-86-86.

— Пора!— сказал Завгаллер. Мы вышли.— Все рухнуло, я ничего не смог сделать, экая досада!

Искренность его тона позволила мне сказать:

— Не все рухнуло. У меня, конечно, ни копейки денег нет, но я вас очень прошу, пошлите от меня две телеграммы: одну маме, другую мужу. Первое дело менее сложное и целиком зависит от вашей доброты, второе — гораздо сложнее. Рассказала о моем желании встретиться с мужем на обратном пути.

— Если вы согласитесь, вам нужно будет поинтересоваться, когда нас отправят, узнать, каким мы едем пароходом по морю, на какой по времени можем пересечь в Нарьян-Маре и тогда послать в Харьгу соответствующую телеграмму мужу.

Завгаллер рассмеялся.

— Ну, знаете, поддайся женщине — всего проглотит. Вы меня втягиваете в конспиративную нелегалышину! Впрочем, весь день противозаконный. Коль покарают, так уж за дело. Пишите текст двух телеграмм.

Составили текст, длинный — маме, короткий — Коле.

Через час Завгаллер сдал меня конвоем.

Его уже нет в живых, но есть дети и, наверно, внуки. Не только они, но и может быть случайно встретившие его на своем пути люди помнят, какой благородной добротой обладал их отец и дед. Как-то прочла в газете в списках лауреатов Ленинской премии имя Завгаллера, профессора Ленинградского университета. Фамилия редкая, наверно, сын. Искренне порадовалась.

На пересылке все беспокоились за меня — мало ли что можно предположить в отношении «зека». Молчала, боясь подвести Завгаллера. Малейшая оплошность может погубить человека.

Как только вырвешься из тисков и решеток, жизнь торопится подбросить людей, встречи, неожиданное. Такой явилась для меня поездка в Архангельск.

Я уже описывала архангельскую пересылку, но через три года произошли некоторые перемены: мужскую и женскую пересылку разделили пополам сплошным дощатым забором вышиной в 3-4 метра. Конечно, были проделаны дырочки, ободраны края досок, без чего не бывает ни одного тюремного забора на пересылках. Дворы — большие прямоугольники, утрамбованные ногами.

На утренней прогулке услышала стук комков земли о забор и затем свое имя. Почудилось? Но вот уже явственно различаю интонации голоса Николая Дрелинга, хотя он не говорит, а шепчет. Торопливо приближаюсь к забору, впиваюсь глазами в щелку и вижу отрезки его долговязой фигуры, не попадающей целиком в поле моего зрения при приближении. Стоять же надо рядом с забором, чтобы услышать. Он размахивает своими нелепо длинными руками и что-то спрашивает. Но прогулочном дворе конвоя нет, только на вышках вихровцы с автоматами. Гуляющих не много, и ленивое внимание вихровцев невольно должно сосредоточиться на нас, они видят, но им лень донимать нас.

— Тебя тоже на переследствие? — спрашивает Дрелинг.

Коротко объясняю, почему я здесь, а в голове проносятся вереницы ушедших безвозвратно на переследствие. (Мы трепещем перед вызовами в центры, с ужасом предвижу, что его ожидает.) Но Коля воспринимает все по-иному. Лицо веселое, глаза радостные, он разгорячен, вытирает замусоленным платком потрескавшиеся, запекшиеся губы, возбужденно говорит:

— Видишь, видишь, вот и еду на освобождение, а ты уговаривала меня не писать. Эх, ты, политик! Кто из нас прав? Теперь я всех подлецов выведу на чистую воду. Они у меня запрагают!

Понимала, что он ослеплен, и жалко было разбивать иллюзии, вселять страх, самое худшее, низкое и подлое чувство на свете. Не впервые сталкивалась с взглядами людей, которые считали, что кое-кто сидит за дело, а вся масса заключенных — сумма случайных или злостных несправедливостей, но что стоит найти путь к «высшему суду» и правда восторжествует. Коля Дрелинг был умен, но сохранил упрямую наивность любого верующего. И вот его вызывали на тот самый «божий суд». Он был запущен, как пуля по заранее рассчитанной траектории, и ни предотвратить, ни изменить уже ничего нельзя. Но все-таки, может быть, понимание политической обстановки, ощущение момента могло бы спасти от самого страшного. Необходимо отрезвление для правильной тактики и поведения на следствии. Нельзя явиться туда совершенно безоружным и с пеной у рта кидать в лицо следователям весь накопившийся запал протеста. Это означало врататься навстречу гибели. Я пыталась

что-то противопоставить, убеждала, что такое единоборство безумие, но почувствовала, как неприятны и неприемлемы для Коли мои доводы. Слова мои стекали, как капли дождя по стеклу, не проникая внутрь, оставляя его сухим и непромокаемым.

— Не отравляй встречу,— говорил он, отбрасывая мои аргументы, как мусор,— а я скоро увижу Эллочку, Анну Ильиничну, Витюшу, твоих ребят.— Он рассмеялся.— Помнишь, как Лёничка впервые назвал пароход? Помнишь? Да чего ты хмуришься? Еще разнюнишься... Ты тоже скоро будешь дома, с нами, увидишь, и сама посмеешься над своим неверием...

Разговор наш прерывался множество раз: окликали, направляли винтовки для острстки. Мы то подходили к забору, то снова шагали по двору. Перед внутренним моим взором мелькал Коля-гимназист в форме с пряжкой VII казенной гимназии и с кокардой на фуражке, с детства в очках, с вытянутой тонкой шеей, застенчивый и насмешливый, то в Киеве и нам уже 16 лет, то в 1922 году в Москве толчемся в Охотном ряду, идем по Арбату, он уже «ответственный товарищ», ездит в командировки. Он длинный-длинный и носит кличку «минога». Коля — муж Элочки и становится неотъемлемой частью нашей семьи... Когда мы жили в «Астории» и на целые дни уходили на работу, оставляя маленького сынишку с чужим человеком, Дрелинг работал недалеко от нашего дома. Он забегал к нам и оставлял записочки, всегда шуточные: «11.00. Лёня спит. Сухой. Все в порядке. Ребенок в родителей» или «17.35. Увез Лёню с коляской из Исаакиевского садика беспрепятственно. Ждал терпеливо около часа. Наконец «прелестница» явилась... с другим Лёней (без коляски, но с усиками). Примите срочные меры!» Некоторое время он болел туберкулезом, но не придавал значения болезни, не унывал, не хныкал и выздоровел.

Через часы его увезут. Что будет с ним? Не могу себе представить, что будет и с сестрой, привязанности и переживания данного момента поглощают ее всю без остатка, потрясают до основания, тем более, что Коля готовит Эллу совсем к другому.

Гроном с ясного неба должно было быть для него то изуверское обвинение, которое ему предъявили по приезду, сфальсифицированное бесстыдно и безнаказанно обозленными следователями. Какую душевную катастрофу пережил он перед расстрелом, не будучи к ней подготовлен, не имея защитной брони предварительного неверия. Не знаю, как он не сошел с ума?

Ему предъявили обвинение в убийстве (совместно с Яковом Дончаком, чистейшим романтиком революции, юнцом

ушедшим в Красную Армию, с горящими рыжими волосами и таким же горящим сердцем) бывшего директора их института, тогда как он предварительно был убит органами НКВД. Обвинение это настолько дико и патологически чудовищно, что трудно поверить, что оно могло стать юридическим актом и послужить основанием для приговора к расстрелу. Только у обезумевших от власти и крови следователей и прокуроров того периода могла подняться рука совершить такой подлог. С одинаковым правом можно объявить человека людоедом, Горгоной, кем угодно. На основании этого вымышленного чудовищного обвинения, от которого содрогнется любой человек и которое покажется бессмыслицей любому юристу, Коля Дрелинг и Яша Дончак были расстреляны в 1941 году накануне войны.

Через много лет рассказала мне все, что знала, моя сестра Элла, жена Коли, а в 1955 году полковник — следователь по делу Леонида Райхмана (ленинградского следователя в 1936 году, в дальнейшем начальника следственного отдела КГБ, генерал-лейтенанта), когда меня вызвали как свидетельницу в Верховный военный суд.

Дело Дрелинга и Дончака, как и миллионы других подобных дел, должно быть извлечено на свет, а люди, которые его состряпали, пригвождены к позорному столбу.

Для чего? Для того, чтобы каждому было ясно, где правда, а где ложь. Преступление требует разоблачений, нужна гласность. Сегодня немало любителей «покоя» и возврата к старому. Говорят: «Ну, было, было, пора забыть», завтра скажут: «А может и не было, вражеская выдумка». Общественное проклятие и презрение должно повиснуть над преступниками, чтобы никому неповадно было повторить прошлое. Даже Сталин, о ком говорилось больше, чем о прочих его сообщниках, не был развенчан до конца, а получил лишь понижение в чинах и рангах. Он перемещен из Мавзолея к Кремлевской стене и почивает там в почете. И сколько еще приспешников пытаются гальванизировать его труп, его методы и порядки, а значит и его преступления! В конце концов история все и всех поставит на свои места, но какой ценой, какими жертвами? История вовсе не обрекает нас на пассивность, на молчание, она творится людьми.

Свидания нам не дали, на прогулку Дрелинг больше не вышел, должно быть, увезли в тот же день. Случайная встреча на прогулочном дворе архангельской пересылки была последней в жизни.

Его сын Витя десяти лет и наши дети узнали случайно о его гибели из неосторожно оставленной сестрой бумаги в столе, и смерть его безжалостно запечатлелась в их зыбком

сознании. Леня рассказал нам об этом при встрече, позднее я воспроизведу его рассказ.

Через несколько дней пошагали и мы в морской порт и были посажены на большой морской пароход без права выхода из каюты. Качки не было, море с пенными волнами было видно только через иллюминатор.

Летом по северным морям едут сотни людей: экспедиции, уполномоченные министерств, моряки и промысловые рыбаки, научные и торговые работники, одним словом — вольные. Всем им встреча с «зека» противопоказана, и нас прочно заперли в нижней каюте. Однако конвой предупредил, что по Печоре будем ехать свободнее, а это для меня было главное.

Настолько была поглощена мыслью о возможной встрече с мужем, что совсем не помню поездки до Харьга. Все теперь зависело от того, захотел ли Завгаллер проследить наш путь и отправить телеграмму, или нет. А ведь Коля был «зека», не мог же он к каждому пароходу выбегать за пять километров от лагпункта, даже если у него и были кое-какие льготы как у мастера маслозавода.

В ту поездку некое доброе начало определенно мне покровительствовало. В Харьгу наш пароход вез груз, понадобилась остановка для выгрузки материалов. Мы подъезжали к Харьге ярким солнечным днем. Первым, кого я увидела на пристани, был Коля. Телеграмма дошла! Завгаллер дал ее!

Коля стоял на пригорке в черном пальто с кепкой в руке и пристально вглядывался в людей на палубе. Он еще не нашел меня глазами, а я уже увидела его и подбежала к перилам в чем-то ярком, чтобы броситься в глаза без слов, без жестов, без возгласов. Нельзя было себя выдать и дать заподозрить свидание. Наши глаза встретились. Коля кивнул запрокинув голову вверх и помчался к сходням. Я видела, как он схватил на плечи ящик с маслом, предназначенный для погрузки, и взбежал с ним по трапу. Через мгновение он был уже наверху. Все спутницы знали о свидании — сочувствие и настороженность, я была спокойна.

Не виделись с 17 ноября 1934 года, когда Коля взял Вальшу в Детское из-за болезни Ленечки. Без меня его взяли 11 декабря 1934 года. Общее десятиминутное свидание, потрясающе правдиво описанное Толстым в «Воскресении», не в счет. Пять лет! И какие пять лет! Перевернут весь мир мыслей, представлений. Казалось, все надо будет начинать сначала, что я стала совсем другой, а значит и он.

Мы стояли рядом за паровой трубой. Глаза у Коли были ярко-голубые, не как пять лет тому назад, а как в годы

наших первых встреч. Куда-то провалилась мысль о том, что все надо начинать сначала, которая столько раз впивалась гвоздем во время разлуки. То были детские, надуманные и мелкие мысли, не имевшие ничего общего с тем, что происходило. Провода сомкнулись где-то раньше, чем в месте разрыва, который образовался пять лет назад. Но речь не подчинялась. А надо было столько сказать, услышать о детях, о том, что творится на свете и с нами. Сила, надежда, уверенность, возможность нового будущего — шли от Коли. Он вырос передо мною крупным планом, заслоняя все. Никакого кордона из прошлого не оказалось в те минуты, барьер разошелся незаметно. Я молчала, Коля в чем-то убеждал меня, возражая на мои, написанные ранее письма. «Все оттого, что ты не веришь в будущее, меньше рассуждай, опирайся на основу. Страшился, что будет заметно истощение, годы, но этого нет. Мы прошли самое худшее, прошли чудом, остались жить, на что я не надеялся, значит будем жить...» У меня чувства были скованы, а у Коли повернуты к самому главному, открыты, как широко распахнутое окно, и живительный воздух его присутствия раскрепощал меня. Казалась себе созревшей, постаревшей, но внезапно почувствовала, что он умудреннее меня.

Ошеломил гудок. Оглушительный пароходный гудок из черной отверзтой пасти трубы, за которой мы прячемся. Оба вздрогнули — прощаться! Забегали наши женщины, торопя нас. Внезапно и бесповоротно Коля решил: останусь до Нового Бора! Мне тоже показалось это естественным. Как же иначе? Уже расстаться?

За самовольный уход с командировки, а тем более отъезд полагался новый срок, как за побег, в этом не могло быть сомнения. Мелькали такие мысли, но глохли за более важным, животрепещущим... Пароход уже тронулся.

В тех условиях все люди легче и проще шли на риск, меньше, чем на воле, дрожали за жизненные блага и благополучие, хотя на карту часто ставились не блага, а сама жизнь. Выработалось другое мерило ценностей.

Так проехали по реке километров 15 до Нового Бора. На нас никто не обращал внимания или мы этого не замечали. Не хочу, да и не сумею передать те полтора или два часа, украденные у судьбы и у сроков. Мгновение и вечность. Победа и поражение. Удача и горе, спресованные в сгусток... Говорили торопясь, страшась упустить минуты, то о детях и маме, перед которой Коля преклонялся, то обо всем сразу.

— Как Лев Наумович? Я все узнаю от тебя, мне пишет только моя мать из Гатчины.

— Так же, то в больнице, то дома, но он спас меня, потом, после расскажу...

— Когда?— Коля улыбнулся.— Думаешь, проедем до Кочмеса?

— Дрелинга вызвали на переследствие, ты веришь в освобождение?

— Освобождение? Что ты? Головной костяк уже выбит, он там никому не нужен. Какая наивность! Как перенесут Анна Ильинича и Элла? Его уничтожат! Что человека могут уничтожить ни за что, стало привычкой мышления.

— У нас нет газет, что ты знаешь?— спрашивала я.

— Изредка читаю. Поражающие известия о договорах с Германией. Чем теснее «дружба», тем ближе война. Рвать с ними, только рвать! Но кто об этом теперь скажет? Да, ты знаешь, Раскольников вызвали из-за границы. Он отказался вернуться, объявлен врагом народа, невозвращенцем.

— И правильно сделал,— сорвалось у меня,— что же возвращаться прямо под пулю? Только так, для этого вызывают...

Коля круто повернулся ко мне лицом — надвигалась пристань. Снова бритвой полоснул гудок, разорвал воздух, дым и пар трубы задушил слова. Мокрый пар обдал нас. Толчок о берег. Надо было, не теряя ни минуты, воспользовавшись вольной одеждой, проскочить мимо двойного конвоя — на пароходе и на берегу и спрятаться в кустах до отбытия парохода, чтобы не быть арестованным на месте. Теперь начинала понимать, что мы натворили и чем это грозило Коле.

Пароход стоит долго, как мне кажется. На берегу все делается замедленно после бешеного бега времени от Харьга до Нового Бора. Вглядываюсь внимательно и напряженно. Нигде не вижу Колю. Трогаемся. Из густых зарослей вытягивается вверх рука, на миг высовывается и вновь прячется голова Коли. Неужели придется сидеть до ночи? Августовские ночи уже темные. Долго, долго еще ничего не узнаю...

Едва добрела до койки, валюсь и сутки или дольше лежу, как пласт. Начальнику этапа говорят, что я больна. Дежурный стрелок, молоденький украинец-новичок, видел меня с Колей и дня через три, смеясь, но тихонько, сказал: «Хиба ж я не бачив, як ты з мужиком балакала?».

Минутами, под влиянием нахлынувших чувств, охватывает радость встречи, удачи, как бывало на воле... Для чего мы едем в разные стороны? Для чего меня везут в Кочмес? Что меня там ждет? Какой смысл в этих отбываемых сроках? Как создан вакуум общественного равнодушия вокруг нас, небывалый для других эпох? У негров была подпольная «железная дорога», по которой они бежали в Канаду, а над «Хижиной дяди Тома» поколения всех стран мира проливали горячие слезы возмущения. У гонимых христиан существовали катакомбы, о которых знали и язычники и которые име-

ли поддержку во всем древнем мире. Всякое незаслуженное страдание вызывает естественное сострадание и протест, в отношении же нас воспитано не только равнодушие, но между нами и волей воздвигнута стена непроходимости, непроницаемости. Никогда не было такой жажды отречения воли от тюрьмы, как теперь, быть может, потому, что переход от одного состояния в другое чрезвычайно легок...

Но что же стало с людьми, где блуждает их совесть? Всеми овладела страсть «разоблачать», в лучшем случае — аморфное молчание.

В лагерях ни орденов, ни нашивок, но много понимания, поддержки; может встретиться и Завгаллер, а за проволокой — знаки отличия, безликость. Страх лишиться всего проникает во все поры общественных отношений. Поскользнуться ничего не стоит, а угодишь — в бездну. Это пугает, атрофирует способность здравого мышления.

На воле человек внутренне более раб, чем в заключении. Здесь вырабатывается и укрепляется самоконтроль, исходящий от веления совести, пусть не у всех, но у многих. На воле тоже действует невидимый самоконтроль, но иного порядка, своеобразный категорический императив, исходящий от диктата: «Нельзя», — в противном случае надо идти на отречение от всего. Для подобного рода отречения требуется незримый героизм, лишенный всякого общественного резонанса, даже больше того, подвергаемый общественному осуждению, ненависти, злобе.

Вот мы с Колей решились на риск, могущий повлечь новый срок, а на воле свидание с заключенным ведет к краху. Ядовитые пары страха пронизывают общественную атмосферу в целом, отравляют все деловые и личные человеческие отношения, дружбу, даже любовь. Таков был ход моих мыслей на обратном пути, прилизывать их сейчас, переделывать для благопристойности было бы смешно и ни к чему. Если бы ход моих мыслей был неверен, то разве могло бы годами господствовать насилие, попираание личности, противоестественная несправедливость, беззаконие без малейшего протеста извне?

Напротив меня, на пароходной койке сидит скорчившись, уже сторбленная Нина Булгакова. За два года нашего знакомства волосы ее стали совсем белыми, зубов нет, одни черные прокуренные торчки, а по лицу сползают медленные слезы. И так сидит она уже много часов. Зачем отобрали у нее девочку? Ведь ребенок вырос в наших яслях, обласкан, накормлен, рядом с матерью, в Кочмесе есть условия для ее роста, а ей еще далеко до трех лет. Ей исполнится три года только в апреле 1940-го года, но тогда она до следующей навигации «пересидит» с матерью 3 месяца. Какое страшное

нарушение! Отобрать же у матери крохотное создание на 9 месяцев раньше срока нарушением не является! Девочка передана в чужие, незаботливые руки, а у матери отнято все. Можно не соглашаться с Ниной по поводу целесообразности голодовки в наших условиях, но нельзя отказать ей в личном мужестве. Она считала голодовку нужной, имела дерзость протестовать таким способом, 57 дней отказывалась от искусственного кормления, проводила мужа на расстрел, сохранила стойкость и товарищество, отдалась спасительному материнству, но... забрали ребенка. Больше она его не увидит. Она еще не знает этого, но предчувствует.

Для чего? По какому праву?

Ответов нет.

Текут часы под бульканье воды, текут бесчисленные годы наших сроков.

Из века в век омывает Печора бескрайние берега песков, лесов и болот. Плывут по ней древние северные суда-челны, парусные дощаники, ветки, позднее рыбацкие шаланды и суда всех образцов, баржи, пароходы, теплоходы, сработанные совершенными человеческими руками. Из века в век плывут по Печоре самые разные люди, но как еще далека от совершенства их жизнь.

Несравнимо и различно восприятие мира человеком, который говорит: «Я еду!» от восприятия мира тех, кто может произнести только: «Меня везут».

«Я еду» — означает свободу выбора. Пожелал покинуть обжитое и привычное, а завтра появлюсь там, где захочу, где будут мои открытия, где увижу, узнаю, добьюсь, потерплю поражение по своей вине. Ты весь подтянут, активен, приподнят, уверен. Я еду — сулит множество счастливых предвкушений.

«Меня везут» означает связанность по рукам и ногам, подавленность, мучительное усилие сохранить устойчивость, чтобы тебя не повалили и не растоптали. Мир повернут к тебе враждебной стороной и от тебя зависит слишком мало. Везут людской груз. Где-то погрузили, где-то выгрузят... Но что же с Колей? На проверке его хватятся...

Как это было, узнала через годы.

Коля дождался сумерек и двинулся в обход Нового Бора по лесу на Харьягу. (Утром он договорился со спецпереселенцем, заведующим молокозаводом на Харьяге, что тот сделает за него все необходимое на работе. Но самому Коле не пришло в голову, что он осмелится уехать на пароходе). Он шел, напрягая силы, почти бежал. Остановил окрик из сторожевого пикета «Стой!» Карпов остановился. Подошел вохровец: «Пропуск». Пропуска нет. Задержали. «Жди до смены, доставим в комендатуру».

Дело дрянь! Стал накрапывать дождь, превратившийся вскоре в холодный северный ливень. Прибыл сменщик. Пикет далеко от лагпункта. Конвоир едет на лошади, Карпов впереди — пеший шлепает по грязи. Но и конвоир мокнет, а путь дальний. Дождь поливает немилосердно. «Садись на лошады!» — командует вохровец. Коля вскакивает на лошадь и прилаживается сзади своего начальства. Теперь винтовка, прижатая Колиным телом, вдавливаясь в насквозь мокрую спину всадника. Он злится и ругается. Что делать? Поводья отдать арестанту никак нельзя: «Бери, — говорит, — мою винтовку, никуда ты, (растакую... туды-т...) не денешься в глухую хлябь, а убивать меня тебе расчёту нет». Так и едут — конвоир спереди безоружный, а Карпов сзади с винтовкой. По пути Коля обдумывает, как быть, ищет выход, но придумать ничего не может. Длительная проволочка не в его пользу, дело уже не в часах, а в сутках.

Прибыли в комендатуру Нового Бора. Там разговор короткий: «В Бур» (барак ухудшенного режима) и под замок. Тогда Коля снова рискнул — утром просит отвести его к начальнику лагпункта, в присутствии которого он недавно делал сообщение по организации производства на маслозаводе. В Буре у него созрел план. Начальник узнает «зека» Карпова, которого он, в военной форме, слушал с большим вниманием, хотя тот был в потертой телогрейке и в «шанхаях».

— Что случилось? — спрашивает начальник.

Карпов пускает в ход свое красноречие, а он умеет сагитировать и не такого противника. Ни в пикете, ни в комендатуре никто и не подозревал, конечно, ни о его поездке на пароходе, ни о нашем свидании. Известно только, что задержан лагерник без пропуска.

— Да вот, — говорит Карпов внушительно и возмущенно, — произошло недоразумение, а завод вторые сутки без мастера. Шел по срочному делу, поломалась часть аппарата, необходимо ее заменить, доверить никому нельзя, пошел сам. Мастерских на Харьяге, как вам известно, нет, заключенным «кртд» пропуск ВОХР не выдает, а начальника III-го отдела на месте не оказалось, вынужден был пойти после обеденного перерыва, но был задержан в пикете, хотя шел по дороге к мастерской.

Начальник, зная Карпова как мастера маслозавода, не стал доискиваться и проверять, что и как, а выдал пропуск на Харьягу и добавил в напутствие, что надо поторапливаться на завод. Теперь уж Карпов не торопился, он предусмотрительно зашел в мастерскую, достал запасные части для аппарата, просушился, а через несколько часов протянул пропуск тому же часовому, который его задержал. Тот уж успел выспаться и вернуться на пост. На следующий день он

вернулся в Харьгу с пропуском, как оправдательным документом. Из Харьги о нем уже поступил запрос в Новый Бор.

Так мы, два государственных преступника, изъяли по полтора часа каждой из своих сроков. Мы обманули сверхбдительные власти не на три часа, а на немисливо дерзкую встречу, переступив через расстояния, зоны, проволоку, ускользнув от шпиков III-го отдела, и не были раскрыты.

Как бы в отместку за такую неслыханную удачу, за такое везение я, по дурацкому стечению обстоятельств не получала от Карпова очень долго писем. И чего только не передумала за это время!

А пароход все плыл и плыл. По мере приближения к северу пассажиров становилось все меньше и меньше. После Усы не осталось никого, кроме нас и людей, связанных с Воркутлагом. Воркута в то время была еще закрытой стройкой. Лениво плелся пароход, лениво проползали мимо нас песчаные косы, мели и посуровевший лес. Солнце жиге размешивало свои краски, ночь глубже впитывала молчание, превращая его в глухую темноту и безмолвие. Река перестала извиваться и протянулась прямо на северо-восток.

Мы теперь целые дни ходили по палубе, вдыхая оставшиеся нам дни внелатерного бытия. Стало прохладно. Комаров почти не было. Пароход у Адзвы шел недалеко от правого берега, но не причаливал. На пристани копошились заключенные мужчины, перегружая уголь с баржи на тачки. По реке прокатились наши имена, нас окликали, махали с берега. Лица были совершенно черные от угольной пыли, но я различала приподнятый к вискам разрез глаз Саши Гиршберга (брата М. М. Иоффе), белые зубы на черномазом лице и узнала его. Он хлопал по плечам товарищей и называл их имена или фамилии.

— Эй, вы! — покрикивал конвой, — кончай баланду, мужиков не видали, вали вниз.

На этом наша содержательная беседа закончилась. Дальше плыли без приключений. Адак проехали ночью и никого не видели. Перед высадкой дали обет молчания о моем свидании с мужем. И по сей день никто, кроме живых свидетелей, о нем и не подозревает.

Мы возвратились в Кочмес в первых числах сентября. Через несколько дней Ольга, считая себя обезумевшей, показала мне тот самый снимок в газете «Правда», который привел нас в состояние панической растерянности. Газета была так оборвана, что видно было фото, передовица, слова и текст под фотографией. «24 августа, четверг. Советско-германский договор о ненападении». Сбоку большое фото «К заключению советско-германского договора о ненападении». Под снимком

надпись: «Справа налево: тов. В. М. Молотов, тов. И. В. Сталин, г-н Иоахим фон Риббентроп и г-н Ф. Гаус». (Снимок сделан 23 августа 1939 года, фото М. Калашникова).

В тексте говорилось: «Вражде между Германией и СССР кладется конец. Различие в идеологии и в политической системе не должно и не может служить препятствием для установления добрососедских отношений между обеими странами. Дружба народов СССР и Германии, загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР, отныне должна получить необходимые условия для своего развития и расцвета». На обороте обрывка газеты статья: «Как мы изучаем историю партии».

Ольга работала в конторе и упростила вольного бухгалтера Тараненко дать ей газеты последней доставки. Он дал их, и мы с Олей читали с возрастающей тревогой. Нет, не с тревогой, а с отчаянием и возмущением. Провозглашалась дружба с фашистской Германией, совпадение интересов, приводились высказывания иностранных журналистов о том, что дружественный нейтралитет Советского Союза обеспечивает Германии достаточное количество средств для ведения продолжительной войны, оправдывалось нападение Германии на Польшу, захват Данцига и т. д.

Нам попали в руки газеты от 20 августа до 3 сентября. Они сыграли роль бури, взрыва, потрясения.

Все было выдано за гениальный дипломатический ход, за «историческое предвидение», нашло тысячи адептов и интерпретаторов. Не берусь судить о том, какое впечатление производили эти договоры с фашистским государством на вольных людей, приученных не возражать, не сомневаться и все приветствовать. На нас, неискушенных, утративших волю, и информацию в 1936 году, три года назад, когда антифашистская борьба испанского народа являлась делом всего человечества, а фашизм понимался как черная реакция, нависшая угрозой над всем миром, договор с Германией казался чудовищным, а сговор с Германией о разделе Польши — святотатством. У меня было ощущение, что я подавилась всеми сообщениями и не в силах их переварить...

Утешением были письма мамы и детей, по которым сильно истосковалась за это время.

Через несколько дней в яслях эти же политические известия слышала совсем в иной интерпретации от жены начальника Сенченко, начальницы-филантропки, которая явилась в дом малютки узнать, как сдали детей, подведомственных ее мужу-начальнику. И между прочим сообщила: «Больше фашистами немцев не называйте, теперь они наши

друзья! Мы заключили с ними договор о ненападении и налаживаем дружеские торговые и культурные связи».

Роза Сандлер, которая в это время находилась у своего сына и у которой при этих словах душа вспыхнула, поскольку она до ее слов ничего не слыхала, сгоряча ответила: «Положим, фашисты при всех обстоятельствах остаются фашистами!». Начальница возмущилась: «Вы просто газет не читаете и ничего не знаете!». Мы не возражали, газет мы, действительно, не читали. Так мы смутно уловили официальное отношение к роковым и чрезвычайным событиям того времени.

Жена Сенченко разыгрывала роль патронессы в яслях и клубе, надо же было себя чем-нибудь занять. Она еле снисходила до нас, людей порченных кровей, но вмешивалась во все на правах начальницы. Она подчеркнуто следила за своей внешностью, постоянно охорашивалась, гордясь крахмальными свежими кофточками, коверкотами, сапожками, своим превосходством во всем. Рот у нее был неестественно поджат, голова приподнята и скошена набок, как у гусыни. Вот-вот, казалось, просыпится из ее горла гусиное «га-га-га». В ясли она приходила в качестве добровольного инспектора и безапелляционно давала наставления по всем вопросам кормления, ухода за ребятами, по воспитанию ясельных детей и работников. Старые, обтрепанные игрушки своих детей она приносила в ясли и страшно бывала оскорблена, если их не находила в следующее посещение. Если же наши ребятки выходили из своей ограды в лес на прогулку и ее девочка лет шести бежала им навстречу, то начальница, позабыв свою чопорность, выпускала истошный крик: «Не подходи! Не подходи!». Дистанцию между ее детьми и детьми «зека» необходимо было соблюдать и в шесть лет. Не удивительно, что ее двенадцатилетний мальчишка держал себя точно так, как отец, то есть как начальник. Достаточно привести такой пример: как-то мы, группа заключенных женщин, возвращались после полевых работ с острова. Проработали мы 14 часов внаклонку, распухшие и отекавшие от укусов комаров и гнуса. Ноги по колено в грязи (Кочмес рос на болотах) в намокших телегрейках, задыхаясь от тяжести подъема в гору и от накомарников. Плестись по кочмесскому клейкому замесу грязи — значит продолжать трудную работу.

Через овражек, полный воды, были перекинuty мостки, по которым мы двигались цепочкой. В это время с противоположной стороны подошел к мостику сын начальника лагпункта в резиновых высоких сапожках, в подпоясанной ремнем по-военному серой шинели, с хлыстиком в руках, в широком накомарнике, удобно прилаженном к каркасу фураж-

ки. Не дожидая ни секунды, он громко и властно объявил: «Дайте немедленно дорогу сыну начальника!» Барчонок воспринял от родителей хорошую школу политграмоты на всю жизнь вперед. Несколько раз он с отцом для практики присутствовал на обысках в бараках.

Новый начальник Кочмеса Сенченко был типичный чиновник — НКВДист, сфабрикованный тем временем, и следовал духу времени без отклонений. Стиль его деятельности — службизм без колебаний, характерных для его предшественника Подлесного. Сенченко исповедовал инструкцию, как символ веры. Он не давал себе труда задуматься над ней. Он был достаточно вымуштрован для прямого исполнения и достаточно застрашен, чтобы уловить и не писанное сверху.

В обращении с «зека» он держался надменно, грубо, презрительно согласно указке передовиц в отношении к «врагам народа». Считал себя при этом человеком, идущим в гору и «правильным партийцем». При обысках, в которых Сенченко не раз лично участвовал, он швырял вещи, выплескивал чернила, керосин, одеколон, рвал книги и письма, жестоко сквернословил не хуже и не лучше любого вохровца. А ведь известно, что, если хозяин сорвет одно яблоко, то слуги оборвут весь сад. Сенченко задавал тон поведения с «зека».

Для огромного большинства начальников лагпунктов, в том числе и для Сенченко, было естественным считать, что их функциональная задача — беспощадная борьба с «врагами народа», как с определенной категорией, не входящих в рубрику прочих людей. Логически и психологически они были заранее подготовлены к тому, что это правильно и необходимо. Продолжала действовать в отношении нас та же гуртовая оценка, тот же гуртовой счет, как и на этапах.

Семейка Сенченко во главе с начальником господствовала над Кочмесом, где собрано было немало людей высокой культуры и годами воспитанной гражданственности. Находясь в распоряжении Сенченко, мы были полностью ему подвластны. Не только уголовники, но, к сожалению, и некоторые политические рады были попасть в милость к начальнику и даже к нему в услужение. Начальник же не брезговал даровой рабсилой, ибо паек так и так полагался «зека», а крохи с барского стола были для него не обременительны.

У начальника было нечто вроде негласной дворовой обслуги, дворни. Жена его приближала к себе тех, кто склонен был «информировать» ее о том, о сем, попросту наушничать. Словом, небольшое владение лагерного опричника и при нем небольшой «двор», где вольные являлись приближенными, а зека — прислугой.

Некоторое время после возвращения из поездки заведующей домом малютки была простосердечная полуграмотная жена начальника III-го отдела нашего лагпункта. Она была искренне рада работе в яслях тем, что ее избавили от скуки и безделья, и старалась сделать все, чтобы помочь, чем могла. «Аристократка» Сенченко ее знать не хотела, с «зека» общаться запрещено, а тут она и при деле и с людьми. У нее акающий акцент, бесхитростная речь.

— Май-та уехал на Воркуту, ну и слава богу. («Май» означало «мой», то есть муж.) Не знаю, кто у нас причиной, а нет детей, хоть плачь! Эта я к таму гаварю, как я начальницей стала. Я ему гаварю: пайду, возьму в яслях ребенка и буду нянчить. Май-та и гаварит: «Сукинова сына в дом возьмешь! Зачем? Я тебе их всех под начало отдам». Так и получилось. Теперь не скучна...

И она заливалась безобидным веселым смехом.

Ясли были хороши тем, что они не только поглощали уйму времени, но и мысли: живые существа, маленькие человечки уводили из лагеря. От яслей шло тепло детской. Очень мало бывала в бараке, обеденный перерыв почти целиком уходил на стояние в очереди за своей порцией у кухонного окна, купала детей до 11—12 часов вечера и задерживалась то в яслях, то в аптеке до глубокой ночи. Когда же детки болели, то и ночевала в яслях, являясь лишь на поверку.

За время поездки в бараке произошли людские перемены. Дора и Муся уехали, со строителями распрощалась. Моей соседкой на верхних нарах оказалась вновь прибывшая из московской тюрьмы полька Зося Сташкевич, а за барьерчиком вагонки — Фаня Рабинович, харьковчанка, портниха по профессии. Она и в Кочмесе работала в портняжной мастерской. Два ее брата отбывали наказание в Желдорлаге и находились в экспедициях по прокладке трассы между Кожвой и нынешней железнодорожной станцией Печора, так что им удавалось бывать в Кочмесе и видеться с Фаней.

Всякий раз, как я укладывалась спать на нижней койке, стараясь как можно поплотней укутаться и оградить себя от доносившихся отовсюду звуков, в уши все-таки проникали то подавленные вздохи, то стоны, то крики со сна, будто человека душат кошмары. Зося ворочалась с боку на бок, вагонка шевелилась и поскрипывала, я просыпалась.

Днем с моей верхней соседкой Сташкевич мы никогда не сталкивались, ограничиваясь утранным приветствием. Она ходила во всем черном, считалась слабосилкой, не носила ватных брюк, а только бушлат, работала в овощехранилище на переборке картофеля и часто получала освобождение по болезни. Ей можно было дать лет сорок, но она была почти

белая. Черты лица правильные, заостренный нос, прямые бледные губы, нос без изгиба переходил в покатый лоб. Глаза неуловимые, запрятанные. Так мы прожили с ней недели три-четыре на одной вагонке, одна под другой, совершенно чужие и далекие. Она не стремилась сойтись ни с кем, а вместе с тем такая отчужденность ее, видимо, тяготила. В этапе она шла с группой мужчин, которых высадили в Адзье, так что и спутниц у нее не было.

Однажды среди ночи она закричала не своим голосом, а потом свесила голову — волосы были заплетены в две небольшие косы на прямой пробор — и, заметив, что я проснулась, попросила простить ее за то, что будит меня по ночам. Говорила она с иностранным акцентом, но языком владела довольно свободно. Захотелось разузнать о ней. Не спрашивая разрешения, я влезла к ней наверх.

— Что вас мучает, о чем вы плачете по ночам? — Говорить в бараке ночью, значит вызывать справедливые протесты, шиканье, окрики, поэтому говорили очень тихо, одними губами. Она безмолвно растегнула кофту, спустила шелковую черную рубашку, и я увидела, что правая грудь ее покрыта темными рубцами, а левая как бы обрезана от соска к ребрам и уродливо сморщена.

— Вот почему не сплю, вот почему кричу по ночам. Сама попросила отправить меня из Одесской тюрьмы, где велось следствие и где меня обвинили в шпионстве, в Москву. Думала, там все выяснят — я польская коммунистка. Мою просьбу удовлетворили, меня привезли в Москву, в Лефортовскую тюрьму. Там и началось, — она показала на грудь. — Всех бьют, дорогая, не меня одну, и как бьют!... Не только иностранцев, которых подозревают в шпионаже, но и русских, русских коммунистов... Да, поверьте, я за 8 месяцев сидела со многими, не избитых не было!

Впервые видела тело истерзанной побоями в тюрьме женщины. До сих пор могла только предполагать по крикам, которые слышала в одиночке, что избиения происходят, по рассказам позднее взятых товарищей, по противоестественным признаниям обвиняемых на процессах, о которых доходили слухи. Сомневалась долго в возможности пыток, не допускала мысли, что это так. После расстрелов на Воркуте всему поверила, подтверждением служила изуродованная грудь с незажившими рубцами и все поведение Зоси. Не расспрашивала ее ни о чем, так и не узнала ее дотюремной биографии и как попала в Россию. Старалась отвлечь ее, раза два водила по вечерам в ясли на купанье детей, где она оживлялась, но спать спокойней она не стала: дело было в психической травме. Вскоре ее вывезли в сангородок близ Воркуты. Мне говорил врач Одарич, что как только она при-

была, он послал рапорт о переводе ее в стационарную больницу для длительного лечения. Он тоже о Сташкевич ничего не знал. Больше я Зосю не видела, слышала, что она долго лежала в больнице, а затем осталась там работать. Быть может, она теперь в Польше.

С Фаней Рабинович у нас сразу установились добрососедские отношения. Она была постарше меня, с первых дней революции большевичка. В 1919 году боролась с денкикинцами в отряде еврейской самообороны, фабричный организатор, член парткома крупного предприятия, закончила рабфак и Комвуз. Братья ее пришли в партию через комсомол, оба до ареста учились в вузах.

Глаза у Фани уже поблекли, но иногда загораются молодого. Курчавые волосы с проседью. Зубы неровные, крупные, обнажаются с десной при улыбке. Улыбка добрая и открытая. Своей семьи нет, вся любовь и забота отданы младшим братьям, которых она вырастила: шила для вольных, что-то где-то доставала и все, что удавалось добыть, пересылала братьям на ОЛПы или в экспедиции. Когда до нее доходили ответные весточки о получении, Фаня весь день сияла.

Она не принадлежала к сталинистам, оправдывающим вслух и про себя (или только вслух) все происходящее, но не выражала и протестов, держалась в политических вопросах в стороне. Немало горьких обид и разочарований таила в душе. Иногда, лежа рядом на нарах, вспоминала с ней Украину, столь бурную в годы гражданской войны, юность, черные, теплые ночи, яркое мерцание звезд на иссиня-темном небе, товарищей грозных лет. Где-то они? Где?

С некоторых пор заметила, что Фаня перестала отвечать на мои вопросы, осторожно поворачивалась ко мне спиной, а иногда потихоньку огрызалась: «Замолчите, не интересно мне это!». Пробовала узнать, в чем дело, так как меня задела за живое незаслуженная враждебность, а потом отстранилась и перестала ее замечать. Иногда ловила молящий грустный взгляд Фани на себе. Шло время. Случилось так, что мы оказались в бане вдвоем. Я, как обычно, задержалась в яслях, а Фаня на приработках, а может и поджидала меня, не знаю. Мы были одни. Я раздевалась, она одевалась, но вдруг она нервно начала снова раздеваться, объясняя, что помылась плохо, и просит меня потереть ей спину. Я без особого желания согласилась. Когда мы зашли в баню, она бросилась ко мне со словами: «Считайте меня кем угодно — двурушником, слабовольной, подлой, как хотите, но непременно уходите от меня под любым предлогом в другой барак». Я все еще не понимала, не приходили в голову оскорбительные для Фани мысли:

— А что я вам сделала?

— Ну как вы понять не можете? Меня вынудили в III-м отделе давать о вас сведения!

— Вас? Не может быть! — не поверила я.

— Угрожали и мне и братьям тем, что их разъединят и ушлют на самые тяжелые работы, взывали к моим партийным чувствам и обязанностям. Не устояла, не нашла в себе сил отделаться, не отказала. Мне указали на вас, еще на одну женщину и на двоих мужчин из мастерской. Вам до меня не должно быть дела, вы теперь презираете меня! Умоляю об одном — забудьте, что мы знакомы, уйдите из барака и молчите о моем несчастье, чтобы не узнали братья...

Не спрашивала, о чем должна доносить на меня, но была уверена, что узнали о нашем свидании с Колей и что он арестован. Писем от него все не получала. Не могла же я при ней проявить любопытство: человек, который на такое решился, уже над собой не имеет власти, он уже пропал. Не знаю почему, но я постоянно была на особой заметке III-го отдела.

По положению медсестры давно имела право на переход в другой барак, но прижилась в общем бараке и не хотелось оттуда уходить. Теперь же попросила коменданта перевести меня в барак полупривилегированных, где вместо двухэтажных вагонок стояли койки и было значительно просторнее. Через несколько дней освободилось место, кого-то увезли, и я очутилась в одном бараке с Оленькой, Саррой Кравец, нашей чудесной певицей, рядом с заведующей больничной кухней, некогда личным секретарем Серебрякова, человеком с неисчерпаемым запасом добрых чувств. С Фаней не встречалась нигде, мы избегали друг друга. Когда я полтора года спустя уходила пешком на волю, в марте 1941 года, из портняжной мастерской мне передали новый черный чехол на чемодан, сшитый из казенной бязи, с вышитыми буквами: «От Ф. Р.».

Со стареньким чемоданом и с Фаниным чехлом я и двинулась в путь. Зима-лето, зима-лето, зима-лето, так считают урки свой срок... С трепетом ждем каждую почту. Письма из дому приходили. Детишки уже пошли в школу с начала учебного года, очередь дошла и до Валюши, писали о своих новых впечатлениях, а я часами расшифровывала неизвестные для меня иероглифы их далекой жизни.

Со страниц маминых писем просвечивала предельная усталость, пересиливаемая желанием ободрить, рассказать хорошее о детях, об обнадеживающем в жизни и в литературе. К счастью, старшая сестра была возвращена из ссылки и всемерно поддерживала маму и наших деток, хотя сама в то время находилась в сложнейшем общественном и личном переплете. На работе в институте ее восстановили, и страстная

увлеченность работой ее спасала. Для мамы же ее возвращение было целительным. Мать моя обладала самым замечательным свойством — она не просто любила жизнь, она вдыхала жизнь во все окружающее, она не ждала, чтобы жизнь приносила ей свои плоды и не томила в ожидании ее благодати, а сама творила жизнь, потому что была одаренной во всем, за что бы ни бралась, — в воспитании, искусстве, отношениях с людьми. Она во всем справлялась, все у нее спорилось, она умела дарить радость. О моих детях писала с упоением и видела в них самое хорошее, что может увидеть только настоящая мать или очень умный педагог. Я как бы с нею вместе участвовала в их жизни, мама советовалась со мной, конечно, не для того, чтобы руководствоваться моими указаниями через несколько месяцев после событий, а чтобы приобщить меня к жизни детей.

От Коли вестей все еще не было. Приблизилась распутица — еще полтора месяца перерыва связи, почту тогда самолетами не доставляли. Только с началом санного пути получила сразу три его письма, он продолжал работать на маслозаводе и ждать конца второго срока. Значит, о свидании не узнали. Я воспряла духом. Очередная задержка писем по неизвестной причине.

Пока мы работали на свободе, нам казалось, что мы живем интенсивной общественной жизнью, хотя она постепенно и урезывалась, но стоило отдалиться и посмотреть со стороны или с изнанки, как обнаруживалось неблагополучие. Все самые священные понятия: правда, свобода, народ, совесть — утратили подлинный смысл. Год за годом людей брали, наносили удары по наиболее передовой части пролетариата и интеллигенции, а «народ безмолвствовал». Террор душил все живое, а так называемая «общественная жизнь» оставалась равнодушной к событиям, каменно-неколебимой, покорной, «неосведомленной». В лагере же изоляция и неосведомленность имели силу закона. На том лагерь и стояли. Однако и здесь существовала своя информация, и поскольку дезинформации тоже почти не существовало, то сведения просачивались и пробирались за тысячи километров то ли по течению рек, то ли со снежной поземкой, то ли дорожной ледянкой или пристав к полозьям северных упряжек, но так или иначе они докатывались до самых отдаленных лагпунктов. Кочмес не был исключением.

И вот зимой 1939—1940 гг. мы почувствовали, что сила главного удара, сосредоточенная на нас в 1937—1938 гг., отклонилась несколько в сторону. Можно было догадаться, что внедренная в практику государственного аппарата система репрессий, продолжает действовать; безусловно, удары падают, но несколько ослаблены в нашем квадрате. Потом

оказалось, что это не было обманом: узнали, что кое-кого после двух лет заключения выпустили из тюрем, для ряда лиц смертная казнь заменена десятью годами, а тюремное заключение — лагерями, временно приостановлены массовые расстрелы. Принципиально ничто не изменилось, но, видимо, какие-то неизвестные нам толчки задерживали действие истребительного вулкана. Смешно сказать, но когда я в марте 1940 г. получила от мамы телеграмму «Поздравляем с победой...», то не знала, о какой победе шла речь. Почти невозможно себе представить, что граждане воюющей страны даже не знают о том, что идет война. А так было, настолько крепко была закупорена банка, в которой нас мариновали!

Снова обратилась к вольному бухгалтеру за объяснением (он передавал телеграмму), тот неохотно объяснил, что шла война с Финляндией, закончившаяся нашей победой. Очевидно, происходили чрезвычайно серьезные события в международной политической жизни, которые заставили чуть приоткрыть клапан внутривластного давления.

Предыдущая зима была суровая, но поздняя, зима же 1939—1940 гг. наступила очень рано и лютовала долго-долго, так что навигация открылась лишь во второй половине июня. Река стала второго октября, а лед на Усе тронулся 16 июня! 9 месяцев под панцирем льда! Эта зима послужила мне хорошим предупреждением: твердо решила, если получу освобождение (срок кончался в апреле 1941 г.), то не буду ждать навигации, а уйду немедленно какими угодно путями, и я ушла. Те, кто остались до навигации в 1941 году, на волю так и не вышли, началась война, и все были задержаны «до особого распоряжения» на годы, иные на 15 лет. Сейчас припоминаю, что работая на сверхизнурительных в условиях севера строительных работах, мало замечала природу и ее красоту, но перейдя в ясли, почувствовала ее с новой силой. В октябре и ноябре снег с пургой заносили и заметали малюсенький одноэтажный и палаточный Кочмес без передышки. Стояли сугробы в два и три человеческих роста. Пласты снегов по бокам протаптываемых и прорываемых дорожек образовывали высокие стены. Даже за дровами для ясель в некоторые дни решались ехать только самые отважные и преданные матери и отцы, среди них немало отчаянно смелых уголовных. Не только люди, лошади тонули в снегу.

И вдруг, как по команде, снег перестал валить, нагрянули бесснежные, обжигающие, каленые морозы. Земля безжизненно застыла в смертельных морозных объятиях. Даже заключенных активировали несколько дней подряд, хотя мы привыкли работать и под ливнем, и в морозы, и по колено в грязи. Но небо было прекрасно. Когда смотрела на него, в голову приходили библейские сравнения. В небе отражалась

божественная, сверхъестественная законченная красота мироздания. Много раз закутавшись выбегала на 50-градусный мороз полюбоваться величественной картиной. Казалось бы, стоишь одна-одинешенька под леденящими полярными лучами луны и северного сияния на краю света, кругом никого, а испытываешь ощущение непосредственной связи со всей вселенной, причастности с миром.

Полная застывшая тишина, нарушаемая лишь треском мороза. Горизонт бездонно-черный и в то же время светит луна под нимбом, мерцают, то накаляясь, то потухая, звезды, скачут сполохи северного сияния, выделявая замысловатые пируэты, исчезают, вновь появляются, догоняют друг друга. Красота неба притягивает как магнит. Созерцание ее, слияние с ней есть то высшее наслаждение, которое дается человеку чрезвычайно редко в жизни. И, может быть, именно тогда, когда человек находится в особенно трудных обстоятельствах и жалкой обстановке, если он еще в силах приподняться над всем этим.

Вокруг столько горя, столько несправедливости и надругательств! Не только твоего личного горя, оно тонет в море общего, нарастающего, безграничного. Людские жизни, как выкорчеванные пни, в наших беспредельных лесах и пространствах. Кровь, гибель, сироты-дети, наши матери... Но есть и сила отвлечения. В чудесный миг отрешаешься от всей скверны, спадают лагерные одежды, оковы, рывок — и ты становишься живой частицей мироздания, а не бессмысленным атомом в стихийном вращении...

Другой штрих, другая ночь. Темная и глухая. Не видно ни зги. Снега много, выше головы. Иду из ясель в аптеку. Сбилась с тропки. Заплутала на маленьком пространстве. На мне грубая вязаная юбка, в которой я ежеминутно погружаюсь в сугробы. Она отяжелела, сожалею о спасительных ватных брюках. Никак не могу выбраться. Наконец вижу огонек и иду на него. Натыкаюсь на ночной обход ВОХРа. Допрашивают нагло и оскорбительно. Для них подходящее развлечение и материал для рапорта! Юнцы развращены нашей им подвластностью. Огрызаюсь. Ухожу. Мела метель, продрогла и болезненно-остро почувствовала несправие даже в такой мелочи.

Не приемли эту действительность!

Незадолго до Нового года заведующая аптекой Шура Кукс загадочно шепнула: «Есть новогодний сюрприз! Но надо проявить военную хитрость, чтобы мы могли им насладиться». Сколько ни выпытывала, какого рода сюрприз, она хранила тайну.

Встречались мы ежедневно, каждый вечер я ходила в аптеку за лекарствами для ясель. От нее узнавала все ла-

герные новости. Александра Ильинична готовила лекарства, а я расфасовывала порошки. А аптеке хорошо — чистота, тишина, белые халаты и косынки, стерильная посуда, недостигаемость для ВОХРа и умная собеседница. В аптеке хранится спирт, сулема, наркотики, яды, туда всем посторонним, вплоть до III-го отдела, вход запрещен. Без этого условия Кукс категорически не соглашалась работать в аптеке, а другого химика-провизора на командировке нет. У Шуры были знакомые на Воркуте, и в посылку с лекарствами они умудрились вложить две пластинки для проигрывателя. Это и был ее сюрприз. Однако нужен патефон, который имелся у начальника Сенченко. Просить у него невозможно, последует изъятие пластинок, значит, надо ждать удобного случая. Одарич часто делал операции вольным, через них и надо добыть проигрыватель, соблюдая предосторожности. Все подземные ходы проделала, конечно, Шура, прежде чем я была приобщена к тайне. Кукс мечтала, чтобы выла и шумела пурга для поглощения звуков.

Застонала пурга, решили воспользоваться субботним вечером, когда многие заключенные будут в клубе. Я почти перестала ходить в клуб, зато часто забежала на репетиции смычкового оркестра, для которого мы с Олей переписывали ноты и партии. Александра Ильинична обставила все с максимально достижимой для нас торжественностью. Нас в аптеке пять человек: Шура, ее муж Берлинский, доктор Одарич, Виктория Шехура и я. Окно плотно завешено одеялом под марлевой занавеской. Стол накрыт простыней. Посреди патефон, две пластинки. Около каждого мензурка с разбавленным спиртом, хлеб и конфеты-подушечки.

Единственное пение, которое слышали за несколько долгих лет, было пение Сарры Борисовны в бараке и клубе, сейчас звучала Ирландская застольная Бетховена в исполнении Доливо:

За окнами шумит метель
Роями белых пчел,
Друзья! Запением добрый эль,
Поставим грог на стол!..
Звени ж бокалом, жизнь моя,
Гори любовь и хмель!
Нет, только не сейчас, друзья,
В морозную постель.

Чудесная и грустная застольная о любви и смерти, завывающая за окном метель, конспиративность импровизированного застолья, истосковавшиеся чувства и слух — все заставляло откликнуться на музыку, волновало до самых истоков души и безмерно трогало.

Помолчали. Каждый думал свое. Вместо тоста, сказала Шура взволнованно: «Нет, только не сейчас, друзья, в морозную постель! Дотерпим,ждемся лучшего!»

Она ушла из жизни раньше нас всех: покончила с собой, хотя этого нельзя было ни предугадать, ни представить в отношении Шуры — волевой, неунывающей, всегда умевшей найти выход. Значит, не всегда... Покончила с собой она на Сивой Маске, где к тому времени уже был совхоз и где она работала по вольному найму. Отравилась, воспользовавшись аптекой.

...Услышали и Шотландскую застольную. Вспомнился Малый зал консерватории, гривастый, уже седой певец Доливо и его многозначительная выразительность. В 1924—1925 гг. постоянно бывала там на камерных концертах с Колей. В том же зале безукоризненно исполняла камерные миниатюры изящная, несмотря на горб, Зоя Лодий, играл Софроницкий... Давно...

Говорить никому не хотелось. Молчали. Вторая пластинка — романсы Римского-Корсакова в исполнении Давыдовой, которую я тоже не раз слушала когда-то.

Но что было их пение там, по сравнению с тем, как они пели для нас здесь! Несколько раз повторили Ирландскую застольную и безмолвно разошлись по баракам.

Быта как такового у нас не было, просто принудительный ассортимент бытия, семейной и творческой деятельности мы были лишены. Мы вечно искали выход в тот духовный мир, от которого нас стремились отстранить. Легко объяснить обостренную силу нашего восприятия.

Весна и лето для ясельных ребят, а значит и для всех, кто с ними работал, были исключительно тяжелыми: ясли пережили дважды массовые эпидемии с последующей детской смертностью.

Началось все с переезда в новый просторный и специально построенный Дом малютки. Он, кажется, и теперь существует для вольных детей, с военных лет был выведен за зону.

Дело в том, что переезд был совершен по-лагерному, по самодурству начальника без учета интересов детей и вопреки протестам медперсонала. Сенченко внезапно пришла в голову эффектная мысль: перевести детей к 1 Мая с тем, очевидно, чтобы рапортовать по начальству о необычном в лагерных широтах ознаменовании праздника. А уж если он отдал приказ, то выполняй, без разговоров. Его совершенно не интересовало то, что в эту зиму морозы в конце апреля доходили до 30 градусов по ночам, что здание промерзло и отсырело в углах. Оно доделывалось зимой и протапливалось лишь частично только в тех комнатах, где велись работы.

Переселение к 1 Мая, бесспорно, грозило здоровью детей, что было понятно всем, кроме Сенченко. Никакая логика на него не действовала, он был обуреваем идеей предстоящих ему поощрений и дал телеграмму на Воркуту о дате переселения яслей.

Числа 18—20 апреля он явился на утренний докторский обход и отдал приказ: «Перевести ясли в новое помещение к Первому мая!».

Так как я принимала непосредственное участие в строительстве яслей и постоянно ходила на стройку уже в качестве старшей медсестры, то была хорошо осведомлена о состоянии здания. Ася Романовна, таким образом, тоже была в курсе дела. Обе энергично запротестовали. Сенченко накалился, был взбешен до крайности и сказал, что он не считается с нашими выдумками. Ася Романовна постаралась охладить его, ответила, что она давно не была в помещении, что надо обследовать, пригодно ли здание для вселения детей, и получить согласие санчасти. Я заметила, что была в в новых яслях с Одаричем, и он сделал заключение о том, что детей до июня переселять нельзя.

— Никаких советов мне не надо, я в них не нуждаюсь. Не хватало еще, чтобы в лагерях организовывались комиссии контроля и проверяли мои распоряжения! А вы кто такая?— обернулся он в мою сторону,— завтра же на строжку баланов за нарушение дисциплины. Десятки таких найду! Одного срока не досидели, второго захотелось. И получите!

Милая эта беседа происходила в детских комнатах. Мы переглянулись с Асей Романовной и предложили выйти в процедурную. Там я спокойно объяснила начальнику, что общие работы для меня не пугало, но что завтра я выйти на них не смогу, так как мне надо передать дела не менее чем за три дня, что он может готовить и карцер, и второй срок, если это в его силах, но я перевозить детей к Первому мая не буду и считаю это безрассудством. К тому же дети не «зека», а вольные.

Ася Романовна, спокойная, но решительная, подтвердила свое согласие со мной. «Можете меня также снять с работы врача и перевести на общие, но без санкции всех врачей и указаний с Воркуты ответственность за здоровье детей на себя не возьму и приказу о немедленном переводе не подчинюсь».

Сенченко взбеленился и велел нам немедленно уходить с работы. Мы же, дождавшись его ухода, вызвали главврача Одарича, составили акт о непригодности нового здания для немедленного вселения детей и рапорт о протесте против действий Сенченко. Одарич должен был обеспечить его отправку на Воркуту. Несколько дней мы продолжали выходить на

работу в ясли, так как приказа о переводе на общие работы не последовало. 25 апреля пришло распоряжение перевезти детей.

Новое здание топились теперь дни и ночи, и все испарения промерзшего помещения должны были лечь на легкие наших малюток. Как быть? Отказаться всем? Но Сенченко ничего не стоит дать приказ кому угодно, вплоть до ВОХРа, перетащить наших питомцев в каком угодно виде. Все работники яслей негодовали, приходили в отчаяние и все-таки должны были выполнить распоряжение начальника. Наша «патронесса», жена начальника не показывалась. Вольную завяслями быстро сняли, а новая заведующая — заключенная с особой пометкой о льготах, фактически была так же беспомощна, как и мы.

Утром 26 апреля я заявила нарядчику, что на работу не выхожу в знак протеста против приказа начальника о переселении детей. Через час ко мне присоединилась Ася Романовна. Мы ждали изолятора, но Сенченко никак не реагировал на наше поведение. Получалось нелепое положение: мы с себя ответственность как бы сложили, а менее опытным товарищам по яслям приходилось за все отвечать. Оставить ясли во время аврала переселения было немыслимо, и мы перешли на круглосуточную работу, однако, каждое утро объявляли нарядчику о невыходе на работу. Протест бессилия, но все же протест. Одарич пытался уговорить Сенченко, но тот уперся, как бык.

Переезд совершился, а уже 4 мая начались заболевания детей: тяжелая простуда, перешедшая у большинства в жестокую пневмонию. Антибиотиков в то время не существовало, во всяком случае мы о них понятия не имели. Никаких лекарств, кроме аспирина и пирамидона, в нашем распоряжении не имелось. При тяжелом состоянии мы не могли сделать и переливания крови — ни лаборатории, ни инструментария. Применить усовершенствованные методы лечения не могли и не умели. Аспирин, горчичники, отхаркивающее — вот и все. А воздух в палатах сырой, стены влажные, с потолка течет.

Заболели почти все дети, а у 36 детишек пневмония, часто ползучая, изнурительная, затяжная. Дети полярные, выросшие без витаминов, без многого. Дети металась в жару, задыхались, хрипели, взгляд становился бессмысленным. Все мы сбивались с ног, дежурили круглые сутки и мы, и матери, из кожи лезли вон, чтобы их спасти, а детки все же погибали.

Сенченко разъярился и обвинил нас же во вредительстве. Чего он только нам не говорил — профессиональные убийцы, неучи, лодыри. Надо было свалить ответственность с

больной головы на здоровую. Узнал он и о нашем рапорте на Воркуту, и вместо надежд на награду встали другие перспективы. Дважды на Воркуту он посылал нарочных за лекарствами.

От пневмонии погибло 8 ребят. В ясли вошла смерть. До эпидемии у нас погибали только нежизнеспособные дети с плохой наследственностью. Сейчас же умерли чудесные, здоровые от природы ребяташки. Боролись изо всех сил и не справились с болезнью. Среди других помню и очаровательную Тарланку. Мать ее — голубоглазая ленинградка, студентка-технолог, постоянный ясельный возчик, несколько грубоватая и прямолинейная, но нежная и умная. Отец — партработник из Средней Азии, жгучий брюнет с черными блестящими глазами, тоже работал на лошади. В жестокие морозы эта пара безотказно нас выручала в снабжении водой, топливом, продуктами.

Девочка родилась миниатюрная; черненькая, с глазками как блестящие черные пуговички или смородинки, с чуть косым разрезом и темной южной кожей. Назвали ее Тарланка, что на языке ее отца означает «редкая птичка». Малютка прекрасно развивалась, в 10 месяцев легко передвигалась, а к году бегала и щебетала. Всю болезнь была весела, но худела, таяла на глазах. Смуглые щечки потеряли окраску, она перестала смеяться, закашливалась, и тогда на глазах появлялись слезки. Любимой игрушкой ее был фонендоскоп Аси Романовны, она перекидывала слуховые трубки справа налево и улыбалась. Когда состояние стало резко ухудшаться, Одарич решил на переливание крови от матери, но улучшение не наступило. С фонендоскопом в ручках перестала хрипеть и шевелить губками редкостная пташка, занесенная на далекий север и замерзшая в самом начале пути.

Болезни и смерти детей да томительное ожидание тепла, чтобы распахнуть окна и высушить наш дом-морилку, заполнили, как на грех, позднюю весну 1940 года. Только когда наступило тепло и можно было настезь открыть окна, натянув на них предварительно металлические сетки для спасения от комаров и мошки, мы избавились наконец от сырости и от болезней. Дети начали быстро поправляться. Теперь мы могли выносить их на прогулку под большой застекленный навес, закрытый от ветра со всех сторон, и оставлять на воздухе от кормления до кормления. С навигацией прибыло оборудование для кварцевого кабинета и спальные мешки для деток. Однако ясли были лагерные и изолировать их от лагерьной обстановки и событий не удавалось и в дальнейшем.

Между двух миров

По медлительности течения времени последний год срока был самым томительно-долгим, уступая лишь времени в одиночке. По радиосводкам чувствовала напряженный ускоряющийся ритм бегущего времени. Но то время было вне меня, я же начала ценить время, как все ожидающие освобождения, — месяц за год, неделю за месяц... Преследовало ощущение, что я не проскочу в полосу освобождений и застряну здесь навсегда. Ощущение это было со мной и в бараке, и ночью во сне, повсюду. Перестала замечать природу, ее красоты, ни с кем не хотелось говорить. Только в яслях, среди детей забывалась, в остальное время недуг этот меня не покидал.

В декабре 1940 г. заканчивался второй срок у Коли. Страхнулась третьего срока, новой надбавки, «довеска». Кончалась и пятилетка у Оли, на месяц позже моей. Она ждала уверенно и мечтала вслух о своей Танечке. Боясь ее огорчить, выслушивала ее мечтания, носившие сказочно-фантастический колорит, пересиливая свои сомнения.

Перед каждой почтой меня охватывала нервная лихорадка, как то бывало на следствии. Мамины письма полны ожиданий и надежд. Я же, что называется, извелась, заболела мыслью об освобождении. Она была назойлива и привязчива, как липкий, едкий пот, как кошмар, то есть чувства были противоположны тем, какими они должны были быть.

Незадолго до окончания Колиного срока пришло известие о смерти его матери, человека чудесной, теплой души, нежной матери и труженицы по призванию. Не дождалась, а как ждала своего Коленьку...

Следующая почта. Начальник Сенченко вручает телеграмму от Коли из Усть-Цильмы. Не решаюсь ее прочесть, только несколько раз ловлю название места отправления, знаю, что там нет лагпункта, — либо новый срок и его куда-нибудь переводят, либо он освобожден, а Сенченко, мой явный недоброжелатель, даже немного взволнованно говорит: «Читайте, читайте!» И я читаю: «Освобожден еду домой взял направление Вологду жду тебя целую Коля».

Обычно верю в таинственную силу предчувствия, но на этот раз ничего подобного не было, полное смещение восприятий, точно все перевернуто дном вверх. Никак не могу прийти в себя, забегаю в контору к Оле, кладу телеграмму на стол. Она мгновенно загорается, хохочет и вскрикивает со свойственной ей одной поглощенностью минутой. Ее не узнать. Она торжествующе размахивает телеграммой и на всю контору победоносно кричит: «Аддошкин муж освобожден! Это же чудесно, а что я говорила?» Я не помню, говорили ли мы когда-нибудь об этом, я не решалась говорить с ней после

расстрелов прямо о вещах, для нее уже недоступных, но, быть может, она внутренне возражала мне, когда мною владела скрытая меланхолия. Теперь же мне кажется, что она действительно так говорила, и я отвечаю: «Да, да, ты права!»

Во всяком случае после получения телеграммы я из одной крайности бросаюсь в другую и живу уже двумя жизнями.

Еще работала так же с утра до ночи в яслях, возилась с ребятами, но уже все заслоняли и оживляли новые, призывные голоса и видения, уже смотрела на всех как бы издалека. Не потому, что все стали мне далеки, напротив, грусть об остающихся переполняла меня, как и чувство вины перед ними и сознание, что я что-то обязана сделать для них здесь или там, но предвосхищение будущего владело теперь мною, как незадолго до того обуревало чувство обреченности на постоянную жизнь в лагере.

Короче говоря, никакого здравомыслия, меня трепали стихии чувств, и во всем было мало объективности. Через годы можно иронически отнестись к нервическому состоянию освобождающейся, но тогда это было закономерно: по существу ничто не изменилось с 1937—1939 годов, разве только наступила несколько иная ситуация, и власть самого разнужданного произвола была все так же распростерта над нашей жизнью и сознанием. Всего можно было ожидать.

По мере приближения конца срока полыхающее состояние перегорало, оставалось твердое решение — уйти при первой возможности, не дожидаясь навигации. Уйти пешком, если не будет попутного возчика. Идти одной с остановками на стоянках и во встречных селениях, если не будет спутника. Лишь бы не потерять ни одной минуты свободы, какой бы она ни была и что бы она ни сулила.

Товарищи считали это безумием и упрямством, но у меня не было никаких колебаний. Одна мысль: уйти на свободу, вырваться из ненавистного лагеря! Дело было вовсе не в отсутствии терпения, его хватило бы, а во внутреннем сознании. А внутреннему чувству в таких случаях необходимо подчиниться и следовать ему.

Арестована была в ночь с 1 на 2 апреля 1936 года, значит документы должна получить 2 апреля 1941 г. в Усть-Усе. До нее 250-300 пеших километров по реке и ледянке. В Кочмесе освобождающихся со мной в одно время нет, но решения не меняю.

Все поняли, что с одержимой говорить бесполезно. Если «зека» идет пешком до места получения освобождения, то по закону он выходит заранее. Время выхода зависит от состояния. Я имею право выйти 15 марта.

Беспроволочный телеграф сообщает, что освобождение на меня в УРЧ поступило 28 февраля.

Санчасть решила положить меня в стационар для подкрепления сил перед дорогой. За это время передам все дела Виктории Щехуре. Сенченко со всей семьей пятого марта уезжает в отпуск, заместителем остается Титов, с которым легче иметь дело заключенным.

С лета 1940 г. отважилась просить маму присылать мне понемногу денег на самолет от Усть-Усы до Архангельска. Это было дерзостью с моей стороны, мама и без того надрывалась, умудряясь как-то растить наших детей. Но иного выхода не было: за пять лет каторжных работ в лагере едва ли получила на руки 20 рублей — мы работали бесплатно, а билет на самолет стоил 702 рубля! До железной дороги 700—800 км, мне их не пройти — значит остаться до навигации... Я этого сделать не хочу и не могу.

И вот мама из месяца в месяц высылает мне на дорогу. Чего это ей стоит — дополнительные уроки, думы, долги, заботы, отказ себе во всем... Все надо делать скрывая от слепого отца, чтобы его не тревожить, поскольку помочь он не в силах. Как раз в эти месяцы на мужа старшей сестры Дрелинга обрушиваются страшные обвинительные измышления следственных органов, он сидит на Шпалерке. Я об этом ничего не знаю, но мама-то знает! В начале 1940 года он был расстрелян. А из ее писем узнаю только хорошее: и дети доставляют ей одни радости, и дома все хорошо, и деньги легко достать, и здоровья хватает...

Незадолго до отправки вызывает Титов. Санчасть Воркуты предлагает остаться на работе в яслях по вольному найму. Он переходит на неофициальный тон: «На воле вам будет не легко, здесь же вы будете получать зарплату, переедете на вольную квартиру (при одной мысли об этом во мне поднимается негодование), сможете посылать деньги детям». Во мне бушует протест, вскипает бунт.

— Нет,— говорю я,— нет! Мое место на воле. Свободу я не уступлю. Не для того мы мучились в лагерях и столько выстрадали, чтобы, получив освобождение, утверждать и закреплять своей дальнейшей жизнью систему лагерей или улучшать постановку дела в лагерях. Жить на вольной квартире рядом с зоной, ходить на работу в зону, где все тянут ту же лямку. Добровольно продолжить для себя лишение материнства? Что может быть возмутительней и безобразней этого?

— Нет, муж мой уже ушел из лагеря четыре месяца назад и ждет меня. Мы не виделись шесть лет, и я пойду на свободу!— Я содрогаюсь при мысли, что могу здесь остаться.

ся.— Знаете ли вы, что такое освобождение?— Я больше не чувствовала себя заключенной...

— Многие остаются,— возражает Титов,— а некоторые даже возвращаются, но в них уже никто не заинтересован. Подумайте.

— За пять лет многое продумано.

— Как вы уйдете отсюда?

— В Усть-Усу постоянно ходит конный транспорт, могу уйти с обозом или возчиком, в крайнем случае — пешком, это совершенно неважно.

— Тогда идите,— говорит Титов, ничего не обещая.

В ближайшие дни предполагается послать одну лошадь за недостающими частями для электростанции и за семенами. Прошу Ивана Тимофеевича Богданова, чтобы он вызвал их ехать возчиком. Он не возражает. Титов дает согласие.

Все последние ночи почти без сна. Лежу. Думаю. Надо переступить важный рубеж. Невольно подводишь итоги.

Мы с Колей вытянули счастливый, неслыханно счастливый билет — мы оба остались жить. Если жизнь чего-нибудь стоит, то мы ее получили как второе рождение. Почти чудо! Всего, что вынесено, не опишешь и ни к чему, но сердца выдержали, и силы есть. Снова чудо! Даже если на свободе нам будет в сто крат хуже, чем другим, не бывшим в заключении, зато мы сильнее многих после прожитых в плену у времени долгих страшных лет!

Тех, что здесь погибали массами, никогда уже не будет с нами, какова бы ни была наша судьба. Пока не учесть, какой страшный крен дала история, оттого что они погибли. Об этом скажут историки грядущего. Мы не отречемся ни от их жизни, ни от смерти, они сохранены в нашей памяти. Не забыть и не примириться с совершенными преступлениями, а сохранить и пронести тот нравственный потенциал, ту высокую идейность, которая накаляла революционной страстью и моральной силой все поколение. Трагична его судьба: оно нашло силы повернуть колесо истории и оказалось бессильным сопротивляться своему истреблению.

Спят заключенные.

Между нами нет органической силы сцепления, нет спайки общим делом. Напротив, мы собраны по принуждению и стремимся рассыпаться в разные стороны, как случайно бросаемые горсти гороха. И многие действительно уйдут из моей жизни, как туман, как барак и лагерь. Но со многими спаяна крепко тем, что нас держало: пережитым, сочувствием, состраданием, противостоянием, закалкой, судьбой поколения. Стержень бестелесный, невесомый, но крепчайший,

который дает возможность перевеса духовных начал над всем остальным во все времена. С этими людьми будем чувствовать связь и по выходе из лагерей, будем узнавать друг друга по особым метам, как узнаются индуски по красному кружку на лбу.

Чувство локтя и понимание. Люди, встретившиеся на пути, обогатившие меня, несмотря на заключение и бедность жизни...

Утром тянет в ясли. Брожу, всматриваюсь в спящие личики, с неспящими вожусь и играю. Я их люблю. Вот-вот кажется смогу активно любить своих детей, растить их, снять непосильный груз с мамы...

Вечером в бараке иногда нахожу Олю, прикорнувшую на моей койке. В дни сборов она весела, полна надежд. У нее удивительный, парящий дух! Мечтаем о воле, о детях, о встрече с ними. В то же время Оля хочет предостеречь меня от разочарований и вооружить.

— Я уже бывала на положении вернувшейся в иное время, и то было не сладко,— говорит она,— а теперь... Может быть, неуместно об этом рассуждать в последние ночи и лучше выспаться?

Но я удерживаю Олю. Моя голова полна тех же мыслей, от которых не отделаться. Кончился срок, но не существовавшая и не существующая «вина» идет за нами повсюду. Она не снята. Здесь все мы в брюках, бушлатах и научились распознавать друг друга, а там... Тень от нас будет падать повсюду, куда ни ступит нога наша. Можно додумать самим, какие инструкции идут по пятам за нами. Арсенал аргументов известен в отношении «врагов народа». Паспорт с отметкой, знаменитая справка, анкета, личный листок по учету кадров... Каждый встречный не только имеет право, но ему вменено в обязанность подходить к нам с мензуркой для измерения политической благонадежности, а она заранее предопределена.

Трудно сказать, что будем делать, понадобится ли образование практически, даже пригодится ли и новая профессия рабочего-строителя при наличии все тех же справок?

И все же не это главное. Самое главное — освобождение. От этого отправного пункта до свободы придется расковырять множество звеньев длинной тяжелой цепи, но кое-что уже будет зависеть от собственной воли. Категория времени вернет взамен «срока» свое изначальное содержание, и каждая секунда его станет драгоценной. Обезличенье сменится личным, индивидуальным, любимыми...

Разговор был ночной, путанный, но весь устремленный вперед, в будущее. Оля тоже решает не задерживаться ни на один день после срока.

Март стоит солнечный, морозный. По утрам мороз 25—30 градусов. Наступают последние сутки. Захожу проститься в женские и мужские бараки. Всем тяжело — и мне, и остающимся. Молча жали руки, тянулись они с нижних и верхних нар. Хотела сказать что-то важное, значительное, теплое, но не могла, потеряла слова, онемела. Так горько расставанье. Отрывать себя надо с болью.

После долгой зимы я ухожу первая из Кочмеса, а в этом году кончаются сроки у многих пятилетников. Все взволнованы. (С началом войны, как я уже писала, никто из лагеря не вышел, все были задержаны «до особого распоряжения», получали дополнительные сроки или вынуждены были оставаться по вольному найму на долгие годы.)

Захожу в свой барак. Последняя ночь, многим не спится, как и мне...

Чемодан с моим скарбом давно готов: смена белья и старое потерятое зимнее пальто. Когда-то оно было подшито черным мехом, от которого сохранились одни клочья: все спорола, подшила и оно нелепо короткое.

Письма, полные мужества и любви от мамы и Коли и детские неумелые строки, — все, чем дорожу, а также то, что может вызвать подозрение — поручения и письма товарищей, — все на снях у Ивана Тимофеевича. Он сумеет спрятать, если понадобится.

Богданов должен выехать рано утром.

Однако есть и другой груз, бесплотный, но тяжелый. Пусть он не станет обузой, а как усиленный лупой взгляд сможет из прошлого смотреть в будущее! И не только в мое...

Я вышла за зону и стала спускаться на дорогу, проезженную саними по реке. Все, кто работал близко в зоне, в яслях, конторе, больнице, высыпали на гребень высокого берега, на котором расположен Кочмес, махали, напутствовали, плакали. Вот они уже скрылись в пелене взметнувшейся искрящейся снежной пыли, поднятой ветром...

Долго не могу опомниться, долго ничто другое, кроме боли за товарищей, не доходит до меня.

Далеко за зону провожает меня Берлинский, старший экономист-плановик, имеющий право выхода за зону. Иду налегке, в лагерной одежде первого срока — Титов выдал новую — и кажусь себе новой, одетой с иголки. Такому ощущению не мешают даже непомерно большие старые, подшитые валенки, в таких теплее шагать по морозу или сидеть в снях. Иду без конвоя! Берлинский идет рядом километр, два, три — ему не хочется возвращаться, а мне — оставаться одной. Он последняя зацепочка, которая вот-вот оборвется.

— Я останусь здесь после конца срока,— говорит он.— Трезвее вас смотрю на вещи. Что будем делать там после лагеря? Срок кончится, а жизнь не изменится...

— Нет, я не останусь, уйду. Трезвость не всегда добрый советчик.

Прощаемся. В эту минуту нас, чужих по существу людей, многое связывает и сближает.

Поворачиваю направо, выхожу на излучину Усы, на беспредельный снежный простор. Кочмес исчез из глаз. Солнце со всех сторон и ни души. За поворотом, за черными вершинами леса мои годы. Жизнь и смерть... В кармане маленькая бумажонка, в которой сказано, что я направляюсь в Усть-Усу за получением документов по отбытии срока наказания. Не тороплюсь догнать Богданова. До ночи еще далеко. Иду одна, без сопровождающих, по узкой дороге меж снегов, не оборачиваясь назад. Меня нисколько не пугает, что я иду одна, я радуюсь этому. Страх нет, и что-то рвется и клокочет в душе оттого, что вместе со званием «зека» я как бы сбрасываю с себя и сжигаю свою лягушечью шкуру, как в известной сказке о царевне-лягушке. И хотя сожжение ее принесет мне неведомые и непредвиденные бедствия и содрать шкуру стоит огромных усилий, но зато этой шкуры на мне уже не будет. Я свободна от нее!

Понятое и пережитое впиталось в кровь и будет всегда со мной. Желание жить, действовать, работать, завоевывать не иссякло. Меня ведет не ослабевший, а возросший интерес к жизни, жадность к ней. Я не пела песен трубадуров, знаменующих начало турнирного боя, но шла с чувством не отступать и тугого волевого напряжения.

Как до тюрьмы у меня не было представления о заключении, так теперь не знала, что сулит мне возвращение. Шла меж двух миров. Рвалась к неизведанной, опаляющей новизне, но оставляла в суровом, сумрачном, угрюмом лагерном мире огромную часть души, сознательно, а порой бессознательно укрытой в этих записках, иначе нестерпимо было бы писать. Всегда держу себя и свое перо в узде.

По снежному расконвоированному пути тащила груз страданий своих и несметного числа «зека». И в то же время была окрылена нарастающим нетерпением обнять близких и волю...

С тех пор прошло около тридцати лет, принесших сдержанность понимания взамен жгучих чувств.

1965—1966 гг.
г. Ленинград

„Эксперимент“ не должен повториться

Мы подолгу говорим с Аддой Львовной в ее ленинградской квартире. Несмотря на возраст (ей уже 88 *, она осталась верной своей трудной работе — вглядываться в жизнь, слушать ее и понимать.

— Сегодня,— говорит она мне,— моя книга как бы запоздала. На то был ряд причин. Но под влиянием даже самой богатой литературы, известной в наши дни, я не изменила ни строчки из написанного мною в шестидесятые годы. Тогда, с 1965 по 1969 годы даже письма матери и мужа были сожжены. Не было и «Архипелага ГУЛАГа», книги, которая сорвала фальшивую маску с нашей действительности и обожгла правдой. Не было книг замечательного психолога и аналитика Василия Гроссмана, ни многих других книг — Приставкина, Гнедина, Авторханова... Лишь в 1968 году мне удалось прочесть отрывки из книги Конквеста «Большой террор» на английском языке. Но я оставила все на своем месте. У каждого свое лицо, свои мысли, свое отчаяние и сила духа. Свое понимание ложного и свое право остаться самим собой. Работая над рукописью, я старалась проникнуть в психологию каждого встреченного мной человека, вспомнить и назвать больше имен и судеб...

Все эти годы лагерей, скитаний и ссылки она не отворачивалась от вопросов и размышлений. И если одна из тайн тоталитарного режима в том, что еще до всякой манипуляции сознанием масс каждый научился манипулировать собственным сознанием, не замечать трудных вопросов, не видеть противоречащего совести, то к А. Л. Войтоловской это не относится. Она с самого начала и до конца была зрячей.

«Духовное возрождение народа,— читает Адда Львовна религиозного философа Константина Иванова,— не может произойти на основе только безоглядного отрыва и отречения от прошлого. Необходимость покаяния в преступных действиях и порочных идеалах, осознание заблуждений, ошибок и

* А. Л. Войтоловская умерла 28.12.1990 г.

предубеждений не может вызывать сомнений,— только так приоткрываются перспективы новых идей и ценностей. Но это никак не значит, что достаточно этого отрыва и что тем самым будет обеспечен новый духовный путь. Народ возрождается и преображается, не теряя себя самого, напротив,— находит себя, когда глубоко и осмысленнее переживает свои чаяния, предназначение и судьбу. Мы возвращаемся к прошлому, переосмысляя его, и движемся от него в будущее, принимая путь, который идет из прошлого. Критика прошлых ошибок и преступлений должна быть достаточно последовательной и настойчивой, чтобы повернуть нас к сокрытому смыслу истории, которому мы назначены даже в неведении и противлении». Всё верно!

Есть люди, которые самим небом назначаются к особой, значимой для целого поколения судьбе. Тьма всемогущих случайностей раздвигается, преодолеваются самые непреодолимые препятствия, и истина пробивается через всё вместе с таким человеком к будущим поколениям,— детям, внукам, потомкам. Вместе с понятым и пережитым такие люди передают нам все, что достигли на пути к смыслу, к истине. Форма выражения этого драгоценного опыта не имеет значения — картина ли, песня, стихи, и даже одна страничка забытого документа. С книгой Адды Львовны Войтоловской к нам перешла целая летопись!

Особое предназначение судьбы не принесло ей облегчения и благополучного пути. Совсем наоборот. Она разделила трагедию со своим народом, выстрадала ошибки и воскресла из небытия. Однако из того, 1941 года, предстоял еще очень долгий путь к возрождению.

А. Л. Войтоловской написаны четыре книги о своем пути, охватывают они отрезок времени с 1934 по 1964 годы.

1934—1941 гг.—убийство Кирова, аресты, этап, лагерь (Ленинград, Новгород, Коми АССР);

1941—1949 гг.— между лагерем и ссылкой (Вологда, Ростов-на-Дону);

1949—1954 гг.— ссылка «навечно» (Нижне-Имбатск Туруханского края);

1954—1964 гг.— время «оттепели» (Ростов-на-Дону, Ленинград).

Каждая из этих книг связана друг с другом многими судьбами, взлетами и падениями человеческого духа, победами нравственной воли и горькими поражениями, психологической усталостью и даже смертью. Каждое мгновение, каждую минуту после освобождения жизнь бывшего политического «лагерника» напоминала о возможном и близком кошмаре оказаться опять за тюремными стенами и колючей проволокой. Режим приспособил для искушения души все — от мелких,

но бесконечных унижений и бытовых трудностей, до обещания возможных благ в случае согласия сотрудничать.

Оказавшись в Вологде, после освобождения в апреле 1941 г., Адде Львовне вместе с мужем Николаем Игнатьевичем Карповым пришлось испытать все, отведенное людям, имеющим соответствующий штамп в паспорте и справку об освобождении.

«Коля нигде не работал. Получить работу было невыносимо, несмотря на всю энергию и инициативу, им проявленную. Завуалированное недоверие было формулой жизни времени. Недоверие сверху донизу к бывшим зека-политическим являлось гласным и негласным законом поведения для всех...» — пишет Войтоловская о ссылке в Вологду.

После долгих мытарств, почти отчаявшись, Адда Львовна пошла на прием к секретарю обкома партии П. Т. Комарову. С собой она несла следующее письмо:

«Уважаемый товарищ Комаров!

Прошу принять меня не направляя ни к кому из заместителей. Я приехала из лагеря в апреле 1941, где пробыла пять лет по статье 58, пункт 10—11 («контрреволюционная троцкистская деятельность»), без права прописки в Вологде, т. к. в мой паспорт вписан § «минус 39 городов». Муж мой Карпов Николай Игнатьевич, тоже бывший политзаключенный, прописан в Вологде и тщетно пытается найти хотя бы какую-нибудь работу в вашем городе.

Средств к существованию нет...»

Вопреки всем правилам и нормам того времени Комаров незамедлительно принял Войтоловскую и... помог ей. Но впереди еще ждало слишком многое. К обычным трудностям добавились военные тяготы. Обо всем этом в рукописи второй книги рассказывается не менее интересно, напряженно и честно, чем в первой.

С сентября 1944 года Адда Львовна Войтоловская преподает в педагогическом институте Ростова-на-Дону. Здесь она вновь возвращается к работе над диссертацией, которая с блеском написана, отпечатан автореферат, получены авторитетные и отличные отзывы, и... в научную работу вмешивается МГБ. Со своими планами и сценарием, со своими агентами и провокациями. Вместо блестящей защиты — тюрьма.

О лагерях и тюрьмах сталинского времени написано уже много. Третья книга А. Л. Войтоловской открывает еще неизвестную нам часть нашей жизни — жизнь политических в ссылке. В ней оказались многие из «повторников» — тех, для кого арест был не первым.

Оказывается, режим лагеря и тюрьмы, где обстоятельства и условия овладевают тем, чем невозможно овладеть у человека — подсознательным, еще не самое страшное. Куда

страшнее, когда подсознательное становится на место человеческого. Зверинные (да зверинные ли? Хуже!) нравы «хозяев Нижне-Имбатска в Туруханском крае, назначенных из уголовников и «бытовиков», кажется, не оставляют надежд на будущее. Человек опускается, гибнет. И уж ни о какой борьбе, как будто, не может быть речи. Но несмотря на особо тяжелые условия, которые «создает» Войтоловской «начальство», она держится.

Адда Львовна и Николай Игнатьевич переносят сгустившийся вокруг чад грязи, боли, беды. Морозы ниже сорока сменяют метели, природное ненастье — человеческой непогодью, запоями, драками, яростью и тоской. Но остаться человеком — «дело выбора каждого». Читая воспоминания, убеждаешься, что нравственные законы и доброта выше всего.

Страшное испытание ждало Адду Львовну в Нижнем Имбатске. Подлецы Истомин и Спиридонов решили списать на «контрреволюционерку» пожар на заводе, обвинив ее в поджоге. Избитая ими до потери сознания, едва очнувшись, она начинает бороться, как бы не безнадежна была эта борьба. Следователи сменяли друг друга, их приезда надо было еще добиваться и добиваться. Следователи, уполномоченные, эксперты — перед всеми она была фактически беззащитной. Но, вспоминает А. Л. Войтоловская, «не было ощущения беззащитности. Они клеветали, обвиняла я». После долгих месяцев борьбы состоялся суд... над Истоминым и Спиридоновым. Адда Львовна добилась невероятного!

«Материалов для обвинения было достаточно. Истомин получил 5 лет, Спиридонов 3 года, однако оба в ближайшие месяцы попали под амнистию. Это не важно, не важно и то, что дружки Истомина постарались вскоре вернуть его на какую-то «должность». Дело о поджоге было прекращено, хотя за клевету и ложные показания к ответу никого не привлекли. Но и это не так уж важно, это в порядке наших установившихся обычаев, ведь и после XX съезда партии, после разоблачения и реабилитаций клеветники и доносчики не пострадали, остались в силе и славе, а многие продолжают проповеди с амвона кафедры или в печати.

Важно то, что в такой неравной борьбе и ситуации, победа осталась за мной, за правдой! Редчайший случай того периода...»

В тот злополучный 1952 год ей особенно не везло. В конце навигации лебедкой ей переломило ногу. Сама складывала кости, налагала лубки. В бурю переправились на лодке через Енисей.

Читая рукопись, все время возвращаешься к мысли, что испытаний, выпавших на нее, с лихвой хватило бы на многих

и многих. Уже кончилась ссылка «навечно», но не закончилась ее борьба. Из современного благополучия кажется, будто Ада Львовна слишком строга в оценках, даже жестокосердна. Но приходится задуматься, что стоит за ее жестким нравственным императивом. Сотни отданных жизней и лично ей дорогих, родных людей — с одной стороны, а с другой — низость и зло в своем идеологическом одеянии, но всегда конкретном человеческом исполнении.

...Но, снова весна. Расстояние до дома семь километров. Ада Львовна идет по пустынному ночному городу. Ей уже не 14 лет, как в дни февральской революции, а 54 года. Но здесь, в режимном еще Ростове-на-Дону, она вспоминает далекое киевское утро, когда в комнату вбежала ее мама с криком: «Девочки, революция в России!» И они мгновенно выбежали на улицу, влились в поток бегущих радостных и охваченных особым чувством единения всех людей... Сейчас, в Ростове, чувства ее сложнее, Ада Львовна счастлива и абсолютно одинока. Случилось то, что казалось невероятным: полное освобождение. Только что получена реабилитация Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Но реабилитированных еще не считают полноценными людьми. Может быть, нет логики, но сейчас она счастлива. А логика, что ж, логики уже было и еще будет немало.

В том же году был реабилитирован и ее муж, Н. И. Карпов. 21 год наказания без состава преступления!

И снова мы спорим и говорим. О России, Ленине, революции, партии и идеологии коммунизма. О том, что даже большие, даже великие писатели ошибаются, полагая нашу страшную историю всеобщим одурманиванием и бесовщиной. Раскрытие смысла, мысли, таящейся в трагическом опыте, нельзя заменить самыми талантливыми оценками, ведь если в истории есть одна бессмысленная «черная дыра», то и вся она теряет смысл.

Мы говорим о том, что презрение к настоящему оборачивается игнорированием жизни, что самая большая трагедия в том, что многим, оказавшимся в лагерях, в действительности не надо было бы этому удивляться, поскольку они, по существу, их лично выстроили. Прежде всего, — своим отношением к жизни. И еще о том, что, не видя этого, мы по сей день воспроизводим сталинские ценности, и страна все еще остается лагерем, а жизнь — ссылкой «навечно».

Такое отчетливое понимание пришло к Аде Львовне уже после написания книги. Читатель, следуя вместе с автором по следам судьбы поколения, пойдет с ним и общим трудным духовным путем. Но Ада Львовна была бы счастлива, если у каждого на этом общем пути были бы свои неповторимые степени.

Книги повторяют судьбу своих авторов. Они либо теряются в зигзагах непроясненной мысли и совести и оседают неведомые в архивах библиотек, либо достигают своими лучами общего потока света, устремленного к Истине. Рукопись Адды Львовны преодолела долгий путь. И вот, кочуя в потоке неопределенно-доброжелательных отзывов из самых толстых наших журналов, редакций, отечественных и зарубежных, книга вышла к читателю в том самом месте, где состоялся апогей судьбы самого автора. Случайность?.. Если и да, то случайность, преодоленная долгим и предельным напряжением души Адды Львовны. И нам остается только обрадоваться новой и очень значительной книге, которая благодаря счастливому стечению обстоятельств и энергии патриотов родного края впервые издается именно в Коми ССР.

Впрочем, радость эта должна быть особой. Чтение книги А. Л. Войтоловской не принесет обычного литературного удовольствия. Режим уродует не только отдельные судьбы, он калечит всю жизнь, проникает во все ее поры. Читать книгу Адды Львовны трудно. Понятна даже та усталость, которая подчас слышится в словах: «Опять про лагеря...» Но у нас единственный путь и шанс понять смысл случившегося — вчитываться, даже заставлять себя перечитывать такие книги. И учиться размышлять, продвигаясь к свободе.

— После апреля 1985 г. прошло пять лет,— говорит Адда Львовна.— Народ не безмолвствует, но он отвык от инициативы, не имеет опыта демократии. Народ, испытывая жажду действовать, но будучи политически дезориентирован, становится на грань экстремистских выступлений. Руководство же в попытке выйти из кризиса может прибегнуть вновь к насилию и к диктатуре. Нельзя подчиняться стечению обстоятельств. Каждый должен это осознать и не допустить гражданской войны. И, прежде всего, интеллигенция не имеет права стать игрушкой в этой темной игре. Меня гвоздит страшная мысль, что наша горькая участь может ничему не научить, что страдания нашего поколения не дадут нужных результатов.

Рабский труд, космическое количество лет, полученное в качестве наказания зеками и ссыльными, пытки, море крови, не побоюсь сказать, лучшей части нашего общества. Во имя чего? Неужели «эксперимент» этот может повториться? Если сейчас допустить апатию и инертность, тогда и «камни» возопиют. Время еще не упущено, но оно не стоит на месте. Оно требует — решайте или будет поздно!

В. ШАРОНОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

После убийства Кирова

Трагический перелом	6
Ссылка в Новгород	38
Арест	47
Этап	81

Лагерь

Сивая Маска	120
Кочмес	170
Между двух миров	323
В. Шаронов. «Эксперимент» не должен повториться	330

Общественно-политическое издание

Адда Львовна ВОЙТОЛОВСКАЯ

ПО СЛЕДАМ СУДЬБЫ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Редактор М. В. Кузьмина.
Художник И. А. Кузнецова.
Художественный редактор В. Б. Осипов.
Технический редактор А. Н. Вишнева.
Корректоры А. А. Надуткина, Н. Ф. Габова.

ИБ № 1655

Сдано в набор 10.01.91. Подписано к печати 01.04.91. Формат 84×108¹/₂.
Бумага № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ.
л. 17,64; усл. кр.-отт. 18,27; уч.-изд. л. 21,64. Тираж 15 000. Заказ №
2741. Цена 2 р. 90 к. Коми книжное издательство. 167610, Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, 229.

Головное предприятие Коми республиканского полиграфического про-
изводственного объединения. 167610, Сыктывкар, Первомайская, 70.

удалось от нее отрешиться. Она
присутствует во мне и вне меня и сейчас.
Пишу, потому что память жжет душу,
потому что прошлое всегда живет
в настоящем, а если мы его не раскроем,
не обнажим, то оно может прорваться
и в будущее.

Отрезок времени — годы тридцатые—
шестидесятые. Иду по следам одной жизни,
тесно переплетенной с судьбой поколения,
родившегося на рубеже веков, созревшего
с Октябрем. Стремлюсь писать как можно
более точно и сжато, по возможности
обходя то личное, что не представляет
общественного интереса, ибо это не повесть,
не роман, а записки по памяти.

Люди, о которых пишу, жили и живут,
они не вымысел. Но даже при самой предельной
беспристрастности они
прошли через моё
сознание и чувства, а их
история, изложенная
на бумаге, не фотография,
а память сердца.



А. Бойтцовой.

2 р.90 к.



КОМИ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1991

The image features a large, solid black silhouette that resembles a hand or a set of fingers reaching upwards. This silhouette is set against a bright red, irregularly shaped background. The entire composition is on a light-colored, textured paper. In the lower-left corner of the black silhouette, there is a white line drawing of a path or road with small crosses or markers along its length. In the lower-right corner of the black silhouette, the text 'КОМИ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1991' is printed in white, bold, sans-serif capital letters.